Новый Журнал

№292

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят шестой год издания

Кн. 292 **НЬЮ-ЙОРК** **2018**

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Елена Дубровина, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман
Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 292, сентябрь 2018
© 2018 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА
Итоги конкурса 2018 года 5

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Памяти Валентины Синкевич (1926–2018) 7
Валентина Синкевич – Стихи разных лет 15
Памяти Наума Коржавина (1925–2018) 20
Памяти Владимира Войновича (1932–2018) 23

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ
Игорь Гельбах – Бронгаузер с комментариями. Повесть 27
Ираида Легкая – Стихотворение 136
Елена Дубровина – Стихи 137
Марина Эскина – Сезам откроется. Стихи 140
Михаил Вирозуб – Жизнь по соседству. Стихи 143
Каринэ Арутюнова – Долгота тишины. Миниатюры 147
Марк Зильберштейн – Стихи 159
Михаил Бараш – Теплое чувство к холоду. Миниатюры 166
Сергей Захаров – Безобразный Эдди. Рассказ 169
Борис Лихтенфельд – Стихи 209
Борис Григорин – Невидимка. Стихи 216
Янислав Вольфсон – В темноте. Стихи 219
Евгений Чигрин – Праздник воды. Стихи 222
Наталья Резник – Стихи 227
Э. Старосельский – Приключения ...арона Мюнхаузена. Рассказ 231

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ
Владимир Сёмин – От мистицизма до марксизма.
Идейные практики юного Николая Гумилева 252
Вадим Ярмолинец – Возвращение на Волгу.
Неопубликованные стихи А. М. Федорова 267
А. М. Федоров – Неопубликованные стихи (*Публ. – В. Ярмолинец*) ... 270
А. Синченко, Ю. Сандулов – История Новой Кубани. Интервью 274

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ
Марк Уральский – Молодой Алданов 303
Т. В. Гордиенко – Евгений Алексеевич Бунин 340
Лев Бердников – Егор Канкрин. Финансист на все времена 356

КНИГА И СУДЬБА
Игорь Михалевич-Каплан – Поэзия перелетных птиц 368

БИБЛИОГРАФИЯ
Геннадий Кацов – Леонид Спивак. Река Теодора; ***Виктор Леонидов*** – Ирина Обухова-Зелиньская. К. И. Чуковский и Ю. П. Анненков; Творчество Мишеля Винавера: между Францией, Америкой и Россией; ***И. Роднянская*** – Вера Зубарева. Одесский трамвайчик 380

ОБ АВТОРАХ 394

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
имени Марка Алданова

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА посвящена памяти Марка Алданова (1886–1957), выдающегося писателя русской эмиграции, одного из основателей «Нового Журнала». Премия утверждена во имя сохранения и развития традиций русской литературы в контексте мировой культуры и призвана поддержать писателей русскоязычной диаспоры, живущих в рассеянии по всему миру. Премия присуждается прозаикам, создающим свои произведения на русском языке и живущим вне Российской Федерации.

В 2018 году в конкурсе на соискание звания лауреата принимали участие прозаики Русского Зарубежья из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Ирландии, Испании, Латвии, Нидерландов, Молдовы/ПМР, Украины, США. Особенно активно участвовали писатели Израиля и Украины.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ:

Андрей Белозеров – «Джекпот, или Портрет художника в силе» (Молдова/ПМР)
Марк Зайчик – «Дин Тейре» (Израиль)
Сергей Захаров – «Предметы повышенной прочности» (Испания)
Александр Макаров – «Маленькие спекулянты» (Украина)
Маргарита Меклина – «Улай в Литве» (Ирландия)
Исаак Розовский – «Эвтаназия» (Израиль)

Решением членов жюри Премии призовые места распределились следующим образом:

1-е место

Маргарита Меклина – «Улай в Литве» (Ирландия)

2-е место

Марк Зайчик – «Дин Тейре» (Израиль)

3-е место

Сергей Захаров – «Предметы повышенной прочности» (Испания)

Победителям конкурса присвоено звание «Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова». За первое место будет вручена денежная премия в 1 (одну) тысячу долларов. Всем лауреатам будут высланы дипломы и подарена бесплатная подписка на «Новый Журнал» на 2019 год. Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте журнала.

Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов Литературной премии им. Марка Алданова и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2018 году были: литературовед, историк, журналист Марк Уральский (Германия); поэт, издатель, редактор альманаха «Побережье» Игорь Михалевич-Каплан (США); Алла Макеева-Ройланс, NYU (США); Марина Адамович, главный редактор НЖ.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ В 2019 ГОДУ:

1. На соискание Премии могут быть присланы тексты на русском языке на следующие темы: история России, история русской эмиграции, жизнь современной русскоязычной диаспоры. Жанр – короткая повесть.
2. Рукописи, присланные на конкурс, не должны быть нигде опубликованы (в том числе – он-лайн).
3. Принимаются рукописи только от авторов, живущих вне пределов Российской Федерации.

Прием рукописей на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2019» начинается с 1 марта до 30 июня (включительно) 2019 года. Рукописи принимаются только в электронном виде (с указанием: «Премия Алданова» / Aldanov Award): newreview@msn.com

Оргкомитет просит участников указывать свой обратный почтовый адрес. Итоги конкурса будут объявлены в сентябре 2019 на сайтах НЖ и ЖЗ. С историей проекта можно ознакомиться на сайте НЖ: www.newreviewinc.com (ПРОЕКТЫ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ им. МАРКА АЛДАНОВА)

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова и редакция «Нового Журнала» благодарят коллектив ЖЗ и «Русского Журнала» за помощь в освещении конкурса на звание лауреата Премии им. Марка Алданова.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Валентины Синкевич
1926–2018

25 июня в Филадельфии скончалась Валентина Алексеевна Синкевич. Поэт, критик, эссеист, исследователь истории и культуры второй волны русской эмиграции, издатель, педагог.

Она родилась 29 сентября 1926 года в Киеве, но своей родиной считала маленький городок Остёр. Мать ее – Вера Петровна, урожденная Матковская, была дочерью генерала царской армии; отец Алексей Николаевич – сыном священника. Практически все их родственники оказались в эмиграции, среди них – знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский. Как говорила сама Валентина Алексеевна, в Остёр родители «сослали» себя сами – чтобы выжить в крови репрессий. Здесь же во время войны погибла старшая сестра Валентины Синкевич – Ирина.

За месяц до своего шестнадцатилетия Валя была угнана в Германию – мать надеялась, что ее – маленькую, хрупкую – «забракует» медкомиссия, но этого не случилось: никакой медкомиссии просто не было; Валю вместе со всеми отправили на работы. «Всех просто обсыпали дезинфекционным порошком, погрузили в товарные вагоны. Следующая остановка была в Готтенхафене, бывшей польской Гдыне. Здесь нас погнали в баню, дезинфицировали одежду, остригали наголо, если находили вшей, и снова обсыпали тем же зловонным порошком. Затем повезли в данцигский ‘арбайтсамт’. Там бесплатную рабочую силу разбирали фермеры. <…> Нам выдали знаки ‘Ост’ – бело-голубые тряпичные квадраты с буквами посередине, нашивавшиеся на одежду. Без такого знака остовцам запрещалось выходить на улицу. Что сказать об остовских лагерях? Они, конечно же, не были худшими из серии этих преступных заведений, расплодившихся в большом количестве на территории Третьего рейха. Мы были работниками-рабами, но все же не смертниками, как насельники концентрационных лагерей, да и большинства лагерей для русских военнопленных. В остальном же лагерь есть лагерь.»

В конце войны на улицах Данцига Валя встретила чету «белых» русских эмигрантов – Конрада Витальевича и Зинаиду Васильевну Монастырских. Они взяли девушку с собой, выдав ее за глухонемую дочь... Во Фленсбурге они пережили страшное время насильственной репатриации. «Люди спасались, приобретая фальшивые документы и выдумывая фантастические биографии, пытаясь доказать, что они не

русские и не восточные украинцы, а какие-нибудь балтийцы, сербы или венгры. Многим эти псевдобиографии спасли жизнь.»

Валя попала в русский дипийский лагерь Фишбек, находившийся под Гамбургом, а затем в Цоо-камп, расположенный почти в центре Гамбурга. Здесь в 1948 году у Валентины Синкевич родилась дочь Анна. Отсюда же в мае 1950 года она с мужем и дочерью иммигрировала в США. На том же военном транспортном суденышке «Генерал Балу» (General Balou) плыли и поэты Иван Елагин и Ольга Анстей с их малолетней дочерью Лилей.

Свою американскую жизнь Валя начала санитаркой – вообще, ей пришлось долго заниматься физическим трудом. И лишь после запуска советского спутника, когда русский язык стал «моден» и востребован в США, она нашла работу в библиотеке Пенсильванского университета, где и проработала библиографом почти тридцать лет.

Ее первый маленький сборник стихов «Огни» вышел лишь в 1973 году – на него откликнулись Ирина Одоевцева и Юрий Терапиано. Потом Валентина Алексеевна стала писать рецензии и очерки на литературные темы для «Нового русского слова».

Конец 70-х – начало 80-х, как признавалась Валентина Алексеевна, – время расцвета ее литературной деятельности. Она много выступала, читала свои стихи в оригинале и в переводе, писала рецензии для *The Philadelphia Inquirer*; регулярно выходили сборники стихов. В 1992 году к пятидесятилетию второй эмиграции она и художник, поэт Владимир Шаталов издали стихи поэтов этой волны – «Берега». А в 1977 году вместе с поэтами Ираидой Легкой и Иваном Буркиным, художниками Сергеем Голлербахом и Владимиром Шаталовым и историком и политическим деятелем Борисом Пушкаревым они составили редколлегию поэтического альманаха-ежегодника «Перекрестки».

С 1983 года Валентина Алексеевна Синкевич стала редактором и издателем поэтического ежегодника «Встречи» («Перекрестки» перестали выходить) – до закрытия его в 2007 году.

Валентина Алексеевна была постоянным автором «Нового Журнала», членом его редколлегии и корпорации. Это был по-настоящему *ее* журнал. Все свои стихи, литературно-критические статьи, эссе она отсылала в НЖ. Она поддерживала журнал в самые тяжелые его минуты, боролась за то, чтобы он продолжал выходить.

Верный друг, светлый, открытый людям человек... В жизни ей многое пришлось испытать – больше, чем может выдержать хрупкое сердце маленькой женщины. Но великое сердце Поэта оказалось готовым вместить в себя трагедию всего поколения. Своей миссией Валентина Синкевич считала сохранение правды о тех, кто был

рядом с нею – в страшные остовские годы рабства, в тяжелых испытаниях дипийских лагерей, в изгойстве эмиграции. История второй волны эмиграции – в испытаниях и достоинстве, в страданиях и поэзии – нам была подарена из первых рук: из рук Валентины Синкевич.

Она многое успела за свою долгую жизнь. Не успела лишь закончить последнюю книгу – книгу очерков о второй эмиграции – о тех, кого знала лично, с кем разделила горе и радость. А это и есть полный список второй волны. Она ушла, дописав свой рассказ об Ираиде Легкой. Ей оставалось доделать еще два эссе для «Нового Журнала». Чуть-чуть не хватило времени.

Корпорация и редакция «Нового Журнала» выражают свои соболезнования дочери и родным В. А. Синкевич.

Господи, упокой ее душу! Дай ей радость и свет!

«Новый Журнал»

Я прошлое окутываю теплой пеленою.
И вспоминаю благодарно и светло
о том, что было на земле со мною,
о том, что быть иного не могло.

Валентина Синкевич

* * *

Еще три месяца жизни, и ей исполнилось бы девяносто два года. Но бороться с тяжелыми недугами у нее уже не было сил, и 25 июня 2018 года Валентина Алексеевна Синкевич скончалась от инсульта в городе Филадельфия, где она прожила десятки и десятки лет.

От нас ушла не только одна из лучших поэтесс Русского Зарубежья, прекрасный литературный критик, издатель и педагог, но и человек, выдающийся по силе характера, трудоспособности и жизнерадостности, что создало ей множество друзей и поклонников ее таланта.

О Валентине Синкевич будет написано много книг и диссертаций, я же ограничусь пока моими личными воспоминаниями о ней как о старом друге, человеке одного со мной поколения «перемещенных лиц» – русских людей, выброшенных войной за пределы России, проведших всю жизнь вне ее, но оставшихся русскими по языку и по принадлежности к русской культуре.

Валентина Алексеевна Синкевич, Валя, Валюша для друзей, родилась 29 сентября 1926 года в Киеве, но с детства жила с родите-

лями в маленьком городке Остёр, куда они переехали, чтобы быть подальше от зорких глаз властей. Они имели на то основания: интеллигентные люди, дворяне, мать – дочь генерала, отец – сын священника, то есть классово чуждый элемент. Условия жизни были тяжелые. В этом городе Валя окончила шесть классов средней школы. А потом – война. Отец Вали умер еще до ее начала, и Валя осталась одна с матерью и сестрой Ириной. В оккупированном немцами городе стали увозить на работу в Германию молодое население. Попалась и Валя. Она стала «остовкой», работала прислугой в немецком доме. Когда закончилась война, в беженском лагере Фишбек в английской оккупационной зоне она вышла замуж за художника Кочуровского, гораздо старше нее. Родилась дочь. Затем эмиграция в Соединенные Штаты, тяжелый физический труд.

«Десять лет я мыла полы, – рассказывала Валя. – Наконец удача – работа в библиотеке.» И с этого момента – движение к высотам культуры. Не окончившая даже семилетки, она стала образованнейшей женщиной, знающей как русскую, так и английскую литературу, овладевшей английским языком, – а ее родной русский язык был превосходным по форме как в поэзии, так и в прозе.

В 1977 году группа русских поэтов и художников основала альманах поэзии «Перекрестки», который был потом переименован во «Встречи», и Валя Синкевич стала его главным редактором. В течение тридцати лет она собственноручно вела его, создав ему заслуженную репутацию.

Валя Синкевич стала членом редколлегии «Нового Журнала», потом и членом корпорации. За эти годы у нее вышло более десятка книг – сборники поэзии и эссеистики. Ее имя было широко известно там, где ценят русскую литературу и поэзию. Зная, что у нее остается уже мало времени, Валя проделала колоссальный труд, подготовив для передачи в Дом Русского Зарубежья в Москве свой огромный архив, описав и систематизировав его.

Несмотря на тяжелое физическое состояние, она работала буквально до последних дней жизни.

Мое знакомство с Валей Синкевич и ее другом, художником Владимиром Шаталовым, восходит к середине шестидесятых годов. Живя в разных городах, мы все же встречались довольно часто в домах общих друзей, у меня в Нью-Йорке или у них в Филадельфии. Но шли годы, и встречи стали более редкими, а телефонные разговоры более частыми. Меня связывало с Валей творческое взаимопонимание, мы понимали друг друга с полуслова, и чем старше мы становились, тем больше это общение оказывалось необходимостью. О чем мы говорили? Обо всем – о литературе, поэзии, нравах, политике, рели-

гии, о нашей родине России, о ее судьбе и о будущем всего мира. Валюша была русской патриоткой, но никак не националисткой или шовинисткой. Она не противопоставляла Россию западному миру, а считала ее частью нашей западноевропейской цивилизации. Она, как и я, любила замечательные строки Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Верить во всё в ней положительное – и скорбеть о наличии отрицательного. Вспоминали мы часто и слова академика Дмитрия Лихачева, сказавшего, что в характере русского человека сочетаются противоположные черты единого регистра, скажем такие, как ленность, с одной стороны, и трудолюбие – с другой.

Валя Синкевич очень любила животных, подбирала бездомных собак и кошек. Будучи у нее в гостях, я увидел в ее небольшом собственном доме четырех псов, а кошки были домашние и приходящие. Обычно любители животных предпочитают четвероногих друзей двуногим, так как животное никогда не изменяет своему хозяину. Но у Вали любовь к животным не исключала любви к людям, она помогала очень многим и всегда была открыта для новых дружб.

Достигнув весьма преклонного возраста, мы, конечно, говорили и о конце жизни. Была ли Валя религиозным, верующим человеком? Да, но и тут – без всякой догматики и нетерпимости. Помню, как она сказала мне, что не верит в вечные адские муки, которые уготованы грешникам. Она очень любила строки поэтессы Лидии Алексеевой, сказавшей в одном из своих стихотворений: «Не спрашивай, что будет там, потом, / Когда настанет миг прощанья и свободы, – / Ведь если что-то ждет – какое чудо в том! / А если ничего... Какой великий отдых!» Ценила и шутку, вспоминая слова парижского литературного критика Георгия Адамовича. Его как-то спросили, верит ли он в загробную жизнь. Отвечая, кажется, утвердительно, он добавил, что его любимого книжного шкафа со всеми книгами там не окажется.

Она вела широкую переписку с многочисленными представителями русской культуры всех трех волн российской эмиграции; в ее архиве много ценнейших писем и документов. В последние месяцы она готовила книгу очерков о ее коллегах по литературе, которая планировалась к изданию Домом Русского Зарубежья. Закончив последний очерк, Валя сказала мне: «Вот отошлю его (не сама, а ее внук, на улицу она выходить уже не могла), а потом смогу отдохнуть». И через неделю этот отдых пришел – она скончалась. Вижу в этом что-то трагически логичное, почти как в «Борисе Годунове»: «Еще одно, последнее сказанье – / И летопись окончена моя, / Исполнен долг, завещанный от Бога».

...В моей адресной книжке все больше и больше имен и теле-

фонных номеров, по которым уже некому звонить. Но я не вычеркиваю их, потому что я до сих пор слышу голоса моих ушедших друзей. И голос Валюши Синкевич всегда будет ясно звучать.

Согласно ее завещанию, тело Валентины Синкевич было предано кремации и похоронено на кладбище русской Фермы РОВА в штате Нью-Джерси. Там же покоится прах наших общих друзей – художников, братьев Михаила и Виктора Лазухиных. В их гостеприимном доме в Филадельфии Валя Синкевич, Владимир Шаталов, я и другие их друзья провели в течение многих лет счастливые часы за всегда обильным столом.

Говоря о счастье... Валя Синкевич считала себя очень счастливым человеком – потому что смогла вернуться на родину своим творчеством. Об этом мечтали многие русские эмигранты, но не дождались, скончавшись до распада Советского Союза. Вале Синкевич, как и мне, повезло, мы вернулись на родину, побывали в городах, где когда-то жили, повстречали старых друзей и нашли новых.

Несмотря на долголетнюю дружбу, Валя и я оставались на «Вы», теперь же позволю себе сказать:

Мир праху твоему, дорогая Валюша. Я благодарен судьбе, что повстречал тебя, и дружба с тобой обогатила мою жизнь. Твой телефонный номер 215-477-61-72 никогда не будет вычеркнут из моей памяти.

Сергей Голлербах, Нью-Йорк

ХРАНИТЕЛЬНИЦА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Памяти Валентины Синкевич

25 июня 2018 г. в Филадельфии скончалась Валентина Алексеевна Синкевич (р. 1926, Киев) – поэт второй волны эмиграции, постоянный друг и добрый наставник русских поэтов в Америке и Европе.

Из ее недавних стихов (2016):

И календарь здесь ни при чем –
считай хоть дни, хоть годы, хоть страницы.
А лучше бы не вспоминать о том,
какие попадались под руку столицы,
когда зима была убийственно бела.
И близкая дорога дальнею легла.
Сейчас не все ль равно? Уже пора
навек убраться со двора –

ведь время, время – вот оно
стоит и смотрит на окно,
твое окно,
закрытое давно.
Но ты открой его: в долинах и горах
идет зеленый май в цветах,
и ты ему навстречу крикни – Ах! –
на иностранном своем странном языке,
услышанном недавно даже вдалеке.
Он, говорят, почти совсем английский,
а мог бы быть и австралийский,
иль стать назло тебе немецким,
или трагически советским.
Но волею судьбы – не стал.

В. А. Синкевич – внучка генерала и священника, из родного города Остёр на Украине угнанная нацистами в Германию, выжившая в лагерях для перемещенных лиц (ди-пи). После войны попавшая с семьей в США, Валентина Алексеевна стала связующим звеном между многими поколениями тех, кто писал и пишет в Америке по-русски. Еще в Германии узнала она о стихах Марины Цветаевой от Юрия Иваска. В своих ценнейших воспоминаниях («Мои встречи. Русская литература Америки» / Рубеж: Владивосток, 2010) Валентина Алексеевна рассказала о Лидии Алексеевой, Ольге Анстей, Иване Елагине, Юрии Иваске, Николае Моршене, Борисе Нарциссове, Татьяне Фесенко и о многих других. О поэзии, о судьбах литераторов, художников она была готова говорить и писать всегда. Через Валентину Синкевич и ее друзей и третья волна эмиграции, и мы, ее продолжение, узнавали о судьбе и существовании многих имен и стихов – бесценном наследии первой и второй волн, сохранивших русскую поэзию и литературу в Новом Свете.

Как упрямый волнорез, в который бьются все эти волны, Валентина Синкевич создала свой альманах «Встречи», выходивший в течение трех десятилетий. Ежегодно и собственноручно собирала она, еще в докомпьютерную эпоху, эти трогательные, изящные поэтические книжки. «Встречи» закончились в 2007 году на 31 выпуске, но альманах будет жить, как памятник литературы.

Лев Лосев писал ей шутливо:

Что же делать русской лире
в неуютном этом мире?
Наши варварские речи

не оценят, не поймут.
Валентина! Ваши «Встречи» –
Наш единственный приют.

Но к Валентине Синкевич также полностью относятся пророческие слова В. Брюсова, сказанные более столетия назад:

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

Те из нас, кто удостоился чести лично знать Валентину Алексеевну, не забудут ее редкого обаяния. До последних лет делилась она с нами своим опытом и памятью. Мы помним и любим ее.

Виктор Фет, США
Владимир Батшев, Германия

Валентина Синкевич

Стихи разных лет

Из книги «При свете лампы»

В год 90-летия Валентины Синкевич, в 2016-м, русско-американские поэты совместными усилиями выпустили сборник избранных стихотворений поэтессы «При свете лампы». Стихи для сборника отбирала сама Валентина Алексеевна; ей принадлежит и название книги.

СОЛО

Первое, что я помню: были какие-то странные звуки,
нестройные и непонятные, как иностранный язык.
Но из этого хаоса, из радости этой и муки
песня рождалась, к ней мой слух не привык.

Еще не зная слов и не понимая мотива,
я повторяла что-то, стараясь подражать другим,
старалась петь в унисон, слова произносить красиво,
и не могла. А регент был суров и нетерпим.

И я ушла из большого и стройного хора,
и вдруг запела, сама сочинив слова и мотив.
И пою сейчас, ни перед кем не опуская взора,
не заботясь, чтоб стих был гладок и голос красив.

НОЧЕНЬКА

Эта ночь, эта ночь,
эта ноченька.
Только лучину уже не найти.
Скушно мне,
но и тебе ведь не весело,
если мы мимо в пути.

Что тебе, что тебе, бедному,
эта оттепель, если зимой
заколдует мороз над бездною
между тобою и мной?

Потому отдаю,
не ликуй – не раю,
я его и сама не знаю.
Отдаю тебя просто судьбе –
отсылаю тебя к тебе
в эту ночь,
в эту ночь,
в эту ноченьку.

В НОРВИЧСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ВЕРМОНТ)

Я пишу отсюда письма длинные, странные.
Сколько дней телефон мой молчит,
будто улетела в иноземные страны я,
где высокие сосны и тяжелых ступеней гранит.

Телефон мой молчит. Но перо ворожит над бумагою,
каждый шорох вбирая и каждый вздох.
Шлю приветы я городу с каменной влагою
и жарой, с неизменною рифмой на – ох!

Я играю вслепую здесь со студентами:
говорю, как велик непонятный им русский язык.
А деревья сверкают зелеными лентами,
и срываются птицы со щебетанья на крик.

Всё здесь: книги, столы и лампы настольные
не похожи на мой домотканый уют.
Не моя Пенсильвания и не моя Калифорния,
а зеленые горы, что прямо из окон растут.

И великий отшельник – между изгнаньем и славою –
знаю – путь свой тяжелый не здесь завершит,
где береза могучая с головою кудрявою
по-английски о чем-то мне шелестит.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА НА ФЕРМЕ РОВА

О, этот сон, что иных степей привольней!
Если крепко спать – непременно приснится он.
Но на каком инструменте и с какой колокольни
ты услышишь плясовую и погребальный звон?

А в День святого Владимира белый ангел,
превозмогая нью-джерсийскую влажную жару,
благословляет люд и воинов, которых спасал Врангель,
и трапезу в этом полурусском бору.

Мы стекаемся сюда, уже старые и больные,
на звон колокольный во Владимиров День,
на звон, который звучал вот так еще при Батые –
от больших городов до глухих деревень.

И поются лихие песни, и пляшутся пьяные пляски,
купают, обжигаясь, красных черногривых коней,
покуда на автострадах небывалой окраски
станет сверкать лавина автомобильных огней.

И я забываю звук иностранной речи
и, срывая голос, кричу какую-то дикую строку,
в которой кони, костры, отголоски Запорожской Сечи...
И до следующего Дня Владимира слово каждое берегу.

7.30 УТРА

Утро – всегда вдруг.
Утром звонит друг
из другого сна,
другого окна.
И я,
      она
отвечаю,
            отвечает
тебе,
      ему
из моего,
            её сна.

И я,
    она
сплю,
      спит,
а телефон
звонит,
        звонит.
И я,
    она
не пойму,
          не поймет,
почему из пустоты
зовёшь ты,
зовёт он,
почему телефон
звонит
в 7.30
      утра...

ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ

Лампа еще горит, но осень уже посетила мое тело,
и листья падают, и на деревьях не горят.
А в тесном доме моем, когда лампа над книгой горела,
я прислушивалась – что́ твои мысли мне говорят.

Тесно жить нам вдвоём, – говорили они. Тесно.
День святой Валентины – день рожденья твоего стиха.
Мы с тобой одной крови, но всё же из разного теста –
только мало от святости – больше у нас от греха.

В тесном доме моем лампа горит ночами...
Старая мебель, книги. И соломенный матрац –
тот, из детства, – в моем кошмаре всё вверх ногами –
то всплывет замок, то какой-нибудь Алькатрац.

А лампа горит. И рука выводит вот эту строчку.
Мысли твои говорят, что ничего уже не спасешь.
Как перед казнью, ты на груди рванул сорочку,
и кто-то из-за голенища вытаскивает острый нож.

Но всё это бред. Вот книги, они со мною от самого детства.
Когда рушилось всё – спасали их и фамильные образа...
В тесном доме моем книги, когда никуда не деться,
когда светит солнце, а будто бы разыгралась гроза.

В тесном доме моем картины шепчутся ночами,
они слышат твои мысли и волнуются о моей судьбе,
и стараются усыпить меня красочными речами,
в которых столько неправды, красивой неправды о тебе.

Когда прятались в погребе, и бежали чужие солдаты,
предвещая путь на Запад, откуда не возвращаются поезда…
Вспоминается многое, но забываются лица и даты,
и забывается – с какими словами рифмовалась беда.

В тесном доме моем ныне находят приют люди и звери,
книги с твоими картинами знают неведомую нам ворожбу.
Пусть говорят твои мысли, что в будущем ничего не будет.
Всё справедливо. И я благословляю свою судьбу.

Памяти Наума Коржавина
1925–2018

Скончался Наум Коржавин. 22 июня 2018 года. В этот страшный для России день ушел великий поэт.

Наум Моисеевич Мандель (Коржавин) родился в 1925 году в Киеве. Так повелось, что домашние и друзья звали его Эма. Во время войны семья успела эвакуироваться – что спасло Манделей от Бабьего Яра. Эмка попал на Урал. Оттуда в 1944 году девятнадцатилетний Наум и приехал в Москву поступать в Литературный институт. Товарищ по общежитию, позднее – известный советский писатель Владимир Тендряков в рассказе «Охота» (опубликованном через семнадцать лет, уже в постсоветские 90-е) так описывал Эмку: «Каждый из нас – кто таясь, а кто афишируя, – претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали – Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка. Он писал стихи и только стихи – на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка – оды, сонеты, лирические раздумья... Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку едва ли не времен Гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профессор не выдал ему ордер на валенки».

Он писал стихи с детства, любил поэзию Маяковского. Писал много, обо всем, в том числе – и о революции, вполне искренне ощущая себя ее «наследником» (но уже в эмиграции в Бостоне признавался, что был он всегда – лириком, и его гражданская поэзия – это тоже лирика. Во всяком случае – для него. Он всегда ощущал себя свободным и писал только о том, к чему взывало его сердце). Это Коржавину принадлежат строки о Сталине: «Суровый жесткий человек, / Не понимавший Пастернака». Во всем – и в вере в «комиссаров в пыльных шлемах», и в торжество гуманизма во всем мире, и в тотальном отторжении от насилия, и в непризнании сталинской диктатуры – была органика: Эмка так слышал, так чувствовал, так дышал – и не мог иначе писать. Не борец – но поэт.

Наум Мандель проучился в Институте до 1947-го. 22-летнего студента разбудили ночью (никто из товарищей по комнате поначалу и не понял, что происходит, – включая заспанного Эмку, как он вспо-

минал) и арестовали. Он часто говорил позднее, в эмиграции, что до сих пор не понимает – за что арестовали. В этом была, конечно, доля лукавства: не понимавший тогда, мудрый Наум спустя десятилетия сложной своей жизни отлично знал – почему, как и то, что был этот арест для студента Эмки неизбежен; рано или поздно, но таких Эмок хватали и безжалостно уничтожали в Советском Союзе. Не совпадали эти чистые души с идеальным образом «советского человека».

Приговор гласил: «За чтение стихов идеологически невыдержанного содержания», – и Наум Мандель, как социально опасный элемент, по постановлению Особого Совещания при МГБ был приговорен к ссылке по статье 7-35 Уголовного кодекса. С 1948 по 1951 гг. Мандель провел в сибирском селе Чумаково. Неприспособленный к жизни, нелепый в быту, не умеющий прокормить себя, страшно близорукий, мальчишка-ссыльный, как это ни удивительно, пришелся местным ко двору. О таких говорят: чистая душа. Наум Моисеевич в поздние годы тепло вспоминал ту поддержку, что встретил среди сибиряков – таких же нищих и обездоленных советской властью, как и он. Его держали за «своего», подтрунивая – но любя. В мемуарах «В соблазнах кровавой эпохи» (первая публикация – в НЖ) поэт подробно описывал, как познавал свой народ в его страданиях и надеждах.

Следующие три года сосланный Наум Мандель провел в Караганде. Он сотрудничал с газетами «Комсомолец Караганды» и «Социалистическая Караганда». Здесь Наум женился на Валентине Голяк; у молодых родилась дочь Елена. В Караганде Мандель закончил Горный техникум. В 1953-м он пишет «Смерть Сталина», выносся тирану свой приговор. Постепенно поэт освобождался от всех своих революционных иллюзий, от мифа «идеального коммунизма». Путь вел его к Храму. В 1991 году, уже в эмиграции, Коржавин примет православие.

После амнистии в 1954 году семья Манделей переезжает в Москву; в 1956-м Наум был реабилитирован, восстановился в Литературном институте. Коржавин не причислял себя к шестидесятникам, как позднее – к диссидентам, однако круг его друзей состоял именно из этих людей. Этапной стала публикация 16 стихотворений Коржавина в знаменитом сборнике «Тарусские страницы» (1961), своеобразном манифесте оппозиционной интеллигенции. Имя поэта Наума Коржавина теперь известно всем. Его «Памяти Герцена», баллада об «историческом недосыпе», гуляла по самиздату, его цитировали – и это была подлинная слава.

В 1962 году Наум Коржавин познакомился с Любовью Хазиной – «Любаша», как звал он ее, стала его спутницей на долгие годы. Их брак длился до самой ее смерти.

Вышедший в 1963 году сборник стихов Коржавина «Годы» в одночасье превратился в библиографическую редкость; эта книга так и осталась единственным «официальным» изданием стихов Коржавина на родине. Он был опальным поэтом, в Советском Союзе ему не на что было рассчитывать. Коржавин был среди тех, кто поддерживал Синявского и Даниэля, Галанскова и Гинзбурга. В 1973 году его вызвали на допрос в прокуратуру. Он не хотел уезжать – но выбора ему советские власти не оставили. Чтобы жить и писать, он должен был уехать. В том же году Коржавины эмигрируют. В 1976-м в издательстве «Посев» была издана книга стихов «Времена», через пять лет – сборник «Сплетения».

Уехавший из СССР в потоке третьей волны эмиграции, Наум Коржавин никогда себя к ней не причислял. Ее двойное отталкивание как от мифа старой русской эмиграции о «Зарубежной России», так и от американской культуры (в которую третья волна влилась лишь немногочисленными интеллектуалами), было ему чуждо. Ругал и отвергал он и американскую славистику – за «левизну» взглядов и поверхностность мысли отдельных ее представителей. Он был из тех немногих в третьей волне, кто сблизился со старой русской эмиграцией в Америке. Более 20 лет, с 1975 года, Наум Коржавин и его жена сотрудничали с Русской летней школой при Норвичском университете (Вермонт), основанной старой эмиграцией.

Перестройку он принял сразу как долгожданное освобождение любимой им России, о судьбе которой он размышлял и в эмиграции. Он приезжал в Москву, выступал. Его принимали широко, с восторгом. О нем помнили, в нем нуждались. В 2003 году в России вышел сборник статей «В защиту банальных истин». В 2005 году были опубликованы мемуары «В соблазнах кровавой эпохи». В 2008 году вышел итоговый сборник стихотворений и поэм «На скосе века».

Сам о себе Коржавин говорил так: «...По происхождению я – еврей. По самоощущению – русский патриот. По взглядам – либерал и государственник. Сторонник, по выражению русского философа XX века Федотова, ‘империи и свободы’».

Верность своим убеждениям, упорное неприятие политической лжи и коррупции быстро охладили восторги Коржавина по поводу «новой России»; он ясно видел, что дорога современной России опять дала кривизну, – и искренне страдал и сопереживал родине, которую любил беззаветно, веря в нее до последнего своего дня. Его любовь и вера были мучительны. Но такие искренние, как могут быть лишь у настоящего чистого сердца.

Выражаем соболезнования дочери и родным покойного.

«Новый Журнал»

Памяти Владимира Войновича 1932–2018

Писатель Владимир Войнович скончался 27 июля 2018, в возрасте 85 лет. В число его наиболее известных произведений входят знаменитая комическая трилогия «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», антиутопия «Москва-2042», сатирический роман «Монументальная пропаганда», повести «Шапка» и «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру». Он также опубликовал стихи и пьесы, а уже в зрелые годы начал заниматься живописью. С 1960-х гг. до конца жизни Владимир Войнович активно занимался правозащитной деятельностью. Он выступал ироническим критиком державы и при советской власти, и при нынешнем режиме.

Родился Владимир Николаевич Войнович 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас – Душанбе, Таджикистан). Его отец, Николай Павлович, был журналистом, мать, Роза Климентьевна Гойхман, работала с ним. В 2009 году в интервью Войнович сказал: «Я даже не знаю, что мне больше мешало: мама-еврейка или окончание сербской фамилии на -ич». В 1936 году Николай Павлович был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Роза Климентьевна с сыном переехала в Ленинабад (сейчас – Худжанд, Таджикистан), окончила пединститут и стала учительницей математики. В 1941 году отец был освобожден и переселился в Запорожье. Когда началась война, Николай Павлович ушел на фронт, где он был тяжело ранен; его демобилизовали. Семья попала в эвакуацию. В 1945 году Войновичи вернулись в Запорожье.

Владимир учился мало, урывками. В Запорожье он окончил ремесленное училище; после того, как отслужил в Военно-воздушных силах (с 1951 по 1955 год), он окончил 10-й класс вечерней школы в Керчи. Переехав в Москву, Войнович дважды пытался поступить в Литературный институт им. Горького, но не прошел по конкурсу; он полтора года отучился на историческом факультете Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. В 1940 – 1950-х годах работал пастухом, столяром, слесарем, авиамехаником, железнодорожным рабочим.

В армии он начал писать стихи «не по внутреннему убеждению, а потому что понял: надо выбираться из этой ямы, в которую меня

жизнь засадила». Одно стихотворение вышло в армейской газете; потом в Керчи Войнович опубликовал несколько стихотворений под псевдонимом. В начале 1960-х годов он работал редактором Всесоюзного радио; начал сочинять песни. Первая написанная им песня стала и самой известной – «Четырнадцать минут до старта»: процитированная Никитой Хрущевым, она превратилась в настоящий гимн советских космонавтов.

Как прозаик Владимир Войнович дебютировал в 1961 году повестью «Мы здесь живем», вышедшей в журнале «Новый мир». Уже в 1962 году его приняли в Союз писателей СССР. Повести «Хочу быть честным» (1963) и «Два товарища» (1967) также были опубликованы в «Новом мире». В конце 1960-х годов первая часть «Чонкина» распространялась в самиздате; роман появился в 1969 году в западногерманском эмигрантском журнале «Грани», и в 1975 году книга вышла на русском языке в Париже. Роман принес Войновичу мировую известность и был переведен на тридцать языков.

Диссидентская деятельность Войновича началась еще раньше. В 1966 году он выступил в защиту Синявского и Даниэля, стал активным правозащитником. В 1968 г. пьесы, основанные на его повестях «Хочу быть честным» и «Два товарища», были запрещены, а в 1974 г. его исключили из СП СССР. Во второй половине 1970-х годов на Западе появились сатирические произведения Войновича – «Иванькиада» и вторая часть романа про Ивана Чонкина. Он оставался в Советском Союзе до декабря 1980-го, когда принял приглашение приехать в Западную Германию на один год. Весной 1981 года Войнович был лишен советского гражданства и до 1990 года в основном жил в ФРГ; он часто бывал в США, где читал лекции в университетах.

Во время Перестройки его произведения вновь начали публиковать, в том числе ранее запрещенные книги «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Иванькиада». В 1990 году его советское гражданство было восстановлено, и он вернулся в Россию. Среди его последних книг – «Монументальная пропаганда» (за этот роман ему вручили Государственную премию РФ в 2001 году), третья часть «Чонкина» (2007) и «Автопортрет. Роман моей жизни» (2010). Владимир Войнович был лауреатом премии Баварской академии изящных искусств, премии «Триумф», премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя», премии им. Льва Копелева.

На родине Владимир Войнович оставался правозащитником, бунтарем, скептиком. В интервью 2017 года он назвал себя «персоной полу-грата» в сегодняшней России и заявил: «Дело в том, что я-то сам в какой-то степени оптимист и думаю, что будет всё не так, как я

пишу в книгах, а лучше <…> в 90-х годах мне казалось, что история пошла в другую сторону, и – слава Богу! И пусть бы мне сказали, что я во всем ошибся. У меня был ответ на это: я же просто сочинитель, и все написанное – плод моих фантазий и ничего больше. Но, к сожалению, потом стало происходить то, что я нафантазировал».

Барри Шерр
Дартмутский колледж, США

* * *

Утром 28 июля я открыл компьютер и внезапно наткнулся на сообщение: «Умер Владимир Войнович». И до сих пор остаюсь под впечатлением, которое произвело на меня это недоброе известие, и знаю, что буду оставаться под этим впечатлением очень долго.

Мы были с ним «на ты» и по имени сорок лет, две не соизмеримые по масштабу и таланту личности. Но за годы общения с ним я ни разу не почувствовал с его стороны даже слабого намека на ощущение им своего превосходства. Подобный такт, который вряд ли можно привить, воспитать, усвоить, получен им в наследство от родителей, простых русских интеллигентов – представителей общественного слоя, планомерно уничтожавшегося советской властью.

Я познакомился с ним в загородном доме моего двоюродного брата Бориса Балтера. Тогда весь их дружеский круг увлекался шахматами: Балтер, Биргер, Сарнов, сам Войнович постоянно «выясняли отношения» за шахматной доской. И вдруг появился я, самый молодой из них, но с первым разрядом, и стал всех обыгрывать.

Это было в канун 1978 года, мы сразу же сели за шахматную доску. После первых партий Володя понял, что я играю намного сильнее. Ему, привыкшему всегда добиваться победы, было нелегко смириться с поражением. Но это не вызвало у него ни досады, ни раздражения, он увлекся процессом – и вновь, и вновь азартно предлагал сыграть еще раз. В этом упорстве весь он: нужно добиться победы, нужно попробовать еще раз, продолжить борьбу!

Таков же он был и в вынужденном противостоянии с советской властью. С той только разницей, что ко мне он относился как к другу, а к ней – как к нечестному и злобному врагу. Власть превосходила его во всех отношениях, кроме двух: она была лжива, а он честен, она бездарна, а он талантлив.

Его исключили из Союза писателей, ему перекрыли кислород, негласно наложив запрет на профессию – перестав печатать; его пытались отравить и, не справившись, вынудили к эмиграции, лишили гражданства.

Но через десять лет он вернулся в новую Россию победителем, его роман-анекдот о русском солдате Иване Чонкине прочли миллионы сограждан. Он обладал невероятным предвидением будущего России. Его пророчества (роман «Москва-2042»), к несчастью, сбываются на наших глазах. До последнего дня он продолжал говорить правду, не оглядываясь на то, как посмотрит на это власть.

Владимир Войнович умер. И невозможно примириться с тем, что я больше никогда не увижу его, не услышу в телефонной трубке спокойный, уверенный голос: «Здравствуй, Витя. Это Володя».

Виктор Есипов, Москва

«Новый Журнал» скорбит о кончине Владимира Николаевича Войновича. Это потеря для всей русской и мировой литературы.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Игорь Гельбах

Бронгаузер с комментариями

Перестаньте вы надеяться на человека,
которого дыхание в ноздрях его:
ибо что он значит?

Исайя, гл.2:22

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прошлое тянулось косноязычной фразой, длинной нескончаемой фразой-нитью, единой и неоспоримой вплоть до момента прикосновения к очищенному от патины медному шару, – ну, с чего начинается дом? – высокие белые резные двери гнутся под тяжестью своей, и открывать их трудно, медный шар полированной ручки медленно поворачивается, краска вокруг него облупилась; люди уходили, нить тускнела, лил дождь, а он шел под своим черным зонтом, обладатель персонального пространства, свободного от вселенского потопа, сторонясь залитых тротуаров, оглядываясь на рев и клики автобусов, дергавших низкие под дождем, холодные, в вечной зелени, ветви камфары.

Ветви провисшие, зонты на улицах и струи, потоки голубой воды и грязной, желтоватой глины, радужные пятна бензина на асфальте, сыреющие дома вокруг, сады, снующие люди, – и вот на двадцать второй день дождь прекратился – и, о боже, счастье, на подъеме за кипарисами зазеленело, засверкало, засинело небо, небо, а он шел с буханкой хлеба, и как легко сразу стало, – а у развалин снесенного дома, у сырых бревен, у огромной лужи стоял и смотрел на улицу Бронский – полный, седой, с зелеными косящими глазами.

«Почему я встречаю его весь последний год?» – подумал он на двадцать второй день, когда окончился дождь и на подъеме за кипарисами засинело, засверкало, зазеленело церулеумом небо; церулеумом, его любил этот мальчик, выставлявшийся ежегодно с любителями и профессионалами, худой и смуглый, ненавидимый теми и другими, единственный, кто знал истинный цвет неба здесь, где небо тесно обнималось с горами и деревьями, и, обрываясь в провалы, припадало к холмам и кайме изогнутого берега моря, к огромной его живой плоти.

Любители выставлялись осенью, в октябре, а в ноябре выставлялись профессионалы, а мальчик – да какой уж там мальчик, ему ведь было давно уж за тридцать, как и Бронгаузеру, – увозил холсты из выставочного зала в декабре, холсты в плоских белых рамах, с рыбой, кусками моря, горами и кофейнями – частями его мира, где он иногда напивался, смуглел с годами, худел, часто ходил голодный, ушел от жены, пил кофе, ругался зло и обиженно, завел себе девушку с большими глазами и маленькими ручками, жил то у нее, то где-то внизу – «в яру», говорил он, – как цыган, в маленькой комнатке первого этажа большого дома, принадлежавшего старой учительнице.

У учительницы было две дочери, громадные, рослые, их не удалось выдать замуж, и дочери сидели на веранде, перекладывая на солнце лук и картофелины, сушили хурму и перец, а он кашлял – он начал кашлять, и даже раз хвастал Бронгаузеру, что иногда кашляет кровью, хвастал не без опаски, он знал, чем это может кончиться, ездил куда-то, иногда продавал свои работы, покупал много красок, писал подражательные вещи, чего-то хотел, каждый год в октябре и ноябре притаскивал свои картины в темный выставочный зал – там же, под картинами на стенах, устраивались банкеты по случаю открытия выставок, – смотрел на море в полдень, уходил обиженный или радостный и довольный, зло шутил или огрызался, не мог ужиться со своей девушкой и с собой, а время шло...

– А Бронский раньше не встречался ему? Почему не встречался? – он не выделял его, полного, высокого, с седыми кудрями, ходившего... нет, тот нёсся по улицам, подпрыгивая, закинув голову, полнощекую, с узкими зелеными глазами, и выпятив круглый, похожий на яйцо живот; к тому же Бронский умудрялся носить чистые светлые плащи, разные, словно времена года, так что живот несся огромной формой, до патологии странным символом его, Бронского, иной жизни, о которой Бронгаузер раньше только слышал, – сведения, почерпнутые из чужих, досужих разговоров о неоконченной диссертации, посвященной Малеровой мелодике, во время защиты которой Бронский вдруг запел, – и однажды Бронгаузер даже попытался представить себе, как это могло бы выглядеть, но узкие зеленые глаза, закинутая с седыми паклями кудрей голова и плывущий, подпрыгивающий живот мешали...

Позднее Бронский запел еще раз, произошло это уже после несостоявшейся защиты диссертации.

– А можно ли мне съесть котлету? – запел он в музыкальной школе, запел внезапно, во время занятий, достал из портфеля завернутые в газетный лист с жирными пятнами котлеты, положил пакет

на стол, пошуршал газетным листом, выбрал котлетку повкуснее и принялся жевать ее, показывая крепкие желтые зубы, а девчонки в классе молчали, чернявые, почти все длинноволосые, с завитками у ушей, в разноцветных кофтах, почти уже женщины.

За окном, на склоне горы рос бамбук и желтела мимоза, шел февраль в холодном классе, а против них стоял педагог в мятой шелковой безрукавке, безликой, сиреневой, и кося зелеными глазами, пел о котлетах.

Тут одна из них затрясла головой, мелькнула белыми гольфами от последнего стола к двери, мимо бессмысленного, мерзнущего, кузнецовскими плитками выложенного камина, мимо огромного окна к двери, резной, белой, голубоватой, а Бронский бросил в нее котлетой и, схватив за руку, пытался придушить другой своей, короткой и сильной, красноватой рукой.

Эти руки, подрагивая, неслись по городу, красноватые, грубые, – наверное, ему самому стирать и гладить приходится, – в прачечной Бронгаузер слышал, что Бронский отказался забрать выстиранное белье своего отца, который умер неделю спустя после возвращения из больницы... где они жили? в каком конце города? – Бронгаузер встречал его всегда в центре, сосредоточенно, с достоинством отвечавшего на его кивок; теперь он жил один, гладил и стирал, утюжил свои невероятные балахоны и плащи, было видно, что это рука мужчины, жесткая и твердая, неумолимо ведущая к недоеденным, холодным, пожаренным наполовину из хлеба котлетам и внезапному пению, но пока он ходил по городу, словно вынашивая что-то, питался в столовых – в ресторан бы его не пустили – и, воровато оглядываясь, прятал несъеденные, оставленные куски хлеба в карманы необъятных плащей, на одном из которых огромное, замытое и заглаженное кофейное пятно неопределенных очертаний казалось вполне естественным, придавая одеянию некую фривольность облачений арлекина, поющего над котлетами из сухарей и гнилого мяса.

И весь последний год, направляясь ли за хлебом, вышагивая ли лужи под зонтом во время дождя, разглядывая криптомерии в саду в обеденный час или останавливаясь со знакомыми в тени камфарного дерева, ожидая ли автобуса в тени голубой стены, а то и среди снующей у причала толпы, Бронгаузер неизменно встречал его, бредущего в неизвестном направлении, с напряженной складкой над переносицей, косящего зеленым глазом, идущего, подпрыгивающего, вынашивающего свое ожидание...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступила суббота, когда сам Бог отдыхал, сотворив мир.

Дождь, ливший всю неделю без перерыва, умолк и вызвал желание что-то сделать в доме – и решено было сдать бутылки.

Бронгаузер взялся за это дело с товарищем, приехавшим сюда, на море, из Тбилиси, где лежал снег, ведь уже был декабрь, – вот и бегство из снега в дождь; целые дни лежал тот на тахте, копаясь в книжках и старых журналах.

Алико навырезал оттуда целую коллекцию фотографий и портретов товарища Сталина, угрожая расклеить их по квартире, если дождь не прекратится; кроме того, он обзвонил всех знакомых женщин, но шел дождь, и женщины не то что радоваться – даже узнавать его не хотели, и в отместку он втягивал по вечерам Бронгаузера в серии бессмысленных визитов к общим знакомым.

...Ну вот, выживший из ума старик в фуфайке на волчьем меху открывает им дверь – а они стоят в холодной и сырой тьме, ведет их в дом и потчует гималайским чаем с брусникой; старик в фуфайке на волчьем меху с эдакой бородкой клинышком и глазками, тоскующими по вину, но старая белая мышь – сожительница его – твердой рукой заваривает гималайский чай, а пустые бутылки из-под «Кахури» стоят в углу на кухне, забитой склянками и банками, под тусклым светом, и, облизываясь, старик начинает рассказ о странствиях святого Христофора...

– ...Ату его!.. – вдруг громогласно восклицает он, но никто даже и не вздрагивает, и мышь белая заводит беседу о магнитных силах, настойках, травах и буддизме.

Старик показывает вялые и грязные живописные работы свои, репродукцию портрета своего, писанного кистью нынешнего академика, – на портрете молодой капитан медицинской службы, дошедший до самого Эйзенаха в войну...

– Ох, иное было время, – тут взгляд его становится острее и бойчее, – а не сын ли вы того Бронгаузера, что работал впоследствии в санатории? – осторожно осведомляется он; вскоре глаза его слегка мутнеют, мышь белая вновь вспоминает о силах магнитных, а старик, распивая безвкусную смесь таежного чая с гималайским, сидит здесь, на краю света, и мечтает о бутылке вина...

– Ату его!.. – кричит он, повторяя легенду о святом Христофоре.

Запустение и грязь, странность какая-то в доме его, как и во всех других домах русских людей на Кавказе, – пьют ли они вино, гималайский ли чай, морс или квас, едят ли грибки иль чудом добытую семгу, – заповедный зверинец, чудо невиданное люди эти, совсем уж здесь, в этом краю, непонятные и друг другу, и себе, а уж подавно и всем остальным.

Но славный все-таки старик, светло как улыбнулся он на проща-

ние и приглашал заходить, об отце побеседовать, но Бронгаузер к нему зайти не успеет: весной старик выйдет на прогулку с мальчиком соседским и уж на пути домой присядет вдруг под деревом со словами: «Чувствую, что со мною сейчас произойдет нечто важное», – и скончается, сидя под деревом.

– Таков уж наш философский пейзаж, – говорит Бронгаузер, выходя, – вот домой доберемся и вина выпьем, а тут Готты, Юрловы и другие, дюжина экзотических персонажей, русские на Кавказе, потомки завоевателей, странные люди, потерянные средь мокрых пальм и чужой толпы зимой, здешней – зябкой, сырой, дикой, обезьяньей, зимой мерзнущие и отогревающиеся, болтающие, словоблудствующие, абы выкрутиться-устроиться; не чужие да и не родные здесь, выброшенное семя, чахнущие плевелы, ну и мы с тобой, Алико, тоже хороши, эдакий «Пейзаж с дураками» открыть, ну а дураки-то мы сами...

Так, болтая, добираются они домой и пьют там добродетельное «Саперави».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бутылки были покрыты плесенью; серые и лиловые пятна ползли по наклейкам, повторяющим одни и те же имена вин, свидетелей ушедших годов и урожаев винограда.

Бутылки, купленные в уличных палатках; бутылки с сиреневыми штампами ресторанов на наклейках – эти приносили поздно, когда магазины были закрыты; бутылки, которые приносили товарищи, потом их выпивали на веранде – огромной, открытой веранде с несколькими старыми шезлонгами, диваном, обеденным столом, венскими стульями и буфетом где-то в дальнем углу и тремя бамбуковыми легкими столиками, сплошь уставленными горшочками с фиалками – «Пламтип», «Империал», «Лилиан Жеретт», «Гвоздичка», – их имена часто повторяла мать; ну а ниже, за верандой, охраняло горизонт и тишину ожерелье бородатых пальм – а бутылки были здесь, на веранде, пустые поименные свидетели прошедшего времени. Теперь их предстояло сдать – очистить дом, получить деньги и купить новое вино.

Кроме бутылок в чулане оказались и банки, свидетели доисторических времен, когда в доме была мать; а нынче во дворе стояла суббота – день, когда сам господь Бог отдыхал, – и Алико, многоопытный в общении со стеклянной посудой, намекнул, что, пожалуй, стоило бы сдать и банки, они ведь пользуются неизменным и твердым спросом у хозяек, изготовляющих варенье...

– И это ты знаешь? – удивился Бронгаузер.

– Ну, Брон, раз в год камень по камню соскучится, а тем более я по хорошему варенью, вот и хожу каждую осень к тетушке на майдан айвовое варенье пробовать...

– Так ведь осень еще далеко, – лениво протянул Бронгаузер.

– Но лето уже не за горами, – с мудрецой ответил Алико; стало смешно, как может быть смешно в холодный декабрьский день, – и решено было сдать и банки, все банки – прозрачные, стеклянные, большие и маленькие вместилища пустого пространства. Теперь предстояло отыскать шофера, который не погнушается рублем за перевозку посуды...

Правда, жил невдалеке по соседству Николаев, тот самый, что в далекие пятидесятые годы обзавелся первым пикапом в городе и зарабатывал доставкой усопших в родные деревни, время-то было далекое, и привезти домой покойника в кузове пикапа мог далеко не каждый, ибо больше пикапов в городе не было, и, бывало, Николаева разыскивали, когда больной был еще жив, но близким его уже было ясно, что долго он не протянет, вот и сговаривались с Николаевым заранее, а он артачился, куражился, выспрашивал о дороге, асфальтирована ли, да сколько по проселку ехать, да какая цена будет, – невысокий такой мужичок с кривыми зубами и хохолком белым надо лбом, – да и развозил он покойничков, а у скорбящих уж и стол для него накрыт, и кормили его и поили – ну, той пищей, что к поминкам готовили, – лобио, зелень да вино, – так что через какое-то время он и раздобрел от вина покойницкого, и дом себе отстроил на покойницкие деньги; а город-то рос да и покойничков поболее становилось, объявились и конкуренты у него кое-какие, вот и стал он от выпивки отказываться да спешить, да скорость набавлять, чтобы двоих-троих покойников успеть за день развезти к местам упокоения, на их родину, то есть, ну так вот однажды эдак лихо влетает он в деревеньку и через двор, выстриженный, чистый, для свадеб и поминок, кстати заметим, тормозит у дома, значит, и кричит:

– Покойника побыстрей выгружайте...

А со двора вдруг охи да ахи, вопли несутся, да уж чересчур перепуганные что-то. Николаев оглянулся, зло было взяло, – чего орете, мол, а у покойника изо рта пена вывалила, пошел пятнами, и хоть машина и стоит, а трясется весь покойничек в пене и мыле, бедняга, мало, видно, при жизни мучался, так его Николаев порастряс на ухабистой дорожке... Ну, уж тут Николаев газу дал, разворот с места, вылетел покойник из кузова, грохнулся оземь и трястить продолжает, а родня словно завороженная стоит, а Николаев-то уж гонит по проулку, а тут с крыльца палить в него кто-то стал... Ну да ничего, выпу-

тался-таки Николаев из этой истории, и, как он любил повторять, по склонности своей к облегчению страданий человеческих пошел работать шофером на «Скорую помощь», иногда разъезжая по городу вместе с Бронгаузером-старшим, отцом.

А что же делать с семилитровыми бутылями, где хранилось вино из деревень, столь любимое Вахтангом Николаевичем, – помнится как-то раз, уже после смерти Бронгаузера-отца, отведав молодого вина из Ачандары, Вахтанг Николаевич погрузился в состояние некоей задумчивости – дело было в начале ноября, в первые его дни, когда октябрьские с небесной голубизной дни вдруг исчезли, стремительно порыжели и покраснели листья хурмы, плоды, сорванные с ломких, гибких ветвей доспевали на столах и в плетеных из ивняка корзинах, а побледневшее марлевое небо простиралось далеко и безразлично над склоном горы Чернявского, усыпанной, на манер птичьей болтовни, невнятным узором палой листвы.

Ах, Боже, что же говорил тогда о вине Вахтанг Николаевич?.. Помнится, говорил он о духовном вине, так он выразился, и это есть подлинные его слова – «духовное вино», то есть рассказывал он о том, как после похорон отца своего, после поминок, возвращаясь уже в Тбилиси, повстречал он друзей в Телави, и хоть и смотреть он в тот день не мог на вино, отправился всё ж таки с ними кутить.

– Воистину, то было духовное вино, – говорил он, – иначе и не сказать, – то есть представь себе, – обратился он к Бронгаузеру, – что смотришь ты с горы в долину и с каждым глотком видишь всё яснее и дальше, но и не только видишь, но как бы и растворяешься в увиденном, а вслед за тем обретаешь крылья и паришь над долиной этой, над травой и склоном и над собою, впитывая как бы солнечные отсветы с гор, – вот каково оно было, словно сам дух вина посетил те бутылки, иначе и не скажу, – заключил Вахтанг Николаевич.

...Будто вино может забыть о земле, гнущейся лозе, давильне и глиняной утробе, где оно вызревает, и помнить лишь о небе над холмом.

Ну, кончено, наконец, окончено, бутылки упакованы в старые чемоданы и сумки и вынесены на дорогу из дома, старого дома, возведенного Чернявским в 1916 году на средства Московского географического общества; в этих краях он занимался раскопками, оставив шурфы и кротовые норы на всей горе, а дети всегда спорили, нашел он клад или нет, ведь потом уже, после всех раскопок, после всех переворотов, ходил он в странной огромной шляпе, в ней позвякивал будильник и ртутью поигрывал градусник, – нашел, наверное нашел, – убеждал Сосулька, сосед, – иначе б не чеканулся, – вот я вырасту и

отыщу, куда он его припрятал, – и чеканёшься, чеканёшься, Сосулька; но Сосулька не чеканулся и клада не нашел, а Андреем Элизбаровичем стал, – ну а чемоданы и сумки вытащены на дорогу; остановить, загрузить сокровища эти в багажник и кузов, усесться и заскользить вниз с горы Чернявского – с горы Чернявского, декабрьской, нахохлившейся, кое-где дым из труб поднимается, сизый, вьется низко, не исправится погода, нет; заскользить, обгоняя автобус Харлампия, мимо невысоких домов древнейшей части города, мимо кипарисов и магнолий, вниз, в шум улочек и улиц, и туда, к старому санаторскому пляжу, где стоит синяя ли, зеленая деревянная будка, последний свидетель и соучастник винных одиссей, полная ночного шепота и звона пустых бутылок у песка и гальки пенистого моря и длинных бетонных волнорезов, – будка, кормящая целую армянскую семью: коренастого, курчавого отца с коричневыми сухими глазами, сына лет четырнадцати в кожаной куртке, – в четырнадцать я обошёл все окрестные горы, – вспоминает Бронгаузер, – и крутился возле виварiев, в Институте, – и молчаливой жены в фиолетовой юбке и желтой кофте, торчащей в будке, если самого армянина нет, современного Баркильфедро, постигающего тайны товарного производства в совокупности своих деяний – приемке и оплате сданных бутылок, комплектации бесчисленных ящиков, отправке ящиков и оформлении накладных, которые следует сдавать в банк, чтобы получать деньги, зарплату то есть, да еще и приворовывать копейки, когда бутылки сдают, обсчитывая на тысячелетних костяшках весов, щелкающих заскорузлую мораль денег, пропахших вином, которое само стоит денег, не стоящих уже ровным счетом ничего.

Зябкий туман расползался, и на город и море повалил снег, а армянин сказал:

– Бутылки мыть надо, так не принимаю...

– Со скидкой возьми, – предложил Алико, – только время теряем...

– Нет, банки мыть надо, – сказал армянин, – вон море, воды много – молодые, вымойте...

Чуть отойдя, Алико, усмехнувшись, сказал: – Надеется, мы их здесь оставим, давай вымоем, иначе получится – нас армянин обманул...

Хлопья снега тонули в медленно бегущих, темных, зеленых волнах, а банки пришлось окунать в воду, опускаясь коленями на цементные плиты волнореза и ожидая гребня бегущей волны, а в банках был песок, набранный на пляже. Руки, вначале мерзшие от холодной воды, горели потом от песка, и к тому времени, как на волнорезе выстроилась гора стеклянной посуды, они разогрелись, а банки

засверкали на холодном свету чуть проглянувшего бледного диска; здесь, на волнорезе, сырости не было, была чистая бегущая ледяная вода, косые лучи света, сверкающие банки и ободранная песком кожа рук. Воздух стал чист и свеж, армянин на берегу превратился в маленькое пятнышко, в передвигающегося складного человечка, а вокруг бежали волны, волнение усилилось и гребешки иногда забегали на цемент, обдавая холодными брызгами чуть присыпанные сверху снегом банки.

– Что за странная история с мытьем банок? Быть может, армянский Бог обитает в чистой стеклянной посуде?..

Действительно, – может ли Бог обитать в чистой стеклянной посуде?

– Трехлитровые я не принимаю, – сказал армянин, – тары нет...

И чистые банки, обширные вместилища полного светом пространства, или просто ярчайшего света, который и есть пространство, остались на голышах и гальке, под легкими стрелами снега, летящими в холодные, белые, бегущие к берегу овчины.

...Ну вот, снег валит и тут же в грязь превращается, в хлюпающую мякоть, а они несут пустые чемоданы, а в них сумки, и теперь всё это надо заполнить съестным, ну «Напареули» им попалось, тут всё ясно было, а мяса не было, ведь за полдень уже; итак, мяса не было, но оказались почки, ну чем же плохо, в дымной сырости и свете желтом, в падающих хлопьях снега, без женщин, изготовить почки с луком, вымыть, нарезать, тушить с луком, добавить уксуса, специй, изготовить огромную, паром дышащую черную, чугунную сковородку почек, и есть их горячими, пока не остынут и не утонут в жире, и запивать их вином, равномерной глубиной красного и синего, в желтом свете ламп под потолком – в декабре ведь быстро вечереет, – почки, дымные зимние почки, словно поминки по мертвому, дымные почки, съедобные органы, пряные, отвратительные, почти зеленые, острые, резкие, пьянящие, пышущие паром, их надо есть, есть немедленно, пока не застыли, – на этой черной тяжелой закопченной чугунной сковороде, медленной и основательной, как глотки последние, – не последние, еще выпьем вина, черного живого вина зимы, нашей зимы, нашей зимней бедности, нищеты и убожества...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...Пьяный, с залысиной, с шевелюрой, спутавшейся с кашне столь же непристойно, как ее обладатель с поэзией, словно и она не

что иное, как дешевая шлюха, вывалился пьяный Сантия на причал ресторана на воде, в ровный свет холодного воскресного дня.

– Много я выпил, я, Сантия, – больше, чем это море; привет тебе, Бронгаузер, я слыхал, и Алико тут?

– Алико? Здесь где-то Алико, – ответил Бронгаузер, а Сантия обнял его и зашептал: – Отвези меня, домой отвези, а? Это я тебя прошу, Сантия, никого я здесь видеть не хочу, только тебя, и ты мне не откажешь, а? Я ведь не пьяный, я аванс получил, выпьем за Аполлинера, а? Его издавали по двести книжек, а меня по тысяче, моя поэзия – это скандал, вот, смотри, Брон, – они выходили уже на набережную, и поэт продолжал: – кустарник у ресторана зеленый, на него все мочатся, а он зеленый, – тут подъехала машина, поэт назвал свой адрес и захрапел, потом Бронгаузер протащил его сквозь куриное кудахтанье во дворе, мимо развешенного на просушку белья и мальчишки, копошащегося в луже, вытащил из его кармана ключ и открыл дверь в низкое строение, стоявшее прямо на земле, где в вечном зимнем запахе керосина жили Сантия и его соседи.

...Наконец поэт захрапел, выбросив до этого каким-то сумасшедшим жестом руку вверх с мятой зеленой трехрублевкой и бормоча что-то о шампанском. Поправив пальто на спящем поэте, Бронгаузер вышел из маленькой, с керосиновой печуркой комнаты, где, судя по всему, уснула Муза, под прогнувшимися от тяжести книг самодельными полками на стене. Книги и журналы Сантия обычно просматривал в кофейне, эпатируя своих не столь современных коллег, толкующих о женщинах и футболе в предчувствии с неба свалившейся выпивки, а дома он работал и напивался; и то и другое он делал на славу, тибетский взгляд его становился всё тверже и, явившись в кофейню во второй половине дня, он обычно устраивал там ошеломляющие «парады поэзии».

– Я – Сантия! – восклицал он после чтения очередного опуса. В стихах своих он часами воспроизводил ветреные ночи Элиота, так, что, пожалуй, ночи эти порывами ветра начинали напоминать о бурях некоего британца и грозовом перевале жившей несколько позднее британской леди, – и глаза его победительно сверкали, когда, перелетев Ла-Манш на крыльях ветров, он укладывался старой мраморной рыбкой на дно ваших бокалов! – кричал он посетителям кофейни. Порой же превращался он в ревущий паровоз и мчался по горам Кавказа, распугивая редакторов и получая гонорары в женских, военных и пионерских журналах, пропиваемые в той же кофейне.

– Я – Сантия, – проникновенно шептал он сыромятным поэтессам из разнообразнейших медвежьих уголков, валом валившим погреться под теплым небом, подставляя ему плечи в веснушках и

крупные желтые зубы, попить кислое вино и проверить слухи о мужчинах с Юга.

– Я – поэт, а не буржуа, – продолжал он, – я уважаю всех женщин, даже зеленых, пусть кто-то пишет о восходе – на закате нет мне равных.

Он гордился своей нищетой, лысиной, шевелюрой, тибетскими глазами, адским аппетитом, квитанциями из вытрезвителя и собственной гениальностью – в ней, он знал, людей можно убедить.

А в самом деле, – спрашивает себя Бронгаузер, вернувшись в ресторан, – раз уж здесь говорилось об Аполлинере, то что тут говорят о Кванталиани, знаменитом местном бандите? И где Алико? А, вот он идет от последнего столика, кашне еле держится на шее и глаза красные... Неужели обязательно приезжать сюда, чтобы напиться, в Тбилиси нельзя было этого сделать?

– А с кем я вчера бутылки сдавал? С Кванталиани, что ли? Ай, Брон, не узнаю тебя, действует на тебя этот город, давай чаек хлебом покормим, с лету они его хватают зимой, а, Брон?

И вопль, и клекот тут вокруг, крылья чуть за лицо не задевают, несутся стаей, кругами над холодной водой, хлеб с лету подхватывают, аж голова кружится.

– Существуют здесь, у нас, видите ли, два типа нищеты, летняя и зимняя...

Ах, как хороша летняя нищета под солнцем – обитые кирпичные ступени, красные пятнышки кирпича и зеленая трава во дворах, цветочки в банках и в кастрюлях, полных земли, цветы, еженедельно, в семь дней раз, меняющие цвет и аромат, и тепло – летом легко быть нищим; густой воздух, вечные кипарисы и дуга моря; утренние, графленые солнцем линии в чистой тетрадке наступающего дня; тугие, плотные, облитые сиянием дня объемы, формы дня, полные энергии солнца; послеполуденное плавление форм, часы уходящего солнца; море поднимается в небеса, а формы постепенно растворяются в вечернем синем пространстве; живые теперь стоят синие деревья в ночи, гулок звук босой по облитому луной асфальту... наступает ночь, неверная ночь живой души, дичь холмов, кустов и дерева под луной, а затем ранний, чудовищно ранний рассвет, прерываемый катастрофическим появлением за низкой полоской берега на левом краю бухты огромного малинового шара горящего водорода, дрожь воды, ее мягкая, влажная прозрачность, – летом легко быть нищим, и мы забываем, что наступит зима...

...Зимой нищета иная, она лезет за шиворот, цепляет ногу и кисть

левой руки судорогой и покалыванием, ноет ушибленной плюсной; нищета падает холодным дождем и сырым снегом, она в зеленых пятнах сырости на стенах домов, она точится капелью с потолков прохудившихся крыш, с голых сырых ветвей деревьев; нищета в сыром, хлипком снеге, в набухших пальто обитателей кофеен, в водке и лимонной настойке, в кофе, всё больше напоминающем бурду, в крови мерзнущей рыбины, лежащей на заснеженном цементе причала, которой торгует пьяный рыбак; нищета в бессмысленных разговорах о деньгах, преступлениях и бандитах, их рожает низменная, сырая Колхида; нищета в мерзлых полях, естественными обитателями которых являются крысы, достигающие здесь фантастических размеров, в мусоре, железном хламе, покрышках и рваных сырых ботинках, во всём, что выбрасывает свирепеющее море, в тощих пернатых, дерущихся из-за хлеба и остатков пищи в помоях из ресторанов и столовых; в разномастной толпе, кутающейся кто во что горазд, в воплях кошек и лае собак...

...Это зимняя нищета – зимой у нас курят «травку», выпрашивают подаяние Христа ради, лазят по карманам, пьют слив – то, что остается в бутылках забытое, недопитое; режут друг друга, едят, ссорятся и делают детей – тех, кто вновь переживает всё это, хватая землю зубами, карабкаясь, обрастая побегами, желая выжить и дожить до лета, когда огонь солнца простит всё.

Солнце отогревает, оно прожаривает, оно благословляет нищету, своим постоянством, рычанием тела и молчащей душой, незыблемой, испепеляющей багровой горделивостью, рождающее всё живое, – вино, соль и хлеб, замес и закваску, – то, на чем строится жизнь вокруг, выжигая при этом память обо всём замеченном, ином, идущем от луны...

...Но иногда летней ночью электрическое освещение гаснет, и после минуты темноты, после непривычной для глаз новой равномерности подлунных измерений ты входишь в иной ландшафт под ровным ореолом ночного светильника... Границы видимого разлетаются вслед за движением равнин под сень темных, в проблесках лесов и к дальним отрогам гор; разлетаются отсюда, от белеющих стен зданий и покоя по-новому чужих объемов домов в нагой пустоте улиц, от ночных торчащих балконов, от деревьев, растущих на чуть покачнувшейся земле и от овального, безличного зеркала моря, полного отраженным ореолом лампады, от дыхания иной жизни, исполненной сосредоточенности и покоя, спокойного движения земли с медленно плывущей в небесах одинокой ночной летней тучей...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Со временем из прошлого выплыла толпа, нет, не толпа – колонна грязных, небритых и однообразно зеленых военнопленных, солдат Третьего рейха. Тогда солнце палило, а их вели по низлежащей улице, и дети смотрели на них с горы Чернявского – у ее подножия пленные строили аптеку. В перерыве они сидели на досках и кирпичах. Они жевали хлеб, и один из них играл на губной, или «душегубной», гармонике, так называл ее Мишка-сумасшедший; он часто вышагивал рядом с ними по тротуару, пока их вели по мостовой, с мотком проволоки вокруг шеи и мертвыми цветами в тулье шляпы, побрякивая и звеня, словно похоронный оркестр.

Сначала на них выбегали смотреть все, потом только дети; к пленным привыкли, они строили аптеку и никто на них больше не смотрел.

...Дети смотрели теперь на живодеров. Они появлялись в городе на грузовике, с большой, из железных прутьев сваренной клеткой в кузове и отлавливали беспризорных собак и тех, что просто попадались, тоже. Собаки шли на мыло, они выли и лаяли в клетках и от тоски и страха грызли друг друга.

Живодер, главный, был худой рыжий мужчина с красными пятнами на лице и шее. У него был вечно хриплый голос, и если он не мог поймать собаку, прижав ее к изгороди или оглушив ударом палки, он стрелял. Почему-то в клетке всегда было больше собак светлых мастей. Собаки выли и лаяли, а рыжий живодер с красными пятнами на лице и шее наводил ужас.

...Потом живодеры исчезли, но на мыло противно было смотреть, оно внушало отвращение, хоть старшие и уговаривали умываться; руки мылись белыми безумными собачьими белками, собаки выли и лаяли в железной клетке.

Сосулькиного пса Артема тоже забрали, с улицы; рыжий живодер уселся в машину, и грузовик под вой и лай собак уехал по подъему, а Сосулькин отец не успел съездить за Артемом – собак убивали не сразу, если приезжал хозяин, собаку отдавали, а Сосулькин отец не успел, он работал шофером и ездил далеко по деревням, он не успел, и Сосулька его ненавидел за это, ненавидел, так он говорил.

А на подъеме, на подъеме – с трудом его брала когда-то рыжая кляча, а мы бежали за повозкой и вопили: «Самсон – керосин, Самсон – керосин», а сам Самсон, рыжий, как его кляча, и словно вымытый керосином, шел рядом с цистерной на колесах, помахивая кнутом, на подъем, на подъем, а там – снова на повороте, в голубой тени – Бронский... но я спешу, подумал Бронгаузер, спешу домой, в свой дом, в свою часть дома, где я жил в детстве, далеко, тогда – дале-

ко, незнакомо глядел мальчик на человека, вошедшего на веранду, – банка с прорастающим луком на перилах веранды, а мальчик сидел за столом, ковыряясь вилкой в макаронах с котлетой на веранде дома Чернявского, так этот дом все называли; прямо на веранду лезли ветви старых пальм – и сейчас лезут, старые, словно бессмертные, пальмы... мама умерла и тот человек тоже, вошел и сел на веранде, а за пальмами – хурма красно-оранжевая, тогда, осенью, звенело всё в воздухе, ниже цитрусы желтели, а дальше, вниз, – город и простор небесный, а море низко где-то, и чтоб его увидеть, надо встать из-за стола, и вилка всегда падает на пол, когда я встаю, и подойти к перилам, но осторожно – везде банки с цветами, луком, из луковицы красной росток зеленый лезет, и горшочки с кактусами и хоботками, мама их любит, и если подтянуться, на цыпочки встать, то где-то внизу синяя полоска... а тут человек вошел в пиджаке, кудрявый, немолодой, и спрашивает, где мать, а потом ушел, не приходил больше в этот дом, построенный московским обществом испытателей природы для Чернявского в 1916 году здесь, на горе, высоко, из тиса и каштана балки и перекрытия до сих пор стоят; дом на тысячелетней горе, где Чернявский раскапывал очаги, кузни, черепки, украшения и оружие в могильниках, места, где жил огонь, жили люди, все, кто мог сюда добраться, прийти через горы, приплыть по Понту, вечному пути; и тот, кудрявый, тоже добрался, на набережной я с ним встречался и гулял с ним, и мы говорили, но когда он умер, чувствовал ли я, что он отец мне?.. хотя и другого, того, кто утром отводил меня в школу и с матерью катал нас на извозчиках когда-то, а потом в черном трофейном автомобиле, отцом тоже не считал.

Мы неслись в автомобиле по улицам с тогдашними малярийными канавами, мимо лавок и шалманов, проскакивали чистые прибрежные улицы, а потом летели великолепным серпантином на гору, она называлась именем Сталина, теперь его портреты висят в сапожных лавках и за ветровыми стеклами грузовиков, рядом с разумно обнаженными девицами.

...Но человек этот немолодой появился, кудрявый, в глаженом пиджаке, а мальчик сидел на веранде и ковырялся в макаронах с котлетой, – появился уже потом, после марта 53 года, когда умер Сталин, после траурной клятвы на мартовском солнечном бульваре у фонтанов, после тысяч красных галстуков и голубого порывистого ветра... и если случайно я его встречал, рад был больше, чем когда встречались по уговору, и он приглашал меня обедать в ресторанную торжественность той поры, жесткий крахмал салфеток и сирень в графинах на столе, плюш кресел и мытую приветливость официанток, в этом

ресторане хорошо его знали, а мальчик познавал многозначную тайну меню, непривычный вкус «Боржоми», обжигающий огонь кавказских блюд во рту, снова «Боржоми» и желание прокатиться на катере...

Они обедали, говорили, расходились, и мальчик снова забывал о нем; он выстругивал свистульки из веток олеандра, с них легко слезает кожица, жевал листья кустов и деревьев по дороге домой и узнавал их на вкус, а вдруг – Робинзон Крузо? – это осталось у него навсегда... а мама иногда расспрашивала, осторожно, непонятно, слова какие-то вырывались у нее; мать ходила по веранде или сидела у зеркала, курила, разглядывала акварельки на стенах, куталась в халат, высокая и стройная, обнимала и целовала сына, смеялась, шла смотреть, как прорастают хоботки, говорила, что-то напевала; дул ветер, хлопали окна, их надо было закрыть, много окон на веранде; пожухли листья винограда, умирали голубые и фиолетовые вьюны, прохлада трогала тело по утрам, когда выносили мусор, ежевика подгнивала в ущелье; шло время, прекратились ежегодные снижения цен, были медовые краски, а потом тот человек, кудрявый, в пиджаке, умер, ушел, исчез, был забыт, развеян, лета и осени бежали чередой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Человек, выгружавший хлеб из автофургона, кивнул Бронгаузеру; одетый странствующим монахом, он составил бы украшение любой массовки – из тех, что снимаются в порту, и всякий режиссер подарил бы ему несколько крупных планов; да ведь это Ксандопулос, вспомнил Бронгаузер, тот Ксандопулос, что каждые праздники ввинчивает в аккуратно обметанные дырочки на лацканах синего в темную полоску двубортного пиджака сверкающие золотом и киноварью ордена и, гордо держа в руках древко знамени, идет впереди колонны театральных работников.

...Иногда мальчик приходил в театр на репетиции Вахтанга Николаевича и там-то впервые увидел Ксандопулоса, рабочего сцены, неожиданно пустой и голой тогда – репетиция шла без декораций, а зал темнел полосками плюша, отдавая внутренностью разодранной куклы.

В то время Вахтанг Николаевич ставил пьесу о подвиге ученых, создавших невиданной силы оружие для победы над врагом. На авансцене седым монументом высился тучный Кобуладзе, актер, исполнявший роль генерала, руководившего и направлявшего работу ученых, а также обеспечивающего их безопасность, – вот с ним-то и вел беседу Вахтанг Николаевич.

– ...Внешний рисунок, – в который уже раз повторил Вахтанг Николаевич, – внешний рисунок, вот в каком направлении мы должны

сейчас продвинуться... – и, внезапно вскочив с кресла, Вахтанг Николаевич попросил: – Пройдитесь по сцене, Кобуладзе, пожалуйста.

Кобуладзе прошелся.

– Валико, дорогой, – слегка возвысив голос, спросил Вахтанг Николаевич, – разве генералы так ходят? Ведь что такое генерал? – продолжал он. – Генерал – это человек, прежде всего умеющий маршировать, как никто знакомый со строевой подготовкой, умеющий ходить и походным шагом, и строевым, и парадным маршем, и лисьим шагом, и кошачьим, если того потребуют обстоятельства. – Вахтанг Николаевич передохнул. – Так вот, – продолжал он, – наш генерал ходит в штатской одежде, он умен, дает советы ученым, как же мы поймем, ощутим, наконец, всем нутром ощутим, что он генерал? – по походке! Еще раз повторяю – по походке, именно здесь ключ к опознанию его, не боюсь употребить это слово с несколько криминалистическим привкусом, здесь ключ к пластическому решению его образа. По когтям узнаю льва, – заключил Вахтанг Николаевич, – такова народная мудрость... Ты понимаешь меня, Валико?

– Так как же мне идти, львиным шагом или кошачьим? – осведомился Валико.

Тут Вахтанг Николаевич вместо ответа вскричал:

– Ксандопулоса на сцену!

Помреж сорвался с места. Судя по ретивости, с коей он сорвался выполнять приказ Вахтанга Николаевича, можно было заключить, что занимать должность помрежа он будет до скончания веков.

– Кобуладзе, – скомандовал Вахтанг Николаевич, – подойдите ко мне.

Валико покорно спустился в оркестровую яму и кряхтя вылез в зал – была в Вахтанге Николаевиче некая магнетическая сила.

– Полный свет на авансцену, – скомандовал Вахтанг Николаевич. – Ксандопулос, прошу Вас, ведь вы прошли войну, покажите нам, как ходит, как передвигается настоящий офицер.

Все замерли.

Ксандопулос, чеканя шаг, прошел по авансцене, остановился, дал себе команду: – Кру-гом! – обернулся, все так же чеканя шаг, прошел авансцену в обратном направлении и скрылся за кулисами.

– Выключите свет, – спокойно скомандовал Вахтанг Николаевич и сказал: – Мне нечего к этому добавить. Вам надо поработать с Ксандопулосом, Кобуладзе, – официально сухо заявил он. – На этом всё, репетиция закончена, все свободны... Да, кстати, – обратился он к помрежу, – есть там у нас в пьесе адъютант генерала, текста у него нет, попробуйте подготовить Ксандопулоса на эту роль – хоть один человек будет маршировать на сцене по-настоящему, – добавил он и,

повернувшись к мальчику, потрепал его по щеке, подмигнув ему хоть и незаметно, но совершенно явственно.

Так стал Ксандопулос официальным консультантом по шагистике при Вахтанге Николаевиче. Со временем ему даже доверили исполнение роли немецкого офицера в очередном спектакле.

Отдавая резкие команды и пересекая сцену гусиным шагом, Ксандопулос, облаченный в мундир офицера вермахта, был неотразим и придавал особый шарм этому спектаклю Вахтанга Николаевича.

Со временем, однако, количество пьес и спектаклей, где мог найти себе применение талант Ксандопулоса, сильно поубавилось, а вскоре и вовсе сошло на нет. Однако в районы старые постановки всё еще вывозили. Играть в районах, особенно зимой и весной, было делом нелёгким; сельские клубы не отапливались, актеры мерзли, но играли, надеясь согреться позже, за ужином, следовавшим обычно по окончании спектакля; в селах не жалели вина и еды для актеров, и столы после представления накрывались прямо в зале, а однажды в зале во время представления залаяла собака, приведенная на спектакль каким-то неискушенным в искусстве сельским жителем.

После одного из таких спектаклей Ксандопулос, всё еще в костюме офицера вермахта уселся за стол вместе с актерами и после нескольких часов возлияний, сильно растрогавших его так же и из-за того, что Вахтангом Николаевичем при всех, то есть публично и громогласно, была провозглашена здравица в его честь с пожеланием дальнейших сценических успехов, что в устах говорившего прозвучало весомо и обещающе, – так вот, после столь волнительных событий Ксандопулос вышел из-за стола порядочно пьяным.

Возвращался он с другими рабочими сцены на грузовике с декорациями, где каждый из них забивался в какой-нибудь угол между декорациями и бортами машины, спасаясь от сильного холодного ветра, сопровождавшего их, пока грузовик мчался по темной и сырой равнине, усаженной кустами чая. На одном из поворотов машину сильно тряхнуло, и Ксандопулос, убаюканный вином и предвкушением времен, когда он вместе со всеми актерами будет возвращаться со спектаклей в автобусе, вылетел за борт грузовика, и никто этого не заметил.

Перепачкавшись в грязи, все еще пьяный, брел он по дороге в форме офицера вермахта, пока не напоролся на местных жителей. Их особенно потрясла фуражка, вылетевшая с ним из грузовика. Ее Ксандопулос никак не желал снимать, более того, постоянно поправлял ее... Избитый на всякий случай, сжимая в руках злополучную фуражку, он был доставлен в отделение милиции, где началось разбирательство, положившее конец его актерской карьере... Но рабочим сцены он остался и гордо продолжал нести знамя на парадах и

демонстрациях, шествуя впереди колонны театральных работников. На лацкане его синего в темную полоску пиджака пламенели золотом и киноварью ордена, ввинченные в аккуратно заметанные дырочки.

С годами выражение гордой отчужденности усилилось на его лице, предоставляя почти явственную возможность заглянуть в мир греческого монашества, последние представители которого на нашей земле всё еще живут в горах, питаясь медом и дикими фруктами... Но Ксандопулос, как мы уже говорили, монахом не был. Он прирабатывал разгрузкой хлеба. У него было три сына, чрезвычайно на него похожих. На параде они шли рядом с ним...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...Иногда вечерами мать с Вахтангом Николаевичем уезжали, и мальчик оставался один.

Однажды он вылез из постели, ему захотелось есть, и в одиночестве обошел дом. Стоял летний вечер, за нагретым полом темной веранды болтали о чем-то птицы, молчавшие весь летний жаркий день. Пожевав хлеба с сыром, он уселся на веранде в кресле, разглядывая альбом с репродукциями, лежавший у него на коленях.

Чуть позже ему захотелось чаю, но к керогазу подходить было строго-настрого запрещено, и он решил разогреть воду в жестяной кружке на свече.

Кружку с водой он укрепил на двух перевернутых жестянках – они ожидали земли и цветочной рассады. Меж банками он поставил свечу, огонек ее лизал дно кружки. Мальчик выключил свет и стал следить за огоньком в темноте теплой летней веранды, а внизу камешками света дрожал город, охваченный черной каймой моря. Глядя на ровный, а порой дрожащий листок пламени под кружкой, он уснул.

Через час, наверное, он проснулся, в городе было совсем уже мало света, а над черным морем ясно, во много этажей, светили звезды. Свеча оплыла, и огонек горел меж банок много ниже кружки. Вода в кружке была чуть теплой, и мальчик, узнавший движение пламени, задумался. Потом он убрал банки и свечу, выплеснул теплую воду в ночной мрак сада, в сторону бородатых слоновьих пальм, и отправился спать, в постель.

...На следующий день он размышлял о том, как греть воду, догоняя пламя свечи. Теперь жестяные банки были не нужны. Кружка должна была перемещаться вслед за убегающим огнем – вниз, вместе со свечой, – он словно видел это: в ночной тьме веранды медленно плыли вниз огонь и кружка, желтенькое пламя свечки, ползущие капли стеарина и голубеющая кружка.

...Рогатки... тонкая резина от велосипедных шин... она ведь тянет-

ся сильнее, если на веранде на солнце останется, на столе летним днем... жестяная кружка вставлялась в хомутик, под размер ободка, а от него уж тянулись полоски резины к ободу велосипедного колеса, колесо он прибил к стояку веранды, оно и поныне парило там, поржавевшее и ненужное. Свеча стояла на столе, на блюдце, но толщину резины пришлось долго подбирать – Боже, сколько приходилось выпрашивать ее у ребят, да и свечи отличались друг от друга, они по-разному горели, по-разному плыли вниз огоньки... но однажды он просидел весь вечер, глядя, как опускается кружка за огоньком свечи, ведь на веранде было темно и тепло, он сидел в кресле, после стольких трудов он даже не ощущал, какое оно жесткое и неудобное без подушек, и полосок резины почти не было видно – желтенький лепесток огня, ползущие капли стеарина и, казалось застывшая, голубая кружка...

Ну а потом «Мерседес-Бенц» исчез, исчез со всеми другими автомобилями той поры, исчез, накрепко связавшись – и слившись даже – с Вахтангом Николаевичем, высоким и статным, серьезным, но уже с неустранимыми мешками под глазами, – да, в те годы автомобиля уже не было, не было великолепного, черного, трофейного автомобиля фирмы «Мерседес-Бенц», приобретенного чуть ли не случайно Вахтангом Николаевичем; после недолгого периода блистательных поездок на гору Чернявского и оттуда – вниз, к набережной, театру и морю, автомобиль, казалось бы безупречное творение сумрачного германского гения, потребовал одного ремонта, потом второго и третьего, а кончилось это тем, что «Мерседес-Бенц» был продан и исчез, а новый автомобиль Вахтанг Николаевич, высокий и статный, но уже с неустранимыми тяжелыми мешками под глазами, происходившими от болезни почек, покупать не стал, или не собирался, и его подвозил наверх, домой, маленький автобус, у руля в нем сидел коренастый, коричневый грек Харлампий, с удовольствием выкрикивавший названия остановок и имена пассажиров, каждое утро наблюдавших созданный Харлампием один и тот же фантастический номер автомобилевождения.

Автобус вылетал на маленькую площадь с магазинчиком и телефонной будкой, натужно ревел, преодолевая широкую, поднимавшуюся наверх, к парадной части горы, дорогу, усаженную кипарисами и магнолиями, но сама остановка была сбоку, и тут на скорости нечего было и мечтать резко вывернуть руль и подъехать к пассажирам, ожидавшим его на деревянных синих скамьях у телефонной будки сбоку от дороги. Оттого именно Харлампий устремлялся влево от развилки к горе Чернявского, глушил мотор, и земное притяжение плавно влекло его назад, и вот теперь-то Харлампий выворачивал руль и на заднем ходу прибывал в своей синей коробочке на четырех колесах к

остановке и всегда изумленным пассажирам, распахивал дверь без единого звука одним движением длинной никелированной ручки-рычага и провозглашал: «Выходите – заходите»...

Однажды, когда Бронгаузер окончательно уже вернулся домой, новый напарник Харлампия укрепил портрет Сталина на ветровом стекле, но через пару дней портрет исчез, и Харлампий как-то раз, позднее, в полупустом автобусе, катившем вниз по инерции, рассказал, как с товарищем в тридцать пятом году в Москве учился на курсах красных шоферов и как ему предлагали учиться дальше, поскольку он был очень способным водителем, в чем Бронгаузер и не сомневался, наблюдая игры Харлампия с земным тяготением, – тут было нечто большее, чем техническое озарение, тут сквозило усилие целой цивилизации до конца использовать природные обстоятельства, тут проступал античный смысл слова-концепции «механикэ» – хитрость, именно таков дословный перевод с греческого.

Слушая рассказ Харлампия о том, как умно отказался он от этого предложения, в отличие от своего русского товарища, – ведь товарищ его по молодым шоферским годам сгинул неведомо где, а Харлампий этой участи избежал, сославшись, кстати сказать, на необходимость вернуться к себе домой, дабы обучать тайнам вождения автомобилей и покорению пространства других молодых ребят-комсомольцев; так вот, слушая Харлампия, пока автобус катил вниз мимо розовых и белых кустов олеандра по инерции и иногда, если позволял светофор, на холостом ходу делал поворот в конце спуска и вылетал на главную улицу в пальмах, которая вела к белым зданиям гостиниц и морю, Бронгаузер понял, что Харлампий предпочитал землю, ее тяготение, ее способность родить и плодоносить; у него был свой виноградник и мандариновые деревья, вернувшись с войны, он отстроил дом и каждую осень пил молодое вино.

– В Казахстане его нет, – говорил он, – поэтому мы и вернулись из ссылки, а здесь мы раньше всех поселились...

И верно, лучшие, старейшие в городе дома назывались «греческими».

– Да ведь нас и домой не пускали в ту пору, – вспоминал как-то шофер такси, рассуждая о второй половине тридцатых годов; машина проезжала по Кировскому проспекту – тогда Бронгаузер спешил в консерваторию слушать дель Аньоли, неведомого до той поры пианиста, в Малом зале.

– С утра мы спали, – сказал он, закуривая сигарету с ментолом («Очевидно, что-то с лёгкими», – подумал Бронгаузер), – потом обед, политзанятия до вечера, а уж потом выезжали... все машины были в работе; ну, ездили по адресам и забирали людей, бывало, на дачу за

кем-нибудь ездили, а в одном доме несколько человек сразу взять было надо, меня тоже прихватили; в первой квартире я тоже расписался, там библиотека была громадная, такой я не видел, – там два человека остались, с библиотекой разбираться; ну а потом мы возвращались в казармы, спали, обедали, главное – молчать было надо; потом снова политзанятия, а к вечеру машины заводили, грохот стоял во дворе, спервоначала – уши затыкай, да ничего, потом в привычку вошло, – да и разъезжались по адресам. Вот так-то, – заключил он.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

...Порою беседы с Бронгаузером-отцом, те беседы, что велись в ресторанной торжественности ушедших времен с крахмальными скатертями на столах, где в вазах под хрусталь красовалась сирень, застенчивая в соседстве с красным плюшем административного столика и пальмой в кадке, с мерным скольжением официанток и напряженными гримасками колпачков автоматических ручек, впивавшихся в нагрудные карманы пиджаков, заполнявших зал, беседы в покое и торжественности, инерционной торжественности ресторанов, маленьких святилищ быта той эпохи... так вот, беседы эти порой принимали странный оборот...

Иногда Бронгаузер-старший вспоминал, как находясь в непредставимом отсюда далеке и питаясь в общем-то черт знает чем, он впервые начал задумываться о кулинарии. Он вполне неплохо устроился по тем временам – его спасала профессия; он был прикреплен к лазарету – чудеса, подобные Лазареву воскрешению, там не случались, в основном речь шла о дистонии, ампутации обмороженных на работе конечностей, лечении производственных травм и прочих человеческих недугов – и ему приходилось и оперировать порой, и назначать лечение, и поддерживать отношения с начальством, стремившимся к поистине непостижимым целям, ведь каждый начальник руководствовался своим личным, порою даже физиологическим отношением к медицине, и со всеми следовало поддерживать добрые или хотя бы ровные отношения, ибо Бронгаузер-отец не забывал, что являясь врачом, он продолжает оставаться заключенным...

Так вот, теперь уже, в нынешней ресторанной реальности, он порой вспоминал, как в лагерные времена, в холодной, кисейной и крахмально-сырой торжественности лазарета, лишенного самых элементарных препаратов и инструментария, где ему приходилось полагаться лишь на свое молчаливое бычье упорство, иногда посещали его вкусовые ощущения из тех послевоенных времен на Кавказе, когда он научился было ценить некие прелести бытия, внезапно столь резко прерванного заключением...

Итак, он делился с сидевшим против него сыном фрагментами своих циклопических – такими они представлялись сыну – воспоминаний и размышлений, ведь за пять лет работы в лазарете само течение времени, наполнявшего лазарет новыми больными и недугами, превратило кулинарные изобретения и открытия Бронгаузера-отца, его кулинарные озарения, заполнявшие свободные часы, в сознательно возводимый мост к спасению, мост, создаваемый усилиями собственной воли и воображения, ибо Бронгаузер-старший понимал, что в реальности его лазаретного бытия размышления или воспоминания о любом процессе, более сложном, нежели утоление голода и жажды, могут в конечном счете, в процессе сложной игры противоречивых оттенков, всегда присутствующих в воспоминаниях, превратить его в подобие калеки, лишенного костылей, когда он выйдет, и если выйдет, из мест заключения.

Он вспоминал, как проснувшись однажды в сырую темь мартовского циферблата, безразличного к восходам и заходам редкого, удаленного шарика солнца, он сокрушенно подумал: «Да ведь я забыл опустить во вчерашнее лобио мелко накрошенной киндзы, и оттого оно показалось столь однообразно массивным, лишенным остроты и свежести...» Свежесть он пытался придать, добавляя толченые орехи и уксус, винный уксус из большой бутылки, скисшее фактически вино, но ведь до этого надо было еще добираться-додумываться, и тут, в заключении, он пытался выстроить некую систему по обрывкам моторной памяти, воспоминаниям о последовательности запахов, пятнам зелени, красноте перца, тяжести ступки, – многочисленным строго селектируемым фрагментам из безбрежного атласа воспоминаний, дополненного аналитическим подходом ко вкусовым переживаниям и многочисленными мысленными экспериментами, обрывавшимися внезапными тяжелыми массивами сна на узкой койке в комнатушке при лазарете, где ему каждый день с неумолимостью мертвого, но безостановочного циферблата приходилось лечить или имитировать процесс лечения, что, как ни странно, иногда помогало страждущим, ведь помогали ему, в конечном счете, и кулинарные размышления; но и теперь, уже вернувшись и встречаясь с сыном, обедая с ним, беседуя о всяких разностях, он замечал, как неизбежно в разговорах сползал к пище, еде, хлебу насущному, принимая это как малый элемент сложившейся, после ушедших времен, обыденности.

Прислушиваясь при этом к репликам сына и задавая ему, в свою очередь, вопросы, он вел себя отнюдь не покровительственно, интуитивно полагая, что уж коли сложно наладить эмоциональный контакт с этим мальчиком, выросшим практически в его отсутствие, то следовало бы попытаться сформировать в нем ощущение возможностей

неких иных оценок, в том числе и эмоциональных... И похоже, что целей он своих достиг, ибо сын не только принял, или, вернее, взял себе фамилию отца, но, что, собственно, важнее, унаследовал и какие-то элементы ауры, что неизменно сопутствовала суждениям и поступкам его отца, хотя, подобно пересаженному молодому побегу или срезанной ветке, переживал он свое детство без него, с другими людьми...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

...Но полноте, исчез ли он окончательно после этих прогулок, странный человек, как-то по-особому ставивший вопросы, иногда усмехавшийся спокойно, но сдерживавшийся, не открывавшийся – мальчик это чувствовал, иногда знакомивший с кем-то на набережной – ах, эти нескончаемые беседы во время прогулок... тогда же появился и профессор – вот откуда дверь высокая резная с медной начищенной сверкающей шишкой вместо ручки, а за ней всегда – профессор, небольшой, с узким ртом и глазами глубоко подо лбом – круглым, высоким; но время шло, и пудель во дворе, когда-то веселый, стал ленивым, старым – пудель ушел раньше всех; а потом вдруг мальчик, да собственно, юноша уже, – настоял и взял себе фамилию того кудрявого, в строгом пиджаке, человека – другое имя, созвучное с именем Бронского – почти то же, начало, во всяком случае, одинаковое, начало длинной цепи событий, второй полосы, когда люди вокруг начали меняться и уходить, исчезла старая трофейная машина, Вахтанг Николаевич болел, мальчик в то время много читал и возился с растениями на веранде и в саду, мама за обедом пила красное вино, чтобы согреться, – она мерзла и куталась в халат, а мальчик много занимался – он заканчивал школу, стал строже и внимательней.

...Другое имя, созвучное с именем Бронского, почти то же, начало, во всяком случае, одинаковое...

Теперь он шел в гору – мимо музыкальной школы, где неудачно когда-то учился, – всегда одни и те же звуки черниевых этюдов неслись оттуда, гаммы, трезвучия – неизменно, несколько десятилетий на его памяти, за исключением тех лет, когда он уезжал учиться, но возвращался на лето, и по дороге домой – а море было внизу – летние, неумелые черниевы звуки и обрывки моцартовых фраз – переэкзаменовки у них, что ли? – снова неслись из открытых окон старого особняка на Чернявке; казалось, ничто не менялось – те же звуки, но мама старела, смеялась, курила, сидела в халате на веранде; тускнели акварели, выгоравшие даже во внутренних комнатах; кажется, однажды текла крыша в старом доме, но перекрытия из тиса и платана не пришлось чинить, они держались со времен Чернявского, с далеких,

доисторических времен, когда на горе копали, искали, закладывали шурфы, – нет, перекрытия менять не пришлось, он поднимался с рабочими на крышу, их было трое – отец и два сына, балаклавские греки.

– Хорошо строили раньше, – говорил отец, – это дерево сто лет простоит, – и все трое били железо деревянными молотками, гнули его, связывали в замки, а внизу разыгрывали гаммы, каймой у моря лежал город – дома, деревья сплетались с голубой гладью в тесное нерасторжимое объятье, зеленела набережная, грохотали молотки, время шло.

– Другая фамилия – зачем она? – мама снова остановила его у двери. – Зачем тебе это?.. Ты – негодяй, – вдруг произнесла она твердо, почти сбиваясь на крик.

– Не кричи на меня, – сказал мальчик, или юноша уже, – я не кошка, не кричи на меня, у тебя глаза совсем зеленые.

«Она его ненавидит, – подумал он, – и меня, кажется, тоже, – сейчас, но она меня любит и вытерпит это.»

– Моя фамилия – это мое дело, я так решил, – сказал он, вдруг ударившись локтем о косяк, и волна разряда пробежала по руке.

– Не маши руками, – насмешливо сказала мать.

Они стояли у двери на веранду, и он сказал:

– Не смотри на меня так, – и ощутил прилив гнева, ненависти и стыда, ведь это было что-то свое – то, что он отвергал, и почти захрипел, закричал: – Оставь ты меня, я имею право называться, как я хочу!

Холодно, словно после испарины, смотрела она на него – зеленоглазая, в тени веранды, белых и лимонных дверей, ведущих в комнаты; высокое апрельское солнце полило желтизной пол, в горшках на перилах голубели фиалки – «Пламтип», «Гвоздичка», «Лилиан Жеретт», «Империал»; он вспотел, рубаха прилипла к спине; убрал слипшиеся волосы со лба рукой.

– Оставь меня, – уже устало сказал он, – я знаю, что мне делать...

...Ах, кого она напоминала, та женщина со сверкающим овальным лицом? Она вела семинар по давным-давно забытому предмету – первые несколько минут, впервые оставшись наедине с ним, она смеялась, вчуже наблюдая, как живо, жадно тянулся он к ее полным губам. «Какой ты забавный юноша, – говорила она ему, – совсем еще юный, а уже так любишь это», – и еще глупости подобного рода; вскоре он понял и узнал это, и другое узнал и познал – и продолжал приезжать к ней, и едва переступал порог ее квартиры – тяжелый

буфет бил его боком, он словно не стоял на ногах, – молча впивался в ее губы, огромные полные губы, быть может полые, – так влекли они его, до боли в висках и головокружения, до последнего движения, подрагивания языка, до сухой гортани, а потом влажной гортани, до зеленеющих ее голубых глаз и заметной потом дрожи синеватой жилки у переносицы, до тяжелого блаженного сна...

Но через год уже у них всё кончилось – вероятно, он повзрослел, он ведь стремительно рос, а она, надо полагать, встретила очередного неофита.

...Позднее, уже вернувшись домой, на гору Чернявского, он както раз увидел ее в городе. Он пил кофе, стоя под ярким полотняным навесом на площади, на маленькой площади у причала. На площади сновали люди, прибывшие на теплоходе в наступающий зной лета, а она – высокая, всё еще статная, стояла посреди голубого асфальта площади, разговаривая с маленьким, плотным и курчавым милицейским капитаном, грозой местных наркоманов и карманников.

Она стояла с чемоданом, почти на голову выше капитана, и капитан, беседуя с ней, покачивался, переходя с пяток на носки, задрав голову в фуражке с красным околышем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...Что же до Вахтанга Николаевича, то воспоминания о нем както странно суммировались впоследствии в особое переживание истории, события или случая, как-то рассказанного однажды самим Вахтангом Николаевичем, слегка изменившимся после того, как мальчик, или уже юноша тогда, принял не его, а чужую, Бронгаузерову фамилию.

Скорее, тут следует говорить о перемене в отношении к нему самого мальчика, или уже юноши; тогда, во всяком случае, мальчик заставал Вахтанга Николаевича постоянно любезным и внимательным, порой веселым и уж всегда внушающим впечатление редкостного сочетания этакого необычайного размаха и, в то же время, поразительной соразмерности его деяний.

Такое впечатление производили все его поступки, всё, что он делал, всё, что предпринимал, включая и его фантастическое пьянство, хотя слово это совершенно не отражает сущности самого процесса, коему предавался, но не препоручал себя, в последние годы Вахтанг Николаевич... Тут скорее подошло бы слово «запои», в том втором его слоге, обещающем полет и ровное звучание поющего голоса, ибо Вахтанг Николаевич, выпивая неимоверные количества вина – он и мальчика, вернее юношу, приучил разбираться в вине и ценить его, – никогда не терял своей стройности и статности, а каза-

лось, наоборот даже: чем больше он пил вина, тем легче и поразительно тверже он держался, тем живее становилась его речь, плавней движение рук, баритональнее голос и яснее взгляд, то есть пил он так, словно это было его призванием, – это, а не постановка драм и комедий на сцене местного театра.

Он пускался в рассуждения об античной драме, обнаруживая глубокое знакомство с предметом, говорил об эротичности Ньютонова тяготения, отправляясь от Евиного, древнего яблока, столь причудливо отправившего Ньютона в нисхождение во ад вечно падающих на Солнце, но не достигающих его планет, – говорил и пил вино, этот плод столь опасной порой близости с Солнцем, зародившим в высочайшей момент близости и саму жизнь...

И все это говорил Вахтанг Николаевич, полжизни своей проводивший при электрическом освещении на подмостках, – он любил солнце, папиросы «Казбек» и глаженые рубахи, но более всего любил он вино, любил он его с неизбывным постоянством и сыновней преданностью, не допускающей сомнений, и, пожалуй, любовь эта была естественным продолжением тяготения Вахтанга Николаевича ко всем на свете женщинам и теплу.

...История же, вспоминаемая Вахтангом Николаевичем и столь живо запечатлевшаяся в памяти юноши, относилась ко времени первого года войны, и произошла она в помещении одной из станций московского метрополитена, где в наскоро оборудованном зале сотрудники радио и кинохроники ожидали прибытия Сталина.

Вахтанг Николаевич работал в те годы на радио и находился у звукооператорского пульта, когда в студии с половиной выключенных прожекторов и софитов появился Сталин и в общем молчании быстро прошел на трибуну.

Всё было готово к записи и съемке, не было лишь полного освещения, когда, на мгновение опередив другие, вдруг зажегся прожектор, укрепленный на временно оборудованных под осветительную аппаратуру лесах.

Мгновение это Вахтанг Николаевич хорошо запомнил.

Желтый и жирный пучок света ударил Сталина по лицу, и тот, зажмурившись, закричал: «Выключите свет!» – вернее, прозвучало это так: «Виключите свэт!» – с характерным кавказским акцентом, – Вахтанг Николаевич воспроизводил это восклицание или крик потрясающим образом, он будто становился меньше и плотнее, и из его глотки несся вопль: «Виключите свэт!» – сцена, возможно представлявшая собой вершину жизненности, столько в ней было страха и воли, – но вершину нереализованную и, быть может, недостижимую

в практической режиссерской деятельности Вахтанга Николаевича. Мгновение спустя всё недостающее освещение было включено, и Сталин без всяких переходов произнес первые слова своей речи: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я...»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

...Бронгаузер-отец в рассуждения об эротичности Ньютонова символического яблока не пускался, в рассказах его ошеломляющий космический эффект падения Евиного яблока отсутствовал, отсутствовала и оценка универсальности «закона всемирного тяготения», запечатленная хотя бы косвенно в гордом эпитете «всемирный», венчающем всеохватывающие слова «закон тяготения».

Напротив, он готов был рассказывать бесчисленные эпизоды из своего военного опыта и позднейшего лагерного житья-бытья, эпизоды, зачастую не позволявшие дать ясное и однозначное толкование событиям, столь тревожившим его сына, – возможно, это было связано с тем специфическим обстоятельством, что события, непосредственно и открыто наблюдаемые людьми и в некотором смысле образующие фон их восприятия, лишь для очень редких людей служат источником плодотворных заключений – скорее, источниками, побуждающими размышлять, служат странные и двусмысленные события, подчеркивающие всю условность казалось бы устоявшейся фоновой структуры.

Что же до слова «закон» – самого привычного и самого двусмысленного, в то же время, понятия – содержание его в глубочайшей степени связано с актом веры в существование некоей реальности, включающей в себя и тех, кто эти законы постигает, и «реальность», устроенная столь покровительственным образом, представляется явлением довольно загадочным, по меньшей мере уникальным, – пожалуй, именно в этом аспекте следовало бы воспринимать рассказы и суждения Бронгаузера-отца.

Вот, например, его рассказ об астрономе, продолжавшем свои теоретические изыскания в лагере, на четвертушках бумаги, что доставал ему Бронгаузер-старший, – пока в один из дней астроном не смог продвигаться дальше в своих вычислениях, не имея под рукой неких вспомогательных формул, приводимых почти в каждом справочнике по математике, без использования которых вычисления превратились бы в труд столь же механически тяжелый и многолетний, как и вся окружавшая астронома лагерная реальность.

Отсутствие справочника и прекращение астрономических изысканий в тех условиях могло, казалось бы, привести к некоей ясной и недвусмысленной оценке обреченности человеческих усилий, наце-

ленных на постижение процессов, совершенно чужеродных тем, в венце которых располагались лагеря; но разрешилась эта ситуация довольно неожиданным образом. Через две недели после начала вынужденной паузы в своих изысканиях астроном получил продуктовую посылку, одну из тех, что приходили раз в полгода, и лежавшая на дне посылки селедка была завернута в листы учебника, где меж прочих сведений, умозаключений и формул приводилась и формула, столь необходимая астроному.

Именно это обстоятельство и бросало странный свет на всё происходившее и подсказывало Бронгаузеру-старшему мысль о невозможности окончательных суждений... То есть именно этот абсурдный, совершенно исключительный факт как будто доказывал, что возможна и иная линия рассуждений, достаточно строгая и, возможно, с необходимостью хоть и не всемирной приводившая к тому, что с ним произошло, – линия, в которой совмещались и астрономия, и лагеря, и многое иное...

Позднее Бронгаузеру-младшему не раз казалось, что отец его ощущал и оценивал и освобождение свое, и заключение как события одного порядка, не противоречившие, но дополнявшие друг друга, и возможно именно поэтому отец его не ощущал себя ни по-настоящему свободным, ни по-настоящему лишенным свободы.

Но однажды, когда Бронгаузер приезжал домой уже будучи студентом, а в выборе профессии он пошел по стопам отца, отец его, медленно выудив ложкой круглый ломтик лимона из пустого чайного стакана, начал пожевывать его – он имел обыкновение съедать ломтики лимона вместе с кожурой, к этому времени Бронгаузер-старший стал массивней и черты лица его стали еще плотней и тверже, – так вот, отец его, медленным движением проведя по лбу указательным пальцем и поглядывая в сторону полной прохожих набережной, – был январский солнечный день, и море, успокоившись на несколько часов, перестало глодать ржавые железные опоры ресторана на воде, – развил ту мысль, что человечество, возможно, *устарело*...

– Да, устарело, – говорил он, – морально устарело, так же как вот морально стареет всё еще годная обувь и одежда, – нет, даже не только морально устарело подобно старой, но всё еще годной обуви и одежде, но устарело и в некотором более фундаментальном смысле: устарела, в некотором смысле, его конструкция, конструкция самого человека, вследствие дискредитирующей все его завоевания способности быть жестоким и убивать... Возможно, что я заблуждаюсь, – сказал он после паузы, – и вовсе не исключено, что в начале, во тьме прошлого, все это было необходимо для выживания. Возможно,

мысль эта мне нравится, оттого что я и сам пережил сходные времена... Хотя и выжил я, если говорить серьезно, случайно... Да и имею ли я право на окончательное суждение, не знаю... Но скорее всего, я прав, – заключил он, – если всё, что происходит, происходит на самом деле, то эта конструкция, независимо от способа ее происхождения, – неэффективна, – тут он поперхнулся. – Вот видишь, действительно неэффективна, – продолжил он, улыбнувшись, – если вся та мерзость, что может реализовать человек, будет продолжаться вечно, то уж лучше изменить самого человека – невозможно существовать с сознанием того, что это устарело, хотя может быть спасет-то нас всех что-нибудь такое, как любопытство...

Тут он засмеялся – на улице гнались, лаяли, петляли, ловили друг дружку собаки, две рыжие и одна темно-каштановая, в густых прядях, и еще одна черная с белым пятном на затылке, дворняги, – они гнались друг за другом, лаяли, выписывали круги, виляли хвостами, увиливали – игра, собачий бег в нескончаемую свежесть и соль приморского воздуха.

...Вскоре они поднялись, и Бронгаузер-старший направился по набережной домой.

Ах, тогда, в зимние и летние студенческие возвращения, хорошо было в этом городе!

Мишаня, товарищ и сосед по горе Чернявского, тогда как будто залечил свой туберкулез, чувствовал себя лучше и даже почти здоровым, и уж во всяком случае пил он мало – отчего не отправиться с ним к морю? Бездельник и на свой лад философ, он пристрастился к рыболовству в ту пору...

Однажды в июле они отправились ловить рыбу. Рыболовная снасть их не отягощала, месина с крючками, грузилами и поплавками была намотана на сторожки – почти квадратные куски пробкового дерева, с симметричными выемками. Сторожки они сунули в нагрудные карманы рубах и направились в гастроном за булочками для наживок. «А булочек нет», – засмеялась девушка за прилавком – и как она догадалась, ведь они ничего не успели сказать. Опоздали, значит, с утра они пили пиво и курили ароматные новые сигареты без фильтра – от них шел приятный голубоватый дым. «Ну тогда за мидиями, – сказал Мишаня, – только надо купить уксус и плетеную капроновую сетку, чтобы сквозь дырочки стекала вода»...

Мидии были лучше видны в чуть мутноватой зеленой воде у опор причала, если нырять с солнечной стороны... Мишаня сидел в лодке, а Бронгаузер нырял у опор причала, ножом выковыривал мидии, гнездившиеся на железных столбах, и засовывал их в сетку;

под водой руки двигались медленно, и когда воздух кончался, он поднимался наверх и вываливал мидии на дно лодки, заглатывая воздух и держась за борт руками...

Потом он влез во взятую напрокат лодку, и Мишаня – он сидел на веслах – перегнал ее в тень за причалом. Теперь солнце не припекало, а лодка слегка покачивалась...

Мишаня раскрыл створки нескольких мидий ножом и, обрызгав моллюски винным уксусом, предложил закусить, добавив, что вечером они приготовят плов из оставшихся мидий.

Пальцы были в ссадинах, морская вода и уксус пощипывали, но мидии были вкусны, солнце поднималось выше, теперь вода со всех сторон отражала свет, и они слегка обгорели в тот день, но вкус мидий он помнит до сих пор.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Но вернемся к Бронгаузеру-старшему. В тот год, когда было открыто и оглашено, что человек мыслит словами, Бронгаузер-старший в сердцах как-то сказал, что некие люди и словами-то мыслить не умеют – тут он имел в виду нечто сходное с испорченным механическим фортепиано и уж совсем не имел в виду то, что представлял себе довольно ясно, а именно то, что речь является не более чем эпифеноменом, то есть феноменом вторичным в процессе интеллектуальной деятельности, этого, я повторяю, он не касался, а фраза та была высказана им как-то в сердцах в достаточно узком кругу, как ему казалось, но всё-таки недостаточно узком, как показали последующие события.

И теперь, в наши уже времена, фразу его можно воспринимать как некий самоприговор, ведь она фиксировала его основное заблуждение, предполагавшее наличие естественного процесса, не управляемого посредством чужих слов, лозунгов и угроз, порожденных чьей-то единичной или коллективной волей или тем, что её заменяло, и это последнее он в полной мере ощутил и, пожалуй, осознал, собирая холодные белые четвертушки бумаги для астронома, верившего в вычисления.

Однако некие, даже очень близкие люди, как оказалось, умели мыслить посредством слов или подчиняясь словам, имевшим столь ясный и категорический смысл в ту эпоху, когда он усомнился в самой возможности того, что некоторые люди обладают этим специфическим даром богов, и, покинув лагерь уже немолодым человеком, он в еще большей мере познал власть слов, когда-либо сказанных, осознанных или произнесенных, – ту власть, что позволила ему, в конечном счете, обладать массой пустого свободного времени, раз-

бавляемого иногда встречами с сыном; и мысль, которую он высказал сыну, вдыхая светлый, соленый и чистый воздух на веранде ресторана в тот час, когда по послеполуденной набережной бежали, гоняясь одна за другой, собаки, выражала, пожалуй, основное направление движения его внимания и интереса, впервые высказанного столь четко и последовательно...

Об этом он, пожалуй, позднее пожалел, бессознательно веря в серьезно-сыновнее отношение слушавшего, но вышло все это достаточно неожиданно для него самого – тут он стал рассеянно озираться вокруг, взгляд его скользил по пустым столикам, кричащим на перилах чайкам, полосатым шторам, полощущимся по ветру, пытаясь в то же время уловить взгляд сына, пока, внезапно не заглядевшись на голубое пятно моря в открытой двери за плещущей полосатой шторой, он успокоился, и спасительная мысль тут же явилась ему...

«Это, пожалуй, и его успокоит», – подумал он, поглядев вновь на чаек, плещущиеся шторы и солнечные легкие пятна на потолке, – даже для него это уже было несравненно реальнее той прошлой жизни с холодной мертвой кисеёй занавесок, а здесь, на набережной, в ресторане, среди легких пятен солнца и звяканья ножей, вилок и бокалов, беспечно отражавших солнечный свет, он порой забывал обо всём.

И именно здесь нам, пожалуй, и следовало бы остановиться на некоем эпизоде лагерного бытия, позволившем Бронгаузеру-старшему уже после возвращения усмехнуться как-то раз в ответ на вопрос об удовлетворении им естественных своих мужских потребностей в лагерные холодные времена...

– Зайдите ко мне вечером, коллега, – сказала Стеклянкова Надежда Сергеевна, начальник лазарета, врач из вольнонаемных, – часиков в десять, – проговорила она раздумчиво.

Слово было из тех, казалось, навсегда ушедших времен, когда, вымыв руки и сняв халат, он, закурив на пути папиросу, отправился к себе в кабинет, где внизу, за окном, под весенним ветерком лениво поворачивался вокруг бухты город, – с тем чтобы выпить чашку кофе, приготовленного одной из медсестер, и сделать очередную запись в истории болезни прооперированного пациента.

Как-то раз Бронгаузер употребил это слово во время операции, попросив ее передать тампоны, и позднее, когда рядом никого не было, Надежда Сергеевна сказала ему:

– А вы, Бронгаузер, не забывайтесь, коллеги ваши там, в бараках, – действительно, вид из окна ординаторской здесь был совсем другой, куда ни погляди – обычная лагерная зона.

«Сволочь», – подумал Бронгаузер, закуривая папиросу. В ординаторской было холодно и паршиво. Он стал было прикидывать, во что это ему выльется, но затем решил ни о чем не думать, время само покажет.

...А вскоре после столь неудачного употребления слова из давно ушедших времен, тем более неудачного, что Надежда Сергеевна поддерживала отношения более чем близкие с начальником лагеря Чернышевым, тот вызвал его и, кивнув на стул под усатым портретом, достал вначале расческу из кармана, причесался, а затем только спросил, переступая с пяток на носки:

– Аборт сделать можешь?

Затем Чернышев встал и стал прохаживаться по чистому и теплому своему кабинету, по ковровой дорожке туда и обратно, а Бронгаузер смолчал и, когда Чернышев протянул «Ну-у», – ответил:

– Аборты запрещены законом...

– Умник, – сказал Чернышев, – смотри какой умник нашелся... я тебя спрашиваю, сможешь или нет?

– Я не гинеколог, – ответил Бронгаузер.

– Сможешь или нет, я говорю... – продолжал Чернышев, усмехаясь, – и не крути мне – «гинеколог», тут гинекологов на тыщу верст кругом нет...

– А если кровотечение? В домашних условиях это, знаете...

– Вот-вот, в домашних условиях и сделаешь, – засмеялся Чернышев, – на, закуривай, – в общем, всё сделаешь и молчок, – добавил он, обнажая крепкие белые зубы.

«Как подойти к ней и месяцев там сколько...», – подумал Бронгаузер, но, едва он вернулся в лазарет, Надежда Сергеевна сама подошла к нему и сказала:

– Часикам к десяти зайдите ко мне, доктор...

...Войдя к ней в квартиру и увидав кастрюлю с водой на столе, из которой валил пар, подергивающийся от избытка пара кипятильник на стуле и сложенные аккуратно на спинке стула чистые больничные простыни и полотенца, Бронгаузер услышал:

– Ну, давайте скорее, чего это вы на всё смотрите, будто не видали никогда...

...Позднее он заметил перемену в ее отношении к нему...

– Что это вы, доктор, словно нелюдь какой, держитесь – ведь вы мужчина еще молодой, – и он не знал, как ей отвечать; Надежда Сергеевна, женщина статная, легко несла на круглом без морщин лице совсем маленький носик и быстрые темные бусины глаз под тонкими дугами выщипанных бровей, а волосы свои, всегда аккурат-

но уложенные, завивала, как видно, щипцами, отчего по утрам иногда нёсся от нее чуть уловимый аромат гари.

...И вечером, за свежезаваренным чаем, глядя на Надежду Сергеевну, задумчиво нанизывающую на указательный палец каштановый локон с виска, почти и не заметил он, как подсела она к нему ближе, и лишь когда ее ладонь скользнула по тыльной чуткой стороне ноги его выше колена и она шепнула ему, смеясь: «Да не бойся ты, или ты до конца обрезанный?», – он понял, чего она хочет.

Тут Надежда Сергеевна встала, зевнула мягко и отправилась к кровати, а он встал и тяжело пошел вслед за ней, в горле у него пересохло...

Связь эта продолжалась несколько лет, и приходил он к ней, лишь когда она его звала:

– Ну, голубчик милый, поди уж заждался, так ты вечером приходи... – Надежда Сергеевна с уважением относилась к крепкому его тяжелому телу, и он зачастую наутро испытывал чувство отвращения к себе, вспоминая ее и слова: «И это ты, миленький, умеешь», – отвращения, странно смешанного со спокойно присутствовавшим в теле его ощущением усталой удовлетворенности.

Надежда Сергеевна покинула лагерь на месяц раньше него, и, проезжая Ростов, он даже и не подумал о том, чтобы сойти, хотя и обещал приехать к ней.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Бронгаузер-старший вернулся из мест заключения, в те далекие времена ресторанно-музейной торжественности и белых чесучовых костюмов, прогуливавшихся по берегу под звуки кавказской музыки, доносившейся из ресторанов с немыслимо острым харчо и сочными кусками мяса на шампурах, обжариваемого в мангалах над углями, климат был, как нам кажется, гораздо мягче, чем теперь, а тот осенний день был вообще великолепен, т. е. стояло лишь начало сентября, и где-то около полудня Бронгаузер-старший вышел из поезда на площадь у нового белокаменного с колоннами и шпилем здания вокзала...

Он еще не представлял, где будет жить, и поэтому, с маленьким своим чемоданчиком, приобретенным вместе с его простым содержимым уже на этом, обратном пути, пересек площадь и на автобусе направился к морвокзалу, где сдал чемоданчик в камеру хранения, после чего вышел уже спокойно на набережную.

Нет нужды говорить о том, как вглядывался он в знакомые дома и деревья, вдыхая сладкий густой воздух, наполненный, как это все-

гда бывало в сентябре, ароматом от низких кустов османта душистого, как глядел на людей, изредка замечая знакомые из прошлого лица; от волнения у него закружилась голова, к тому же он проголодался и уже направился было к торговавшей с лотка пирожками продавщице, как вдруг Ольга Константиновна, соседка, бывшая соседка, с кошелкой в руке, набитой овощами и фруктами, где сверху томились, истекая белой вязью, инжиры, остановила его.

– Не верю своим глазам, – говорила она, – какое счастье, мальчики дома, – она сказала, – и сын ваш дома, он один сейчас, – тут она замолчала, и Бронгаузер-старший ответил:

– Благодарю вас, я, пожалуй, зайду посмотреть на него, – ему стоило определенных сил сказать это, ведь он достаточно много раздумывал все последнее время о том, что же такое теперь его сын, и более всего опасался, что, увидев его, он не ощутит его своим, так как к тому, что сын не узнает и, главное, не опознает его, он уже приготовился за прошедшее долгое время заключения, приучившее на все окружающее смотреть из себя и еще как бы со стороны.

Вскоре он не спеша отправился в сторону горы Чернявского. По пути взгляд его отметил несколько вновь крытых асфальтом улиц, рощу эвкалиптов, высаженную у того места, где река впадала в море, и павильон ресторана на макушке горы. Теперь туда вела извивавшаяся серпантином дорога, и голые до этого склоны горы усажены были экзотическими растениями. Что же до самой горы, то она все еще носила гордое имя того, чьи портреты и фотографии украшали ветровые стекла грузовиков и будки сапожников.

Следовательно, тогда именно и произошло событие, отмеченное в памяти Бронгаузера как появление человека кудрявого и немолодого, в глаженом пиджаке; а мальчик сидел на веранде и ковырялся в макаронах с котлетой, на веранде теплой, осенней, за которой бородатые пальмы росли, а в железной бочке из-под извести гнили опавшие, первые опавшие листья виноградника, а дальше, внизу, росла алыча с листиками красноватыми – алыча первой лжи и первого сомнения, проросших после траурной клятвы на мартовском солнечном берегу 53-го, после тысяч красных двуязыких пятен галстуков на белых рубашках, после плакавшей на трибуне девочки из грузинской школы и голубого мартовского порывистого ветра, срывавшего на асфальт брызги фонтанов, – тогда он появился...

Вскоре Бронгаузер-старший снял квартиру и устроился работать на городской станции «Скорой помощи». Терапевтический опыт времен заключения пригодился ему, по узкой специализации он был хирург, но в больницу устроиться не смог, да и брать его в больницу

никто не хотел, и всё свелось к разнообразным экивокам, фигурам умолчания и обещаниям что-нибудь устроить.

Впрочем, для начала работа на «Скорой помощи» была не так уж плоха – платить за это место никому не пришлось, да и как медик он ощущал себя вполне на месте; к тому же у него оставалось достаточно свободного времени, и постепенно он вновь стал обрастать связями, частично восстанавливавшимися, а частично возникавшими вновь, подобно тому, как опоры причалов ежегодно вновь обрастают водорослями и мидиями...

...Каково же было его удивление, когда однажды на набережной у газетного киоска он встретил Штейна, ныне – профессора Штейна, а в прошлые, далекие уже годы великой войны – маленького артиллерийского офицера с круглыми серыми глазками, глубоко посаженными под широким, назад летящим лбом, увенчанным тогда светлой, а теперь седеющей копной волос.

– Выслан?.. – Бронгаузер-старший был поражен: профессор был выслан сюда, на море, о да, и произошло это лишь благодаря заступничеству ближайших коллег по ядерному проекту – в то время, когда в стране началась кампания по «борьбе с комополитами».

Да, профессор Штейн участвовал в разработке водородной бомбы, проводя необходимые расчеты, обработку результатов экспериментов и решая различные математические задачи, возникавшие в ходе работы над ядерным проектом. Случилось все это через несколько лет после того, как познакомились они в начале войны, в госпитале, где Бронгаузер-старший извлек осколок из бедра маленького артиллерийского офицера, а тот, выздоровев, вернулся в свою часть, но вскоре был отозван с фронта и направлен в Казань, где участвовал в работе над созданием атомной бомбы, ну а после окончания войны переведен был на работу в центр России, в городок Саров, где, собственно, и велись работы по созданию водородной бомбы, после того, как атомная бомба уже поступила на вооружение...

Ну так вот, в те далекие времена разработки и создания первых водородных бомб, дискуссий о языке и теории образования солнечной системы профессор Штейн проводил дни у сконструированной им вычислительной машины, отыскивая решения нескольких уравнений, переданных ему из другого отдела... Отдельная группа уравнений описывала ход цепной реакции на Солнце, совпадающий с развитием процессов, происходящих при взрыве водородной бомбы, и вопрос, на который следовало ответить Штейну и его сотрудникам, состоял в том, не запустит ли взрыв бомбы цепную реакцию в голубых небесах Земли, содержащих немалую долю водорода, то есть не вспыхнут ли и сами голубые небеса в сполохах водородных шутих, а иногда вечерами

раздумывал он о том, что движет сменяющиеся времена – счастливые, смутные, горестные, – ведь его родители погибли в первые дни войны.

Он и не подозревал, что вскоре окажется космополитом, т. е. чем-то вроде небесного тела, с гиперболической скоростью свободно проносящегося через солнечную систему, строение которой столь усиленно обсуждалось в те годы.

«Боже мой, – подумал Бронгаузер-старший, – что за чудесная ссылка с предоставленной квартирой и работой», – не самое ли лучшее место здесь, у моря, подумать о происхождении солнечной системы, планет и грозного, малинового в тот час совместной с профессором прогулки, светила?..

...Меж тем светило опускалось за море, а они обычно продолжали разговаривать – два уже немолодых человека – в наступающей мгле, причем профессор чаще ставил вопросы, как бы недоумевая, в то время как Бронгаузер-старший тяготел скорее к длинным речениям, соразмеренным темпу их шагов по причалу...

...Профессор же, рассуждая о Солнце и спутниках его, не забывал и другие слова, старые слова недвижной земли, слова от солнца, всходившего и заходившего вовеки, – слова те не ушли от него, слова от Евиного древнего, веками иззолоченного яблока, слова эти остались, и позднее уже он повторял их порой Бронгаузеру, как, возможно, в прошлом пересказывал их его отцу...

...Следует сказать, что здесь, у моря, и, следовательно, в изгнании уже, профессору приходилось сотрудничать и с немецкими учеными, последними пленными разгромленного рейха, – так вот, один из них в беседе с профессором Штейном обмолвился как-то, что немцы-де находятся здесь, в городке этом у моря, словно бы в гетто, на что профессор резко возразил: а что собеседник его, собственно, может знать о гетто?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Что же могло поражать отца в этих беседах с профессором? Бронгаузер задумался об этом как-то раз на кладбище, где был похоронен отец.

...В поле перед оградой кладбища серебрились и зеленели молодые кочаны капусты, посреди поля стоял недостроенный дом из ракушечника, в первом этаже его были слышны детские голоса, а на веревке, протянутой через двор, сушилось белье.

День был весенний, теплый и свежий, кладбище лежало на горе за оградой, там зеленели в голубом воздухе кипарисы, а невысокие холмы, обжитые домиками, изгородями, темными вспаханными полосами, теснились вдали. Воздух был свеж и сладок, камень, под

которым лежал отец, – груб и неотесан, на нем были высечены имя и даты жизни отца.

«Пожалуй, мне следовало бы больше путешествовать, – подумал Бронгаузер, – хотя бы обойти эти окрестные горы...»

О чем рассказывал профессор ?

Вот что однажды профессор Штейн рассказал Бронгаузеру на пляже, неожиданно признав его в вынырнувшем поблизости из чистой зеленой морской воды молодом человеке. Профессор стоял в морской воде, погрузившись в нее по грудь.

«За тысячи лет до этого лета некий разбойник с песчаного холма увидел в воде белое, тонкокожее тело и черные кудри. Разбойник с песчаного холма, Рейш-Киш его звали. Не раздеваясь, он бросился в воду и обнял то белое тело...

Человек обернулся. То был законоучитель, молодой, белокожий и черноволосый. Изумленный, задыхающийся, в мокрой одежде отступил от него Рейшл-Киш.

– Красота твоя – для женщины, – переведя дыхание, сказал разбойник.

– Сила твоя для науки, – отвечал законоучитель, – красота же у сестры моей.»

...Что же до Бронгаузера-старшего, то женщины в его жизни снова заняли, да и занимали позднее, немаловажное место; произошло это не сразу после возвращения, но вскоре, когда, оставив работу на станции «Скорой помощи» так, словно на каретах «Скорой» он вновь въехал в городскую жизнь, – Бронгаузер-старший перебрался работать врачом в санаторий; он получил и квартирку на его территории, небольшую, но с удобствами, где всегда царил идеальный порядок, и даже пепельница, прозрачная хрустальная пепельница, всегда сверкала; теперь он направлял отдыхающих на лечение согласно их курортным картам и выполнял прочие свои обязанности, почти не отходя от дома. Обедал он зачастую в столовой санатория; он плавал весь сезон, начиная с мая и кончая октябрем, и заводил немало знакомств с отдыхающими.

Это был крупный мужчина, чуть склонный к полноте, что, скорее всего, шло ему, достаточно общительный, подвижный, немало читавший в свободное время, которого у него было предостаточно зимой, когда отдыхающих и забот было меньше; человек, легко становившийся своим в многочисленных группах и компаниях, сколачивавшихся на отдыхе, демонстрируя неодолимую организующую силу стихийного процесса. Естественно, здесь не обходилось без женщин,

бывали даже ситуации, когда Бронгаузеру-старшему казалось, что было бы совсем неплохо связать свою дальнейшую жизнь с кем-то из них, но что-то его останавливало, хотя о первой своей жене он никогда практически не вспоминал.

Он познакомился с ней в сорок втором году, после контузии, когда сотрясшийся воздух и ощущение тысяч и тысяч пульсирующих ритмов в собственном отяжелевшем и как бы оглохшем теле, позднее, по игре ассоциаций, напомнили ему борьбу за жизнь первой клетки.

Он женился на ней в сорок втором году, когда после контузии был переведен служить в тыловой госпиталь на юг; здесь он постепенно приходил в себя, и встреча с этой высокой зеленоглазой женщиной с чуть стылыми, под светлой ровной кожей чертами лица, привела его к мысли о женитьбе.

В то время его охотно принимали везде – врача, после фронта занимавшего видное положение в госпитале, моложавого, высокого мужчину; появляясь в каком-нибудь доме, он всегда приносил что-либо необычайно редкостное по тем временам – сушеную колбасу, шоколад или коньяк – и совершенно не раздумывал о том, что, в сущности, он знает об этой женщине, которая уже тогда преподавала музыку, была гораздо моложе него и происходила из семьи, оказавшейся в этом южном городке в начале двадцатых годов, после того, как ее родители провели несколько лет в Крыму, куда попали в восемнадцатом году из Петрограда.

Семей, приехавших из России *на время*, было немало в ту пору в этом маленьком приморском городе, пожалуй, их было несколько десятков, но ко времени появления в городе Бронгаузера-старшего их стало меньше, ведь кто-то из приехавших вернулся на север, кое-кто исчез, а кто-то просто умер, обретя упокоение в этом далеком от тех мест, где они жили когда-то, краю...

Ну, а сам Бронгаузер-старший жил тогда ощущением неповторимости совершенно замечательной весны сорок второго года – я имею в виду солнце и море апреля сорок второго года, деревья на берегу, чьи кроны медленно выступали по утрам из тумана, далее разгоралось солнце и вопили извозчики на фаэтонах и грузчики с тачками в рыбном ряду; весна та для него, все еще приходившего в себя после контузии, была необыкновенной, и вот тогда-то он и женился...

Теперь же, работая в санатории, он вновь возлюбил женщин, и они его вовсе не отвергали, ведь они приезжали сюда отдыхать, и не исключено, что они переживали весну на юге столь же искренне и непосредственно, как переживал когда-то весну сорок второго года Бронгаузер-старший... Ну а бывшую свою жену он никогда не вспо-

минал, хотя выходя из санатория для встречи с сыном, он несколько перестраивался, словно переходя теневую черту возраста, прошлого и пережитого...

Однако время властно над всем – ведь говорил профессор Штейн: «Что сделает время – не сделает разум», – говорил порой с видимым удовольствием, а порой и с огорчением, и, право, тут и речи быть не может о стилистической ошибке, как об этом вначале думал Бронгаузер, попробовавший подыскать синонимы для глагола «делать» в связи со столь, казалось бы, безличной и абстрактной категорией, как время...

Но каждый подобранный им синоним превращал высказывание в тривиальную констатацию наших ограниченных возможностей предвидеть и направлять события, а тут скорее шла речь о становлении и свершении, понимая последние как имманентно присущие времени данности, самонаполняющие и влекущие время, а вслед за ним и разум, как нечто теперь уже глубоко вторичное.

Время властно над всем и всеми – и над Солнечной системой, и над Галактикой, и над всей изменяющейся Вселенной – «олам», называл ее Штейн, – и над казалось бы неизменным центральным светилом нашим, буреющим и малиновым одновременно в часы прогулок Бронгаузера-отца и профессора по длинному пирсу, и над самими прогуливающимися.

Бронгаузер-отец и профессор старели, и однажды зимой Бронгаузер-младший после прогулки по солнечной холодной набережной и питья кофе на верхнем этаже ресторана на воде, где на зиму ставили огромные фанерные синие щиты у перил с одной из сторон, чтобы защитить посетителей ресторана на воде от ветра, налетавшего с одетых в белое гор, – там он пригрелся в углу и задремал на солнце и холоде зимнего дня, в полном безветрии у синей стены, закрывавшей часть залива, – так вот, после прогулки этой и сна на солнце и холоде Бронгаузер без предупреждения зашел к отцу на работу.

Неслышно отворив дверь в процедурный кабинет, он нашел отца обнаженным, его массивное крупное тело покоилось на кушетке в фиолетовом освещении кварцевой установки. Отец принимал кварцевую ванну у себя на работе. Бронгаузеру стало стыдно, и он ушел, и это массивное тело с крупной головой под фиолетовым светом кварца словно сказало ему, что дни отца его пошли на убыль.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

...Когда Бронгаузер-старший скончался от приступа грудной жабы, сын его, получивший от Штейна известие о кончине отца, при-

летел на похороны из Ленинграда и, внезапно для себя, – мысль эта пришла ему в тот момент, когда он ступил на бетонные плиты аэродрома, – остановился в гостинице, указав в листке для приезжающих, что прибыл он на три дня по личным обстоятельствам.

Была весна, и он легко получил номер, выходивший на огромную веранду, куда выходила еще дюжина дверей из гостиничных номеров, принял ванну и до полудня просидел в шезлонге на веранде, покуривая сигареты и разглядывая раскинувшуюся перед ним набережную, кипарисы, покачивающиеся стрелы пальм и пароход, застывший у изогнутой полосы причала. В полдень он направился на квартиру отца.

Что же касалось обстоятельств смерти отца, то, как ему удалось выяснить или, скорее, понять из чужих слов, отец его в последнее время состоял в связи с некоей молодой особой, что, кажется, и повлекло за собой физическое прекращение его существования.

А на следующее утро у него в номере появилась мать.

– Так ты один здесь? – спросила она, – а я уж думала... ты отчего не заехал домой?

– В этот раз я не хотел тебя беспокоить, – ответил он и спросил: – позавтракаешь со мной?

Завтракать мать отказалась и твердо заявила ему, что желает видеть его дома, где он имеет право и, более того, обязан находиться... вне зависимости от чего бы то ни было. После этого она ушла.

Перед отъездом из гостиницы он решил позавтракать. Бронгаузер спустился в ресторан, давно уже лишившийся торжественности былых времен. В этот час он был один в зале, лишь несколько ярких иностранных флажков торчали на соседних столиках.

Вахтанг Николаевич, находившийся дома в то утро, выразил ему свои соболезнования. Бронгаузер помнил, что давно еще, когда стоял вопрос о его фамилии, связанный с получением паспорта, Вахтанг Николаевич твердо и неожиданно для матери заявил, что мальчик, собственно, сам имеет право решить этот вопрос, ведь он уже почти мужчина.

Вахтанг Николаевич внушал ему симпатию, и Бронгаузер, уже порядочно повидавший к тому времени, подумал, что он почти ничего не знает о жизни матери с Бронгаузером-старшим.

После смерти Бронгаузера-отца его сын должен решить, что же делать с вещами отца, оставшимися в квартире: этой скромной, почти убогой мебелью, одеждой и обувью, кухонной утварью и книгами.

Себе он забирает книги и пепельницу – довольно странную, хрустальную, простой формы; внутренняя поверхность ее сферична, а

ограничена она простыми набегающими друг на друга плоскостями, разлагающими свет, – выглядит она странно и неестественно, когда в ней окурки и пепел, они нарушают спокойствие и наполненность ее формы, у отца он всегда видел ее чистой и сверкающей на столе, застланном белой скатертью.

Мебель и утварь кухонную он отдает сотруднику санатория из соседней квартиры, обувь приходится выбросить на мусорную свалку, – ну а что сделать с пригодной еще добротной одеждой? Раздать – но как? Нет уже людей, что ходили первые послевоенные годы по домам, собирая старые или ненужные вещи.

Когда Бронгаузер в последний раз идет по территории санатория, он вновь замечает в неубранной еще мусорной свалке обувь отца. Он долго смотрит на все еще крепкие ботинки и туфли и ощущает слезы на глазах – у него нет отца.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

С годами аура обаятельной мужественности Вахтанга Николаевича стала понемногу исчезать, даже не то что бы исчезать – она начала тускнеть: подбородок его казался тяжелее, а взгляд оживлялся чаще всего за столом, но и запои, и рассуждения, и истории, с обычной расточительностью и щедростью произносимые им, все больше напоминали обычный в грузинских домах того времени ковер на стене, с развешанным на нем фамильным оружием, – со временем ковер выцветает, а оружие из грозной реальности своей перерождается в чтимый раритет.

Годы шли, и в суждениях Вахтанга Николаевича вместе с сединками на висках, на которые Вахтанг Николаевич со временем махнул рукой, обнаружив, что седые пряди даже идут ему, высокому и статному мужчине, да и сообщают определенную респектабельность и лоск его подозрительной на Кавказе в его-то годы стройности, – так вот, вместе с седыми прядями в рассуждениях его появилась прежде не свойственная ему вопросительная интонация.

Седины до поры до времени ему закрашивал проницательный лысый философ из парикмахерской, с крючковатым носом и торчащей из нагрудного кармана голубой сталью опасной бритвы; что же до вопросительной интонации, то однажды, рассказывая о подвыпившем нищем на улице, дергавшем людей за рукава и кричавшем: «ну бейте меня, бейте, пьяный же я, ну бейте же, суки...», – Вахтанг Николаевич то ли спросил, то ли воскликнул:

– «Бейте же меня...» – да это же каратаевщина?!

Произнеся эту фразу, Вахтанг Николаевич с легким огорчением огляделся и выпил темно-красного вина.

...И вот так это посиживая однажды на веранде за затянувшимся обедом со стаканом вина в руке – одно из любимых его состояний, отчего произошли на скатерти несколько замытых сиреневых пятен, – и поглядывая вниз, на этот чуждый ему, в сущности, пейзаж и места, которые он покинул несколько лет спустя, Вахтанг Николаевич сказал как-то о писателе, чье имя не будет помянуто на страницах этого правдивого повествования:

– Человек... Убил мать, отца, корову, жену, детей, вымыл топор, испачкал сапоги в луже, увидел петуха на заборе и заплакал... Тоже мне роман...

Сказано это было с нарочитым грузинским акцентом, который Вахтанг Николаевич иногда пускал в ход, рассчитывая на создание определенного эффекта отчуждения от разыгрываемой им роли.

...Но и деятельность его в небольшом местном театре, и чуждый ему, в сущности, пейзаж, открывающийся глазу с веранды, да и другое кое-что, – все это начинало терзать Вахтанга Николаевича, откуда и произошли разнообразные и долгие обсуждения возможности переезда в Тбилиси, куда Вахтанг Николаевич рвался и куда его как будто и приглашали даже.

...И вот однажды, приехав домой в очередные каникулы, где-то уже в начале аспирантуры, Бронгаузер обнаружил дома полное отсутствие Вахтанга Николаевича – не было не только его самого и вещей, но и следов пребывания Вахтанга Николаевича не было в доме, выстроенном Чернявским в те годы, когда семья матери приехала сюда, на Кавказ, из тогдашнего Петрограда отдохнуть и переждать то смутное, как им казалось, время.

К тому времени от этой семьи никого уже не осталось, а мать продолжала преподавать музыку, но теперь она реже выходила в город и в расположенную ниже на повороте музыкальную школу; и многочисленные ученики и ученицы являлись к ней домой, оглашая окрестности порядочно затертыми и приевшимися звуками черниевых этюдов, избранных отрывков из «Времен года» и энергично разыгрываемых бетховенских сонат.

Впрочем, Вахтанг Николаевич не исчез окончательно; он, оказывается, был невдалеке, в Тбилиси, и временами появлялся, казалось, помолодевший, но чуть более суровый и жесткий, и тогда разговоры о переезде возникали вновь, но со временем это стало происходить все реже, пока Бронгаузер не счел за лучшее сделать вид, что проблемы этой не существует как таковой, и начал уделять больше внимания фиалкам на застекленной веранде, ибо огромную веранду теперь застеклили – ведь зимы становились холоднее, – с тем, чтобы мать в свободное время продолжала находиться на веранде, под лас-

кающими порой и в разгар зимы солнечными лучами; она теперь целые дни проводила в халате, беспрерывно раскуривая сигареты, отчего веки вокруг ее чудесных нестареющих зеленых глаз краснели, и говорила она с легкой, порой усиливающейся хрипотцой, до тех пор пока сильные астматические приступы кашля не обозначили предел нескольких спокойных лет, прошедших с момента исчезновения Вахтанга Николаевича, а кашель сменился сердечными приступами.

От кашля мать спасалась шоколадными конфетами, а от сердечных приступов ей помогали многочисленные лекарства и настойки, создавшие свой особый, порой даже приятный аромат, удивительно стойкий на почти весь год открытой веранде, – скорее всего, деревянные рамы, и стены, и старая мебель в матерчатой обивке впитывали его, впитывали испарения порой незакрытых склянок, забытых стаканов с настойками, пролитыми маминой рукой, и капель, расползшихся по матерчатым обивкам кресел и дивана.

Уроки она давала в зале, где стоял небольшой черный «Бехштейн», а освободившись, шла на веранду, где все-таки закуривала, и усаживалась в кресло, понемногу попивая местное красное вино – его приносили ученицы к праздникам, а порой и без всяких поводов.

– Как видишь, я курю и пью, я склонна к наркомании, – говорила она порой.

– К малой наркомании, – смеялся он и выпивал с ней стаканчик просто для того, чтобы поддержать компанию; пить вино таким образом не доставляло ему никакого удовольствия, да и здоровье матери внушало ему опасения, не слишком серьезные, правда, но достаточные, чтобы послужить причиной его возвращения, возвращения домой после окончания аспирантуры и защиты диссертации, возвращения, удивившего близких ему людей, но возвращения временного, как он сам его трактовал для других и порой для себя, ибо рассчитывал, что каким-то образом все в конце концов уладится...

Но все произошло неожиданно: у нее был свободный от музыкальных занятий день, после ванны она почувствовала себя плохо и улеглась, попросив соседку вызвать «Скорую помощь» и позвонить сыну. Когда Бронгаузер приехал из института домой, она так и лежала на постели, на подушке расплылось сырое пятно влаги, натекшей с волос, волосы почти высохли и вились прядью у виска, а глаза уже были закрыты.

«Значит, я их больше не увижу, зеленые глаза», – подумал сын, и теперь лишь старый, черный, массивный «Бехштейн», выцветавшие по стенам акварели под стеклами, фиалки на веранде – «Пламтип», «Империал», «Лилиан Жеретт» – и аромат настоек, неистребимый аромат веранды, остались зашифрованными отпечатками ее бытия.

Вахтанг Николаевич приезжал на похороны, останавливался в доме у Бронгаузера, принимал во всем деятельное и твердое участие и несколько вечеров пил с Бронгаузером вино на веранде. Приезжал он и на отмечаемые в наших местах сорок дней, произнес речь, прошелся с Бронгаузером по городу, но, естественно, ни в какие разговоры о театре, искусственном освещении и темных досках сцены – то есть обо всем, что так любил Вахтанг Николаевич, – ни, тем более, в разговоры о древнем, веками иззолоченном Евином яблоке, он не пускался...

...Позднее время от времени он припоминал мать – за швейной машиной, перекраивающую свои платья; ее шитье, ухищрения, переделки выточек и оборок, ее оживление и веселье по возвращении с банкетов, обычно имевших место после премьер Вахтанга Николаевича; ее смех, медленный плавный смех, завораживавший Вахтанга Николаевича; постепенно Бронгаузер постигал в воспоминаниях свою мать – ведь после появления Бронгаузера-старшего его отношения с матерью порядочно переменились – любила она его, пожалуй, не меньше, чем прежде, но и не больше, чем этого требовало ее чувство самоуважения, придававшее определенный, не обсуждавшийся оттенок ее отношению к встречам сына с Бронгаузером-старшим, их встречам и беседам в ресторанной торжественности тех времен, их прогулкам и материальной поддержке, которую отец оказывал сыну в его студенческие годы.

Во время нечастых и непродолжительных приездов домой в студенческие годы он, пожалуй, достаточно ясно ощущал ее не высказанное отношение к его появлениям; он не просто приезжал домой – она, скорее, считала, что он реализует свое право находиться и жить в этом доме, что она впоследствии, особенно после исчезновения Вахтанга Николаевича, подчеркивала почти явственно; и окончательное его возвращение, столь неожиданное для нее, она именно так восприняла и протрактовала, не принимая версии о переезде, причиной которого было ее нездоровье, хотя в письмах ее, которые сын получал регулярно – ведь какая-то пунктуальность в некоторых, я бы сказал, процедурных вопросах выполнения родительского долга, была ей свойственна, – в письмах ее содержались и открытые, и завуалированные пожелания его переезда.

И тем не менее появление сына ее насторожило, она тщательно подчеркивала свою определенную автономность и независимость, насколько это ей позволяло здоровье, и первый период того недолгого времени, которое он прожил вместе с матерью по возвращении домой, в эти желтые и зеленые комнаты и белую залу, веранду с матерчатыми креслами и диваном, чайным столиком и акварелями на

стенах, веранду, полную фиалок – «Пламтип», «Лилиан Жеретт», «Империал» и прочих, – в первый этот период под старой крышей ему пришлось проявить немало выдержки и проницательности, а также и определенной способности к истолкованию определенных ситуаций в некоем специфическом комическом духе, столь ценимом его матерью.

– Ты комедиант, мой милый, – заявила она спьяна ему однажды, – и знаешь, какую комедию ты разыгрываешь? Я тебе скажу: возвращение сына к наблудившей матери...

Он же порой забавлял ее рассказами о мучениях кошек, над которыми проводились физиологические эксперименты в Институте. Он выдумал кошкам имена и характеры, достаточно сильно отклоняясь от реальности обычных лабораторных исследований; строил драматические ситуации с участием кошек и порой мысленно именовал себя кошачьим драматургом, так быстро он привык к тому, что непременными участниками вечернего времяпрепровождения, вечернего чая на веранде были кошки, рыжие и зеленоглазые, пушистые и мстительные, мягкие и женственные, пружинистые, гибкие, дразнящие кошки, мудрые и ленивые, разраставшиеся до некоей символической огромной кошки, сидевшей за их столом по вечерам.

– Ты, видно, обожаешь женщин, – сказала однажды мать, закуривая, – иначе ты бы не смог этого выдумать...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

...Теперь о кошках. Кошки – классический объект физиологического эксперимента. Кошек содержали в виварии.

Территория Института полукружьем обнимала плоскую, покрытую соснами вершину невысокой горы Трапеция. Лаборатория Бронгаузера располагалась на первом этаже одного из корпусов института. В маленькой комнате стоял письменный стол, шкаф, пара стульев и вешалка в углу. На стене была укреплена черная доска. Сюда он приходил пять раз в неделю к девяти утра или чуть позже. В соседнем помещении, где, собственно, и проводились эксперименты, располагались ассистенты и оборудование.

Акоп, с сигаретой в зубах и неизменным паялъником в руке, занимался аппаратурой. В свободное время он чинил магнитофоны и транзисторы. Иногда он сидел и пил кофе, глядя за окно, на кусты олеандров и эвкалипты, высаженные вдоль аллей меж корпусами и виварiями. Порой он слушал музыку.

Кофе варила Шура. В свободное время она решала кроссворды, подпиливала ногти или причесывалась у зеркала. Она тоже любила слушать музыку. Бронгаузеру она заносила кофе после его прихода;

иногда он пил кофе в препараторской, когда ему хотелось поболтать. Шура прекрасно владела техникой вживления электродов и совершала все операции поразительно быстро, четко и спокойно, как бы отсутствуя при этом. Физиологические аспекты экспериментов ее, пожалуй, не волновали. Она жила с бабушкой и младшим братом – ей надо было выйти замуж. К кошкам она относилась хорошо, в отличие от другой лаборантки, которая их терпеть не могла. Она их жалела.

– Что поделаешь, джан, – говорил ей Акоп.

Порой к Бронгаузеру приходили поболтать сотрудники. Один из них, доктор Лаер, кофе не пил. Для него варили в колбе крепкий чай. С тех пор, как запасы цейлонского чая кончились, Бронгаузер регулярно покупал тюбики лучшего местного чая для доктора Лаера.

Обычно доктор Лаер пил чай и болтал; в силу разнообразных причин он объездил полмира, а это что-то да значило.

– Почему именно кошки? – спросил он однажды. – Обезьяны хуже пахнут, но они пахнут сенсациями..

– О, я начинал с лягушек, – ответил ему Бронгаузер. И в самом деле, в Ленинграде, у Генриха Антоновича, Бронгаузер начинал с воспроизведения известных опытов по изучению зрения лягушек. Теперь же он отрабатывал новую методику экспериментов, которые должны были установить связь между некоторыми аспектами поведения кошек и функционированием их fovea centralis, центральной ямки в кошачьем глазу.

...Лягушки питаются насекомыми, которых они обнаруживают при помощи зрения. Движущийся объект вызывает у них реакцию в виде прыжка. Неподвижный же объект не изменяет их поведения. Луч света, проникая в глаз лягушки, достигает дна, где он попадает на сетчатку, чья функция отнюдь не сводится к простой передаче всей мозаичной картины светлых и темных пятен возникшего на ней образа. Напротив, она заключается в анализе каждой точки этого изображения по четырем признакам (граница, движущиеся кривые, меняющаяся контрастность и локальное потускнение, степень освещенности) и передаче полученной информации в зрительный бугор.У лягушки в глазу нет fovea centralis, центральной ямки, и обработка визуальной информации со зрительного входа осуществляется равномерно и в относительно небольших масштабах, в полном соответствии с тем, что поведение лягушки соответствует двум универсалиям ее опыта: враг и жертва.

У кошек, так же как и у других животных с фовеальным видением, происходящее в коре головного мозга «распознавание образов», то есть выяснение того, *что имеется на самом деле*, требует более сложной обработки визуальной информации, чем это имеет

место в случае лягушки, когда обнаружению подлежит лишь несоответствие с ожиданием. Что же до кошек, животных с фовеальным зрением, то зрительную кору их мозга исследовали Хьюбел и Визел.

– ...Представьте себе кошку, разглядывающую свою несостоявшуюся жертву – птицу, покачивающуюся на росистой ветке яблони, – так вот, вся мозаика колбочек и палочек, помещенных в глазу у кошки, работает отнюдь не фотографично, а зрительный канал, состоящий из миллионов корковых нейронов и передающий информацию о воробье или пролетевшей бабочке-капустнице в центрэнцефалическую систему, работает по совершенно особому принципу, решительно предпочитая одни образы другим; и вся логика поведения кошки, дикой кошки-бродяжки, караулящей воробья на росистой ветке в весенний день, логика ее движений, тех томительных поз, которые она принимает, настороженности и, наконец, прыжка за жертвой-добычей, пронизана логикой организации ее зрительной системы – что указывает на то, что существует некий собственный язык, используемый в центральной нервной системе кошки, который следовало бы называть «кошачьим» языком, и такого рода языки стоят, следственно, не только за «кошачьей» формой разумности.

– Подобным же образом следует рассуждать и о нас самих как о биологическом виде, и уж конечно, – сказал однажды Бронгаузер, – можно установить соответствие между уровнями развития не только языков центральной нервной системы, но и внутривидовых коммуникационных процессов с соответствующим уровнем развития нашей fovea centralis. И возможно, что именно изменение нашей fovea centralis оказалось бы следующим этапом эволюции человека... Но возникновение языка и речи вытолкнуло нас из области эволюции видов в историю – человеческую историю, где мы и оказались, обладая довольно жалким уровнем «разумности», хотя совершенно нельзя исключить и возможность того, что уровень нашей «разумности» все еще может измениться...

Но доктора Лаера этот экскурс в проблемы эволюции видов не слишком обеспокоил, и после недолгого раздумья он сказал:

– Ну, хорошо, эволюция fovea centralis, другие возможности эволюции вида, «нечетные кошки», как вы их называете, – ну а чем вы, в сущности, недовольны? Языковым барьером, так сказать? Вы полагаете, что он создал пределы нашему развитию? Вы полагаете, человек ограничен языком? Да мы в нем тонем! Люди утопают в этом океане языка...

– Ну и куда нас выбросил этот океан? – услышал Лаер в ответ. – В ситуацию, когда мы, быть может, должны биологически измениться, чтобы выжить... А иначе мы просто уничтожим друг друга, как банды

на пустыре, воюющие из-за пустых банок с яркими наклейками, а в сущности из-за различного понимания нескольких слов, которые, скорее всего, вообще не имеют отношения к реальности...

– Измениться для того, чтобы выжить как вид? Что-то я не совсем улавливаю, – пробормотал доктор Лаер, протянул руку за фиником и отправил его в рот, – неужели вы думаете, что на этом свете кто-нибудь откажется хоть от единого финика? Э, милый, мы слишком дорожим своей шкурой... Нет уж, увольте, я весь мир объездил, повидал кое-что и, быть может, отдал бы это все за несколько лет молодости. Пока вы – обладатель самого драгоценного – свежей шкуры с хорошими потрохами, – цените это, – и доктор Лаер отхлебнул чай из своей чашки, а затем добавил: – Ну а человек, если говорить о нем как о виде, в сущности своей подл и хитер, и всегда найдет возможность выкрутиться... Ах, коллега, вот вы занимаетесь зрением кошек и мечтаете изменить человечество, а ведь если быть реалистом, то не следует забывать, что на всех, кто занимается высшей нервной деятельностью, в институте смотрят как на обузу, – так убедите же кого-нибудь в вашей пользе... Иначе вас заклюют... Попробуйте установить контакты с Министерством обороны, они много вкладывают в науку... Пообещайте им что-нибудь...

Тут доктор Лаер процитировал слова Председателя Мао: «Мы не будем говорить о том, как строить жизнь на солнце, мы продолжим классовую борьбу здесь, на земле».

Сказав это, он засмеялся, довольный недоумением собеседника, а тот, в свою очередь, спросил:

– Что же я должен им пообещать? Умных кошек, которые будут вынюхивать чужие секреты?..

Лаер долго смеялся, потом отхлебнул чаю и на мгновение задумался.

– Почему бы и нет... Мне будет очень жаль, если вашу лабораторию закроют...

– Я, кстати, тут вычитал в последнем «Proceedings of the Royal Society», в разделе писем, соображения по поводу того, что сигнал от какой-нибудь высокоразвитой цивилизации может содержать формулу универсального галлюциногена, – как вы на это смотрите?

– Это пахнет пацифизмом, – заметил доктор Лаер, – но сама идея как будто не глупа, а впрочем – «бойтесь данайцев, дары приносящих», – процитировал доктор Лаер.

– Завидую вашему классическому образованию, – сказал Бронгаузер и после паузы добавил: – Представьте себе, однажды меня угостили сигаретами с гашишем – ну и я наметил ряд экспериментов...

Но доктора Лаера гашиш и психоделические эксперименты волновали мало, и через мгновение Лаер продолжил, морща нос:

– И если даже мы не изменимся и погибнем, то что из этого? Каждый эксперимент имеет начало и конец.

– Ну, не знаю, можно ли все это называть экспериментом, – сказал Бронгаузер, – но если кто-нибудь нас зачем-то и сотворил, то тут же и позабыл про нас, уж крайне неудачная получилась конструкция... Ну так что ж, поживем, попрактикуемся в гадостях, ну а потом средь бела дня лягушачий какой-нибудь, квакающий голос из репродукторов раздастся и скажет: «Хватит, ну хватит, потанцевали – и хватит», тут же и небеса исчезнут, и все мы внутри то ли колбы, то ли реторты, а вокруг спиртовки адского пламени... ну, как это вам, по вкусу?

– Ну что вы, – засмеялся доктор Лаер, поправляя очки; он искренне и долго смеялся, заметив, впрочем, в конце, что картина довольно впечатляющая.

– Жалко было бы, если бы это дошло до профессора, – подумал Бронгаузер, – хотя как это до него дойдет, ведь он знать доктора Лаера не желает, да и такие вещи не передают... ну а что бы на это сказал отец... Или это несерьезно для него, они, пожалуй, как-то иначе воспринимали все это, – подумал он, припомнив встречи и беседы отца с профессором, – а я тоже хорош – «тайный исповедник религии кошки»...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На почте, маленьком почтовом отделении в первом этаже гостиницы, у которой он порой видел Андрея Элизбаровича, Сосульку стародавних времен, где на барьере стояли горшочки с цветами, а стена была украшена открытками с экзотическими пейзажами, он получил однажды бандероль от Яты с небольшим томиком стихов Бодлера, и, проглядывая стихи на веранде гостиницы, где пили крепкий красноватый с огромными дольками лимона и горками сахарных кубиков на блюдцах чай старики-пенсионеры, приезжие и музыканты из ресторанов, перелетные птицы музыки, он натолкнулся на отмеченный закладкой сонет о кошках, и ниже я привожу подстрочный перевод этого стихотворения:

Пылкие любовники и серьезные ученые
Равно любят в свою зрелую пору
Могучих и ласковых кошек, гордость дома,
Которые, как они, мерзнут и, как они, домоседы...

Друзья наук и сладострастия,
Они ищут тишину и ужас мрака;
Эреб взял бы их себе в качестве траурных лошадей,
Если б они могли склонить свою гордыню перед рабством.

Грезя, они принимают благородные позы
Огромных сфинксов, простертых в глубине одиночеств,
Которые кажутся засыпающими во тьме без конца;

Их глянцеватые чресла полны магических искр.
И крупицы золота, как и мельчайший песок,
Туманно устилают звездами их мистические зрачки.

Позднее, читая статью, посвященную этому сонету, он узнал о том, что «из созвездия, данного в начале поэмы и образованного любовниками и учеными, кошки, вследствие своей медиативной функции, позволяют исключить женщину и оставляют лицом к лицу (если не сливают воедино) ‘поэта Кошек’, освобожденного от ‘узкой любви’, и Вселенную, освобожденную от суровости ученых». Утверждение это, как ему показалось, обреталось в русле того, что в разговорах с матерью именовал он «кошачьим вопросом», и последовавшее обсуждение сего утверждения с матерью за ужином на веранде изрядно его развлекло, оно внесло какое-то разнообразие в вечерние разговоры...

«Пожалуй было бы славно сообщить обо всем этом Генриху Антоновичу», – подумал он, Генриху Антоновичу, как-то сказавшему:

– Ну, не огорчайтесь, Бронгаузер, коли не удастся вам в этот раз съездить на Цейлон, – съездите в другой раз, вы ведь многое еще увидите, и вообще, читайте побольше Толстого, – тут Генрих Антонович закурил «Rothmans», он всегда курил именно эти сигареты, – и, если есть у вас такая возможность, – женитесь, женитесь – и все у вас образуется, я имею в виду – женитесь здесь, на ленинградке, и с работой все будет решено, это я вам гарантирую, – сказал Генрих Антонович.

Разговор этот происходил в парке при Университете, аспирантуру Бронгаузер проходил при биологическом факультете, а Генрих Антонович любил погулять в этом парке в те дни, когда приезжал к своим аспирантам.

«...Жениться, – подумал Бронгаузер, – гулять после обеда полчаса в парке, курить ‘Rothmans’, стать в конце концов доктором наук да еще с моей паршивенькой фамилией выехать пару раз куда-нибудь,

превратиться в Генриха Антоновича Бронгаузера, обзавестись затем второй женой, которая будет работать где-нибудь на радио или в издательстве, лечить зубы, пописывать статьи и играть в теннис... Да ведь за это еще как расплачиваться придется...»

«Что же я сказал ему тогда... – попытался припомнить он, – а впрочем, неважно это все», – он вновь сидел на веранде и пил яркий красный чай с ломтиками лимона в стакане; горка из кубиков сахара громоздилась на отдельном блюдце, а за соседним столиком кто-то продавал ударную установку «Регент». – «Еще чаю», – попросил он у девушки, протягивая ей мелочь. – «Жаль, право, что тогда я не знал о медиативной функции кошки... А вот и кошка, кстати...»

Кошка появилась со стороны набережной, общего места бесцельно слоняющихся людей, и спрыгнула с барьера, уставленного жестянками с геранью. «Да не кинуть ли ей сахару, – подумал он и бросил на цемент сахарный кубик, а кошка вильнула в сторону соседнего столика – там пахло только что принесенной из ресторана жареной на вертеле рыбой. Помимо рыбы на столик принесли блюдо жареного картофеля, зелень и несколько бутылок вина; скорее всего, «Регент» с усилителями и микрофонами был продан, приближался летний сезон, когда музыканты могли заработать, а кошка, урча, грызла что-то в углу...

Проходившая мимо официантка зашипела на нее – «Кш-ш...» – тут кошка тяжело взлетела на барьер, оглянулась – «Э-э, да она скоро окотится», – заметил Бронгаузер, – и лениво удалилась в сторону бульвара, где плыл, передвигался, подпрыгивая и закинув голову, подергивая короткими руками под припекающим солнышком, среди чернеющих силуэтов стоящих и слоняющихся людей Бронский в оливковой рубахе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

...А тогда, в Ленинграде, полное имя ее было древним и ветхим, и Бронгаузер называл ее просто Ятой, как, впрочем, называли ее все.

– Ну почему же ты не сделал этого раньше, – спросила она однажды, уже после той встречи в сквере у Казанского собора, – если бы ты сделал это раньше, все было бы иначе в моей жизни, – продолжала она...

– Ты думаешь, я знал, что все так произойдет? – смеясь, ответил он.

– А я всегда знала, и всегда об этом думала, и этого хотела, – она улыбнулась и откинула волосы со лба, – в этот раз ты появился так внезапно – а я уж думала, совсем думала, что ты уехал навсегда.

– Совсем думала? – переспросил он, недоумевая.

– Ну да, думать ведь можно совсем и не совсем, – ответила она.

– Какое это имеет значение, уехал я навсегда или нет, – сказал он, закуривая, – и какой, собственно, смысл в слове «навсегда», – спросил он, целуя ее, – что мы можем знать о том, что *навсегда*; просто теперь я свободен, как никогда раньше, – ты понимаешь? – он встал и выглянул в окно, на другой зеленый берег реки: за скверами стояли темные фигуры домов, а с реки потянуло свежим ветром. – Давай выпьем вина, – продолжал он, – у меня тут есть бутылка, только стаканы какие-то ужасно немытые.

– Тогда давай пить из горлышка, – сказала она, – ты что же, совсем не думал обо мне? – она спросила, вставая и закутываясь в халат; ветерок стал прохладным, а над домами на соседнем берегу собирались тучи – готовилась гроза.

– Ну, не совсем так, – сказал он, отхлебнув вина, – это вино, которое здесь называется грузинским, – просто ужасно; представляю, что с ним делают по дороге... Просто я не верю, что это действительно может что-либо изменить в чьей-то жизни, хотя один человек действительно иногда может помочь другому... а ты, ты так хороша! – вдруг быстро добавил он и выпил еще...

– Милый, ты такой еще глупый и молодой, – она засмеялась, – но я тебя все равно люблю, – сказала она, обнимая его. – Теперь я знаю – я хочу каждый вечер засыпать с тобой, и всё...

– Эта бедная девушка вовсе не для тебя, – выговаривала в свое время мать. – Боже мой, – добавила она, – вот уж не ожидала от тебя столь христианского порыва, хотя и адресован он еврейке. Да и она, пожалуй, не совсем еврейка... Они – другие...

«‘Они’ – великолепная формула», – подумал сын и спросил: – А что, собственно, ты имеешь в виду?

Разговор происходил на летней вечерней веранде; Ята принимала душ, она хотела смыть с себя соль после купания в море, от соли волосы надо лбом жестко топорщились...

Лето было не особенно жаркое, и светляки все еще носились внизу, в саду, за листьями винограда, спасавшего веранду от летнего солнца. .

– Что я имею в виду? – переспросила мать, глядя, как он, сидя в кресле, закидывает ноги на стоящую рядом табуретку и закуривает...

– Вот видишь, ты даже закурил, – без всякой видимой связи добавила она, отхлебывая чай из чашки, – а я, собственно, то думаю и говорю, что вы – совершенно не пара: ты ведь человек достаточно жесткий, даже жестокий, хотя и любишь прикидываться другим – как вот теперь, с нею; только я совершенно не понимаю, зачем тебе

это... Да и ей нужно что-то совсем другое, поверь мне... Она готова принести себя в жертву тебе; пока она просто еще не понимает, что ей нужно, – поверь, мы, женщины, сразу это видим; на самом же деле ей нужен совсем другой человек, с тобой она будет только мучаться, и Бог знает, чем это кончится... Милый мой, ей самой надо определять чью-то судьбу...

– Боже мой, что это за слова – «судьба», «жертва», – слова из старых романов, – повторил он за матерью, глубоко затягиваясь сигаретой. – Не очень-то я во все это верю, даже – совсем не верю.

– Да ты вообще ни во что не веришь, ты жестокий и жесткий человек, и отец твой был таким же, и ты знаешь, чем это всё обернулось. Тебе нужна совсем иная женщина, то есть женщина глупая, которая стремилась бы обеспечить твое счастье и удобство, а не эта одержимая гуманистическим бредом еврейка, – тут мать засмеялась собственным словам и, встав, налила себе еще чаю.

На этом разговор оборвался, ибо Ята в халате вышла на веранду, и он встал, уступая ей кресло у настольной лампы, освещавшей чашки, сахарницу, розетки с чуть забродившим инжирным вареньем и зеленый силуэт чайника.

– Как здесь хорошо, – сказала Ята, – здесь можно сидеть всю ночь...

– Да и в конце концов, – сказала ему мать позднее, наутро, когда Ята еще спала, – уж во всяком случае она мне здесь не нужна, мой милый, хотя бы потому, что я уверена, что и тебе это не нужно...

...И хотя его и покоробили эти слова, но и тогда, и потом, когда Ята все-таки появилась в этом доме на горе Чернявского, где за балконом стояли бородатые пальмы, а ниже, за цитрусами, маячили кипарисы, он ощущал, что в чем-то мать была права... Угадывалась некая ирония и в том, что Ята фактически заняла ее место в музыкальной школе чуть ниже по горе; более того, ей даже пришлось заниматься кое с кем из учеников матери – и вновь окрестности оглашались черниевыми этюдами, сонатинами Моцарта и Клементи и пьесами из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского... Это было удивительно: прошло время, он вновь возвращался домой, на гору, от своих кошек в лаборатории, а из дома неслась музыка – та же, что и при жизни матери, высокой зеленоглазой женщины, с чуть стылыми чертами лица, со светлой ровной кожей, женщины, встреченной Бронгаузером-отцом в незабываемом апреле 42 года...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда-то, после той самой поездки со словоохотливым шофером по Кировскому проспекту, он попал в Малый зал на концерт не слы-

шанного дотоле пианиста, дель Аньоли, Джованни дель Аньоли. Билет ему предложил Сергей Николаевич, кассир филармонии, вечно сидевший под светом зеленого абажура в своей будочке на одной из станций метро, его нескончаемых электрических коридоров, напоминавших о постоянном бодрствовании сознания.

Итальянец играл превосходно, с той зрелостью и выпуклостью, что могли предшествовать лишь распаду, трещинам, гибели, разложению и смерти целого – музыки, – и Бронгаузер ощутил некую грань, за которой неизбежны были летальные мутации, неуловимую грань порядка совсем иного... В программе были произведения романтиков, и пианист сыграл их на том совершенном уровне организации и связи музыкального напора, за которым летальные мутации были неизбежны, однако этой грани он нигде не перешел, наведя Бронгаузера на мысль о счастливцах, одаренных высочайшим балансом, равновесием и ощущением меры.

После концерта, стоя уже в очереди за плащом, в полутемном тусклом освещении, Бронгаузер вместе со всей отраженной в зеркалах очередью ощутил вдруг какое-то единое движение, охватившее всю живую массу людей вокруг, и обернулся вместе со всеми: по лестнице спускался маэстро; толпа принялась аплодировать, маэстро легко приподнял шляпу над оливковым медальонным лицом, коснулся подбородком белого шелкового шарфа, укутывавшего шею, легко улыбнулся, повел плечами под темным пальто и, спустившись по следующему пролету лестницы, исчез.

Все смолкли, молчал и Бронгаузер, пораженный живым совершенством южной пластики. Он припомнил, как приезжал однажды в северную столицу Вахтанг Николаевич. Тогда, среди прочего, побывал он и в мастерской у знакомого скульптора. Последний собирался ваять портрет Вахтанга Николаевича и, показывая мастерскую гостю, сказал:

– А вот тут у меня – северное освещение.

На что Вахтанг Николаевич ему ответил:

– Да тут, дорогой мой, куда ни посмотри, – всюду Север...

А Яту он встретил после этого концерта случайно, как это уже не раз происходило в последние годы. Маэстро внушил ей страх.

– Страх? – удивился Бронгаузер.

У него чувство было иным: солнечным, вроде подъема к горе Чернявского, к музыкальной школе, откуда неслись несовершенные обрывки фраз, наивных, нерасторопных, тремолирующих, будто и не черниевых, фраз, столь простительно легкомысленных, когда внизу, за ворохом желтых листьев, упавших с платана, лежал, словно подплавляясь вместе с осенним солнцем, городок.

– Да, страх, – пояснила она, – Аньоли играл так, словно ему совсем уж и не нужны были слушатели, словно мы были нежеланными и в какой-то мере невольными свидетелями этой музыки, свидетелями музыкального процесса, собственно и не нуждавшегося в людях, обращенных в слушателей и зрителей, да и вообще – в людях. То есть получалось, будто все это было чересчур совершенным – как будто я лишилась своей воли, и меня охватил страх, – закончила она.

И добавила:

– И ты тоже... – иногда ты тоже такой, то есть не такой еще, конечно, но ты таким хочешь стать, а может быть, и станешь...

«Следовательно, – он подумал, – она опасалась тысячелетнего, вечного стремления к выживанию, породившего все – от первой живой клетки до совершенного мастерства маэстро, совершенства, коему неизбежно последуют мутации, болезни, смерти и рождения, – все то, что противостоит мозгу, такому же орудию выживания, в сущности, как когти, мышцы и клыки.»

...И позднее, ко времени встречи в скверике у Казанского собора, когда уже состоялось путешествие к трехтысячелетнему дереву бо, когда навечно непроницаемыми остались дагобы, служащие захоронениями частиц Будды, и, главное, после того, как умер, скончался, ушел с лица этой земли Бронгаузер-отец, после сакраментальных фраз Генриха Антоновича с непременным советом перечитывать Толстого, когда он уже ясно понимал, что почти и не приложит усилий для того, чтобы остаться в Ленинграде, а предпочтет вернуться домой, к горе, солнцу, голубой тени и работе в Институте, он легко и как бы неожиданно для себя предложил ей перебраться к нему. «Как быстро это все забывается, – подумал он, – сухие и влажные десны, молодые дрожащие губы, гибкая мякоть поддающегося тела, нескончаемое упорное падение, полет в зеленое и желтое напружинившегося тела, освобождение и томление, жажда, желание, словно неуходящий сон, влажные десны и тонкие руки неприходящего сна, до последней усталости и тяжести, до нелепых слов, срывающихся с языка, сразу забытых, сказанных почти во сне... но может быть, – подумал он, – на этот раз будет по-другому...»

Он не предвидел сопротивления матери даже возможности того, что кто-то чужой, посторонний войдет в этот дом, – ведь ему казалось, что он всего лишь осуществляет свое право, или то, что он понял из ясных и недвусмысленных слов матери в ту встречу в гостинице, где номер, в котором он остановился, выходил на огромный, открытый, опоясывающий белое здание балкон, нависший над вросшими в длинную ленту бульвара мохнатыми стрелами пальм.

Но мать об этом и слышать не хотела – тут он вновь увидел ее

недовольной, даже яростной: «скорее, ему следовало позаботиться о матери», услышал он, «она устала жить среди этой рухляди, в нищете», как она выразилась, – «топить зимой печь, заниматься с бесконечными учениками, мучаться в холоде и сырости», – даже весной ей постоянно приходилось пить вино, чтобы согреться, порой ее душил кашель, и она не желала превращаться в чью-либо прислугу.

В конце концов его охватило отвращение; он уперся взглядом в длинную линию горизонта, пролегавшую за бородатыми пальмами, и сказал, что он, во всяком случае, жить здесь будет. В дальнейшем они пришли к некоему подобию согласия: часть денег он отдавал матери, обедал он большей частью на работе или в городе, просиживал с матерью вечера на веранде с фиалками – «Глория», «Пламтип», «Лилиан Жеретт», отвечал на ее порой неожиданные вопросы, болтал с ней о языке, о кошачьих драмах, о летних стаях кошек, купающихся в море в полнолуние, и попивал с ней вино, хотя питье такого рода не доставляло ему удовольствия...

Ята приехала к нему вскоре после кончины матери, и позднее, познакомив ее с профессором, он подумал: вот уж действительно идеальные собеседники, несмотря на столь фантастическую разницу в годах и характере жизненного опыта.

Как-то раз Ята рассказывала о пражском кладбище, где был похоронен Иегуда Лев бен Бецалел, создатель Голема, глиняного человека; в надгробье имелась ампула, куда опускали записочки, содержащие сокровенные пожелания... Ята тоже опустила записку, и профессор рассказал историю о Големе, глиняном человеке.

Иегуда Лев жил в пражском гетто и в конце пятнадцатого века сотворил Голема из глины, вложив в уста его «шем». И Голем, глиняный человек, работал, не требуя еды, питья и отдыха... Однажды, накануне наступления субботы, Иегуда Лев позабыл изъять «шем» из уст Голема. Молитва, возвещающая наступление субботы, была еще не закончена, когда за Иегудой Львом прибежали. Дом его был наполовину уже разрушен яростным, красным, чернокудрым Големом. Он уже вырвал из земли липу, на ветке которой тоскливо мяучила кошка.

Ощутив на себе взгляд Иегуды Льва, Голем вздрогнул и остановился, замер, а Иегуда Лев, неотрывно глядя на глиняного человека в ярости, направился к нему и вырвал у него из уст «шем». Голем упал, вновь обратившись в глиняную куклу. Прошла суббота, но Иегуда Лев не оживил Голема. Человек из глины попал на чердак, под крышу старой синагоги, где впоследствии развалился на куски.

Что есть «шем»?

Записка с настоящим именем Бога.

Могила Иегуды Льва на кладбище пражского гетто до сих пор привлекает людей. В нишу за могильным камнем опускают записки с сокровенными пожеланиями. Опускать их можно один раз в год.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Порой я задумываюсь: ведь всего того, что произошло впоследствии, могло и не быть, не будь этой разделенной несколькими годами последовательности смертей – сначала кончины Бронгаузера-старшего и вслед за этим горестным событием события не менее неожиданного, горестного и печального – кончины матери нашего героя.

Бронгаузер-старший продолжал бы свои нескончаемые прогулки по бульвару в солнечные теплые дни, словно заметая своим макинтошем осенние листья, а там, на горе Чернявского, выше музыкальной школы, в сторону бородатых пальм и краснеющих листьев алычи, через огромный застекленный балкон, словно игравший в лаун-теннис с отраженными солнечными лучами, неслись к краю причала сверкающие, лохматые комки солнечного света, и умирали, растворяясь в сырости зимних вечеров, звуки разыгрываемых неумелыми руками черниевых этюдов и отрывков бетховенских сонат.

Но если бы все происходило действительно так, то, пожалуй, не только Бронгаузеру не нашлось бы места в городке, но он и сам не пожелал бы вернуться сюда, вернуться, постепенно превращаясь в обладателя персонального пространства под черным куполом зонта и хлещущего дождя, наследника убогого собрания фактов и предметов, атрибутов проскрипционного списка, обретших невольного хозяина в несостоявшейся жертве, тайного любителя рухляди, хранителя хлама и почитателя несовершенства.

Пожалуй, ничего из того, о чем будет рассказано ниже, не произошло бы, да и Ята никогда не появилась бы здесь...

Все это смогла совершить лишь внезапно обретенная им свобода, подобная столь любимому им морскому бесприютному простору...

Ему было трудно примириться с ее знанием того, что, по ее убеждению, хотя бы и не высказанному, составляло то общее и единое, что объединило их после многих – по тем молодым годам – лет знакомства; того, что неожиданно и для него самого заставило его предложить ей поехать к нему, когда, встретившись в очередной раз, они обнаружили друг в друге единственных полноценных свидетелей этих ушедших лет и своих раздельных времен... В то время он снимал небольшую, почти пустую квартиру в недавно выстроенном

доме у Невы, на Охте, и когда Нева замерзла, он, глядя на занесенный снегом лед, задумался вдруг о том, каково это – идти в одиночестве по такому льду где-нибудь в Сибири.

Никто у него на этой квартире не бывал, кроме эстонки с милым акцентом, проживавшей в квартире на том же этаже, – познакомились они в лифте, вместе порой около девяти спускались вниз, в город, – жизнь его в доме уже подходила к концу, а квартира оплачена была еще на полгода вперед, но предстояла еще масса возни с законченной уже диссертацией, посвященной физиологии кошачьей fovea centralis, т. е. центральной ямки в кошачьем глазу, – так вот он так и сказал: квартира его оплачена на полгода вперед, и она может жить у него, а после защиты он собирался возвращаться, хотя были еще некоторые шансы, что ему удастся съездить на Цейлон, выступить на пленарном заседании с сообщением о совместной с Генрихом Антоновичем работе, содержавшей в себе один добытый с трудом и удачей экспериментальный факт, непредсказуемо редкий, как перелет облака бабочек через Тихий океан, а уж потом, как говорил Генрих Антонович, можно было бы и побороться за то, чтобы остаться при Университете.

В конечном счете, это был вопрос полугода, в течение полугода все должно было выясниться, хотя довольно ясно предчувствовал он, что поездке не бывать, и так оно и оказалось, и эстонка, в общем-то, не очень и удивилась появлению Яты, и даже пару раз заходила к ним, ведь, в конце концов, они просто иногда проводили время вместе, соседи по этажу и заснеженному льду пустой реки, и даже спать она уходила к себе – она так это мило, коверкая слова, объясняла: как глупо тащить свою зубную щетку из одной квартиры в другую, когда квартиры на одном этаже...

Отчего же они оказались свидетелями друг для друга?

Могло ли быть так, что никогда не высказанное ею открыто убеждение в единой основе того, что властвовало над их временами, было не совсем беспочвенным?

Настроен же он был дьявольски легко в ту пору; он развлекал себя мыслями о Коломбо, они выплывали в странно знакомой оболочке, возвращая где-то уже виденное... Порой ему грезилось – он плывет один в полуночной толпе по набережной... порой он будто бы вспоминал захоронения частей или частиц Будды, рассеянные во множестве по зеленой капле острова, а однажды коллега-вьетнамец явился ему коридорным боем, спрашивающим, какого типа завтрак он предпочитает, английский или американский?..

Генрих Антонович проявил поразительное упорство, пытаясь

оставить его в своей лаборатории, но кончилось все пресловутым советом перечитывать Толстого – и тут Бронгаузера словно осенило: он знал теперь, откуда возвращались ему видения ночной набережной...

– Да как это просто, – он рассмеялся, мысли его приняли определенное направление, он стал готовиться к отъезду домой, благо там и с работой устраивалось все великолепно, но возвращаться с Ятой он и не предполагал...

Однако неожиданная кончина матери изменила все – Ята приехала к нему...

...Но вскоре он ощутил, как его начинает покидать то, что пришло со смертью матери, – обретенная странная свобода ежедневного разглядывания морских волн с причалов и из кофеен, свобода пустого медлительного зеленоватого времени, нескончаемого времени в пустых теперь стенах, зеленых и желтых, молчащего фортепиано, веранды с выходящими на нее эмалевыми дверями, нескончаемого времени горшков с фиалками – «Пламтип», «Гвоздичка», «Лилиан Жеретт», «Империал», – свободного времени морской зыби, подрагивания тончайшего поверхностного слоя огромного зеркала и плотного рельефа песчаного дна, повторяющего легкий профиль бегущих волн, свобода и пустота возвращения в знакомо незнакомые улочки, на гору Чернявского, мимо спокойных деревьев в синей вечерней мгле... – все это уходило слишком быстро с приездом Яты.

...И ни мякоть ее губ, ни глаза ореховые, ни вкус кожуры спелого инжира не могли подавить в нем ощущения ее убегания, скольжения, но куда?.. Записочки на пражской могиле, одиночество и слезы в зимнем доме, длинные разговоры, подобные раз в год проводившейся настройке рояля «Бехштейн», беседы с профессором... И, о Боже, его жизнь, детство, религиозное образование в местечке, изучение восточных языков, интерес к ассирийским астрономическим записям – и оттого светское образование, изучение астрономии, далее увлечение математикой, великая война, на которой он был артиллеристом, и вновь математика, работа над водородной бомбой и пришедшее убеждение о неуникальности, неединственности человека, о рассеянности жизни во всем мировом пространстве, и изгнание, счастливое, по мнению Бронгаузера-старшего, изгнание на Юг, по обвинению в космополитизме...

– Так знаете ли, – говорит профессор после беседы об Арктуре, Бетельгейзе и Капелле как-то летней ночью, – что есть величайшее счастье? – и сам отвечает: – Время и состояние, когда мы осознаем присутствие Бога...

...Скольжение, скольжение, скольжение... – и постепенно

Бронгаузер теряет ощущение ясности и уверенности, обретенной после музыки дель Аньоли, и по возвращении из командировки – тогда они с Генрихом Антоновичем занимались нейронами новизны – он узнает о пустой пачке снотворного, карете «Скорой помощи», вызванной соседкой, и о Яте – она в лечебнице и просит забрать ее оттуда, но лечение следует довести до конца, в этом он уверен.

Он навещает ее, а потом с ним случается «летнее приключение», так он называет свое пребывание в заключении по абсурдному стечению обстоятельств...

Впрочем, это окончилось, забыто и развеяно, вскоре и она возвращается в дом на горе Чернявского, а вскоре после этого уезжает, возвращается в Ленинград и, провожая ее, он думает: «Я не Иегуда Лев из Праги, тот смог разрушить Голема, а что я смог сделать для нее?..»

В один из последних перед отъездом дней она ему сказала:

– Милый, как хорошо было бы, если бы ты был постарше!

Но если все нуждаются в защитниках, то что-то, пожалуй, разрушить следовало бы – Голема, глину, грязь и темницы, – или я действительно одержимый, как намекала мне моя мать, и, подобно отцу, подлинное мое призвание – сидеть в тюрьме, – татарское, тюркское, кстати, слово, но я, вроде, этого не особенно боюсь – или боюсь? – он подумал, припоминая лагерь – жизнь грандиозной канализационной системы со стойким запахом испражнений и мочи, – но она просто этого не хочет, он улыбнулся ей: она этого не хочет, ей страшно, когда она одна и когда людей бьют...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я возвращаюсь к Бронгаузеру после небольшого перерыва, – порой в воспоминаниях его я наталкиваюсь на цезуры, плоды работы его сознания, вытеснявшего то, что его связывало, опутывало, мешало, – но ради чего? – не ради ли окончательной скованности под гнетом, бременем несбывшегося или несостоявшегося – подобного, скажем, нечетным кошкам, их неуловимому присутствию, порой столь ощутимо близкому, словно лица его, кожи или глаз коснулся уже шелест плотных и мясистых листьев и трепетание кроны все того же нескончаемого вечного древа... Иногда мне кажется, что он, в конце концов, быть может, сошел с ума, – не так, скажем, демонстративно и откровенно, как Бронский, но как-то по-своему, на свой особый лад, без оперной торжественности и условности, овеществленной в нескончаемых переливах голосов.

Порой он слушал записанные на пластинках оперные арии, иногда он просиживал на веранде свободные дни, разглядывая ветви

и кроны деревьев. А может быть, нотка безумия проявлялась в его приверженности к черному зонту, с которым он не расставался весь дождливый сезон, или в том, что он никогда не вспоминал о Яте, покинувшей его уже несколько лет назад, после выздоровления...

...Та достопамятная беседа с адвокатом, потом уже, после выхода Бронгаузера из непродолжительного заключения, завершилась неким совершенно непредусмотренным итогом, неожиданно вернувшим Бронгаузера в далекие времена Бронгаузера-отца, хорошо знакомого этому невысокому полному человеку с короткими ручками, переходившему почти на шепот в самых, как ему казалось, драматических местах.

Беседа происходила за столиком ресторана на воде, и к концу беседы адвокат, немало обескураженный странным и чуждым ему подходом собеседника к теме разговора – а беседа, естественно, касалась того, что произошло, – случайного или почти случайного заключения Бронгаузера, хотя, быть может, такая оценка и не удовлетворит тех, кто помнит Маркса – о необходимости, пробивающейся сквозь толпу случайностей, – так вот, к концу беседы этой – а беседа была умягчена вином, к концу был подан кофе с коньяком, и адвокат, словно желая скомпенсировать всю накопившуюся неопределенность и неясность, вдруг неожиданно, быть может и для себя, сказал, выпив коньяка и зажмурившись, что он, собственно, давно собирался сообщить Бронгаузеру кое-что из того, что не сказал он Бронгаузеру-старшему по возвращении того из мест заключения.

Ведь никто иной, как сам сидящий за столом и прихлебывающий кофе мужчина, – тут Бронгаузер вновь наполнил рюмки коньяком, – никто иной, как он, принимал участие в работе комиссии по пересмотру тех в далекие годы составленных дел, но, собственно, говорить о деле самом он вовсе и не собирался, не стоило оно того, – тут он вновь влил в себя коньяк, запрокинув седую голову, – но вот он знает, что донос на отца его написала Ольга Константиновна, соседка. Во всяком случае, такое убеждение сложилось у него в силу ряда косвенных указаний на ее авторство, присутствовавших в небрежно составленных материалах дела...

– Ведь вы ее знали, не так ли? – переспросил он.

И к чему же говорить о необходимости или случайности какого бы то ни было события, когда со временем все проясняется и любое локальное событие занимает предназначенное ему место в причинном ряду – так примерно продолжал он свои рассуждения, и Бронгаузер подтвердил, что был, разумеется, знаком с Ольгой Константиновной, той самой женщиной, что встретила его отца на

бульваре сразу после возвращения его в город, – ведь это была мать школьного товарища его, Сосульки, с ним вместе, помахивая портфелями, поднимались они после школы к себе домой, на гору Чернявского, болтая о всяких разностях, а порой и ловили птиц...

Но эпоха пропавшего Сосулькиного пса и живодеров давно прошла, прошла вместе с бесконечными очередями той поры за хлебом, сахаром и мукой, и теперь Бронгаузер чаще всего встречал Андрея Элизбаровича на бульваре, где тот, чисто выбритый, с сильными залысинами, позванивая зажатыми в руке ключами, прохаживался, иногда останавливаясь переговорить с персонажами, вечно вертевшимися у гостиницы «Интурист». Обычно они болтали, поглядывая на иностранные автомобили, на входивших и выходивших людей, а вслед за этим Андрей Элизбарович шел дальше по бульвару, похозяйски позванивая связкой ключей.

Теперь они перебрасывались парой слов, после чего Бронгаузер обычно направлялся в сторону кафе, меж тем как Андрей Элизбарович, сославшись на неотложные дела, продолжал свою прогулку по набережной.

...И вот, через пару лет после беседы с адвокатом и внезапного преображения Ольги Константиновны, произошедшего за столиком ресторана на воде, Бронгаузер как-то раз встретил ее сына в полупустой утренней кофейне, откуда, выпив кофе, бывшие одноклассники направились на прогулку под стреловидные пальмы весеннего бульвара, отбрасывавшие на асфальт голубые воскресные тени.

Прогулка привела их на большой причал, а разговор неожиданно прояснил то обстоятельство, что небольшое летнее приключение Бронгаузера со всеми его последствиями до сих пор оказывает решающее влияние на возможность зарубежных поездок, и вот тут-то Андрей Элизбарович упомянул определенную возможность, связанную с его, Андрея Элизбаровича, личным отношением к Бронгаузеру, сказав, что все, в сущности, можно было бы устроить, если бы Бронгаузер помог ему – единственно ради его же собственной пользы, – говорил Андрей Элизбарович, – «Ведь я потому тебе это говорю, – продолжал он, – что тебя-то я знаю, знаю великолепно, а о другом я не стал бы и думать вовсе» – ну, невыездной он, вот и все, ну а если удалось бы ту неприятную, хотя формально как бы и не состоявшуюся историю, каким-либо образом компенсировать, что, собственно, и предлагал Андрей Элизбарович, то уж тут бы открылись совсем новые возможности, и следовательно...

Он решительно позвякивал ключами, они стояли на самом краю причала, легкий весенний туман набегал на сонный еще, кое-где поблескивавший кусками оконного солнца город, и тут Бронгаузеру

пришлось сказать, использовав стандартную и общеизвестную формулу, что он, собственно, и рад бы помочь своему старому другу, но в настоящее время просто не видит, каким образом может он это сделать, но уж коль скоро такая возможность появится, то уж Андрей Элизбарович, то бишь Сосулька, может на него рассчитывать, – сказал он, вновь ощущая прилив ненависти, схожий с тем, что вызывали у него поначалу соседи по лагерному бараку...

Ненависть вздрогнула и зашевелилась, подобно змее, выползающей из открытого рта спящего человека. В низменных, болотистых местах наших, говорят, что иногда случается так, что если человек уснет с открытым ртом где-нибудь в поле, у белых цветов, то в горло ему может вползти змея, и если змея небольшая, то живет она внутри человека и выманить ее можно лишь запахом парного молока.

Так вот, змея эта мирно живет в человеке, но стоит ему вновь заснуть с открытым ртом, как змея выползает подышать свежим воздухом и взглянуть на божий мир. Подышав и покрутив своей головкой, змея вновь укрывается в человеке.

Нечто подобное пережил и Бронгаузер, беседуя с Андреем Элизбаровичем над утренней водой у оконечности причала. По окончании беседы Андрей Элизбарович удалился, позвякивая ключами; их звон вместе со звуком его шагов легко несся отсюда, с причала, в сонный еще город.

Ненависть вздрогнула и зашевелилась, подобно змее, вылезающей изо рта спящего у белых цветов человека на сырой и низменной колхидской равнине. И раньше порой его останавливали, казалось забытые уже прочно, знакомые по заключению. Происходило это обычно где-нибудь в кофейне, на берегу, в парке; они возникали внезапно, подмигивали, хлопали по плечу – оказывается, они помнили его, им приятно было его видеть, и он, чуть напрягаясь, узнавал их, свидетелей ушедшей иллюзорной реальности, людей, которые, обменявшись с ним парой фраз, быстро, возможно навсегда, исчезали из его жизни...

И тут он припомнил тот огромный архив, где работал адвокат, давнишний его собеседник, участвуя в работе комиссии по пересмотру старых дел эпохи Бронгаузера-отца: огромное собрание тщательно занумерованных и установленных по стеллажам папок в глухой комнате за бронированной дверью и лампочками под жестяными козырьками; когда-то он мысленно отправил свое собственное курьезное, бессмысленное дело в архив, подобный этому, целиком полагаясь на бронированную дверь, но теперь-то он знал – и змея пробудившаяся это ему доказала – дело его жило, оно не умирало и даже имело определенную власть над ним...

И теперь, разбуженный выползшей из горла змеей, он остался один на оконечности причала, сожалея об отсутствии сигареты.

Чуть позже он усмехнулся: и ты туда же, Брон, – пора быть прохладнее, чуть прохладнее; он припомнил рассказ одного из ветеранов кофейни – «да эти часы штампованные, – сказал тот, – сколько их было немецких у нас в конце войны, так мы и спорили на выпивку, попадешь в них или нет, подвешивали их к ветке – и шагов с двадцати из ТТ попадешь, а они вдрызг»; вот именно – вдрызг, – подумал он, – пора уж научиться расстреливать время...

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В конце лета шли дожди, земля впитала влагу, и осенью из садов сквозь дыры в изгородях и калитках со всех сторон несся запах крупных фиолетовых виноградин, податливо зеленых внутри, – запах будущего вина, пьяный предшественник наступающей осени.

Запах винограда проникал повсюду, он легко овладевал пространством, стоило только шевельнуться ставне или лущившейся под летним солнцем двери. К запаху винограда примешивался легкий аромат спелой груши, инжира и желтых листьев, гниющих в железном баке из-под извести, полном воды прошедших дождей.

В начале октября восемнадцать дней подряд лил дождь и запах винограда окончательно пропитал все вокруг к тому времени, когда пришла пора сбора урожая и изготовления вина.

В конце октября снова светило солнце, горизонт был совершенно прозрачен, ясно было, что такая погода удержится недолго, и он решил в последний раз съездить на пляж. Вода была еще теплой, волны мерно неслись к полупустому берегу пляжа, плыть было легко, дул несильный ветер, и он плыл почти вместе с волной, ощущая скорость своего движения вместе с зеленой живой толщей воды.

На берегу было и тепло и холодно сразу, как это бывает только осенью, приятно было стоять на цементе аэрария в накинутой на мокрое тело рубашке, раскуривать сигарету, чуть влажную и соленую от мокрых пальцев, глядеть на последний катер, едущий в город, о чем-то болтать с такими же, как он, любителями купанья осенью, глядеть на зеленый бег волн, на расплесканный по облакам закатный лик солнца, уходящий, но не ушедший день, – почти счастье...

На следующий день заболело горло, грудь сотрясал резкий кашель, поднялась температура, он набросил на пижаму халат, вышел на веранду и позвонил в лабораторию.

Телефонный аппарат стоял на веранде со времен Вахтанга

Николаевича, ибо в свое время именно он добился того, чтобы телефонная линия протянута была на гору, и немедленно вслед за этим в квартире, в обход всевозможных очередей, установлен был и телефонный аппарат. Вахтанг Николаевич долго тогда смеялся, рассказывая за обедом, как обыграл он словосочетание «творческий работник», добиваясь в высоких инстанциях решения о подключении дома Чернявского к телефонной сети, тогда весьма слабой, хотя сама идея телефонизации к тому времени уже проникла в массы, и в отдельных домах неподключенные черные телефонные аппараты были выставлены на почетных местах.

Итак, он позвонил на работу, мысленно предугадывая искреннюю радость Вали и философское спокойствие Ашота.

«Поваляюсь я пару дней и отдохну, – подумал он, натягивая свитер и направляясь к дивану, – ах, да, надо бы дать соседке деньги, пусть купит аспирина, молока и ‘Боржоми’, и что-нибудь поесть... Еще надо вызвать врача.»

А Лину – ее он решил не звать. Ему было тяжело дышать, он хрипел, а толстый свитер покалывал сквозь рубаху. Он улегся на диване и вскоре уснул.

Вечером он выпил горячего молока с «Боржоми» и почувствовал себя почти здоровым. Он встал, в квартире было темно, но первые же шаги убедили его, что выходить в город не следует, он пошатывался; «что за странный у меня вид, – подумал он, глядя в зеркало, – какое красное лицо, ну да ладно», – он дошел до веранды и уселся там в кресло, разглядывая ночной город, дрожащие редкие пятнышки света увлекли его, их было немного – очевидно, была уже ночь, теплая ночь, несло прохладой из ущелья, где гнила ежевика, пятнышки света дрожали, а на мысу вспыхнул прожектор и оглядел бухту, на мгновение ослепив его. Пятнышки дрожали, как игральные кости, где-то мяукнула кошка, медленно, черной тенью с фонарем на борту пересекал бухту катер, даже здесь, на горе, слышен был гул мотора.

«Часа два или три ночи», – подумал он. Ему вновь стало жарко, тучи разбегались, но луны не было, черная, нечетная кошка уперлась передними лапами в темную прибрежную полосу; «какая чушь, – подумал он, с трудом открывая глаза, – тяжелые веки, мне жарко, надо принять еще аспирина и лечь в постель... Пустота ночного города, медиативная функция кошки, какая чушь...»

Он с трудом поднялся из кресла и пошел в комнату...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через несколько дней он почувствовал себя лучше и спустился в весь во влажных переливах пара после поливальной машины город,

на разогретый осенним солнцем, полный шума и смутного гула фонтанов послеполуденной поры бульвар. Он слегка оглох и еще не выздоровел, и оттого все казалось ярче, случайнее, острее – даже этот старый фонтан, где весенними ночами квакали, вопили лягушки; бульвар был полон неожиданной толпой гуляющих людей, вспыхивающими то там, то тут фиолетовыми, желтыми, красными и зелеными пятнами одежд. Он зашел в магазин выпить стакан сока и повстречал Лину.

– Лина, милая, – сказал он, – отправь куда-нибудь своих девушек, минут через десять подходи к ресторану, поужинаем и выпьем чего-нибудь, я был болен целую неделю и ты мне приснилась, только отправь ты подруг куда-нибудь...

– Опять ужинать... – она засмеялась, – а потом?

– После ужина поедем ко мне, у меня хорошая запись «Воццека», переведешь мне кое-что, – представь себе, я почти позабыл – ну, перестал понимать – немецкий, ведь никакой практики, Лина, разве что с тобой...

Она медленно допила лимонад и сказала:

– Ты меня почти два месяца не видел, мог бы и позвонить, встречаешь меня на улице и сразу зовешь к себе...

– Не сразу, – сказал он, – сначала мы поужинаем, – и, кстати, у меня есть кое-что для тебя дома... И я тебя жду у ресторана, хочу тебя очень, – сказал он чуть тише; она засмеялась и, поставив стакан на стойку, двинулась к выходу.

«Надо ей что-нибудь подарить», – подумал он.

– Ну действительно, – сказал он позднее, – ты лучшая из кошек, тебя и только тебя мне надо изучать, я ощущаю в этом свое истинное призвание, ты и кусаешься, и фыркаешь, как кошка.

– Ну так что же у тебя есть? – спросила она, закуривая.

– Что у меня есть? Да вот я тут нашел... – он встал, прошел в другую комнату и, вернувшись, включил настольную лампу, – вот смотри, это тебе...

– Настоящий камень, – сказала Лина, – небольшой, но настоящий...

Он промолчал.

– Откуда это у тебя? – спросила она. – Ах, да...

– Теперь это твое, – сказал он.

– А еще? – спросила она, – у тебя еще есть?

– В следующий раз, – засмеялся он.

– Покажи сейчас, – шепнула она, – почему не сейчас?

– Сейчас я тебя хочу...

А позже она спросила:

– Послушай, Брон, – я так, наверное, в шлюху превращусь... или я уже шлюха?

– Что за чушь... Просто я подарил тебе кольцо.

– Но мне хочется еще чего-нибудь такого. Ты не представляешь, как приятно иметь такие вещи...

– Сделай лучше что-нибудь поесть, а то я совсем оглох, – сказал он.

– Ну, надо одеваться, – возразила она.

– Ерунда, не включай свет – и ты лишишь соседей дивного зрелища.

– Ну тогда я включу свет, – сказала она, – нет, я шучу, но хорошо бы как-нибудь его включить...

– И побегать голыми, да?

– Да, – сказала она, – а где у тебя нож?

Он пошарил рукой на столике, нож должен был быть где-то здесь, речь шла о карманном ноже со штопором.

– Ведь я им открывал вино, – сказал он.

Он протянул ей нож, пальцы ее коснулись лезвия, и во тьме он заметил, как она вздрогнула.

– Ты осторожнее, – он добавил, – летом я был в горах, там один человек в деревне умер от заражения, не было анатоксина, и я ничего не смог сделать... Вернее, его привезли, но уже было поздно... Какая у тебя кожа шелковистая, – продолжал он, – просто удивительно – здесь у колена и выше... Здесь, на Кавказе, – и такая кожа.

– Много ты знаешь о Кавказе, – сказала она, – правда, у нас в роду примесей много, много всяких чужих кровей, но у мамы тоже была такая кожа.

– Ну, всего я не знаю, но кое-что знаю наверняка.

– Дай мне тоже отпить, – попросила она, – и расскажи мне, где ты был все это время... Знаешь, я бы сегодня осталась у тебя, но надо вернуться.

Через час она сказала:

– Мне пора...

– Я тебя отвезу, – сказал он.

– Отвезешь, – сказала она, – остановишь такси, усадишь меня и уйдешь домой...

– Глупая, – ответил он, – да ты меня и к машине не подпустишь...

– Не приду я к тебе больше, – сказала она.

–Ну, Лина, – ответил он, – ведь сама знаешь, что придешь. Знаешь, как написано в одной китайской книге? «Они заперлись в комнате и сладострастно любовничали». Чудно, правда?

– Ты сумасшедший, – засмеялась она, – а сначала я думала, что тебя интересуют только кошки...

– А ты просто не знала, что и ты тоже кошка...

–Ну это-то я знала... Ты никогда не женишься, Брон, – вдруг сказала она.

– Да я уже был женат, – сказал он.

– И я тоже уеду, – сказала Лина, – в Восточную Германию, на пару лет, по контракту...

– А я буду скучать, – ответил он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Славная кошка Лина, – подумал он, – но как быстро надоедает... Ленивая, дерзкая, с гладкой кожей, и с ней хорошо, особенно весной, когда тепло и она разгуливает голая по квартире. Любит сидеть голая в качалке и пить апельсиновый сок. Ах, Лина, Лина...» По странной ассоциации он припомнил премьеру последнего спектакля Вахтанга Николаевича, что прошла в конце мая.

«Боже, давно я не был в Тбилиси, – подумалось тогда, – да еще на премьере, в ложе, – красный бархат, желтеющий зал, полный людей, а в яме – маленький оркестрик... обойдусь ли я без наушников с переводом? Впрочем, неудобно перед Вахтангом Николаевичем, да и пойму я...»

А вот и она, варварская, дикая тема вступления... Темнеет в зале, как хорошо звучит оркестр, – деревянные, щипковые, воющая труба, – слышно, что он настоящий... а вот и говорящие люди на авансцене, вот он – хромающий человек со стулом, он садится на стул и начинает говорить... женщина в красном появляется из-за кулис и тяжело идет по деревянному полу, а луч прожектора ползет за ней, взвизгивают тарелки ударных в яме, барабан, бум, бум, – прелесть, я почти все понимаю...

Милый Вахтанг Николаевич... Брехт с его немецкими вычислениями причин и следствий абсолютно ему чужд, вот и вопит зурна, воины вооружены кавказскими мечами, а какова чудная сцена попойки в лагере, после битвы, – кружки, кажется, и впрямь полны вина, воин произносит монолог, стоя на бочке, соратники его из той же бочки разливают по кружкам своим вино, негромкий вой зурны, воины возлежат у бочки, – усталые воины, живописная группа, труба, тревога, – и вся оборона лагеря снова выстроена у бочки, и снова женщина в красном бредет, плачет, кричит... И к концу всё славно: лохмотья красного платья несутся мимо летящих по кругу персонажей – воинов, грабителей, святых... Брехт со стулом исчез, на последнем диком трезвучии обрывается музыка, – конец.

...И Вахтанг Николаевич, ночью уже, после оваций и банкета, идет с ним по ночной улице, а в парке, беззвучно маршируя, музыканты духового оркестра репетируют прохождение к завтрашнему

параду. Мягко сверкнула труба, музыканты отдыхают, а Вахтанг Николаевич говорит:

– Друг мой, – говорит он, – по-настоящему понимать и ценить искусство человек может лишь при том только условии, что сам он хотя бы порой ощущает себя вошью, ничтожной вошью, ослепленной светом этого мира...

«Ну что ж, – думает Бронгаузер, – профессор Эйнштейн однажды сравнил себя с жуком, заметившим, что ползет по кривой ветке...» Но Вахтанг Николаевич великолепен, он не останавливается:

– Вошь, – говорит он, – Божья тварь, сопутствующая всем переломным моментам истории – войнам, голоду, революциям...

Шуршит мимо них по асфальту старый «Мерседес-Бенц» – черный, он тускло поблескивает ночью, а в парке зазвучал духовой оркестр, и взгляд Вахтанга Николаевича тяжелеет.

Именно этот взгляд, тяжелый и неотступный, появлявшийся порой у Вахтанга Николаевича на сцене, и был, как мне кажется, причиной приглашения Вахтанга Николаевича в московский театр, всероссийски знаменитый традицией распивания чаев на полной дачников и мещан сцене. В новой, готовившейся к постановке пьесе, Вахтанг Николаевич должен был играть роль Сталина.

Репетиции начались осенью 52-го, шли успешно, и почести Вахтангу Николаевичу оказывались соответственно роли; размещен он был в просторном номере гостиницы «Москва», черный автомобиль ежедневно подвозил его и режиссера в театр к началу репетиций, воздух был полон надежд и ожиданий, поговаривали о звании и о возможности получения премии, успехом у женщин Вахтанг Николаевич пользовался чрезвычайным... – но Сталин умер незадолго до премьеры, и вскоре после этого все пошло прахом...

Взгляд этот, тяжелый, нечеловеческий взгляд, ставший притчей во языцех во всей огромной зимней стране, Вахтанг Николаевич унес с собой, и, собственно, в ореоле этого взгляда пребывали и самые ранние воспоминания Бронгаузера о Вахтанге Николаевиче – ведь волею судеб Вахтанг Николаевич снимал комнату в том же доме на горе Чернявского, где жили, тогда уже без отца, Бронгаузер с матерью. Третьим их соседом по дому был полковник в отставке Шибаньков, все еще как бы пребывавший на войне благодаря своей безудержной любви к дешевому вину.

Однажды Шибаньков, вспомнив, как видно, прошлые свои кавалерийские дела, принялся ломиться в дверь квартиры мальчика и его матери, вооружившись кавалерийской своей саблей и крича:

– Открывай, не то зарублю...

На что мать мальчика спокойно отвечала из-за двери:

– Погодите, Шибаньков, вот я вас в милицию сдам...

Но тут Шибаньков рванулся в дверь, петли натужно заскрипели и лопнули. Дверь не была капитальной, ибо перегораживала веранду у лестницы, что вела во времена Чернявского в квартиру, прежде занимавшую весь второй этаж, а позднее, уже после смерти Чернявского, поделенную на три части...

Итак, петли заскрипели и лопнули, а сорвавшаяся с петель дверь чуть было не обрушилась на Шибанькова, слывшего первым пьяницей и забиякой в округе. Шибаньков отскочил в сторону, взмахнув при этом как бы от испуга саблей.

Мать вскрикнула – теперь ничто не отделяло ее от Шибанькова.

В тот же миг из двери напротив в белоснежной рубахе, тщательно заправленной в брюки, вышел Вахтанг Николаевич.

– Подлец, – вскричал Вахтанг Николаевич, – убирайся, подлец, зарублю!..

Ошеломленный столь странным сообщением, Шибаньков собрался было что-то предпринять, но ощутив на себе вышеупомянутый тяжелый взгляд Вахтанга Николаевича, оцепенел на мгновенье, поглядел стушеванно на клинок и пробормотал:

– Простите, Бога ради, простите... – и скрылся как-то незаметно за своей дверью, откуда мгновение спустя донесся резкий визг металла – это Шибаньков разрубил свой стул.

Вахтанг Николаевич усмехнулся, взгляд его грозный и ореол отлетели куда-то в мгновение, и, обратившись к матери, он сказал:

– Позвольте, я вам дверь починю...

...Разгадку же этого взгляда следовало, возможно, искать в примеси мохевской, горной крови, текшей в жилах Вахтанга Николаевича. Бронгаузер бывал с Вахтангом Николаевичем у его родственников в деревне недалеко от Казбеги.

Деревня лежала на высоком обрывистом берегу реки, желтой и бурливой; на другом, пологом берегу ее, тянулась вдаль, на Северный Кавказ, дорога, и на дороге этой когда-то, в самом конце первой четверти двадцатого века, появился человек, мчавшийся по ней в развевающейся пелерине посреди сияния двух металлических ободов, – жители села приняли его за дьявола, в то время как это был один из кавказских последователей учения доктора Штайнера, ибо кто еще мог нестись с такой скоростью по дороге, окруженный сиянием металлических окружностей и сверканием спиц на закате, нестись мимо огромных зеленых каменистых гор, напоминающих по форме песчаные горки, вылепленные детьми великанов и богов.

Старые, уже покинутые дома, сложенные из огромных валунов, стояли ниже новой деревни, охраняемой старой каменной сторожевой башней. Земельные наделы, отданные под картофель, были огорожены невысокими изгородями, сложенными из того же валуна. Ночами в деревне было прохладно, небо полно звезд , они ясно горели в ночном холодном воздухе. Виноград здесь не рос, а чачу, виноградную водку, привозили снизу.

По окрестным горам черными пятнышками карабкались коровы и овцы. Их выгоняли вверх, за валуны, скалы и туман, на альпийские луга, полные желтых и голубых цветов.

Наверху слегка кружилась голова. Луга были зеленые, с примесью изумруда, а внизу, за камнем, в пропасти текла речушка, шум ее был ясно слышен наверху, иногда слышны были голоса пастухов, потом наползал туман и все стихало. Когда туман уходил, видна была вся затянутая синевой долина, перерезанная рекой и окаймленная горами, – то были предгорья Казбека, каменистые горы, покрытые лесом, издали они казались доступными, порой их вершины скрывал быстро налетавший туман.

Возвращаясь, они прошли подвесным мостом над грохочущей речкой и уселись в попутный автобус. Они ехали вместе с крестьянами, возвращавшимися со свадьбы. За стеклом на автобус несся туман, а люди все еще толковали о свадьбе. Среди крестьян была семья с мальчиком. Мальчик то и дело спрашивал у отца, когда ему разрешат ездить на лошади. Отец, занятый разговором, ему не отвечал.

После Млети горы стали ниже и зеленее. Они круто обрывались ниже дороги. Пронеслись мимо поля, усыпанные фиолетовыми кувшинками, горы исчезли и началась равнина.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мишаня, товарищ и сосед по горе Чернявского, умер в начале октября. Дни стояли солнечные, листья лишь начинали желтеть, и трудно было представить себе мертвым товарища по незабвенным рыбалкам и нырянию за мидиями с лодки в тени причала. Мишаня жил несколько ниже по горе, и в течение последних лет он привык замечать его, все более опускавшегося, неряшливого, все более выпячивавшего, даже в общении с товарищами, элемент независимости, – откуда и проистекали размолвки и драки, словно вехами обозначившие в памяти товарищей его уход.

Он был лет на семь старше Бронгаузера, а теперь он лежал мертвым, со связанными в голенях ногами, упрямо выставив вверх, к пустому беленому потолку, сжатые губы.

К концу, узнал Бронгаузер, одно легкое у Мишани уже не рабо-

тало, пил он много и у него была поражена печень, пищевод был перфорирован, – поразительно, как долго он держался, – при его образе жизни такой конец был неизбежен, и, приуготовляясь к этому, он постепенно отходил от друзей, набережной и Салона, куда сдавал на продажу чеканку. Впрочем, все полагали, что Мишаня вечен, как пейзаж, неизменной частью которого он являлся все годы.

– Не ждет ли и нас такой конец? – спросил у Бронгаузера кто-то из общих знакомых. – Одиночество, сухие корки хлеба, пустые бутылки из-под вина и окурки, и, наконец, эти тесемки, связывающие ноги в голени...

На похороны пришло довольно много народу; был здесь и доктор Лаер, и пока процессия собиралась и устраивалась, Бронгаузер заглянул в соседний магазинчик выпить кружку пива. Допивая вторую кружку, он прислушался – за спиной говорили мужчины, распивавшие бутылку кахетинского вина.

– Во время войны это было, – продолжал голос, – я тогда на почте работал, была у меня кожаная куртка тогда и сапоги, в сапоги галифе я заправлял, – Бронгаузер оглянулся – говорил продавец, присоединившийся к компании, плотный мужчина с густыми черными усами,– так вот, повел я эту почтальоншу в туалет, – продолжал он, – ну, негде было, а там дерьма навалом, воняет, нагнись, говорю ей, задрал ей юбку и сделал свое дело, хорошо сделал, она уйти хотела, а я говорю, подожди, сука, и рукой за горло взял, кожа сразу покраснела в том месте, нагнул ее, юбку задрал и еще раз все сделал... Потом отпустил ее... Не я бы, ей плохо б пришлось, такие времена были... Сапоги вымыл от дерьма, брюки застегнул – и в город пошел, кофе пить... А сейчас молодые умирают,– добавил он.

Все выпили.

– Ну вот, – подумал Бронгаузер, – человечество непобедимо, – ему представились сапоги в дерьме и задранная юбка.

Выйдя из магазина, он повстречал Лининого дядю, или, скорее, опекуна, Размадзе; когда-то после смерти матери он, по просьбе Вахтанга Николаевича, оказал Бронгаузеру существенную услугу – несмотря на все собранные документы, часть квартиры, официально принадлежавшей горсовету, у Бронгаузера могли отнять, поскольку он оставался в ней один, но Сандро Акакиевич сумел быстро и спокойно отрегулировать все это дело, просто из уважения к Вахтангу Николаевичу и его семье, как говорил он.

Сам Сандро Акакиевич занимался скотом и поставками мяса в регионе, занимая при этом пост рядового снабженца в каком-то хозяйственном объединении, и известен был как один из реальных хозяев края.

Впрочем, в последний период возникли у него кое-какие неприятности с новым руководством. Начались они с ареста связанного с ним, как говорили в городе, известного местного бандита Кванталиани, который, впрочем, недавно бежал из тюрьмы.

Сандро тронул Бронгаузера за локоть и, отведя его в сторону, сказал:

– Милый, а у меня к тебе дело есть. Помоги мне.

Сандро Акакиевич был невысокого роста и, наклонившись к нему, Бронгаузер сказал:

– Разумеется, Сандро Акакиевич, я сделаю все, что смогу.

– У меня в деревне человек один больной лежит, поедем, посмотришь его на днях, – сказал Размадзе, – но это так, между нами, – добавил он.

– Ну разумеется, – ответил Бронгаузер.

– Ну, тогда в субботу я заеду за тобой, – заключил тот.

«Ловкий мужичок, он еще, говорят, и успехом у женщин пользуется, – подумал Бронгаузер, – а как же не пользоваться, ежели у тебя столько денег. Впрочем, я не прав, деньгами он не кичится», – и в самом деле, Сандро Акакиевич, сидя даже в ресторанах – причем предпочитал он преимущественно тенистые уголки в ресторанах на свежем воздухе, ему и в голову не пришло бы посещать ресторан на воде, излюбленное место людей набережной, – держался исключительно чинно, – это был невысокий подвижный мужчина, чуть сутулившийся, с вылетавшим вперед носом, гладко зачесанными волосами, чисто одетый и вроде бы незаметный с первого взгляда. Во времена Вахтанга Николаевича он был горячим поклонником театра и с удовольствием устраивал банкеты после премьер. Теперь, как говорили, он увлекался игрой в карты по-крупному. В одну из историй, связанных с карточными долгами Сандро Акакиевича, вовлечен оказался и Кванталиани.

К тому времени, когда процессия достигла кладбища, дождь перестал, и процессия текла мелкими ручейками по мокрой траве меж памятников и могильных оград к выкопанной в глинистой земле могиле.

После того, как родственники и близкие попрощались с покойным, гроб на веревках опустили в могилу и каждый бросил туда кусок влажной глинистой земли. По традиции, друзья и товарищи должны были теперь забросать могилу землей, и, вооружившись лопатами, они принялись перебрасывать выкопанную глину, перемешанную с травой, в могилу.

Копали по очереди, и когда все было кончено, все пошли к крану вымыть испачканные в глине брюки и обувь. Кое-кто из друзей плакал.

На поминках, в той же комнате, где за пару часов до этого, выпятив губы к пустому беленому потолку, лежал в гробу со связанными

тесемкой ногами Мишаня, было тесно. Комната была заставлена стульями и столами с тем, что принято подавать на поминках, – лобио, зелень, сыр и вино.

Установился определенный порядок, пошли тосты. Вскоре тамада, сам того не подозревая, опроверг тезис Эпикура, утверждавший несовместимость сознания и смерти, сказав:

– Всем присутствующим плохо, а покойнику – хуже всех...

Вокруг уже говорили кто о чем, изредка, к случаю и не к случаю, поминая Мишаню. Сантия ел и пил, он устал, повозившись с лопатой на кладбище.

– Светлая ему память, – сказал он, – и передайте мне эту тарелку лобио, – попросил он соседа.

– Есть у меня здесь одна прелестная молодая особа, – сказал Лаер сидевшему рядом Бронгаузеру, – так вот, побывав со мной, она заявила, что отныне мужчины моложе пятидесяти для нее не существуют, а эта девочка кое-что понимает в механике сладострастия... Уверен, что в последние годы у Мишани не было ни одной женщины, – продолжал Лаер, – их остановило бы элементарное чувство брезгливости...

Сантия же принялся набивать трубку, роняя табак на штанины и на пол. Наконец ему удалось раскурить трубку и он выразительно засопел, выпуская дым из ноздрей.

– Хи-хи-хи, – внезапно сказал он, – Мишаня любил песню «Хи-хи-хи»...

– Включите лучше рефлектор, друг мой, отвратительная сырость, – сказал доктор Лаер.

Сантия встал и, пошатываясь, направился к рефлектору у стены. Вернувшись, он сообщил, что не хотел бы напиваться на поминках человека, погибшего от вина. Затем Сантия задумался. Раздумье сопровождалось яростным пыхтением трубки, и, наконец, Сантия сказал, вычислив, очевидно, куда бы ему стоило направиться сегодня.

– Я пойду, я не боюсь потерять голову, я опасаюсь за свою шляпу, прощайте доктор, хи-хи-хи...

И Сантия ушел. Вскоре ушел и Бронгаузер, а вслед за ними двинулся и доктор Лаер.

На улице было сыро, моросил мелкий дождь.

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кванталиани сидел на постели и ел сыр. Глаза у него были ясные, но все же какие-то потухшие, словно у больного ребенка, на лице сорокалетнего мужчины.

Всю дорогу, полтора часа, пока они добирались до деревни, Сандро Акакиевич время от времени бросал какие-то замечания, но за ветровым стеклом было хорошо, осень оплывала вниз с холмов в долины темной желтизной и зеленью, ароматом табака и чайных плантаций.

«Покажут нам какого-нибудь несчастного ребенка, горе семьи, – размышлял Бронгаузер, – я попытаюсь обнадежить их, дам совет – не надо стесняться, обратимся в психоневрологическую клинику, я помогу вам с направлением, созвонюсь кое с кем; потом я немного пройдусь по деревне, потом меня позовут за стол пить вино, то же вино, которое сделало ребенка идиотом, ибо его отец злоупотреблял им, ну да, стол с тостами, но, к счастью, Сандро Акакиевич не пьет, мы ведь на машине, через часок мы уезжаем, а там еще остается полдня...»

Но получилось иначе...

– ...Ретроградная амнезия, скорее всего, то есть я уверен, – сказал он, – если он не падал и не ушибся, то он объелся какой-нибудь гадости в лесу... Отравление было?

– Ну да, – пробормотал Сандро Акакиевич.

– Ну вот и последствия. Давно он пришел сюда?

– Да неделя будет, – ответил Сандро Акакиевич.

– Так. Ну, в общем-то, тут требуется лечение в стационаре, но ввиду всех обстоятельств... Ну, кое-что с собой я прихватил, сейчас мы вскипятим всё, стерилизатор, и кое-что он должен будет принимать; я оставлю здесь всё – стерилизатор, ампулы, схему лечения и график, т. е. расписание, какие и когда делать уколы, но надо будет, чтобы кто-то их делал, а?

– Сейчас Важу, его брата, позовем, он посмотрит и научится, – сказал Сандро Акакиевич.

– С аппетитом у него, кажется, неважно, – сказал Бронгаузер во дворе, поросшем ровной зеленой травой.

– Всегда он мало ест, – ответил Сандро Акакиевич, – и давай-ка мы к ним пройдем, видишь, зовут они нас, неудобно, сельские люди, как-никак ты им брата лечишь. Стаканчик один подними, и все – за дом, благополучие, здоровье. Они чего хотят – чтоб он выздоровел и ушел, думаешь, им с ним весело?.. Ну, дай Бог ему здоровья, и этим людям легче будет.

– Как ты думаешь, придет он в себя? – спросил Сандро Акакиевич, на секунду оторвав взгляд от дороги.

– Ну, в принципе, здесь может быть по-разному, – автомобиль скользил вниз, меж холмов, в долину, – но он, скорее всего, придет в норму, дошел же он как-то до деревни уже больной, полечим его, отле-

жится как минимум пару месяцев, ну, через недельку приедем посмотрим, как и что... А уколы они делать будут? – он вспомнил насупленного, будто не понимающего чего-то брата Кванталиани, с облегчением бормотавшего какие-то слова на прощание, и передвигавшуюся с отсутствующим видом в черной кофте и черной же юбке жену его.

– Будут, – твердо ответил Сандро Акакиевич, – видел, какое хозяйство у них славное, и место хорошее, высоко и отдельно, и вода своя, и дом хороший отстроили, он им тоже помогал в свое время.

– Ну, тогда ясное дело, будут, – сказал Бронгаузер.

– Ну, милый, через неделю, значит, так? – Сандро Акакиевич потрепал его по плечу, – всегда я знал, что на тебя положиться можно. Будь здоров, дорогой, – и уехал.

Интересно, почему понадобился именно я, ну да что тут интересного, впрочем, – времена чуть переменились, вот что. Да ведь и я для него в некотором смысле свой, оттого что я сидел, немного правда, а потом все сняли с меня, но сидел, да и Сандро мне кое в чем помог, да и кто я, что я – не продам его, ну и в конце, конечно, он даст мне деньги, сейчас у него хватило ума умолчать, какую-нибудь приличную, по его понятиям, для меня сумму, это в зависимости от того, как он меня оценивает. От всей суммы, по его понятиям, я отказаться не смогу. Вот и все. Значит, лучше пока не брать ничего, но какая, собственно, разница, не буду же я ему писать расписку... Экий обходительный мужчина Сандро Акакиевич... Будь здоров, дорогой... Ну, милый... Славно это у него получается...

Ретроградная амнезия... после отравления – значит, последнее время он шатался где-то по лесу, а потом явился к брату... но уже больной, но как же он дорогу вынюхал, а, впрочем, черт их разберет, и тут уж Сандро должен его вылечить, больной он никому не нужен, ведь так его возьмут рано или поздно, а если он выздоровеет, то... кто знает, что на уме у Сандро Акакиевича... Во всяком случае, Кванталиани ему здоровым нужен, или... хотя тут, пожалуй, выгодно было бы глиняного человека убрать, развалить на куски обожженной глины, вырванный язык и внутренности, на которые не польстится даже свинья, и такую возможность следует иметь в виду...

Ну да, человек из глины, Голем, работа в глиняных карьерах у фараона, по сути своей нечто близкое, да и первый человек из глины тоже тут, в ряду рабов – тех, что вышел из глины, желтизны, дерьма в туалете почтамта, вони и земли, глины, вязкой и желтой, принимающей форму – образ воли, – обжигаемой огнем, солнцем, водородным шаром, чтоб по первому желанию развалиться на тысячу черепков; останки глиняного человека, в которого вошел дух, – чужой, со стороны, ибо своим духом он еще не обладал.

...А что бы сделал на моем месте доктор Лаер?.. Хотя ясно, что вылечил бы этого человека, брал бы деньги за каждый визит, не просто брал бы, а раза в три больше, чем следует, и в конце концов добился бы еще чего-нибудь от Сандро Акакиевича. Тут картина ясная. Я же, во всяком случае, собираюсь его вылечить, что бы по этому поводу ни сказала, например, Ята... И в каком-то смысле Лаер прав – не существует никакой идеи или ситуации, которую нельзя обратить в направлении, прямо противоположном любому наперед заданному пожеланию, хотя бы оно даже и породило эту идею... и те, кто совершенно ясно это понимают, – выигрывают. Вот и Сандро постарается выиграть... ведь Кванталиани у него в руках, в полном смысле этого слова... и он, пожалуй, теперь начнет вертеть и крутить, дабы выиграть, а я, пожалуй, окажусь лишь пешкой, которой можно будет пожертвовать в миттельшпиле, для того, чтобы создать возможность атаки.. Значит, вот как все будет происходить, но лечить я его буду...

Но какая она была славная, – тут Ята вспомнилась, – ты такой же или будешь таким же, – она мне говорила, кожа на щеках чуть тронута всегда была пятнами алыми, а глаза карие, скорее ореховые, ну а что теперь? – синяя крашеная фанерная стена в кафе, защищающая от ветра, идет дождь, в тарелках окурки и апельсиновая кожура, синяя стена, за столиком сидит шлюха, кто-то пьет коньяк, передо мной кофе, сзади опять заговорили о Кванталиани.

Ну что ж, эти места – лучшие для наблюдений за возможностями человеческой породы, а я, наверное, прихожу наблюдать и за собой.

Ему припомнилось: однажды, перегнувшись над столом, саксофонист сказал:

– Тут один убийца недавно вышел, так он каждый вечер приходит...

Бронгаузер огляделся, на площадке перед эстрадой начали танцевать, самозабвенней всех танцевал молодой еще, но с сильными залысинами, смуглый, хорошо одетый мужчина, – он отплясывал шейк с крашеной блондинкой, время от времени, под грохот оркестра, выпячивая крепкие белые зубы, – он не был убийцей, это был армянин из Ливана, приехавший навестить родственников, он спускал деньги в ресторане ежевечерне.

Убийца мирно сидел за соседним столиком за бокалом вина. Он был в светлой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и сидел молча, очевидно, слушая музыку. Время от времени взгляд его медленно скользил по залу, а затем вновь упирался в бокал, – в нем не было ничего особенного.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ну и мерзкая же была зима. Сначала пальмы стояли, закинув руки, потом их укутали в марлю; повалил снег, было сыро и скользко; старик на улице чуть не попал под машину, и я оттащил его с проезжей части на тротуар – погруженного в свои мысли о прошедших временах страха, власти и славы или в переживание нынешних болезней и невзгод; старик пошел дальше, а я подумал: постепенно превращусь в старика, уйдут запахи, цвета, вкус пищи, останется горбушка хлеба, молоко, больные десны, черное пальто втянет в себя весь свет, всю тень солнца; звуки ослабнут и оглохнут, меня будут вытаскивать из-под машины; вокруг снег, слякоть, грязь.

Зимой я живу в двух объемах, зеленом и желтом объеме комнат, закрытом от мира нежилой летней верандой, сижу и смотрю на ровные стены, зеленые и желтые, – эти цвета, мы, люди, воспринимаем лучше остальных, и земная атмосфера наша, приуготовляя нас к этому, лучше всех остальных пропускает зеленый и желтый свет.

Однажды, разглядывая стены, я уснул днем и проснулся уже глубокой ночью. Во сне стены стали как бы прозрачными. Они были увешаны множеством стенных часов, в деревянных футлярах, с медными кругами маятника и тяжкими гирьками на цепях. Каждые часы показывали свое, отличное от других время, но все они не могли выпрыгнуть за двенадцать делений циферблата. В движении двух настигающих друг друга стрелок они висели на прозрачных желтых и зеленых стенах, и шло время.

Потом одни часы принялись отбивать удары где-то внизу и справа, и им ответили другие, пробуждая цепь, последовательность, траекторию, странную вязь медленного, зыбью наплывающего медного звона, сопровождаемого теперь потренькиванием деревянных корпусов, повисших на прозрачных стенах, жужжанием пружин, медленно менявших цвет наплывавшего звука, – до тех пор, пока он не обратился в грохот, заставивший меня, наконец, открыть глаза.

Ушам было больно, стояла ночь и где-то пищала кошка.

– Кванталиани? Ну да что он из себя представляет? Он в белой полотняной рубахе, невысокий, но довольно плотный, даже жилистый, сидит обычно на постели и ест сыр. У него густые усы и темные, скорее коричневые, глаза, белки желтоватые, с печенью что-то определенно не в порядке, на меня он смотрит искоса, безразлично; в последний месяц он, пожалуй, начал выправляться, но слаб еще очень; он часто сдерживает себя, но порой, когда говорит с Сандро, он готов взорваться, – Сандро Акакиевич говорит по-грузински, а тот отвечает по-мингрельски.

Представь себе эту славную картину: комната побеленная, пустая, только тахта стоит да стол, окно из комнаты и дверь выходят на веранду, а Кванталиани сидит на постели в белье и ест сыр. Он нарезает куски сыра с блюдца, что перед ним на стуле, и ест, творог он есть не хочет, еще я разрешил ему зелень, иногда вареное мясо, чеснок, никаких острых приправ и подлив, никаких орехов и лобио, и совершенно нельзя вино; вот он сидит и ест сыр, почти демонстративно отрезает ломти свежего молодого сыра и ест; склеры у него желтые, шея и лицо смуглые, а грудь и плечи под рубахой белые, а я в это время у стола вожусь с кипятильником и шприцем.

Приезжая, я делаю уколы сам, капельницу с физраствором там не поставишь, вот я и стою у стола и отламываю головку ампулы, деньги на лекарства я беру у Сандро, а сам Сандро ходит по комнате, по крашеному деревянному полу, или сидит на стуле, при Кванталиани он не курит, чтобы не раздражать его, – ведь я запретил тому курить, но сам Кванталиани иногда что-то курит, порой я ощущаю легкий запах, он это понимает и на меня косится, а Сандро что-то объясняет ему, в том духе, что времена-де изменились, договориться трудно, все меняется – люди, начальство, обстоятельства, это как игра, – убеждает Сандро Акакиевич; он склоняет голову набок – есть у него такая манера – слушает вроде сам, что говорит, а потом как бы переходит в наступление, а Кванталиани время от времени перебивает его вопросами – причем поразительно однообразными: сколько кто взял и что-то в этом роде, при этом он косится в мою сторону, – но Сандро его в конечном счете убеждает, и он вновь сидит и ест сыр до следующего нашего приезда, и, знаешь, я заметил, что Сандро каждый раз едет туда небритым и даже нарочито небрежным, он не спеша проходит через лужу во дворе, хотя мог бы ее и обойти, и еще какие-то детали в этом роде, ну, знаешь, Лина, в городе он, Сандро, всегда такой вычищенный и мытый, и обходительный, а здесь он даже в последнее время усики какие-то щеточкой отпустил... не все у них в порядке между собой, я думаю, ведь тот до сих пор взбешен, что взяли его неожиданно да и не выпустили, и бежать пришлось, ну да этим он вроде как бы и гордится, но вот в том, что ему по лесу слоняться пришлось, в том, что заболел он, и в том, что лечу я его, во всей этой нынешней беспомощности своей в голой побеленной комнате он виновника ищет, и Сандро чувствует это, отсюда и туфли грязные, и небритость, и усики щеточкой... И, знаешь, я раз заметил, как Кванталиани однажды, сидя на постели и отрезая ножом сыр, сыр, сваренный его родней, посмотрел сначала на туфли Сандро, а потом и на мои, а Сандро заметил это, руки в карманы засунул и заговорил быстро о чем-то... Ну да Сандро тоже мужичок себе на уме –

раз машина у нас забуксовала по дороге, завязли мы в рытвине какой-то, ну развезло там, сначала я вылез из машины, а вслед и Сандро – представь, вот вечер опускается, сырость, равнина сизая до горизонта, темная, а сзади холмы, откуда мы спустились, а мы машину выталкиваем из рытвины, а вокруг никого до горизонта, на горе вдали огонек зажегся и горит, сыро, намокло все, тут Сандро Акакиевич всё помянул, да и Кванталиани тоже, – мол, не век земля человека такого носить может, а потом, уже в машине, добавил: «Я, милый, людям хорошего хочу, а они меня за дурака считают...»

– Ну да, собственно, не в этом дело, Лина, главное, что с тобой очень удобно и приятно, вот ты светлая, но не всегда ты светлая, порой ты иная какая-то, но что-то зеленовато-светлое в тебе определенно есть...

– Что толку, Брон, – она сказала, – надоело мне всё, иногда просыпаюсь по утрам и думаю, лежу и думаю, никуда не хочу идти, хочу лежать.

– Правильно, ты – восточная женщина, и истинное твое призвание – лежать, – он включил транзистор и в путанице голосов и звуков уловил мотив, слышанный в ресторане прошедшим летом, – вот послушай...

– Да нет, Брон, не в том дело, что лежать хочу... Вот тебе деньги нужны?

– Были б у меня деньги – не ездил бы я в автобусах, особенно зимой, – люди, сумки, корзины, а так деньги почти что и не нужны... а хочешь, выпьем, чтоб было много денег?

– Брон, ты почему у Сандро денег не берешь?

– Не хочу.

– А почему же лечишь – боишься?

– Да нет, просто лечу и всё... – сказал он, хотя и знал, что говорит не то, не мог же он объяснить Лине то, что касалось черепков и вырванного языка и внутренностей, на которые не польстится даже свинья.

– Лечу, – повторил он, – хочешь, попроси ты у него деньги...

– Как?

– Точно так же, как это мог бы сделать я.

– Нет, Брон, ты с ума сошел, не могу я это сделать...

– А ты и не говори обо мне, попроси от себя, думаешь, он о нас ничего не знает?

– Нет, Брон, что ты, да он убил бы тебя, не сам, так иначе как-нибудь...

– Значит, мы с тобой знакомы постольку, поскольку ты занималась у мамы музыкой?

– Ну да, мы просто старые знакомые, и ты тут ничего не изменишь.

– Это уж как всегда, – ответил он, – давай-ка я расскажу тебе кое-что о поездке в Коломбо...

– В Коломбо я жил в небольшой гостинице, завалящий такой третьеразрядный отель с хозяином китайцем и китайским персоналом; впрочем, все было очень мило и персонал в том числе, посмотрела бы ты, как по утрам входил ко мне в номер бой и спрашивал, какого типа завтрак я предпочитаю – английский или американский? И что бы я ни отвечал ему, он неизменно приносил одно и то же.

Поражали меня также и пальмы в кадках в коридорах гостиницы, – это очень напоминало наши гостиницы, но в остальном все было другое – толпа, люди, океан.

Так вот, Лина, спускаюсь я однажды в бар, а там за стойкой сам хозяин, и происходит это в холле гостиницы, хозяин курсирует по холлу у стеклянной двери, а за ней фиолетовая с синим и красным вечерняя толпа, ну а холл полупустой; я подхожу к стойке, подлетает хозяин, и я говорю ему:

– Ну, сэр, не выпьете со мной виски?

– О'кей, – отвечает китаец, – а вы, я вижу, любите виски, еще по одной, это на мне? – и тут я спрашиваю:

– А скажите, сколько стоит ваш отель? Я, пожалуй, купил бы его...

– Ну, сэр, – отвечает китаец, – двадцать тысяч долларов, если вы можете уплатить эту сумму наличными, но... я могу посоветоваться с женой, – он заметил на лице моем гримасу недоверия, которую я и не пытался скрыть.

– Слишком дорого, цена слишком высока, – сказал я.

Он направляется к столику регистратора, к жене, и в этот момент в холле появляются наши туристы в пиджаках, со значками с профилем Ленина на лацканах и с фотоаппаратами, аккуратно надетыми через плечо наискось.

Китаец говорит с женой, потом подходит ко мне и вежливо спрашивает, указывая в сторону моих компатриотов:

– Вы ведь с этими людьми, сэр, не так ли?

– Да, – сказал я.

– Не хотите ли выпить еще, сэр? – спросил китаец, улыбаясь, и добавил, – я угощаю...

А тут и Сандро Акакиевич позвонил ему, предложил встретиться, и уже где-то на улице, у виадука, поджидал его в машине.

Дорога здесь была гладко заасфальтирована, и у мокрого куста

олеандра стоял автомобиль Сандро Акакиевича. Невдалеке, в прохладе и зелени, не опасаясь льющегося с небес дождя, за железной оградой томились деревья Ботанического сада.

– Садись, дорогой, – сказал Сандро Акакиевич, открывая дверцу, и Бронгаузер с удовольствием уселся на переднем сидении, в машине было тепло и сухо.

Ему захотелось закурить, и он спросил:

– Есть у вас сигареты, Сандро Акакиевич?

Тот достал пачку «Rothmans», щелкнул зажигалкой, и, затянувшись, а затем и выдохнув дым, Бронгаузер сказал:

– Отличные сигареты. Слушаю вас, Сандро Акакиевич...

Он вспомнил о Генрихе Антоновиче, тот должен был вскоре приехать в Институт вместе с профессором Беднарски из Колд Спринг Харбор.

– Я вот уезжаю на несколько дней, – сказал Сандро, – сможешь ты без меня подъехать? Сядешь на попутку, милый, да и поедешь, а?

– Хорошо, – сказал Бронгаузер, – я подъеду.

– Тебе, может быть, нужно что-нибудь, а?

– Да нет, все в порядке, послезавтра я туда подъеду с утра...

– Подвезти тебя куда-нибудь? – спросил Сандро Акакиевич.

– Спасибо, я лучше вернусь на работу.

Сандро Акакиевич повернул ключ зажигания, машина плавно тронула с места, и через несколько минут, высадив Бронгаузера у проходной Института, Сандро Акакиевич попрощался с ним и уехал.

– Но поеду-то я завтра, – вдруг подумал Бронгаузер, – уж лучше в субботу посидеть дома и никуда не выходить...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Назавтра, после двух часов езды на рейсовом автобусе, он вышел на дорогу и остановился, теперь предстояло идти по проселочной дороге в сторону холмов.

Дом стоял на восточном краю одного из холмов.

Внизу лежало ущелье, спуск туда казался крутым, но в начале осени там паслись козы, их блеяние доносилось наверх, за лето они объедали всю траву в деревне, и вот осенью их выгоняли в ущелье.

– Ну, тут полдороги можно выиграть, – подумал он, сворачивая в сторону ущелья, – вот только одолею ли я подъем...

На дороге в тот день было сухо и прохладно, а в ущелье как будто стоял туман, лишь теперь, в полдень, свет добрался до дна ущелья, склоны которого поросли ольхой и соснами. Скользя по хвойному настилу, он одолел подъем, время от времени ухватывая жесткие корневища, вылезавшие из-под хвои.

Почти поднявшись уже, он уселся под одной из сосен и поглядел вниз, там было темно, кроны заслоняли тропинку на дне ущелья, а само ущелье тянулось, огибая холмы; западные их склоны были пологие, там располагались поля и торчали обломки кукурузных стеблей. Вскоре он вышел на гребень холма и направился в сторону дома с оцинкованной крышей, виноградником и ровно выстриженной, теперь уже желтой, травой перед домом.

Во дворе, у колодца стоял Важа. Увидев гостя, он кивнул ему, поздоровался, пожал руку и вместе с ним направился к дому.

– Запасную дорогу отыскал? – спросил Кванталиани, – а Сандро где?

– Сандро на пару дней уехал, а я решил сократить дорогу, – сказал Бронгаузер, – ну что, посмотрим, как прощупывается печень...

– Ты оставайся, пообедаешь, – сказал Кванталиани, – стакан вина разрешишь мне выпить...

– Только молодого, один стакан, – ответил Бронгаузер.

– Так ты сидел, говорят, – сказал Кванталиани, когда они остались за столом одни.

Важа с женой ушли, вернее, Кванталиани отослал их, хоть такое и не принято было в местных краях.

– Ты извини, брат, тут нам поговорить надо, а доктор уезжает скоро, – сказал он, поднимаясь, но Важа предпочел уйти вместе с одетой в черное женой.

– Было такое, – ответил Бронгаузер, – но вот я ем, а ты сидишь...

– Ничего, – ответил Кванталиани, – я привык уже, – он достал из кармана нож, отрезал кусок сыра и принялся жевать его, показывая крепкие желтоватые зубы.

– Так что, говоришь, уехал Сандро? Надолго?

– На три дня, – ответил Бронгаузер и выпил стакан довольно мутного и крепкого вина.

– На три дня, – повторил тот, – ну а ты почему сегодня приехал, а не завтра?

– Да чтоб суббота была свободной, – он не переставал есть и пить, это помогало создать интервалы в беседе.

– Не доверяешь ему? – Кванталиани усмехнулся и добавил после паузы, – а деньги берешь у него?

– Нет, не беру, мы давно знакомы, при чем тут деньги.

– Значит, совсем не доверяешь, – сказал тот, вновь отрезая сыр.

– Ну а ты что меня расспрашиваешь? – спросил Бронгаузер и, выпив стакан, добавил: – уйти отсюда ты пока не сможешь, без лечения через два дня свалишься, – и он бросил кусочек сыра кошке, тихо переползшей через порог в комнату.

Кванталиани промолчал.

– Как кошку зовут? – спросил Бронгаузер.

– Ката, дрянь паршивая.

Кошка тихо ползла к краю стола, видимо, опасаясь пинка.

– Ну, ешь, Ката, – сказал Бронгаузер, – а я пойду. Через недельку еще заеду, а все, что я оставил, принимай, и не кури, от тебя табаком пахнет сегодня, – добавил он.

– Не уйду я, – сказал Кванталиани, – но ты послушай, чачу выпьешь еще?

– Выпью, – он пододвинул к себе рюмку с чачей и вдохнул ее запах, – «Я скоро опьянею, – подумал он, – ну, нет, не опьянею», – чача обожгла, и он съел кусок сыра.

– Вот, вот, сыр ешь, перец маринованный, – сказал Кванталиани, – это хорошо, ты молодой, женщин любишь...

– А к чему все это? – он спросил, – мне идти пора...

– Ничего, дорогой, – Кванталиани усмехнулся, – Лина с тобой вместе работает?

– Лина? Какая Лина? У нас их несколько. Родственница Сандро, что ли?

– Ничего, дорогой, оставь, перепутал я что-то, – сказал Кванталиани.

И, налив себе чачи, Бронгаузер продолжил:

– А вот теперь у тебя с памятью ведь нормально уже, так как ты дошел сюда, а?

– А поживешь с мое – узнаешь, – сказал Кванталиани.

– А не боишься здесь быть?

– Э, у страха глаза велики, – засмеялся Кванталиани, – фраер ты, хоть и сидел, но врач хороший.

– И на том спасибо, – сказал Бронгаузер, вставая.

Ну, славная история, и этот глиняный человек туда же, в философию, угрозы и намеки, то есть он мне намекает, что если уж он Размадзе не доверяет, то... а что то... то и мне, стало быть, ему доверять не следует, так что ли? Иначе откуда бы знать это все ему, или ему Сандро что-то говорил, но что, с какой целью... ну да, у Сандро было что-то с Линой, не зря я об этом слыхал когда-то. Ну да мне в этой предыстории не разобраться, достаточно мне своей предыстории.

Следовательно, Сандро решил пока меня использовать, а там, мол, видно будет, дорогой... Я людям добра хочу, а они меня за дурака принимают... Так вроде бы я с Кванталиани в одном котле теперь; браво, Сандро Акакиевич, на три дня уехал, а вы тут объясняйтесь слегка, а Сандро будет за ниточки дергать, этакий режиссер в белом

автомобиле... А с Линой бы тоже поговорить не мешало, ну да это уже детали второго плана...

Итак, вопрос теперь: кто же кого из глины вылепит, кто на черепки распадется, на язык безгласый... А язык безгласый – это ключ, пожалуй, ведь язык сейчас у Сандро одного развязан, ведь я волей-неволей молчать буду, это он точно рассчитал. Но и ему время терять нельзя, скоро весна начнется, а там выздоровеет Кванталиани, и тут уж решать придется, ну а что Сандро изобрести сможет, угадать трудно, он мужчина верткий, у него про запас еще один Кванталиани найдется...

– Ну а что и где я могу предложить себе взамен, – подумалось, – представь дом с медной ручкой, сферически вбирающий весь окружающий мир, кипарисы и белые камни, а за дверью – профессор, законоучитель, я вижу его. Глаза у него глубоко посажены, серые, вот он выходит, направляется куда-то, верно в школу на урок идет, в здание белое школы, от дома к школе спускается каменистая улица, усаженная с двух сторон кипарисами сухими, от них почти нет тени, они просто сухие и зеленые, а их стволы морщинисты, а сзади остается дом, с медной начищенной ручкой на рассохшейся деревянной двери, в доме прохлада и Ята в одной из комнат, на ней длинное платье, темно-коричневое с оранжевым, прическа у нее та же, но в одной пряди уже седина, что ли?

А я, я во дворе, среди вопля и гомона бегающих детей, я совсем другой, я огненно-рыжий, белокожий, крупный, у меня толстый зад в белых брюках, я сутулюсь, я подобен человеку, увиденному прошлым летом в троллейбусе...

Я вижу профессора, фигурка его спускается вниз по каменистой белой улице меж сухими кипарисами, мне становится стыдно, я хватаю колоколец и бегу с ним по двору; рыжий, неуклюжий, я бегу, колоколец трезвонит, я сгоняю детей в классы, белая пыль оседает в пустом дворе, по двору движется фигурка законоучителя...

Проходит еще неделя, и он вновь едет в деревню с Сандро Акакиевичем.

Сандро выбрит чисто, доволен чем-то, он дарит Бронгаузеру зажигалку «Ronson», – возьми, – говорит, – у меня их две, возьми, приятно подарить тебе что-нибудь, ведь куришь ты иногда, или сам подаришь женщине, они все теперь курят, а, дорогой? – смеется и полувопрошает Сандро, глядя на дорогу, день приятный, солнечный, – да и больной наш поправляется, – Сандро закуривает «Camel», приятный медовый аромат в кабине, – «интересно, зачем он ему здоровый нужен?» – думает Бронгаузер... Откуда прыть такая у Сандро появилась...

По дороге погода меняется, начинается дождь, и дорога на холм вся в грязи...

У больного острый приступ колик, его тошнит, склеры желтые, лоб потный, прохладный, и пока Бронгаузер делает внутривенное, Сандро выбегает в соседнюю комнату.

– Ты зачем чачу пил? – возвращаясь с порога, кричит он, – опять все сломать хочешь, ты здоровый мне нужен, здоровый, иначе не сможешь ты, ему посидеть придется немного, ну нельзя без этого обойтись, – объясняет он Бронгаузеру, – его допрашивать будут, ну нельзя же больным туда идти, ведь он сам должен туда здоровым прийти, то дело сдохло уже почти, по которому тебя взяли, теперь только ты нужен, явишься, сам придешь, снимут с тебя показания, а там и я подключусь, и выйдешь ты, необходимо так, – говорит Размадзе.

Больной на локте приподнимается:

– Не хочу к ним идти, – говорит, открывая зубы желтые, – не выпустят меня, а я жить хочу. Сам почему туда не пойдешь?..

– Э-э, милый, – смеется Сандро Акакиевич, – если я туда зайду, то с вами всеми что будет, не подумал ты?..

«Ну и крысы, – пришло на ум, когда автомобиль ехал уже по равнине, однообразной равнине к морю, – вот уж верно, крысы, истинные обитатели равнины этой, низменной и сырой. Но что-то я здесь упускаю, что-то ускользает от меня, и это, пожалуй, Лина, она здесь с какого конца?..»

Вот иногда говорит она мне:

– Вот ты думаешь: я дикарка, а хорошо тебе со мной, ведь хорошо, а, Брон? – потому что я дикарка, вот почему, – тут она смеется и забирается в кресло-качалку и просит: – Не люблю я это вино из магазинов, оно ненастоящее какое-то, деревенское куда лучше, – она смеется и дергает свой левый сосок, он у нее больше и темнее правого, – ты привези мне, Брон, деревенского вина, – говорит, – я тебя еще больше любить буду, – и смеется, качается в кресле, – так дикарка я, – говорит, – да?

Он припомнил вино, мутное и крепкое, что пил в деревне, припомнил чачу, ее запах дымный, да и слова Кванталиани припомнил...

Вот и зима такая же идет длинная, долгая, нескончаемая, и на почте, в отделении для клиентов сберегательной кассы, он видит живодера, того, что Сосулькину собаку увез, может быть это и не он, но на шее те же, как будто, красные пятна. Немолодой уже человек у стойки в помятой шляпе, с красными пятнами на шее просит снять с его счета десять рублей.

– Опять десятку, – говорит кассирша, глядя в его слезящиеся глаза, на бледную, нездоровую кожу, – выпить опять решил...

– Я, родная, на фронте еще стал пить, – отвечает человек.

– Посмотри-ка на него, – родная, – фыркает кассирша.

– Мы тогда в разведку вчетвером ушли, а я один вернулся, тогда нам спирту не жалели, и каждый раз идешь и думаешь... – человек в коричневой мятой шляпе махнул рукой, взял со стойки сберкнижку и красненькую, сунул все в карман, вышел и направился прямо через дорогу, в закусочную-автомат.

Дело идет к вечеру, можно в кофейню заглянуть, но там нет никого, нет знакомых, но кофе, пожалуй, выпить можно, купить сигарет и выпить кофе, поглядывая в сторону пустого, бесцветного, плоского зимнего моря.

Ну а теперь можно зайти на выставку – живопись там по принципу кто во что горазд, но несколько пейзажей и мотивов ничего, ночной порт, кофейня, улица тбилисская с духанчиком на углу, вывески яркие, ну что ж...

О, да тут банкет по поводу открытия, и его за стол приглашают, а на столе все то же, что в деревне, только вино красное, почти фиолетовое, изабелла, и чача вкусом чуть иная, ну и разговоры, тосты, кто-то рассказывает о первой выставке, двадцать шестого года,

– Ну, тогда мы начинали, – восклицает этот седой мужчина, – ну а теперь вы молодые, теперь вы начинаете, и славно начинаете, хорошо, и это вино, – он поднимает стакан, – за вас, молодежь, за ваши дерзания пью...

Поднимается Сантия и читает многоэтажные вирши свои, а сосед по столу, мальчик, да какой уже мальчик, тот, что ночной порт и духан написал, шепчет Бронгаузеру:

– Ну хоть бы что-нибудь купили, подыщи у себя хоть пару покупателей, денег совсем нет, вот сюда поесть пришел, выпьем, что ли, пока следующий говорит...

Вот так все и идет, вино хорошее, кто-то из деревни от родственников привез, «опять я Лину вспоминаю», – ловит он себя на мысли, и когда и ему приходит пора говорить, неожиданно всплывают слова Вахтанга Николаевича, что де лишь вошью себя ощутив, ослепленной светом этого мира, можно ощутить и понять искусство.

– Вошь, – говорит он далее, – естественный спутник всех исторических катаклизмов, – выпивает вино и садится, а сосед его смеется, – забавно,– говорит, – получается, вшей-то здесь много...

Сосед по столу слева хочет познакомиться, а Сантия вновь начинает читать стихи. Парад поэзии продолжается...

В воскресенье с утра длинными полосами под ветром извивается снег и, оглядев город, Бронгаузер направляется в кофейню на втором этаже ресторана на воде.

– Надо посмотреть, как снег падает в море, – решает он.

Действительно, длинные снежные полосы падают в зеленую напряженную массу воды и исчезают, а на воде дрожит мелкая рябь. В воздухе пахнет солью, вся кофейня завалена снегом, а конец причала не виден, там снег падает сплошной стеной.

Утренние завсегдатаи пьют кофе на кухне, там тепло от раскаленного песка, в котором изготовляют кофе, и Аза, кофевар, кричит посудомойке-гречанке с кухни:

–Деспина, свой средний возьми...

Но оказывается, они не одни на причале. В пальто, запорошенном снегом, поднимается с первого этажа Артем, пошмыгивая носом и быстро оглядывая всех глазами-маслинами. Он бросает на снег у стойки крупного лобана.

– Пять рублей, – говорит он, – Аза, свари кофе,

– Твой средний готов, Артем, четыре дам, – говорит Аза, – домой повезу, детям зажарю.

– Пять, – Артем отхлебывает глоток из чашки.

На снегу расплывается пятно крови, вытекающей из-под жабер.

– Четыре, – говорит Аза, – кровь кто убирать будет...

– В городе за шесть продам, – Артем подхватывает лобана и уходит, а кровь постепенно засыпает снег.

– Пьяница, – говорит Аза, – с утра выпить хочет, четыре вполне хватит – верно, мама? – спрашивает она у Синана.

– Верно, – говорит тот, проглядывая спортивные новости в газете.

Газетный лист замерз и шуршит, когда его сгибают. Вокруг пахнет солью и все деревья в снегу.

– Теперь можно и домой, – думает Бронгаузер, – часа через два снегопад прекратится, а потом всё начнет таять. А если снег будет идти дальше, некоторые деревья не выдержат, мушмала, например, ветви пообломает... А интересно, как там Кванталиани? А ночью теперь кошки будут вопить, они всегда вопят, когда снег белый, чистый и в воздухе солью пахнет...

И верно, кругом снег, город засыпан снегом, и на бульваре уже мальчишки затевают игру в снежки.

У стойки против гостиницы кое-кто пьет водку, чтобы согреться. А вот и побирушка, одна из тех, кто бродит по пивным и кофейням, собирая бутылки на хлеб насущный и опохмелку. Она пытается взять со стола почти пустую бутылку с остатком водки...

– Куда бутылку тащишь, падла? – спрашивает молодой парень в куртке, один из тех, кто пил водку.

– Кушать нечего, – словно оправдываясь, бормочет побирушка.

– Вот я тебя накормлю сейчас...

И он ловко засовывает ей в рот холодный снежный ком.

– У шакал, сволочь, тварь, – кричит побирушка, выплевывая снег.

Тут парень валит ее на землю и, зажав руки, усаживается сверху, размазывая снег свободной рукой по ее лицу. Побирушка дергает ногами и вопит.

– Вот я тебя сейчас е...ть буду, – парень сопит от злости.

– Успокойся, – собутыльники оттаскивают его. А побирушку пинками прогоняют прочь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

– Мало мы встречаемся, мало говорим, – сказал Андрей Элизбарович, – хоть и знаем друг друга уж сколько лет, да и живем поблизости, а ведь идет время, и что только не происходит...

– А в самом деле, что же происходит? – спросил Бронгаузер, наливая коньяк в рюмки.

– Да вот, – провел Андрей Элизбарович рукой по лбу и засмеялся,– лысею я и никто этому помочь не в силах, даже ваш Институт, а?

– В таких ситуациях мы действительно пасуем...

– И не только в таких, – сказал Андрей Элизбарович, вновь наливая коньяк, – вот я с женой развелся, и, думаешь, хорошо? Казалось бы, у нас тут море, девочки, а знаешь, как у нас в «конторе» на разводы смотрят? – не выйди, не погуляй теперь... Завидую я тебе порой – привозишь кого хочешь, увозишь кого хочешь, – Андрей Элизбарович, подмигнув, потянулся в кресле, – и не захочешь, а увидишь, ведь поблизости живу...

– А захочешь, тем более увидишь.

– Да не в том дело, что видал я, – ответил Андрей Элизбарович, – а в комплексе, ведь на все реагировать приходится, и я к тебе как к другу пришел, и это не кавказские наши словечки и хитрости, а просто искренние мои слова, ведь мне тебе помочь хочется.

– Ну, сперва помоги коньяк выпить...

– Ну и в этом я тебе помогу, – согласился Андрей Элизбарович и продолжал, – ведь как это все получается, ты сам посуди: вот материалы на тебя, ну, подумаешь, чепуха какая – приятельница, работаете вместе, но ведь она в отделе переводов работает, а кто там только не бывает, кто только не приезжает в Институт, обо всем ведь думать приходится, да и дядя там, тоже ведь не совсем гладкий человек, а тут еще в аптеке тебя кто-то видел, значит – что, не для работы же ты это

покупал, частная практика, стало быть, но тебе-то это зачем, ведь зарабатываешь ты неплохо, а? – значит, другое что-то?

– Бриколаж, – сказал Бронгаузер.

– Что?

– Бриколаж, – повторил Бронгаузер, – тип мышления такой, когда на скорую руку что-то варганится из того, что Бог послал, а слово само французское, выдумка одного антрополога, но кое-что схватывает, а уж тем более в такой живой профессии, как твоя, без фантазии и способности слепить что-то из почти ничего никак не обойтись, да и в любой науке порой почти то же самое, – тут Андрей Элизбарович с интересом на него посмотрел, и Бронгаузер решил, что этого, пожалуй, хватит, и добавил, вздохнув: – но не исключено, что зачастую бриколаж – это не более чем стрельба из пушек по воробьям. ..

– Красиво, – сказал Андрей Элизбарович, – чего только на свете не выдумано, но факты и комплексы-то остаются, это уж как ни крути...

– А вот говорят еще – факт не есть истина...

– И это верно, – согласился Андрей Элизбарович, закуривая, – есть еще и мотивы. Но я, кстати говоря, мотивов тебе никаких не приписываю, я ведь с тобой делюсь просто, по-дружески, всем, с чем мне возиться приходится.

– Спасибо, – сказал Бронгаузер.

– Ну, и как врач, ты ведь и сам знаешь, когда человека госпитализировать надо, а когда и сообщить куда следует, не так ли?

– Конечно, – сказал Бронгаузер, – в случае колотых, резаных, огнестрельных и так далее...

– Ну и не только в этом криминал может заключаться, – добавил Андрей Элизбарович, закуривая, – но на то у человека друзья есть, чтоб помочь ему... И все-таки прохладно у тебя.

– Что ж поделаешь, нет отопления, да говорят, когда дом этот строили, климат помягче был.

– Да это одни старики говорят...

– А кому ж говорить, как не старикам?

– Верно, – сказал Андрей Элизбарович, – тут ты прав, а по существу вот что... То, что предлагал я тебе когда-то, – вещь абсолютно реальная, да и пойми, что я могу, то и предлагаю, и теперь говорю: пока в принципе ничего не изменилось, а завтра вот иначе может получиться, а просто так сделать что-нибудь не всегда получается, даже и для друзей...

ГЛАВА ПЯТАЯ

«...Как бы ни был объективен физиолог или психолог, выбор им эксперимента или экспериментальной методики всегда определяется

какой-то гипотезой или моделью, или просто интуицией. Если модель никуда не годится, время будет убито на эксперименты, которые либо вообще не дадут почти никакой информации, либо полученные результаты будут неверно истолкованы.

Математические модели могут так же не соответствовать действительности, как и не математические.

Бесспорным достоинством первых является то, что они часто позволяют количественно и качественно предсказывать поведение системы, а потому могут быть легче подвергнуты более строгой проверке, чем нематематические. Но одно только жонглирование формулами не придает теории магической силы, поэтому всегда следует опасаться дефектов в наших прежних моделях, а также ложных идей, ведущих к появлению новых моделей математических или же нематематических.»

Эти слова завершают работу Питера Х. Грина, посвященную проблеме представления информации в моделях нервных сетей. В свое время они были выпечатаны на листе бумаги, перенесены в увеличенном виде на лист большего формата, после чего лист этот был обрамлен, и теперь высказывание это в рамке висело у окна на белой стене в комнате, служившей Бронгаузеру кабинетом.

...И действительно, ситуация, в которой находился Бронгаузер, вовсе не позволяла такой роскоши, как наличие нескольких моделей.

Он посмотрел в окно – за окном мокли под дождем эвкалипты – и подумал о том, что говорить с Линой было бы, пожалуй, рано, хотя она была недалеко отсюда, в центральном корпусе, в отделе переводов. Стоило только пройтись под мокрым дождем, струями скользящим по розоватым с желтизной обнаженным эвкалиптовым стволам, и зайти в центральный корпус, но это неизбежно свелось бы к апельсиновому соку, болтовне под дождем по дороге домой и всему остальному, что сейчас, пожалуй, было не нужно. Следовательно, лучше было продолжать сидеть здесь, в своем кабинете, и спокойно обдумать ситуацию, попытаться отыскать какой-нибудь ключ, самый простой и надежный, ибо время было почти исчерпано, и ничего, кроме смутного ощущения не до конца ясной и понятной причастности Лины к расстановке фигур на доске, не было...

– Но отчего Элизбарович тянет, – подумалось, – ведь он бы должен меня за горлянку хватать, как говаривал доктор Лаер, видно, и он скован чем-то, как и Сандро, ну, впрочем, чем он скован – понятно, Сандро не проходит по его ведомству, так что заинтересован он во мне, и никто меня не должен перехватить, я должен стать его добычей, так он, по крайней мере, думает...

Ну а мне-то что делать – ведь тут нужно что-то в плане универ-

салии, например, универсалии опыта лягушки – враг и жертва, но даже и с кошкой дела обстоят гораздо сложнее...

Но постой, как это мой пациент кошку называл? – ката, – ну да это просто «кошка» по-грузински, кошка есть кошка, следовательно, она и имени-то не имеет, ну да, кошка ведь не собака, не товарищ по охоте, не сторож дома, а лишь терпимое до поры до времени существо, терпимое, поскольку в доме есть крысы... даже и на холме, в доме, где сидит Кванталиани и ест сыр, отрезая его ножом, а недавно еще и чачи напился от тоски, злобы и страха, где брат его косноязычный что-то бормочет, а невестка в черных одеяниях ходит, поджав губы... Вот только по кому это они траур носят?

Сидит он там и ждет, и выздоравливает постепенно, целую зиму идет дождь, а иногда идет снег, а порой появляется Сандро со мною да тут еще Лина к чему-то приплетена.

Кошка, или, как Кванталиани говорит, ката, дрянь паршивая, по дому ползает и окотится скоро, ну, котят они утопят внизу в речке, а Кванталиани сидит и не видит просвета...

Следовательно, кошка есть кошка, что уж тут выдумывать, да и действовать надо просто, и чем проще – тем лучше, не зря же он Сандро не доверяет, ведь тот плетет что-то, этого-то пациент мой и боится, и тут он напивается, пьет чачу в побеленной этой голой комнате, и ему становится плохо – печень сильно увеличивается, лоб холодный, с испариной, тошнота, вялость и склеры желтеют...

А тут Сандро появляется, бритый эдакий, чистенький, в белом автомобиле, ведь всё почти уже образовалось, и я, вроде, уж должен был длину привязи ощутить, ведь не зря этот разговор о Лине был тогда, за столом с сыром и дымной, обжигающей чачей, но тут Ката в комнату вползает – дрянь паршивая, – это о ком было – о кошке ли, или к тому, о чем поздней говорили?

Ну да, верно, Кванталиани глиняным себя теперь ощущает, вылепленным из глины вязкой, вот как он на куски разваливается зимой этой паскудной, и Сандро на него напирает, дабы земля в землю вошла, глина с глиной смешалась, тут быстрей надо что-то делать, – подумал он, – а что, собственно, делать и зачем, – а затем, чтобы глиной не стать, – и замечает: – значит, и я попадаю в ситуацию, когда времени не хватает и решать надо... то есть цейтнот, да и сам я располагаюсь где-то между кошкой и «сверхчеловеком», у которого весь глаз – центральная ямка, сплошная fovea centralis...

Но как изменился бы «мир» человека, превратись глаз его в огромную fovea centralis? Насколько иным, или, скажем, нечетным бы он стал? Какие новые универсалии соответствовали бы опыту подобного мозга?

«Кажется, я забрался далеко, – подумал он, – тут появляется какой-то Голем, сверхчеловек с экстрафовеальным зрением – сверхглаз, око, око в треугольнике, вселенское око, а тут и остальное должно измениться – то, что сплетается вкупе из простого, – Голем с иным оком, иным интеллектом, иной жизнью... А ведь что-нибудь в этом духе произойдет, и непременно, – подумалось, и он закурил, – как это у апостола Павла сказано – ‘Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное – то, что отчасти, прекратится’.»

Вот именно – прекратится, славно ведь глины посреди раздумывать об экстрафовеальном Големе, о нечетных кошках и всем остальном, возможном и совершенном, ну, скажем, более совершенном, если уж быть построже к выражениям, когда сам в грязи и глине.

...Ну а в деревне все еще дождь и слякоть, и глаза у больного преотвратные, мутные, и тут Бронгаузер ощущает легкий специфический аромат гари и тления. У больного мутные глаза, его мучит жажда, а на стуле лежит открытая коробка папирос «Казбек».

– Травка, – думает Бронгаузер, – гашиш, анаша, универсальный галлюциноген, так сказать, ведь анашу у нас в папиросные гильзы набивают, вот отчего папиросы здесь... славно, занятно, – думает он и, выждав, пока Сандро выйдет, спрашивает:

– Обшмалялся, как же лечить тебя, ты же себя в гроб вгоняешь?

– Все ты знаешь, – говорит Кванталиани медленно,– а может, мне и надо болеть? – и усмехается.

– Ну а мне что, век тебя лечить?

– Худо-бедно дождь не каплет здесь, весной посмотрим, что делать. Попляшут еще они у меня...

– Ну, дай-то Бог тебя на ноги поставить до весны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На пути весна, пьянь буйной зелени – зеленый, желтый, розовеющий бред природы, пьяное с дождями наступление на уходящую зиму, краснеющие черепицы средь молодых ветвей, ветерок сладкий, апрельский, журчанье ручейка на улице, пьянь покосившихся оград, мокрое железо крыши после дождя, пухлые облака, теплая синяя ночь, застывшая луна, кошачья тень на асфальте, ночной скрип проржавевшей в петлях калитки, мокрая ветка, ударившая по лицу, чужой огромный дог, спящий на ступенях своего дома, запах моря, проникающий во все углы, похожий на запах слез, зеленеющий трифолиат, трава...

Наступает апрель, над морем после полудня – весенние туманы, дует ветер с севера, время идет, зима прошла, сырая, сумасшедшая, как Бронский, теперь по улицам города апрель гуляет, настороженно

косящий, а Бронский в плаще, простроченном светлой ниткой, он сорвал ветку сирени и жует лепестки ее на ходу, направляется к музыкальному училищу.

Сирень на улице обвивает тополя, и веранда на горе Чернявского уже не так и прозрачна; плющ, цепляясь о лозу, заползает на веранду, и на ней становится прохладней; солнца мало, неверное оно, апрельское, а во дворе кошка играет с удушенной мышью, перебрасывая ее из стороны в сторону.

Лина стала приходить чаще, с вином творится что-то невероятное, одна бутылка «Саперави» на диво хороша, а в другой вино кислое, в кофейнях много приезжих, там натягивают полосатые тенты над столиками, ведь солнце скоро придет с жарой, а ночи порой уже теплые, и ночью приятно идти домой, на гору...

А как же Бронский? Он вновь бредет по улицам, плащи, огромные балахоны с застиранными пятнами, исчезли, он бредет мимо оград и домов в новом одеянии, на нем черная вельветовая тужурка, застегнутая до шеи, оранжевые вельветовые брюки и сандалии на босу ногу.

Дважды в день встречается он Бронгаузеру, проносится мимо него, закинув седую, стриженую голову с зелеными глазами, мимо цветущих с белыми маленькими цветочками кустов трифолиата, колючки, несется подпрыгивая, закинув седую, стриженую голову с зелеными глазами, выпятив круглый яйцеобразный живот, ожидая чего-то, – но не дождался ли он этой весны, краснеющих черепиц, сладкого апрельского ветра, ночных кошачьих теней, навзничь падающих несостоявшихся дождей, – Бронский, несущийся по улицам, вынашивающий свое одиночество...

– Лина, я так соскучился по тебе, а мы сидим и собираемся пить кофе, как юные влюбленные.

– А лучше было б, если б ты и вправду меня любил, – ответила она.

– Знаешь, я потребую, чтоб у меня в кабинете поставили пару гостевых кресел, а то вот ты сидишь на жестком стуле и мучаешься, да и меня хочешь помучить. Но вот кофе готов...

Он снял джезве со спиртовки и разлил кофе по чашкам.

– Стыдно, – сказала Лина, – воровать чашки из кофейни...

Поверхность чашек была намеренно оцарапана и закрашена, – так в кофейнях пытались предотвратить воровство.

– Это не я, в самом деле не я, что мне следовало бы украсть, так это тебя...

– Ты и так меня крадешь понемножку, – сказала она, жуя шоколад.

– Хочешь закурить «Rothmans»? – спросил он, – это подарок Генриха Антоновича, – и щелкнул зажигалкой.

– А это у тебя откуда?

– Подарок Сандро Акакиевича, мы с ним в блестящих отношениях.

– Неправда, – сказала она, – ты меня ревнуешь к нему, сумасшедший ты, Брон.

– А в самом деле, что он о нас думает?

– А я ведь за тебя замуж не собираюсь...

– Умница, Лина, за это я люблю тебя...

– За это?

– И за это, и за всё. А он считает, что мы подходим друг другу?

– Что он считает – один Бог знает, а что говорит, то другое дело...

– Лина, милая, ты в Бога веришь?

– Я христианка, у меня душа есть, а ты не поймешь этого.

– Хочешь, я тебя поцелую?

– Оставь меня...

– Кому? Сандро?

– Тебе не стыдно?

– Стыдно, Лина, стыдно, прости. Это от того, что по тебе соскучился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– На роду мне, что ли, написано ходить пешком? – задает он себе вопрос, в то время как из остановившегося у тротуара такси машет ему рукой доктор Лаер, – садитесь же, коллега, садитесь, где это вы были с такой сумкой? – спрашивает он, а автомобиль уже катит по сверкающему асфальту меж олеандров и кипарисов, выстроившихся в два ряда.

– Я сдавал бутылки, – отвечает Бронгаузер, – время от времени меня охватывает желание навести порядок у себя дома.

И верно, с годами у него начало складываться свое особое ощущение порядка и должного положения предметов в доме, и хотя позже это и казалось ему смешным, но иногда он тратил не менее часа на уборку, то есть, в сущности, на перекладывание предметов с места на место, – пепельница должна быть здесь, а вот этой книге лучше всего быть не на полке, а на письменном столе; квитанции же, нужные и ненужные, он складывал у телефона, ну а что касалось кухни, то здесь тоже складывался определенный стереотип, – он твердо знал, где должна находиться посуда, немытая, где должно стоять джезве, а где висеть ножи; кроме того, он не терпел вида мытых бокалов и неизменно ставил их в посудный шкаф еще мокрыми, отчего стенки шкафа посерели и в шкафу завелась плесень.

Что же касается бутылок, то с некоторых пор он предпочитал не копить их, а сдавать в магазин, в обмен на вино, но это получалось не всегда, и в этот раз он поехал сдавать стеклянную посуду армянину, в сине-зеленую будку у пляжа, куда прошлой зимой набегали зеленые волны и падал снег. Армянин должен был вскоре появиться, об этом извещала записка, прикнопленная к двери, и Бронгаузер вышел на пляж. Бетонный волнорез служил теперь основанием огромного аэрария – видно, рабочие не зря долбились тут зимой, – подумал он, – в то время как я отмывал банки.

Армянин прибыл через десять минут на автомобиле весьма приличного вида, значит и у него дела шли вперед. Расплачиваясь, армянин усмехнулся, оглядев посуду, но ничего не сказал.

– Сдавали бутылки, – повторил доктор Лаер, – куда же вас подбросить, коллега, домой?

– Да, пожалуйста...

– Хороши же вы, – сказал Лаер, – это у вас наследственное? Говорят, у вас появилась частная практика...

– У меня?

– Я хотел вас только предупредить, вас несколько раз видели в аптеке, вот и разговоры пошли.

– Кого же я смогу лечить, столько лет не видав клиники?

– Кого-нибудь лечить всегда можно, – весело сказал доктор Лаер, – было бы желание... Послушайте, милейший, – обратился он к шоферу, – вот здесь возьмите-ка влево... Очень рад, что смог быть вам полезен, коллега, – сказал доктор Лаер, – я зайду попрощаться перед отъездом...

Ну чего меня Сандро в эту историю втравил, а теперь продает с потрохами, хотя что значит «продает»? – он-то меня продает, но по силам ли другим меня купить?

Ведь как давно это было, когда птиц мы с Сосулькой, то бишь с Андреем Элизбаровичем, на горе ловили... И веревочку уже дернешь, и птички под тазиком, но ведь их еще оттуда достать надо, а иная и вылететь успеет... и тут уж от меня всё зависит, ведь огнестрельных, колотых, резаных и прочих ран и в помине не было, следственно, и состава преступления тоже, так что одни лишь неудобства и неприятности, большие, впрочем, могут последовать, и любой здравомыслящий человек их избежать постарается, да еще с моей летней историей.

Да неужели из-за Лины втянул он меня во все это, так чтоб тошно мне стало, вот, мол, кошки-то разнородные чем кончаются, вот пойди и попляши, хотя и Сандро-то сам пляшет танец стареющего мужчины.

«Пляшет, бедняга, ну и ладно», – подумал он и Лину припомнил,

зимой приезжала она к нему, вино красное пили, сыро было, и пальмы стояли вроде со связанными руками.

– Ну, коллега, – говорит доктор Лаер, – я вас покидаю, – и вас, и благословенный этот городок с населяющими его слепыми отростками эволюции...

– Неплохо вы это придумали, – говорит Бронгаузер, – похоже на спич, а? И как вы нас покидаете: как раньше – навсегда, или как раньше – надолго?

– О нет, коллега, я еду в совершенно другую сторону – маленький университетский городок в Прибалтике, догадываетесь? Я прошел конкурс на заведование кафедрой.

– Ну что ж, все ближе к Упсале – помнится, там вы собирались читать лекции после отъезда из страны. Я помню, как вы уезжали, доктор Лаер, а вы помните это?

– Ну, коллега, то было совсем другое время... – смеется доктор Лаер.

В то время, за несколько лет до этой весны, доктор Лаер внезапно продал свой домик на склоне горы Чернявского и, отыскав родную сестру в Назарете, вознамерился покинуть страну.

Завершив все формальности с домом и уйдя из Института, он поселился в гостинице, уставив номер чемоданами, саквояжами, электрическим самоваром и парой рефлекторов для подсушивания воздуха. Целыми днями лежал он в номере на кровати, читая книжечки для начинающих изучать английский язык, пил чай с медом и время от времени принимал у себя в номере девушку, ценившую, как он говорил, мужчин не моложе пятидесяти лет.

– Ну что же вы здесь пропадаете? – спросил он как-то у Бронгаузера, после того, как сумел надоесть всем, сколь-нибудь причастным к медицине людям в городе, начиная от обрюзгшего дантиста, поклонника итальянской оперы, вечно бродившего по квартире с незавязанными штрипками довоенных кальсон, до величественного старика офтальмолога, в приемной которого пациенты томились под огромным, в полстены, маслом писанным портретом Сталина.

Задав этот вопрос, Лаер пустился в рассуждения о курсе лекций, предстоявшем ему в Упсале.

– Если я не освою к сентябрю английский, то буду читать на немецком, на русском, в конце концов, меня будут слушать на том языке, на котором я буду их читать.

– Только не читайте их по-шведски, – сказал Бронгаузер.

– Почему? – встрепенулся Лаер.

– Трудно будет переводить.

– Не смейтесь, коллега, – сказал доктор Лаер, – а кстати, можно разместить у вас пару раскладушек и переносной разборный тент для пляжа моей конструкции, в номере у меня все не помещается?

– Можно, если не навсегда...

– Отлично, тогда немедленно отвезем это к вам, – потребовал Лаер, – в семь ко мне должна прийти девушка, погасите, пожалуйста, сигарету, она терпеть не может табачного дыма и вина, и запомните, друг мой, женщина, которая курит и пьет, – это уже не женщина... Надеюсь, вы поняли меня...

...В начале лета, в июне, доктор Лаер заехал к Бронгаузеру забрать раскладушки и переносной тент, включавший огромное число железных, сочленяющихся стержней.

– Я напишу вам из Упсалы, – крикнул он на прощание; доктор Лаер торопился, в такси его ждала девушка, а в Упсале лекции начинались, как видимо, днями...

В сентябре Бронгаузер говорил о Лаере с одним из сотрудников Института, и ему явилась дивная картина, о которой он, естественно, умолчал...

Где-то в Швеции, на морском песчаном берегу близ Упсалы, стоя под переносным тентом, доктор Лаер читал лекцию по терии нервных сетей шведской девушке, спокойно возлежавшей на раскладушке.

Северное солнце было в зените и, завершив свою лекцию, доктор Лаер заметил, что шведка уснула. Он повел длинным своим носом и, опустив покатые плечи, пошел вдоль берега, полоща ноги в прохладной балтийской воде и собирая редкие голыши.

...Из Упсалы письмо не пришло, но через год с небольшим, осенью, в субботу утром, когда и до телефона лень было дотянуться, Бронгаузер вновь услышал его голос:

– Коллега, я прибыл оттуда, откуда не возвращаются, – и доктор Лаер замолк.

– Доктор Лаер, неужели вы прибыли с того света?

– Коллега, я звоню вам первому, приехав из-за границы, умоляю вас, я крайне устал, нет ли у вас чего-нибудь почитать? Но только отечественное, «Полтаву», прошу вас...

– Но где же вы остановились ?

...Доктор Лаер находился в том же номере гостиницы, откуда начинал свое путешествие, – Европа, Штаты, чуть ли не Япония, – сказал он, – но у меня не хватило денег на полет через Японию, я ведь путешествовал как беженец, за счет ООН, – пояснил доктор Лаер; номер набит был все теми же чемоданами и саквояжами, раскладуш-

ками и элементами сборно-разборного тента конструкции самого доктора Лаера.

– Вот, – указал он, – на последние доллары я купил в Швеции чайный сервиз, связался с моими друзьями в Москве, подготовил несколько отчетов – и вот я снова здесь, восстанавливаю гражданство и вновь приступаю к работе в Институте.

– А как же Упсала, как ваш курс лекций?

– Ах, оставьте, – сказал доктор Лаер, – я даже иностранную беллетристику читать не могу, меня тошнит от всего этого, поверьте, мой молодой друг, по-настоящему жить можно только здесь...

– Вот видите.

– И я сообщу об этом всем, – воскликнул доктор Лаер, – я уже дал два телеинтервью и выступлю еще в прессе...

– А где же ваша девушка? – спросил Бронгаузер.

– А, ерунда, – отмахнулся доктор Лаер, – ее уже нет со мной, но найдутся другие, такой человек, как я, никогда не пропадет.

– Похоже, вы правы, – согласился Бронгаузер.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Собственно, как рассказал он однажды профессору, история становления его мироощущения складывалась из двух эпизодов детства.

Пяти или шести лет он раздумывал над обычными в эти годы вопросами о неизбежном конце жизни – проблема эта сильно и ярко волнует детей, вплоть до того, что во время неизбежных игр в войну, они резко делятся на тех, кто внутренне спокойно кричит: «а я ожил, вы меня убили, а я ожил и вас застрелил!» – и других, с ожесточением в голосе, со слезами кричат они: «неправда, неправда, если тебя убили, ты уже не оживешь...»

И те, кто меньше и не прошел еще этот же путь сомнений, страха и опасений, путь, что еще не раз повторится в жизни, – не в силах понять старших, горько излагающих свой символ веры, – неправда, если тебя убили, ты уже не оживешь...

...И вот в то именно время, когда мальчик медленно, неизбежно скользил от первого возраста к муке и страху второго, он как-то раз спросил о чем-то таком у матери – она гладила свежевыстиранное волглое белье на теплой, осенней веранде, – и получив быстрый ответ: «Нет, ты не умрешь, ты всегда будешь жить» – задумался вдруг не столько над ответом, сколько над интонацией.

Рассеянно прошел он весь двор и за бородатыми пальмами, за пригорком, ниже которого и росла слива с темными, краснеющими до синевы листиками и тугими, фиолетово-синими, а внутри чуть

вяжущими плодами, лишь там он ощутил, что услышал ложь, ложь привычную, естественную, неоспоримую, но не оспариваемую, – и это его поразило больше, чем сам исподволь подкрадывавшийся к нему вопрос.

Позднее уже, года через два, возвращаясь из школы домой и пожевывая по дороге зеленые горькие листики олеандра, он размышлял о разумности устройства мира, всего мира – с деревьями, зверьми и рыбами, и об этом, памятуя ту старую, знакомую, под сливой открывшуюся интонацию, он уже никого не спрашивал.

Итак, все ли существующее нужно и должно, – размышлял он и колебался в поисках ответа, пока не задумался о ногтях – в тот момент они совсем были зеленые, он ведь отдирал листья и кожуру с ветки олеандра, и вот ногти явно нарушали микропорядок, их необходимо было стричь, ну конечно, они ломались у первобытных людей, подумал он, да и помогали им драться со зверьем, а теперь большие ногти только мешали и их необходимо было срезать.

– Вот и все, что я вынес из детства, – сказал он профессору.

...Но как постарел профессор... Бронгаузер припомнил недавнее свое посещение, голос у старика дрожал, на лице краснели и исчезали пятна, профессор читал свои замечания к чьей-то статье о возможной уникальности жизни во Вселенной... И какой смысл мог иметь это спор, когда в конечном счете речь шла о вере и неверии, о невероятности рождения живой души из случайного сочетания нуклеиновых кислот, а сейчас эта живая душа скорбела и негодовала, и Бронгаузер убеждал профессора выбросить из черновика статьи обидные для оппонентов реплики.

Боже мой, эта живая душа – как она еще и любит себя! Или все это от страхов, которые сопровождали всю эту жизнь, раздумывая о возможном конце которой, профессор как-то сказал:

– Мне жаль, что исчезнет комплекс, продумавший столько идей, их носитель, в некотором смысле, – и профессор слабо улыбнулся.

«Так вот что, – подумал его собеседник, – люди боятся смерти, а самые изощренные цепляются за комплексы идей и готовы увидеть чудо в случайном сочетании молекул, или в первой клетке, или в тяготении людей друг к другу – у кого на что хватает фантазии...»

– Но спорить все-таки надо, – утверждал профессор, и тут-то и узнал его собеседник окончание той древней, о разбойнике с песчаной горы истории, начавшейся с увиденного в воде внизу белеющего тела и окончившейся как будто словами: «Сила твоя для науки».

С годами законоучитель постарел, и брови его стали столь длин-

ными и густыми, что опускались на глаза, и вглядываясь в лица учеников и собеседников своих, он поднимал брови указательными пальцами и прижимал их ко лбу, осененному седыми уже волосами. И взгляд его красноватых глаз был тяжел.

Разбойник же бывший, Рейшл-Киш, ныне первый толкователь речений его, все так же спорил с ним, дерзко и непочтительно порой, как и в первый день. И однажды, прежде чем ответить на тонкий, многосложный и дерзкий вопрос его, законоучитель медленно поднял указательными пальцами брови, прижал их ко лбу, и лишь потом ответил.

Вскоре Рейшл-Киш заболел и спустя несколько дней умер.

На следующий день после похорон занятия возобновились, и первым делом был избран новый первый толкователь в классе, но в конце того же дня, внезапно умолкнув, законоучитель поглядел на нового толкователя и сказал ученикам своим:

– Хороши слова его, но кто спорить будет со мной?

Итак, «сила твоя для науки» – простая и ясная формула, но от чего же смерть в конце, после взгляда красноватых глаз, на которые опускались лохматые разросшиеся седые брови? О чем спорили они, что обсуждали?

Быть может, слова законоучителя: «Бог создает законы и не преступает их»?

Шла ли тогда речь о новых законах или же речь шла о тех, что разбойник с песчаного холма преступал не раз, до того, как стал толкователем Закона?

– Но, верно, сила его покинула, – подумал молодой человек, – и тут пришел конец, ибо «если и соль потеряет свою силу, то что сделает ее соленой»? Когда-то я не понимал этого... Соляные следы на камнях, съеденных солнцем, горечь соли в воде, соленый привкус кожи, маленький соленый слой пота, выгнанного солнцем, – но теперь это яснее для меня... И соль теряет свою силу, и тогда – смерть после нескольких дней сомнения в прохладной комнате, превращение в мертвый кристалл, не ощущающий силу и соленость свою...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Господи, что за нашествие весеннее, – размышляет Бронгаузер, сидя в кофейне на втором этаже ресторана на воде, – еле столик свободный отыскал, а впрочем, хорошо, пообедаем здесь, на воздухе, и на работу я уже сегодня не пойду, надо, пожалуй, отдохнуть сегодня, ветрено побездельничать, как сказали бы китайцы, выпить вина, обо всей этой истории забыть, развеять... К дьяволу все, все логические последовательности туда именно и ведут, – но без меня, пожалуйста,

да мало ли что приходит в голову зимой... да, я кого-то лечил, ну вот и все, собственно, он уже почти здоров, раза два еще туда съездить придется, а далее не все ли равно, чем кончится эта история?..» Море уже совсем прозрачное, а вот и Лина сюда направляется, по светлому цементу второго этажа, а солнечные зайчики от вымытой посуды сопровождают ее движение.

– Может быть, пересядем в тень? – спрашивает Лина.

– Но там дует, будет прохладно, садись здесь, Лина, не бойся загореть, тебе пойдет загар, ты ведь не из тех наших женщин, что круглый год ходят под зонтами.

– Какой ты злой сегодня, – сказала Лина.

– Мир решительно преображается, – говорит Бронгаузер, – может быть, к нам и официантки не подходят оттого, что я злой?

– Они думают, что мы так просто сидим, на солнышке греемся. Да и им самим лень идти сюда.

И в самом деле, две официантки болтали, устроившись в теплом углу у кухни, да и кто мог знать, зачем пришли сюда молодые люди – обедать, пить кофе, болтать, а может быть, они усядутся за крайний столик с шахматистами, под выцветший тент, где сидят старики в соломенных шляпах, жующие желтые мундштуки с дешевыми сигаретами...

А дальше, на причале, лежали лодки и плескались паруса яхт-клуба вплоть до десятиметровой вышки, откуда однажды, давно, душным летним вечером прыгал Мишаня.

Мальчик, которого он попросил посторожить одежду, сказал:

– Не надо, дяденька, прыгать, убьетесь.

Но Мишаня разделся, и тощий, костлявый, в мятых синих трусах, поднялся на верхнюю площадку вышки. Там он застыл в стойке на руках на краю площадки и медленно, плавно перегибаясь, начал свой полет к воде.

Потом он вынырнул, вылез из воды, оделся и направился в кофейню, где было по-вечернему шумно. В кофейне играл гитарист. Он пел греческие песни и собирал серебро за столиками, куда его приглашали.

Мишаня подозвал гитариста и сказал:

– Ну, Брон, заплати ему, я хочу, чтобы он с нами посидел, или мой прыжок не стоит его музыки?

Его товарищ полез в карман и выложил всю мелочь, что там была, она зазвенела на пластике стола, а когда гитарист ушел, Мишаня принес бутылку столового вина, летом оно было кислое и зеленое.

– Не хочу, – сказал его товарищ, – я еще не ел.

– Я тоже не ел, но я же пью, – ответил Мишаня, с усилием выпил стакан и ушел, а вскоре он и в город выходить перестал.

– Ну как тебе рыба, Лина? – спросил Бронгаузер и продолжил: – Оказывается, четверг – рыбный день.

– По-моему, вкусно, – сказала Лина.

Тогда он долил вина и спросил:

– Почему я здесь всегда Мишаню вспоминаю, а, Лина? И когда рыбу ем – тоже? Оттого, что мы рыбу вместе ловили?

– Не-ет, Брон, – это потому, что дух его где-то поблизости ходит...

– А ты в джадо веришь, Лина?

– Конечно, – сказала Лина, – как не верить, когда сама это видела, в деревне это было, у близких наших, – там мальчик утонул, ну, тело нашли когда, надо было дух еще найти, – тут Бронгаузер посмотрел на нее внимательно, – ну да, Брон, правда, – сказала она, – обычай есть, тут музыканты пришли, ну, знаешь, зурна, дудуки, и у реки играть стали жалобное что-то, а мальчик мертвый в доме лежал, а с музыкантами рядом у воды, у речки тики положили, это для вина мех, – пояснила она, – и пока они играли, тики стал постепенно наполняться, я сама видела, нас много народу стояло, мы видели, как тики наполняться стал, а музыканты играли у речки, потом завязали тики и понесли, а потом во дворе то, что было там, выпустили, и тогда уже душа мальчика к нему вернулась, и его хоронить можно было...

...Ну да, деревенька у речки с тяжелой, непрозрачной, мутной водой, сельчане у реки, да зурна и дудуки надрываются, а все смотрят и ждут, а вот и тики наполняться начинает, меха постепенно сами раздуваются, а все, затаив дыхание, на них смотрят, а когда наполнятся духом утонувшего, тики перевяжут и понесут к дому с плачем и песнью, ну вот выпускают дух из тики во дворе с зеленой травой стриженой... а здесь ничего не собирали в ту пору, когда Мишаня со связанными шнурком щиколотками лежал, выпятив подбородок к чисто побеленному потолку, и теперь душа его несобранная бродит где-то поблизости от зелени недопитого вина в наших стаканах, меж столиков с бездельниками, пенсионерами и шахматистами в выцветших соломенных шляпах...

«Ну да чем я развлекаюсь, как мысли здесь, на воде, разлетаются?» – подумал он, зная уже, отчего в деревне, в доме на холме, женщина всё в черном ходит.

Вот он где был, ребенок утонувший, у родни Лининой, значит,

Важа и жена его – Сандро родственники, а не Кванталианиевы, вот почему Сандро его вылечить хотел и оттуда вывести, а тот уверен был, что не тронут его в этом доме на холме... Обидно, этакую глупость давно мне Лина сказать могла, но молчала – Сандро, наверное, запретил ей... Или сама молчала – не ее, значит, дело в мужские дела лезть, самому решать всё надо; ах ты, горделивая Лина, сука рыжая, соломенная, стыдно чашки красть по кофейням, милая, стыдно, стыдно сумасшедшим быть и тебя ревновать к преданности твоей и молчанию...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Доктор Лаер задумался, глядя на коричневое пятнышко на лацкане пиджака, сиротливо отражавшееся в большом трехстворчатом зеркале, и слегка засопел.

Помимо пятнышка, зеркало помещало в себя изображение комнаты с двумя тесно придвинутыми кроватями орехового дерева и двумя прикроватными тумбочками, на одной из которых лежала стопка книг, а на другой, вынесенной в угол, стоял сферический аквариум с красноперкой и вуалехвосткой, мирно плававшими над песком и ракушками дна.

Рыбки и не подозревали, что они проданы вместе с аквариумом, моторчиком для подачи свежего воздуха и запасом питания на полгода вперед за совершенно мизерную сумму в десять рублей одному из бывших коллег доктора Лаера. На совершенно оголенной уже кухне стояли чемоданы, раскладушка и туго увязанный сборно-разборный тент конструкции самого доктора Лаера, хромированные, сочленяющиеся стержни коего выточены были когда-то механиком Авдеевым за литр чистого медицинского спирта, вынесенного из лаборатории, куда доктор Лаер, разумеется, вернул, как и обещал, использованную литровую стеклянную бутыль из-под серной кислоты.

Квартира, которую доктор Лаер снимал, имела в настоящий момент вид самый неуютный, как и всякая квартира, которую готовится покинуть человек.

Лаер протянул руку к тарелке на подоконнике, взял изюмину и принялся жевать ее, поглядывая в окно, на лужи меж одинаковых блочных домов, – здесь он проживал после возвращения из кругосветного, или почти кругосветного турне, ему не хватало пятисот долларов, чтобы вернуться из Штатов через Японию, о чем он сожалел.

Возвращаться пришлось через Швецию, и на горизонте через иллюминатор «Боинга» доктор Лаер видел одинокий гренландский вулкан, название его Лаер позабыл, и каждый раз, при случае, выдумывал вновь.

Пятнышко же на лацкане, не устраненное ни местной химчисткой, ни нью-йоркским ландроматом, прошло с ним через весь мир, а сейчас доктор Лаер ожидал такси, чтобы отправиться на вокзал, – к самолетам он утерял доверие, в последнее время они бились один за другим.

Теперь, перед отъездом, городок внушал ему почти отвращение, особенно усилившееся после нелепой смерти Сандро Акакиевича, коего доктор Лаер хорошо знал, и когда такси, битком набитое чемоданами, кофрами и раскладушками, понесло доктора Лаера к вокзалу, он почувствовал себя вполне счастливым: надо было спешить занимать кафедру, заводить свеженькую прибалтийскую любовницу и приступать к изданию собственной монографии о структуре вегетативной нервной системы.

По дороге выяснилось, что часы в квартире отставали, пришлось спешить, и на вокзале доктор Лаер пнул пару раз носильщика ногой, покрикивая при этом:

– Да быстрее вы, я за все заплачу...

Труп Сандро Акакиевича Кванталиани пытался сжечь прямо во дворе. До этого он разодрал челюстные связки, засовывая покойнику в рот кошачью голову, ведь кошка – символ лжи и предательства здесь, в наших краях.

– Ах, ката, дрянь паршивая, – вспомнил Бронгаузер, узнав о происшедшем в кофейне.

Полуобгоревший труп Сандро Акакиевича был найден во дворе, Кванталиани же скрылся. Схвачен он был лишь месяц спустя.

Но в тот день в кафе, разглядывая чаек и суету на причале яхт-клуба, где, выпятив свои свежеокрашенные днища к небу, сушились лодки и на талях спускали в воду яхту, Бронгаузер подумал:

«Ну что ж, у них траур, Лина еще долго не придет ко мне, и если до конца лета у меня не появится какой-нибудь родственник, ну хотя бы Важа, ну а с чего ему, собственно, появляться, какое ему дело до меня, у него ведь есть земля и дом... то тогда можно полагать, что со всей этой историей, кажется, покончено...»

Тут через кофейню прошел подвыпивший Сантия:

– Я не буржуа, – бормотал он.

Отчего же кошке он голову оторвал, думал Бронгаузер, ну да, трута видно не было, в старые времена в рот убитым предателям засовывали трут и поджигали, а труп вешали на дереве... Ну а я, что я мог сделать иначе, ведь моя fovea centralis такая же, как у всех, и мы отнюдь не сверхлюди, у которых весь глаз представляет собой одну огромную fovea centralis, ну а что со мной случится, дух мой в тики

собирать никто не будет, и он бродить будет где-то здесь, у синего пятна моря, у холмов, вместе с Бронским по улицам весенним, кошек будет тревожить, гнездиться в зеленых их глазах, волной зеленой побежит к берегу, к деревьям в завязи синей ночи...

...В шахматах нечто подобное называется рокировкой, он припомнил, как обучал его Вахтанг Николаевич игре в шахматы, а потом и играл с ним, принимая его со временем за серьезного противника; как сокрушался Вахтанг Николаевич по поводу проскальзывавшего порой его не очень серьезного к шахматам отношения.

Сам Вахтанг Николаевич играл партии с любовью к этому занятию, а порой и с вдохновением, так что у наблюдателя могло бы, пожалуй, создаться впечатление, что партии эти, разыгрываемые в период, предшествовавший обеду, в чем-то уподоблялись процессу молитвы. Мальчику же приходилось играть в шахматы и с Сосулькой, то бишь с нынешним Андреем Элизбаровичем, – ну да, господи, припомнишь разве, как оканчивались те партии, дракой ли, слезами обиды.

Ну а Лина – все время она говорила:

– Сделал ты что-то, не может быть, чтоб не сделал, без тебя не обошлось тут.

Но он только смеялся:

– Лина, милая, зачем это тебе, я и сам толком не знаю, что тут произошло.

Иногда я думаю, что все то, что я по-настоящему приобрел и потерял, связано с коротким словом «шем», означающим подлинное имя Бога.

Одно короткое слово – и история раздвигается в прошлое и в будущее, словно наполняясь светом от свечи, зажженной на окне в субботу в память о сотворении мира, – и оттого-то мы и ищем внеличных оправданий тому, что мы делаем...

И что за неотвратимая тяга к слову этому, и даже больше чем к слову, – словно все это, как и бессознательное, структурировано в языке, – то, с чем я боролся, импульс, который я тщательно подавлял, и кто знает, исчезнет ли этот импульс, если даже изменится fovea centralis, тут я просто себе ничего не представляю, – или потом, однажды, странно вывернутым, иным образом произойдет то, о чем мы с Лаером беседовали...

Проявится сквозь вечные небеса позитив колб, пробирок и механических сочленений, и крякающий насмешливый голос позовет в вечный путь, в вечный танец, – так, словно то, что было до этого, – лишь напоминание о том, что наступит; когда голос зазвучит – и тогда пер-

выми пойдут кошки, ныне немые, нечетно полнозвучные, сочлененные из игральных костей, словно достаточно повернуться, скользнуть костяшкам этим – и наступит небывало новое, новый исход из старой земли, и вслед за ними потянемся мы, уже иные, нетождественные себе, подобные духовному вину Вахтанга Никола-евича, испитому после похорон отца его, мы – те, что живут на окраине Галактики, в мире одного из тех неправдоподобно случайных значений короткого слов «шем», что нам удается услышать, сказать или угадать во сне.

– И еще знаешь что, – сказала ему Ята, когда они вновь встретились в Питере, потом, уже после ее окончательного отъезда, после того убегания и скольжения, одиночества и слез в зимнем доме, длинных разговоров, подобных раз в год проводившейся настройке рояля «Бехштейн», после пустой пачки снотворного и лечебницы, – теперь, в новом ее времени, она сказала:

– И еще оттого я им так дорожу, что у нас – у меня с ним – будут дети, ведь я не хотела иметь детей, а с ним я уеду в Израиль и у нас будут дети... И я хочу, чтобы ты с ним познакомился, он будет нас ждать на выходе из сада в два часа дня.

И прощаясь с ними позднее, она сказала:

– Давайте я вас поцелую на прощанье, – она поднялась на носках, поцеловала каждого в щеку и ушла.

Была осень, на стеклах трамваев висели объявления: «Осторожно, листопад» – трамвайная колея и впрямь неслась сквозь ворох листьев, а она спешила на уроки.

На прощание она улыбнулась одними глазами ореховыми и ушла, а они вернулись к Летнему саду.

Бронгаузер ощутил нечто вроде симпатии к человеку, который шел рядом с ним, – нельзя сказать, что ему было очень легко и удобно со мной, но Ята этого хочет, и он идет на это ради нее.

Наверное, он очень дорог ей, подумал он позднее, когда услышал ее голос по телефону.

– Я понимаю, – говорила она, – ты хотел прийти к нам, но не пришел, хоть мы тебя и ждали, ну зачем тебе оправдываться, ты хотел прийти, но все же не пришел, потому что не смог, да?.. просто не смог сам, а не из-за обстоятельств, я понимаю тебя, чрезвычайно понимаю, – продолжала она, – но я очень огорчилась за него, ведь я ему говорила, что ты, – мягко прозвучал в черном дне трубки ее голос, – я ему говорила, что ты не сможешь не прийти, и я не хотела бы, чтобы он не верил мне... да, да, я могу тебя понять, со мной часто бывает что-то такое тоже, но пожалуйста, он... – тут Ята замолчала, и Бронгаузер сказал:

– Хорошо, конечно, я не обижаюсь, да, мы еще увидимся, – но больше он туда не звонил.

Более того, однажды он подумал, что тот, другой человек чем-то похож на него самого, «на меня, – подумал он, – когда я бываю таким, каким сам себе неприятен, во всяком случае это я иногда ощущаю, но это уж не мое дело», – подумал он, отрываясь...

Ему припомнилась стародавняя квартира на Охте, Ята, и как собиралась гроза над рекой.

Ну а что и где я могу предложить себе взамен, подумалось, представь: дом с медной ручкой, сферически вбирающей весь окружающий мир, кипарисы и белые камни, а за дверью профессор. Глаза у него глубоко посажены, серые, и вот он, законоучитель, выходит и направляется на урок в белое здание школы.

От дома к школе ведет каменистая, словно тропа, улица.

Улица спускается, усаженная с двух сторон кипарисами, сухими, от них почти нет тени, они просто сухие и зеленые, а их стволы морщинисты, а сзади остается дом с медной начищенной ручкой на рассохшейся деревянной двери, а в доме прохлада и Ята.

Она одна, нет, не одна, а с двумя детьми, ведь я это знаю; на ней длинное платье, темно-коричневое с оранжевым, прическа у нее та же, ну а я во дворе, среди вопля и гомона бегающих детей, я совсем другой, я подобен человеку, увиденному прошлым летом в троллейбусе.

Огненно-рыжий, белокожий, крупный, у меня толстый зад в белах брюках, я сутулюсь; я вижу профессора, фигурка его спускается вниз по каменистой белой улице меж сухими кипарисами, мне становится стыдно, я хватаю колоколец и бегу с ним по двору, рыжий, неуклюжий, я бегу, колоколец трезвонит, я сгоняю детей в классы, на пустой двор оседает белая пыль, по двору движется фигурка законоучителя...

Но только теперь он вдруг ясно понял, отчего видение это, донельзя дикое, порой возвращается к нему, – Ята и ее муж уехали в камни и пески другой земли, и он там умер или погиб, где-то в песках, двадцати девяти лет, навсегда оставшись молодым, а Ята осталась одна, вернее с детьми, и быть может преподает музыку в школе, где белые камни, а он умер или погиб, то есть какое-то мое странно обнаруженное второе «я», мертвое и молодое, отделилось от меня и осталось в иной земле; у меня же осталось «я» лишь детское, но детство мое прошло совсем иначе, здесь, на горе Чернявского, с запахом ежевики в ущелье и красными листочками сливы, с мамой, что гладила белье волглое на веранде...

И вот она – нелепость, несовместимость всего – в школьном

привратнике рыжем, мечущемся по двору с колокольцем в руке, – не вернуться мне в прошлое время, разве лишь в чужом облике, а странно мною обнаруженное, рыжеватое и спокойно держащее в руке кружку пива в Летнем саду второе мое «я», мертвое и молодое, пребывает в иной земле.

Вот и окончена история Бронгаузера. Идет дождь весенний, хлещет, а он у себя дома, на горе Чернявского, зонт у него прохудился, – но настанут времена, придет иной человек и наступит другой день, иной fovea centralis, иной кошки, другого бытия...

А пока вспоминаются чьи-то слова, – это Бронгаузер привил мне страсть к цитированию: «В чем мы нуждаемся – так это в воображении, но в воображении в надежной смирительной рубашке».

Тель-Авив

Ираида Легкая

Елене Кулен

1

Ветер что мне
Глаза открыл
Улетел далеко
А тот что в окно
Упорно бьет
Холодный и злой
Жизни и свету
Конец подошел
Близок последний час
Мертвецы встают
Из своих могил
Помилуй нас
Господи сил

2

Портрет сброшенный ветром
Машины проезжающих
Брошенные города
Брошенные страны
Отброшенные люди
Прости меня Господи
И на дне колодца
Беспечальное детство

3

Печальные прощальные стихи
Они пришли обочною дорогой
Они печальны были и тихи
И было их совсем немного

Январь 2018, Нью-Йорк

Елена Дубровина

БЕЗМОЛВИЕ

Укрывшись облаками ватными,
Разлившись по небесной тверди,
Сияли звезды невозвратными
Лучами на границе смерти

И жизни, нам не предназначенной,
Но обозначенной мгновеньями,
С неразрешенными задачами
И нерожденными сомненьями.

Лучи касались тайны вечности,
Молились где-то снам неснившимся,
Душе, не знающей сердечности,
Мечтам, так никогда не сбывшимся.

Звезды паденье в бездну времени,
Не ощутив, увидев мысленно,
Мы не успели бы, наверное,
Кривую жизни четко выстроить.

И как болезненно безмолвие
Мы чувствуем всей кровью венною,
Ведь к нашей жизни в послесловии
Откроет тайну сокровенную

Господь, нам даровавший Истину
С другой, далекой круговерти,
Когда лучи, метнувшись искрою,
Покажут нам свой путь к бессмертию.

* * *

Я слушала, как звезды пели,
И, разбиваясь о закат,
Они летели наугад,
Цепляясь за верхушку ели.

Осколки освещали сад,
Дорожку из лучей ленивых,
Их свет невидимый на ивах –
Ночи таинственный парад.

И затихала трель молчанья,
Молчал сверчок, молчал скворец,
И в черном небе наконец
Пролился лунный свет печальный.

На грани смерти и добра
Его лучи пленяли душу
И пробивалися наружу
В потоке лунном серебра.

БЕССОННИЦА

Я ночью не сомкнула глаз,
Дождило, тяжелело небо.
Я сон хранила про запас,
Приснится в следующий раз,
Я думала, а он не ведал,

Что жду его который год,
Как сказку ждут иль просто друга,
Как солнца жаждет пешеход.
Но в жизни всё наоборот…
И за окном судачит вьюга.

И мне не спится, мучит стих,
Строка нанизывает петли,
А дождь как будто бы притих,
И в облаках, еще густых,
Колечки букв едва заметны.

И вяжутся слова, как шаль,
Как белый шарф из тонкой пряжи,
Как ночью лунный диск на пляже
Из лунных точек тени вяжет,
И сонный свет творит печаль.

Я не спала, мешали ветки,
В окно стучали, били в дверь,
И ветер рвал, как будто зверь,
Сухие листья, и в карьер
Бросал, как корм бросают в клетки.

К утру утихло, ветер спал.
В тетрадке извивались буквы.
Ко сну склонило лишь под утро.
Я остальное помню смутно…
И только стих один не спал.

* * *

Опять грущу о старых парках,
Об улицах, вдвоем исхоженных.
Я шла незримою прохожею
С тетрадкой в клеточку с помаркою.
А там стихи по-детски точные –
О Питере, дождях, метелях.
Я вижу всё опять воочию
И ощущаю швы на теле
От ран, мне нанесенных прошлыми
Ударами в лицо и спину
Друзьями милыми. Бог с ними.
Покрылось всё давно порошею.
И вижу снова в снах непрошенных
Всё то, что мне на долю выпало:
Аллею, где гуляет прошлое,
Скамейку под склоненной липою,
И наше время скоротечное,
При расставаньи – обещание
Писать без адреса. Прощание.
И ночь, нависшую над вечностью.

Филадельфия

Марина Эскина

Сезам откроется

ОТЦУ

Прости, что, возвращаясь с похорон,
наверное, считала я ворон,
не помню, как тебя мы хоронили,
как опускали в яму гроб
забыли
мои глаза.
Был летний день, и тех, кто там стоял,
я тоже помню смутно.
Матерьял
для снов теперь.
С тех пор, кого бы я ни хоронила
я хороню тебя, твоя могила,
твой камень с лаконичной строчкой дат,
как позабытый вечностью солдат,
стоит в строю.
Клубится лес вокруг, но отступает
перед нестройным строем,
голубая
над ними громоздится крутизна,
куда уже и взгляд не достигает,
а здесь индюшек диких стая.
Знак,
что говорю с тобой не без ответа?
Так много лет прошло,
и это лето
не оборвало странный диалог,
ты тоже пошутил бы, если б мог.

* * *

О, панельно-блочный дом пятиэтажный –
отчий рай досрочный, или был ты башней
из слоновой кости, где «Москву» на «Юность»
нам меняли гости, где душа проснулась.
Провод удлиненный, тайн хранитель важных –
телефон надомный, хоть звони из ванной.

Газовой колонки гул стрекочет в ухе,
или голос ломкий Галича на кухне.
В спальне – райским садом – гарнитур венгерский,
там, со шкафом рядом, мой топчанчик детский.
Шкаф вальяжный, крепкий, прятать не боялся
в обувной коробке «Роковые яйца».

* * *

Кто первым, кто последним был, какая разница,
сквозь юношеский летний пыл декабрь не блазнится,
ладони натереть веслом и ногу ракушкой
порезать – не вселенским злом сквозит, и радуешься.
Шотландской юбки клеточка,
и не сутулиться
велит мне мамина рука, и просто – улица.
И всё вприпрыжку, всё – бегом, а не заранее,
слова подтянутся потом – очарование,
вечерний день, прощальный свет... Сезам откроется,
ни первых, ни последних нет – некому строиться.

* * *

Раньше ты говорила: где родители, дети – там у меня и дом,
отчизна, родина, хоть горшком назови – приду.
С тех пор семья увеличилась – мудрость далась трудом –
прибавились несчётные пескари, черепахи в ближнем пруду,
зимородок, серая цапля длинношеяя, с хохолком,
всё знает, набивает зоб и, когда над водой парит,
высматривая укромный угол, где осока торчит пучком,
она позволяет себе только лающий короткий хрип.
Умница, не скажет лишнего, с укоризной глядит
на гусей и уток, базарящих круглый год,
но с ними тоже уютно, пускай галдит,
щиплет траву и гадит безобидный этот народ.
Родина, отчизна – отражение ивы, стрижи над ним –
банально, оттого и близко сердцу всегда.
Ты повторяла, не понимая: не хлебом одним,
и опять, в назидание, тебя спасает вода.

* * *

Навели на город неприкаянный наш
вечно-праздничный, потёмкинский макияж,
чтобы мы не сомневались и не думали –
нам показывают лучший город всея земли.
Рыбьим жиром он помазан царствовать или сна лишить,
и в его архивах золотоносны и зловещи залежи,
из каналов его и рек можно запить тоску
по мировой культуре.
Припадая к ее куску,
отложи детсадовских утренников, ленинских зачетов аршин,
абстрагируйся от ангин, школьных бормашин,
улыбайся, пока от счастья не закружится голова,
за спиной у Мадонны Литта, за облаками течет Нева.

Бостон

Михаил Вирозуб

Жизнь по соседству

* * *

Стоял июль. Тебе семнадцать лет.
Последние каникулы. И ты на даче
неторопливо полдень проживаешь.
Пылит проселок после мотоцикла,
а ты выходишь за калитку
и босиком идешь куда-то в поле.
Оно большое, лес на горизонте.
А ты в траву ложишься,
смотришь в небо, жуя травинку.
И облака, и птицы, и стрекозы
вокруг тебя.
А полдень долгий-долгий!
Как хорошо, что ты не знаешь,
что скоро ничего уже не будет:
и бабушки, и дачку муж продаст.
И лишь однажды,
да, всего однажды,
когда ты выпьешь,
а рядом просто будет человек,
ты скажешь, и к нему не обращаясь:
– На той моей даче – высокое небо!
На той моей даче – мягкая трава!

* * *

Сказала женщина:
– Вспомнить-то нечего,
а жизнь наполовину прошла.
И психолог понимающе так заметил:
– Это был ваш выбор, платите!
Но платить-то за что?
За безумную мать?
Рано умершего отца?
За детский страх, что будешь одна,
страх, который всегда с тобой?
За ребенка тоже надо платить,
за измены мужа платить?

И даже за Бога, который там,
который совсем не здесь?
За свечку, само собой, надо платить,
а за надежду тоже платить?
И сказал психолог:
– С вас тыща рублей
(а может, сказал – две).
Ваше время вышло,
в следующий раз
приходите-ка вы в четверг!
И сказала женщина:
– Вот спасибо, что выслушали меня!
А то ведь – кому!
А в четверг я приду,
как раз зарплату дадут.

ДОРОГА В КИРЖАЧ

Андрею Дворцову

Она сказала: поедем в Киржач?
Брату плохо, наверно, помрет.
А он ответил: само собой.
Подумав: два раза видались.

Она сказала: из роддома меня
Андрюха, брат, забирал.
А он спросил: ты помнишь дорогу?
Подумав: туда 100 кэмэ.

Она сказала: а у него
Наш буфет со старой квартиры!
А он ответил: водки бы взять.
Подумав: и колбасы.

– Смотри, – говорила она дорогой. –
Как в детстве люпинов поля!
А он отвечал, что очень красиво.
Подумав: подвеска стучит.

На полпути машина сломалась.
Они вернулись, винились.

Обещали приехать через неделю.
А брат через три дня умер.

Она сказала: поедем в Киржач,
Хоть похороним его.
А он подумал: ведь мог починить.
И ничего не сказал.

* * *

У женщины долго жила собака
И умерла, конечно.
Она осталась одна,
С мужем они расстались.
Дочка была далеко,
Не приезжала совсем.
Женщина храбрилась,
Ходила по гостям.
А собака вдруг стала ей сниться:
Она ощущала,
Как та приваливается во сне
И проходит на кухню.
– Господи, приснится же такое! –
думала женщина.
– Кому же еще приходить? –
думала собака.

СЧАСТЬЕ

Я забегаю на десять минут. Мы пьем кофе.
Она говорит: вот счастье и ушло.
По капле,
как вода из плохо завернутого крана.
Оборвалось,
как плохо пришитая пуговица –
сравнения даются легко!
Игра ума! Это от одиночества.
Умывается кот,
а гостей всё равно не будет.
Люди, где мой дом?
Люди, вы помните меня?

Бормочущий телевизор, замерзший телефон –
вот моя семья.
Я уже не знаю, сколько мне лет.
Говорят, с прошлым встречаться боязно.
Говорят, до смерти надо еще дожить.
Посиди пять минут!
А я стала в церковь ходить.
Только,
когда веришь в Бога,
становится тяжелей.
Перебираешь жизнь –
воспоминания будто украдены.
Годы – как чугунные гири,
годы – как мыльные пузыри.
Какое счастье, что ты зашел.

Москва

Каринэ Арутюнова

Долгота тишины

САГМОСАВАНК*

Вначале ты видишь ждущие собачьи глаза, а уж потом все остальное. Линии, плоскости, углы, выступы, ступени, хачкары, купол, – все это основательно и на века. Прилажено, подогнано, устремлено, взвешено. На особых весах. Богочеловеческих.

Но вначале – собака. Как предвестник. Или проводник. Она провожает туда и оттуда. Встречает пришельцев из параллельных миров. Потому что и в самом деле мы параллельны. Со всем нашим багажом, со всей, так сказать, информацией.

На краю пропасти. Стоим. Параллельные всему. Даже самим себе параллельные. Суетные. Временные. Касаемся стен, шершавых булыжников. Слепнем от избытка и остроты. Света и воздуха.

Уходим, так и не поняв главного. Подальше от края пропасти, от высоты и глубины.

В тесное привычное тепло домов, близких, друзей, забот, воспоминаний, планов, снов.

А собака все там же. Лежит. Предваряет, предостерегает, стережет. Храм. Людей, идущих по направлению к храму. Людей, покидающих его.

* * *

Первые армянские снимки были черно-белыми. Вообще, первые снимки были черно-белыми. Никаких там сепий, всех оттенков охры, никакой пастели и акварельных брызг. Только грифель, уголь, только свет и тень. Отсутствие в изображении его величества Цвета делало картинку документальной, многозначительной. Щемяще-неповторимой. Рулоны пленки, проступающие на ней, пленке, а затем на бумаге – грани. Щипчиками выловленный лист, на котором – застывший

---

* Монастырь Сагмосаванк находится на восточной окраине села Сагмосаван Арагацотнского района и в гаваре Арагацотн исторической области Айрарат. Как и близлежащий Ованаванкский монастырь, Сагмосаванк расположен над высоким ущельем у реки Касах. Церковь Сион в этом монастыре (1215) и церковь Святого Карапета в Ованаванке (1216–1235) были основаны князем Айрарата Вече Вачутяном.

вчерашний день. Непостижимо. На тех, доцветовых, снимках мы проживаем еще одну жизнь. Все честно. Ни убавить ни прибавить. Ни ретуши, ни фильтра, ни фотошопа.

На тех, доцветовых снимках четырнадцатилетняя я, склонившись и придерживая ладонями подол короткого платья, пью воду из пулпулака*. Морщусь от августовского солнца, страдаю от жары.

На этих, цветных... Декабрь. У меня в сумке пластиковая бутылочка с водой. Я смотрю на пулпулак и иду дальше.

* * *

Ованаванк другой. Совсем не похож на Сагмосаванк. Тому больше повезло. С местом. Панорамой. Там тучные коровы пасутся, витые решетки блестят. Там вид. Натянутый небесный свод, эхо, шум бегущей воды. Шорох времени. Глубина его. Стройность. Завершенность эскиза.

Ованаванк похож на старшего брата (а он и есть старший, четвертый век, шутка ли), чуть менее удачливого. Такого сурового молчуна. Весь в себе. Хранитель древностей и традиций. Невысок, упирается ступнями в землю. Ладонь у него крестьянская, крепкая, надежная.

В младшего влюбляешься еще до того. За ним шлейф родительской любви. Обволакивающее дыхание.

Старший немного угрюм, неловок, застенчив. Ему не до внешних красот и презентаций. Выжить бы. Выстоять. Продержаться.

* * *

Город – это не только вид из окна (иллюминатора), но и звук. И запах. У каждого города (и загорода) своя звуковая дорожка. Своя формула, пробуждающая сонм аллюзий, воспоминаний и проекций.

Если вывести формулу этой зимы, то получится долгий булькающий звук, в котором и курлыканье голубей, и лай собак, и постукивание колес, много всего, но сквозь это многое пунктиром будет проступать вот это невнятное бульканье сущности в основном мужского пола, в надвинутом низко капюшоне, с разбалансированной походкой, с глазами несколько расфокусированными, – да, сразу замечу – лучше не встречаться с ними взглядом, а если уж пришлось, мысленно расфокусируйте свой взгляд тоже, сделайте его как можно более бессмысленным, проверено, помогает, – итак, пунктиром проступает именно это самое, подобное замерзающей в этих широтах субстанции, или слетающей с губ шелухе, – вот это бульканье, состоящее из довольно однообразных звуков, становится визитной карточкой

---

* Пулпулак – фонтанчик с питьевой водой

города, – нет, конечно же, весной и летом появятся другие – и птиц, и детей, и деревьев, но сегодня деревья молчат, они стоят, потупившись, сохраняя свои древесные переживания глубоко внутри.

Хорошо бы создавать собственные звуковые дорожки, включать на полную громкость, накладывать на те, булькающе хрипящие, и тогда появится шанс пережить темные времена.

* * *

Краем глаза успела зацепить стоящего на обочине.

Обочины, собственно, для того и предназначены. Стоящий на обочине всегда заметен краем глаза и остается где-то на периферии сознания, не претендуя на центр.

Стоящий на обочине, а перед ним – пара черно-замшевых мужских штиблет. И мы, идущие за горячительным (что поможет скоротать вечер в тепле и воодушевлении). И утроба змеящегося подземного перехода (позади или впереди). Параллельные реальности, которые могли бы пересечься в случае необходимости приобретения штиблет. Господи, я даже не видела его склоненного лица (в предчувствии скорого дождя). А вот, собственно, и дождь, и снег с дождем, и все, что связано с завершающей осенней каденцией, – все мокнущее и поникшее, все оттенки серого, все аккорды (преобладает минор) – графическая отточенность сюжета, не размытого насыщенностью цвета, – здесь чистота жанра – несколько штрихов, собственно, более ничего, чтобы кадр стал настоящим. Согбенный силуэт на обочине сознания, подступающая к горлу зима.

* * *

Это другая модель, с вытянутыми конечностями, ломкими лодыжками, острыми ключицами, – ширококостные, кряжистые, выносливые постепенно уходят на второй план, – но и там они продолжают нести свое бремя; их кредо – выдюжить, не сломиться, не прогнуться – весь упор на тазобедренный сустав, на сильные плечи, мощные икры, – им еще выносить и родить тех, иных, воздушных, смешливых, необязательных, – их надо обеспечить едой и соками, теплом и светом, – а после хлопать крыльями вдогонку ускользающей из-под опеки плоти, не обремененной заботами, – эти, другие, не привыкли морщиться в поисках решения, – легкость заразительна, притягательна, она порождает ответную легкость, и облако этой необременительности распространяется на всё и на всех, – люди будущего бесплотны, они создают миры, не прибегая к пиле и рубанку, они не бьют себя в грудь, отстаивая истину (прекрасно осознавая относительность любой аксиомы), их удел – плыть на своих облаках, любуясь совершенством созданного ими мира.

* * *

Со спины совершенно девочка, а обернулась – удивленно-прозрачное женское, такой божественной лепки и светлости, с этими вот льдистыми редкими ресничками вокруг глаз. Редкой промытой голубизны, не яростной, не насыщенной, а будто слегка кисточкой, тут штришок, и вот тут, и, собственно, ничего более. Пригреть такую девочку-женщину, уже заранее оплакивая невозможность всего, – только вот это доверчиво-реснично-морозно-сиротливое, узкокрылое, бестелесное, – нет низких частот, не сыграешь блюз, никакого меда янтаря, жара огня, только взмах едва прорисованной кисти, с голубоватым рисунком на запястье.

* * *

Скорость коммуникации и частота событий как-то связаны между собой; какой смысл в событиях, если о них никто не оповестит? Размноженная новость стремительно набирает вес.

А когда-то (в тени пресловутой акации) проистекал день, а то и полжизни, бабочки порхали, задевая невидимыми крыльями, стрекозы стрекотали, гамак раскачивался над высокой травой, сложенная из газеты «Известия» треуголка не представляла опасности, – там, вдали, за забором, загорался экран, по нему пробегали тени – апачи неуловимые – генералы песчаных карьеров – лимонадный джо, взметались знамена, шли бои, челюсть Фернанделя соперничала с гримасой Фюнеса – и где-то там, на дне пруда, плескалось голоногое безмятежное (так принято считать), а на самом деле полное тревог...

Хорошо бы табуировать такие слова, как «детство», «любовь», «родина», «весна». Пора уже усвоить – любое понятие является временным, границы его размыты, во всем можно усомниться, – лишь одно неизменно – поток новостей, – неважно, из распахнутого окна или светящегося экрана.

* * *

Свет рассекает пространство, жонглирует заточенным лезвием. Кромсает безжалостно, уничтожая недосказанность и полутона. В такие дни – только глаголы и существительные, почти нет причастий, прилагательных, предлогов и наречий. Свет обнажает потаенное, вынуждает опускать глаза, прятаться от очевидного.

* * *

У снега много преимуществ. Например, тишина.

Звуки тонут, проваливаются, запаздывают.

Можно выйти на крыльцо, обвязавшись крест-накрест пуховым

платком, и долго стоять, вслушиваясь в монохромную гамму дня, – в ней белые и черные клавиши, соединяясь, образуют монотонную мелодию. Кто-то выбивает коврик, и на снегу остаются белесые квадраты пыли, – здесь долгота зимних дней проваливается в мягкость выпавшего за ночь снега, – сквозь ветхость белого проступают чернеющие крыши домов, деревья, арматура, трамвайные пути, сами, собственно, трамваи, движущиеся фигурки, укутанные плотным слоем одежд.

Все наносное и сиюминутное теряет смысл, в кадре остается, пожалуй, только вечное. Крыльцо, занесенное снегом, звон трамвая вдалеке, торжество ослепительно белого.

Слышно, как падает снег и летит птица.

* * *

Еще чуть-чуть, и можно будет отложить книжку, забыть про уроки и понедельник.

Еще чуть-чуть, и можно будет заглянуть под самую настоящую (пахнущую хвоей и какой-нибудь Лапландией) ель. Можете не сомневаться – там будет то, чего вы ждали всю жизнь.

И таинственно мерцающие шары, и хрупкие стеклянные игрушки, единороги и снежинки, космонавты и избушки, – все засверкает и зазвенит, – таким едва слышным хрустальным звоном, точь-в-точь, как бокалы с шампанским, которое, наверняка, ужасно вкусное, но пока недостижимое, – и даже взрослые оставят взрослые беседы, ненадолго, впрочем, и только трение патефонной иглы, и шорох, и пробивающиеся между бороздками голоса, – как будто где-то натянут экран, и там какая-то параллельная жизнь, там люди смеются, встречаются глазами, касаются друг друга, шуршат нарядной оберточной бумагой, извлекают из ватных коконов шары, но все это словно кадры хроники, – вот уже и в зале свистят, а по экрану ползут полоски и зигзаги, – я слышу собственный голос (сквозь помехи и свист, сквозь смех и шепот – это эпохи сменяют одна другую, бороздки наползают, унося ворох надежд, волнений, ожиданий, приступов грусти и воодушевления), я вижу себя, стоящую в дверном проеме, на пороге праздника, и их – молодых и счастливых, смотрящих на меня с бесконечной любовью.

* * *

Мне кажется, они что-то чувствуют. Напряженные, угловатые ветви тянутся к небу, которое сегодня отнюдь не отличается благодушием. Порывы ветра напоминают о весне. Острота воздуха возвращает на землю. В конец января. Вот этот переход к февралю раскачивает

дома, мосты, деревья, людей. Деревья замерли, растопырив воздетые руки, будто перед неким внезапным откровением. Обнаженные, абсолютно беззащитные. А небо сегодня похоже на небо февраля четырнадцатого года.

Так гневаются боги и рвется душа.

* * *

Вот уже и февраль истончился, краски его бледны, линии хрупки, дыхание сбивчиво, интроверту всё еще уютно в этих долгих сумерках, но сквозняк привносит едва уловимую мартовскую ноту – из нее сочится дразнящий холодный свет, длинные терпеливые лучи достигают земли, но не задерживаются надолго.

Время накапливается изнутри, его плохо слышно и видно, но разоблачение близко, скоро все прояснится. А пока долгие дни, наползающие один на другой, создают иллюзию бесконечности.

Весна подведет черту. Склонная к максимализму, расставит акценты.

В дороге мы видели кричащее дерево. То ли молило о помощи, то ли предрекало, то ли пело, то ли смеялось над нами, скользящими по ледяной тропе.

* * *

Вчера по дороге с изумлением впитывала оттенки серого. Оказывается, скудость бывает питательной. Глаз отдыхает, он славно потрудился. Вползаешь в кишку подъезда, там привычно сжимаются стены, и вот ты вновь гусеничка в одеяле, все цвета и узоры, потоки и формы – не более, чем плод воображения и предмет воспоминаний. В нужный момент развернуть, расправить, разложить, любуясь орнаментом.

У всякого цвета свой звук – этот, сегодняшний, – тускловатый, заунывный, обещающий долготу тишины.

* * *

Еще вчера день был сырым, мутным, тяжелобольным, нерешительно спускающим ноги с кровати.

Но уже к вечеру сквозь пелену стали проступать новые лица, зачатые во мраке и холоде. Юные, бледные, бесстрашные, они тянут беззащитные шеи, проступают из натянутого тонкого воздуха весны.

Это единственное, что дает надежду.

* * *

Цепляется за кромку тротуара, не принимая очевидного, – время ее ушло, уходит сию минуту, на смену ей – бедрастая, бокастая, грудас-

тая, наглая, подтягивает скользкий чулок, сквозит шальным глазом, – ничо, ничо, подруга, давай, до свиданья, – бабской истерикой, стервозностью тянет, сквозняком, – тут женские разборки, жестокие, вытьем и катаньем, без сантиментов, ну да исход известен. Люди – точно бледные клубни из-под земли, землистые тянутся тела, мучнистые лица, всего-то недельку-другую перетерпеть – и пойдет гулянка с гармошкой, медведи с лебедями, облака с пароходами.

Только деревья, прекрасные в предчувствии жизни, доверчиво улыбаются ветру. Уж он-то знает, куда и зачем.

* * *

Горячее золото обтачивает белизну стылых дней. Византийская вязь и лазурь наконец достигли этих широт, где-то томятся, стонут куличи, закрома полны тяжелого сырого теста. Вот-вот гонцы из далеких мест привезут благую весть. Загудят колокола, проступят буквы – аз, веди...

* * *

День разлетается на тысячи осколков. Хотя в нем столько же неспешности, его золото растекается по стеклу, его резкость ранит незащищенные пальцы и зрачки; в такой день нужно правильно войти – либо нырнув в сонное царство вздыбленных одеял, предаться неосуществимым мечтам, либо распахивая балконную дверь, впустить то, от чего закрываешь глаза. Свет. Его бескомпромиссную и целомудренную прямоту.

* * *

О подлинности этого мира.

Хочется успеть назвать проявления подлинного, дать им имена. Сквозь неизбежную грусть и усталость – радость обретения. Новых открытий и встреч. Как удивительно люди и города отражают друг друга, оттеняют, рассказывают истории, ничего не произнося, как ошеломительно раскрывается суть явлений – в неповторимости каждого мига.

В тех, кто идет за нами, в тех, кто впереди.

* * *

Корзина ваших впечатлений переполнена, – намекает мне телефон. Похоже, он устал – от карт, маршрутов, поисков туда и обратно, отсюда туда, оттуда сюда, от лиц, форм, линий, оттенков.

Корзина переполнена, – сообщает мне он, но отчего же так не хочется расставаться с этим брызжущим сквозь солнце дождем, с этой вкрадчивостью и мягкостью тембра, с обилием влаги и света.

Перед разлукой все наполняется остротой смысла.

Каждый поворот, каждый звук, каждый кадр.

* * *

Ночью в Байру Алту мы видели прекрасных женщин. Бесстрашных. Сильных. Со взлетающими от ветра волосами, с глазами, полными жизни, смеха, огня. Это были, признаться, совершенно немолодые женщины. Если не дать себе труда восхититься смуглыми запястьями, горящими угольными глазами, откровенной сединой.

И – да, их окружали мужчины. Их лица отражали и оттеняли ум и обаяние собеседниц. На них хотелось смотреть, восхищаться устройством мироздания.

Его деликатной мудростью, ее опытом, его сдержанной силой, ее утонченностью. Дистанцией между ними. Ровно настолько, сколько необходимо для поддержания огня.

* * *

Кто-то мечтал о тишине. Очень сильно мечтал. Целых полчаса. Нет, час.

Хорошо мечтать о тишине, лежа под скошенным потолком мансарды, с окошком, которое выходит в океан, с крутой лесенкой, которая ведет к кровати, с двумя лесенками, которые ведут в дом.

Эта квартира для художников, – подумалось мне. Нет, пока втаскивали имущество, мне не особо думалось, уж слишком крутые лесенки, ведущие к тишине.

И вот. Господи, здесь можно прожить жизнь. В этой мансарде со скошенным потолком. Написать роман, черт возьми. Влюбиться. Позабыть обо всем.

Как воет океан. Воет, грохочет, обваливается.

Полчаса тишины. На этой лирической ноте можно было бы и завершить этот необыкновенный день, но тут мы стали вспоминать, ради чего, собственно, всё, весь этот длинный путь с лестницами, чемоданами и самолетами.

Неужели только ради того, чтобы лежать под скошенным потолком и слушать тишину?

* * *

Длинный, длинный, суматошный день. Вспоминаются сумки, лестницы, чемоданы, опять сумки. Хотела сфотографировать усталого мужчину за столиком в кафе, сидящую напротив него безучастную женщину, но не хватило сил и наглости. Подумалось вдруг, что эта безучастная женщина похожа на меня сегодняшнюю.

Рельсы, пересекаясь, стекают к океану. Пахнет сардинами, пережаренным маслом, субботним вечером, но и на него сил нет. Нет сил фиксировать, восторгаться, обожать, наслаждаться.

Разве что тишиной.

Скоро.

* * *

Счастье – это рамки, которые вы сами для себя устанавливаете.

Несчастливы жадные.

Они хотят всего и сию минуту. И если им дать это, то они непременно потребуют еще и того.

А если признаться себе, что эта вот полоса заката – ваша, и маленький розовый домик на окраине чего-то там, и горы, проступающие вдали, – и больше вам, Боже ты мой, ничего, ровным счетом ничего не нужно. Разве что быть живым и способным принимать этот во всех отношениях неповторимый момент и этот закат.

Сознаться себе в том, что он – ваш, полностью ваш, прожить его от начала и до самого конца, упиться им, и умереть на рассвете, ощущая всю полноту бытия и обладания.

* * *

Разлитая в воздухе влага как нельзя более подходит влюбленным. Здесь нужно идти, то ли держась за руки, то ли оттеняя речь нежными и неуверенными, точно маленькие запятые, касаниями.

Здесь нет напора. Ни в чем, кроме дождя, да и тот, если присмотреться, перестает быть напористым; если войти в него плавно, то все происходящее кажется всего лишь частой сменой декораций: вот – выдвинули голубизну, вот – натянули облако, вот – пронзили его, выпустив тысячи капель и струй, – это очень удобно, – впрочем, если нагрянет грусть, никто не заметит.

Грусть в этих местах приправлена лимонным соком, устричной едкостью, благородной сладостью мадеры.

Здесь, в этом городе, хорошо быть чуточку пьяным и влюбленным. Просто идти, просто смотреть, плескаться в вечном дожде и любви. Их хватит на всех.

* * *

Алфама начинается с дождя, а заканчивается океаном.

Между дождем и океаном – солнце, соленый ветер, провода, рельсы, блошиный рынок, лавочки, лавочки, лавочки. Дорога исполосована – острым ощущением счастья, воздуха, цвета, внезапной меланхолии, жгучей тоски. Чем ближе к океану, тем отчетливей про-

ступает она, – вместе с запахом рыбы, головокружением – от рвущего одежды ветра, усталостью и осознанием предела.

Собственно, дальше идти некуда. Впереди – океан.

На расстоянии невозможного. Ускользающий росчерк взлетающих птиц. Где-то есть счастье. Я уловил его оттенок, запах, дыхание. В попытке удержать потерпел поражение. Но разве могу я запретить себе мечтать о нем?

* * *

На днях поймала себя на внезапном охлаждении к антиквариату. К пожелтевшим страницам, гипсовым головам, кортикам, сундукам, посуде, дагерротипам, потускневшим ситечкам и монетам.

Время безжалостно к живому. К предметному миру – чуть более бережно, с известной долей снисхождения. Позволяя ему, предметному миру, обитать на задворках нашего сознания.

Взгляд задерживается на старых снимках, но тут же торопливо скользит дальше – бессмысленность чужого прошлого, семейных преданий и памятных дат. Предмет, скорбящий по владельцу. Воспоминания, утратившие смысл.

Потеря субъективности, утрата памяти.

* * *

Я хочу быть девушкой в легком, не по погоде, платье. Застежка на спине слегка расстегнута, и эта небрежность заставляет многих с улыбкой оборачиваться в ее сторону.

Я хочу быть девушкой, перебегающей дорогу в тот самый момент, когда солнечный блик скользит по брусчатке, а двери близлежащего кафе распахнуты навстречу.

Необремененность. Временем, вещами, желаниями.

Девочкой, застывшей рядом с матерью. Кондуктором, сидящим рядом с огнетушителем. Плиткой, расписанной неизвестным мастером. Трамваем, ожидающим пассажиров.

Мгновенность настоящего. Преходящесть будущего. Условность прошедшего.

* * *

Здесь нужно успевать между дождями.

Шаг влево – дождь. Вправо – ливень. В просвете – хвостик трески, стаканчик джиджиньи.

Ветер рвет зонт, обдает брызгами, отовсюду – из-под колес, сверху, снизу – потоки стекают по лицу, хлещут по ногам. И вдруг – тишина. Гигантская толща воды поглощает звуки. Там, за толстым стеклом аквариума, мечутся оставшиеся в живых.

Отовсюду влага, она сочится буквально из всего. Вдруг по всему телу вырастают маленькие голодные жабры. Оказывается, они тосковали по нежным касаниям и тишине этого грустного и очень человечного мира, из которого произрастает поющая душа фаду.

ВХОЖДЕНИЕ В ОСЕНЬ

Пока вымолвишь слово и выдохнешь – как все уже позади, фокус смещается, и с готовностью и небывалой легкостью влюбляешься в то, что *уже*, *еще* и *вновь*... вроде бы то же – и через секунду иное. Золотая кукурузная россыпь, повернутые к свету (а его так много) головы подсолнухов, все пламенеет и искрится, и обжигает, точно кукурузный початок, сваренный только что, обильно посыпанный крупнозернистой солью. Вроде бы просто, настолько просто – весь этот августовский карнавал, вся эта феерия, трансильванский экспресс – поля, поля, поля, небо, небо, небо, оранжевые сполохи тут и там, взвизгивает скрипка и все вокруг пускается в пляс, и, в общем-то, до осени еще ехать и ехать, и потому можно закрыть глаза, отталкиваясь от дождевого облака, устремиться за теплом – и вдруг... всегда это «вдруг», которое вначале только слово, а потом уже явление.

*Ашнанамут**, *ашнанамут* – шумят рыжие каштаны, которые, как оказалось, не только киевская гордость и краса, но и трансильванская.

– *Ашнанамут*, – шепчут они зачем-то по-армянски, и всё становится объяснимо.

Пятое время года. Еще лето, но уже... предвосхищение, предвздох, предвыдох. Предвыход.

Выход из лета. Вхождение в осень. Отчего-то здесь, вдали от городской сутолоки и маеты, слышны все эти нюансы, о которых так сложно по-русски, – слишком явно, слишком акцентированно, слишком перенасыщено. В поисках новых слов и аллегорий цепляешься за плывущее облако, – *ашнанамут*, – вздыхает укрывающееся за ним солнце и окрашивает остаток дня в оставшиеся от лета краски, уверенно выдавливая из тюбика охру, желтую и золотую, лиловую и ту, о которой по-русски – никак.

С момента отъезда осень успела смениться летом, дождь – солнцем и, напротив, дождем. Мы выныривали из-под туч, облаков, дождей, затяжных ливней и тридцатиградусной жары. Времена года настигали и опаздывали. Иногда лето оказывалось впереди, осень позади, потом позади оказались лето, море, синева, бесконечность, беспечность... и

---

*Ашнанамут – вхождение в осень (*арм.*)

чувство времени, поджимая в области солнечного сплетения, стало настойчиво напоминать о себе.

Каштаны роняют листья. Румынские каштаны в румынском предместье ничуть не уступают киевским. Их выгоревшие макушки просвечивают на свету, и хрупкие узоры проступают на истонченной и отмеченной ржавчиной поверхности.

Ашнанарев[*]*, ашнанарев*, – вы слышите, как бесшумно опадают они, устилая горячий асфальт, подготавливая почву к зиме, – *ашнанарев, джан*, – это осенний лист кружится, шепчет жаркими губами о чем-то таком, о чем невозможно громко и вслух, – это тайная суть явлений проступает, точно древний орнамент, на деревьях и лицах, обожженных августовским, а теперь уже сентябрьским солнцем.

Ашнанарев, джан, – вновь мироздание подбрасывает армянские слова, жонглирует ими, забавляясь моей растерянностью, – а как не растеряться, обнаруживая зарытый в собственном дворе клад; в нем – слитки причастий, ожерелья наречий, браслеты глаголов и прилагательных, подвески междометий звенят, позвякивают горделиво, оплывают в янтарных сумерках первых осенних дней.

Золотые початки сморщились и внезапно одряхлели, растеряли крепость и сладость молочных зерен, глазницы и десны их пусты и слепы; *ашнанарев* – плачет скрипка; *ашнанарев* – поют подсолнухи, покачивая звенящими головами; *ашнанарев* – рыдает смычок, разрывая струну, – летят искры из-под колес, меланхолично плывут облака, пасутся коровы, и тонконогий жеребенок, оставаясь далеко позади, взрослеет еще на один день, а потом вечер, – впрочем, как и вы, читающие эти строки, и я, играющая в них.

И мир, пребывая в непрестанном движении относительно нас, входит в осень.

Осень – зима – весна, 2017–2018,
Киев – Ереван – Лиссабон

---

*Ашнанарев – осеннее солнце (*арм.*)

Марк Зильберштейн

* * *

Автобусы со взглядом исподлобья.
У них был тот, послевоенный, вид,
который так мгновенно узнаваем
на старых снимках (навык был привит):
стекло кабины залепляют хлопья,
заносы преграждают путь трамваям...
и звук сирены (только что провыт).

Теперь еще бы вспомнить их окрасы.
Наверно, кто-то ездил в голубом –
мне въелся тот, что пролетарски стоек.
В спокойной гамме и с покатым лбом,
на смену им повылезали ЛАЗы;
их знали все, от изб до новостроек,
кто молотом махал или серпом.

Прошедшее, проложенное ватой
и поролоном, – тише, чем немой:
тому хоть можно помычать в охотку.
Куда ж я возвращаюсь? – Не домой.
Ведь сходство только в том, что виноватый.
Молочный зуб, упрятанный в бархотку
тому полвека, – разве это мой?..

МАРИЯ НА ОСЛИКЕ, ИОСИФ
(П. Брейгель-старший. «Перепись в Вифлееме»)

Одутловатые веки,
неправильные черты,
как будто и впрямь семитские,
и никакой красоты –
Мария на ослике. Иосиф,
невидный собой человек.
Оглобли, тележные оси,
ободья… И всюду снег.

Нагруженный инструментом,
затянутый кушаком,
Иосиф, отрешенно
шагающий пешком
в левую часть картины.
Там ориентир –
толпа народа у вывески:
корчма или трактир.

Еще сдадут ли угол?
А ну как хлев? Да плевки?
Страшней огородных пугал
любезные земляки.
Не дай Бог с кем повстречаться,
что душу-то бередить...
Не время теперь возвращаться.
Мария должна родить.

Куль. Гора из ваты.
Личико с кулачок.
Веки одутловаты.
С нею рядом – бычок.
И вот какая штука:
им всем тут не до нас,
и смотрит с интересом
один лишь бычий глаз...

Терпи, авраамово племя!
Не прикипай к серебру!
А перепись в Вифлееме –
как пить дать не к добру.
Уже и свиней забивают
с началом холодов.
И солнце садится за кромку
бледно-зеленых льдов.

7 января 2015

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ

На пространстве, не слишком обжитом
и на четверть пропавшем из вида,
на простеганном, как одеяло,
кипарисами и самшитом,
олеандрами где попало
и в асфальт безнадежно зашитом, –
не хватает хорошего гида.

На пространстве, не слишком обжитом,
как всегда в этом климате жарком, –
крепкий запах немытого тела;
и согражданам, потом облитым,
обретение общего дела –
возвращения славы убитым –
оказалось бы сущим подарком.

На пространстве, не слишком обжитом,
что дрожит на поверхности глаза
и все больше уходит из вида,
мы как будто обласканы бытом,
заглоталась былая обида, –
по дороге к себе, позабытым,
ищем входа, удобного лаза.

ПАМЯТЬ, УСЛУЖЛИВЫЙ ЛАСТИК

Тот серый обгрызенный ластик,
уже потрудившийся в детстве,
стирая подробности «бедствий»,
сегодня, не льстя и не ластясь,
вытаскивает: за хлястик –
пальтишко, беретку с помпоном,
Смоленскую церковь со звоном
и полчеловека с тележкой,
шары на железной кровати
и всё, что нам шили на вате
еще молодые мамаши,
проведшие юность в стройбате
(они приходили с работы,

измучены ею и слежкой,
и, сняв тяжеленные боты,
перешивали гамаши,
рейтузы и телогрейки),
воротники из цигейки,
в трамваях сиденья-скамейки,
свинцовую жидкость в канале,
в которую окунали
подмоченные отраженья
великолепные зданья,
утратившие положенье…

* * *

И не элегия – считалка
Все вертится на языке
Сергей Гандлевский
А-кале-мале-дубре,
Юри-щури-тормозе,
Аты-приты-компо́литы...
Считалка

Толстый лед на широкой реке.
Все под снегом: дома и поленницы.
В детском мраке и в детском мирке
ничего нет страшней темной лестницы.
Ничего нет больнее пирке.

Путь обратно в тот пасмурный мир
подворотен и гулкой риторики
освещает лишь слабый пунктир
из фонариков метафорики.
(В прошлом веке затерянный мир.)

Ну, а может, ты всё это врешь
и, в погоне за бледным аналогом
той, что нынче не ставишь ни в грош,
той ушедшей, с ее коммуналками,
словообразов не соберешь?

Поспрошайте в четвертом дворе,
за помойкой, где ящики с плитами,

о Кале, о Милле, о добре
(с кулаками или с замполитами).
Может, знают в четвертом дворе.

Как спасали свой город Кале
шесть старейшин: с ключами от крепости
вышли в рубище, шея в петле.
Шли навстречу монаршей свирепости –
человека нашли в короле.

Расспросите, зачем у Милле
темный фон с петушиными гребнями,
как они пламенели во мгле...
Мы себе не казались ущербными –
кто счастливее слыл на Земле?

А росли – без горячей воды.
Раз в неделю бывали помытыми.
И поход на колонку – кранты.
Если встретишься с антисемитами,
то тебе непременно кранты.

Аты-баты, печатали шаг.
Марш вперед! И с веселыми лицами!
Пионерские горны в ушах.
Как нам нравились люди с петлицами!
Аты-баты, печатали шаг.

И, войдя в проходные дворы
в городах с мостовыми булыжными,
в ожидании лучшей поры
мы пленялись речами облыжными.
Долгий путь... Проходные дворы.

* * *

Алексу Тарну

От болотных испарений – струй
сырости – спасались не ветровкою,
а плащом, где хлюпала вода.
Грелись кинофильмом «Не горюй».
Воздух развернув миллиметровкою,
перекрещивались провода.

Вымазать в мазуте, пропороть
ногу норовил, и арматурою
лязгал пляж в кольце бетонных свай.
Укреплялся дух, стремилась плоть
к островам и паркам с их культурою
(средство сообщения – трамвай).

Флаги. Треск троллейбусных реле.
Башмаки с подковками и рантами
фабрики родимой «Скороход».
Формулы, открытые в Кремле!
Как заслушивались мы курантами –
под хрустальный звон на Новый год!

Небосвод был серый и сырой,
точно наволочка в санатории
(все понятно: виноват завхоз).
Разве мы подозревали строй
в том, что он – глухой тупик истории?
Нам внушали, что – апофеоз.

В майский день, увитый кумачом,
в праздничной толпе, гордясь матроскою,
с братом и отцом идти на матч...
Лингвистически поэт ни в чем
не солгал (под занесенной розгою):
он не знал другой страны, хохмач.

* * *

Татьяне и Льву Гордонам

Любезные друзья! Скажите, вы простили?
Я вас хочу принять – в провинциальном стиле,
в просторном атриуме, а не в перистиле:

вино, оливки, сыр – и Средиземноморье.
Ну как, приедете? А то, на богомолье,
к нам в гости всё одни поеденные молью.

Читаю Бродского. Увы, он стал понятен.
Мне в помощь зеркало: наплыв пигментных пятен,
наростов, выбоин, припухлостей и вмятин.

Читал бы Кушнера – хоть Бродскому не равен
и чудо как фальшив, зато уж благонравен!
Да ладно, пусть его живет, в отчизне славен.

Читаю Лосева (нетрудно догадаться:
опять – покойника, и тоже ленинградца).
Вот кто был мастером, успевшим наиграться.

И мнится: лишь у вас, на берегах Гудзона,
осталась лирики беспошлинная зона,
где стихотворец сам – уместная персона.

Он верен умершим, но состоит бессменно
на службе у того, что длится безымянно.
Успеет ли назвать?.. Читаю Гандельсмана.

Холон, Израиль

Михаил Бараш

Теплое чувство к холоду

Снег посыпает сад. Сад стал похож на школьный двор в перемену

Цветы в вазе. Вне зависимости от корней. Как стихи от поэта

Бабочек я вижу не глазами. Обоими истоками замысла

Тело – струна, время – рука музыканта, счастье – мелодия

Снегопад в марте. Предвестие вербных сережек

Мир так красив что я не в состоянии его описать. – Только неярко вспыхнуть

Плохая погода. Готовящаяся при закрытых дверях хорошая

Птица поет. Тихо-тихо. Как для меня одного

Бытие. Инструмент счастья

Можно не разгадывать тайну. Достаточно ею быть

Музыка вносит в мою жизнь преображенное время

Под ночь выпал снег от которого белой стала которая

Тождество жестов «дай» и «возьми». Жизнь – Бог жизни.

В вазе распускаются нарциссы, кишат изумительно

Иегуди Менухин, смычок, скрипка. Наимузыкальнейшая голова

Ляпис-лазурь дня – синий кобальт ночи

Природа за несколько дней до весны. Как в детской спальне до первого пробуждения

Первая истина писана не о вещах, а вещами

Факт – это почти ничего не значащая условность

Ночь дана, чтобы видеть

Засыпаю. Улыбкой постели

Предсумеречно. Птицы в небе, как пешеходы на площади

Теплое чувство к холоду. Привету от Отца

Любая форма – переходная

Сегодня пришла весна. – Синичье прелестное личико

Пробую определить, чему я должен больше всего удивляться. Бытию

В жизни бабочки вдосталь бессмертия, так что другого не требуется

Ледяная весна. Лилейно-нежное бесстрашие

Цветок, не пойму, с какой стороны тебя вижу, с внутренней или с внешней?

Свобода, почти вся – свобода от нелюбви

Весна на грани слуха. Благозвучие полого. Птахи как струны арфы

Пространство – это Золушка. Материя – она же Принцесса. Время – это добрая Фея

Сон. Вершина сознания. Ясновидящего

Все встречают весну и никто не простится со снегом – солнечно-кристаллической негой от которой немеет ладонь

Первые весенне-лесные мгновения. Свежевыпеченный ржаной каравай земли. Насвистывает ручей. Плещется птица. В голых стволах витает первая бабочка. Витает не навитается

Твое действительное (я) – это та истина, которую ты несешь

То начало во мне, которое допишет эту фразу, умрет. То, которое не допишет эту

Слово «человек» все больше мне мешает, пора идти дальше

Из дома. Купаться в весеннем небе

Любовь, льющееся через край благоденствие

Самое немыслимое в бабочке – то, что она – насекомое

Столько философии в весне, что ничего не досталось на долю других времен года

Я не говорю, что мир хорош. Но в нем бесконечно много хорошего

Время. Благодать благодатей

Ночной снегопад больше не шел. Но свет всю ночь оставался в воздухе

Март 2018

Сергей Захаров

Безобразный Эдди

...всё, что так же естественно, как дыхание, сон или походы в сортир. Как спортзал, тир, душ, два стакана свежевыжатого апельсинового сока по возвращении домой, минет от Лайлы раз в неделю и Долорес из книжного магазина по субботам и четвергам...

Так и с безобразным Эдди – кажется, я ненавидел его всегда. Но когда-то, когда-то ведь я по-настоящему осознал это впервые, – а когда? Ага, есть! Знаю! Знаю, помню и даже могу назвать точную дату – потому что было это аккурат в день моего рождения, чуть больше года назад.

Мы обеспечивали тогда силовую поддержку при проведении обыска в одном якобы модном клубе-салоне, где, например, бритье по старинке опасной бритвой стоило полторы сотни евро, а свитер из гардероба прабабушки тянул на целых полтысячи – что для такого рода заведений является нормой. И всё же это был «якобы салон», потому что на деле там вовсю шла торговля кокаином – зельем дорогим и доступным не всякому, а лишь деткам из богатых семей. Кокаин у них всегда в моде. Они, собственно, и составляли главную клиентуру этого «салона».

Хорошо, когда есть возможность купаться в деньгах, заработанных не тобой, и спускать их на всякую элитную дрянь, наподобие «кокса». Таких вот детишек, родившихся, как говорят англичане, с серебряной ложкой во рту, я с детства на дух не переношу. Во всем мире их кличут хипстерами, а в нашем Королевстве для них придумано специальное словечко: «пихо». Пихо – те же, по сути, хипстеры, но еще более благородно-богатых кровей.

Работа в тот вечер была самая рутинная. Мы наглухо заблокировали выходы, а четырех охраннников – двух негров и двух латинос – одинаково огромных, с дутыми фармакологией «банками», аккуратно и без особых возражений с их стороны уложили пошлыми лицами в пол. Один представитель черной расы попытался, правда, протестовать – и теперь, лежа, то и дело шмыгал разбитым носом, стараясь делать это как можно культурнее. Он и вообще лежал, я бы сказал, «вежливее» всех. Иногда вежливости обучаются мгновенно – особенно, если обучение ведется с помощью силы. Публику мы согнали

в зал-ресторан, где она нахохлилась и затихла, – эдакая разнаряженная в блестящие шмотки стая молодых озадаченных попугаев. Из женского туалета извлекли заблудившегося там мужчину-администратора в золотом пиджаке – и приступили к стандартным процедурам.

Правда, обыск вскоре затянулся и впал в вялотекущую стадию: в числе задержанных оказалось сразу несколько отпрысков наших депутатов, в том числе и дочь премьер-министра, – и старший опергруппы поубавил пыл и явно растерялся, не зная, как поступать дальше. Отойдя чуть в сторонку, он принялся кому-то названивать, и после каждого звонка лицо его становилось все более хмурым.

От нечего делать я вытащил наугад один из гламурных журналов, разложенных веером на столике, – а на глянцевой обложке его как раз и красовался принц Эдди, младший сын Короля.

Его обрамленную рыжим пухом физиономию с кровавой раной вечно слюнявого рта я узнал сразу – да и сложно было не узнать. Едва ли не каждый день она мелькала в кадрах скандальной телехроники, миллионы раз репостилась в соцсетях и служила украшением любой бульварной газетенки, пишущей о нем любовно и взахлеб.

Принц Эдди обнаружен в элитном борделе в объятиях пары юных проституток из Непала... Принц Эдди вдребезги расколотил новенький «Ламборгини», подаренный ему на совершеннолетие эмиром Катара, сбив при этом трех пешеходов... Принц Эдди, спустившись из окна на связанных простынях, бежал из частной наркологической клиники в Альпах, где в обстановке строжайшей секретности проходил дорогостоящий курс реабилитации... Принц Эдди, принц Эдди, принц Эдди...

Не осталось, кажется, ни одного сколько-нибудь серьезного человеческого порока или преступления, в связи с которым он бы не отметился. Король, я знаю, глубоко страдал по этой причине – хотя как военный и настоящий мужчина старался держать лицо. И все же общеизвестно: Эдди добавлял отцу больше седых волос, чем все недруги Королевства, вместе взятые. Единственной отрадой монарху служил старший сын Бенедикт – первый в очереди на престол.

Никакими особенными достоинствами принц Бенедикт отмечен не был или пока не успел их проявить, вел здоровый образ жизни, регулярно ходил к мессе, вовремя и довольно удачно женился, взяв в жены белокурую принцессу Матильду из захудалого, но древнего немецкого рода, и в семье их уже подрастала такая же нордическая дочь, инфанта Марина.

Конечно, Король предпочел бы заиметь внука – и можно было надеяться, что в следующий раз у Бенедикта с супругой получится лучше. Но даже если и нет – шансы на то, что принц Эдди, разру-

шающий себя всеми возможными способами, переживет старшего брата и все-таки доберется до престола, были невелики. На это, думаю, Король и уповал – разумеется, втайне.

Впрочем, какие сейчас тайны? В наши дни не успеваешь даже подумать о том, что нужно бы сходить к врачу, а в СМИ уже опубликован твой диагноз – особенно, если ты – король. Да, такая она – беспринципная и всепроникающая «четвертая власть»!

Именно что «власть» – подлая, лживая и беспощадная! Вот почему, к примеру, соседка слева опять не здоровается со мной в последнее время? Уверен: нужно сказать «спасибо» газетным писакам и их телевизионным собратьям, не говоря уж об интернет-изданиях, которые легко заткнут за пояс и первых, и вторых: опять, должно быть, эта свора наваяла что-нибудь насчет «неоправданной жестокости бримо». Благодаря их дешевым статейкам и не менее дешевым репортажам у всех на уме только одно – наша «неоправданная жестокость». А еще – «баснословные деньжищи», которые зашибают эти «бородатые бандиты» (так нас окрестили все те же масс-медиа).

Насчет «бандитов», в общем-то, верно: со своими бородами, мышцами и свирепым видом мы и вправду больше похожи на бандитов, чем сами бандиты, – ну и что с того? У меня, например, еще и шрамы в половину лица, и полтора уха вместо положенных двух... Увидишь такого вечером в безлюдном месте – вспомнишь даже те молитвы, которых отродясь не знал! И что же – я перестал от этого быть стражем порядка?!

Случись с той же соседкой что-то на улице – скажем, пара отмороженных колумбийцев приставила к горлу нож и требует в обмен на жизнь кошелек, – кто первым бросился бы ей на помощь и мигом вытряс бы из этих коротконогих ублюдков всю душу? Кто, как не я? Ведь так однажды уже было, и после того – ну да, конечно, – после того целых полгода она через силу, но кивала мне головой. А потом снова, видишь ты, – как отрезало. И почему? Только потому, что я бримо?

* * *

...«Деньжищи»! Во-первых, чтобы попасть в бримо и добраться до этих «деньжищ», надо сильно постараться! Мобильная бригада, или «бримо», как нас называют, – элита автономной полиции, и кого попало сюда не берут. Третий, самый высокий уровень квалификации – потому и требования к кандидатам особые. Обязательная служба в армии не менее трех лет и хотя бы одна командировка в «горячую точку»; обязательная служба в полицейском подразделении попроще не менее трех лет, а потом, если тебе к тому времени еще не испол-

нилось двадцать семь и ты готов поискать приключений на свою задницу, – можешь попытать счастья.

Сперва выяснят, насколько ты годен физически и в морально-волевом плане. Побежишь три километра, после, без всякого перерыва, – стометровку на время – и хорошо еще, если у инструктора не «заест» секундомер и он не попросит тебя еще разок пробежаться. На мне, например, «заело». И промчишься, куда ты денешься: раз, другой, а если понадобится – и третий. А сразу после того – четыре круга упражнений на силовую выносливость, включая выпрыгивания, подтягивания, отжимания, приседания, пресс – и все в высоком темпе, без секундного перерыва, эдакой белкой в злом колесе.

А на закуску – десять подъемов штанги с весом твоего тела, и сразу вслед за тем – когда ты уже, мягко говоря, подустал, а точнее, выдохся, – попросят поработать десять минут по мешку, да не абы как, а с душой, с душой, – чтобы видно было, чего ты стоишь и что тебе приготовить на десерт. Посмотрят, оценят и, на сладкое, – четыре спарринга по три минуты с четырьмя свежими бойцами.

Как раз на этом «сладком» многие, даже крупные спортсмены, ломаются. Не выдерживают нескольких ударов в лицо и бросают все к такой-то матери – не хватает мотивации и силы воли. Сопротивляемости. Здоровой агрессии, наконец... Таким сразу от ворот поворот – в бримо им не место.

Но если с «физикой» и морально-волевыми все в порядке – добро пожаловать на следующий тест – психологический. Здесь придется попотеть куда больше, целый день отвечая на сотни самых непонятных, неприятных, неудобных и каверзных вопросов, – и не вздумай врать, чтобы казаться лучше: погоришь на раз.

Говори правду, одну только правду и ничего, кроме правды, – это единственный шанс не запутаться во лжи. Добавьте к этому многоуровневую проверку интеллекта (бримо – это, в первую очередь, не сто кило нерассуждающих мышц, а специалист, способный мгновенно принимать верные решения в постоянно меняющейся ситуации форс-мажора); приплюсуйте тест на полиграфе, сверхпридирчивую медкомиссию, детальный анализ и проверку биографических данных всех твоих ближних – и не очень – родственников, не говоря уж о твоей собственной биографии, которую будут пристально и долго разглядывать в микроскоп; добавьте к этому финальное собеседование, где из тебя еще несколько раз вынут и вернут на место всю душу, – и пройдя все эти мытарства с положительным результатом, ты, один счастливчик из десяти, будешь девять месяцев обучаться всем премудростям бримо – и время это, поверь, не будет легким!

До конца курса доберется хорошо, если половина, а после

выпускных экзаменов останется четверть – но это будут настоящие «машины смерти». Правда, не сразу, а лишь после года стажировки, который будет отмечен постоянными притеснениями со стороны «машин»-старожилов. Выдержи этот год, вытерпи этот год – только тогда тебя, наконец, примут в сообщество, и ты станешь полноценным бримо.

Шутка ли?! Не-е-ет, чтобы попасть сюда, нужно здорово постараться! «Деньжищи»! Да, зарплаты у нас почти приличные, но почему-то никто не вспоминает о том, что за эти деньги – на деле вовсе не такие уж и огромные – нам регулярно приходится рисковать жизнью. Это часть нашей работы – собственно, за этот риск нам и платят.

Мы, бримо, всегда на линии огня. Обеспечение общественного порядка при массовых скоплениях людей, борьба с терроризмом, задержание вооруженных преступников, охрана высших должностных лиц государства, силовое проникновение, да и вообще – любая ситуация, связанная с высокой степенью риска, – вот наша сфера деятельности.

Как только где-то появляется возможность словить пулю или удар ножом, оказаться в эпицентре разъяренной толпы или перед дверью, за которой обвешанный взрывчаткой шахид удерживает в заложниках полсотни человек, – будьте уверены: мы уже там. А это, поверьте, не очень способствует здоровью и долголетию.

Вот я: еще нет сорока, а меня с десяток раз уже пытались лишить жизни – и пару раз у них это почти получилось. Вся трудовая биография записана у меня на собственной шкуре: четыре пулевых отметины, столько же ножевых и целая россыпь мелких осколочных. У меня нет половины уха и навсегда изуродована правая половина лица – вот за это нам, черт бы их взял, и платят!

И что интересно: почему-то все, включая соседку, забывают о том, что мы, бримо, как раз и существуем для того, чтобы они могли спать спокойно. Какое государство смогло бы выжить без таких, как мы, хотя бы пять жалких минут? И какие граждане могли бы чувствовать себя в безопасности те же пять минут – без таких, как мы?

Вспомнить тот же августовский теракт, в считанные секунды погрузивший всю страну в ужас и шок. Ведь было? Было! Паника, хаос, липкий страх, растерянность, обреченность – было! Но ровно через девяносто шесть часов после того, как этот психопат-джихадист въехал на забитый под завязку гуляющими людьми Бульвар и начал рисовать кровавый зигзаг, оставляя за собою десятки трупов, а потом дружки его пытались повторить то же самое в другом месте, – ровно через девяносто шесть часов после этого был обезврежен последний из их ячейки. Обнаружен, блокирован и уничтожен – как

до того были уничтожены или задержаны два десятка его гнилых собратьев – всё ядовитое гнездо.

И кто, черт возьми, проделал эту неподъемную гору работы? Кто вкалывал в полном составе круглосуточно все эти четверо суток, забывая есть и спать? И кого – немыслимая редкость – называли тогда «героями»? Кого – в кои-то веки – забрасывали цветами и воздушными поцелуями? Нас, черт побери, нас – бримо! Правда, через неделю уже напрочь забыли о том и снова принялись на тысячу голосов талдычить о нашей «неоправданной жестокости» по отношению к гражданам. Вот она, «минута славы» бримо и длина человеческой памяти...

Да-а-а... Нас, так вышло, не любит никто: люди законопослушные – за то, что мы много, по их мнению, зарабатываем на своей сомнительной работенке, а другой народец, криминального толка, – за то, что пытаемся честно отработать эти деньги. Не любят – ну и ладно!

Ладно! Годам к тридцати узнаёшь людей как раз настолько, чтобы сделалось совершенно наплевать на их мнение. Как и другим, кстати, совершенно наплевать на твое. Любят меня или не любят – это их дело. Я тоже не разбежался особенно кого-то любить. И работаю я не ради «любви». Мое дело – выполнять свой профессиональный долг, и точка.

Вообще-то, «долг» – неверное, пожалуй, слово. Слишком оно... особенное, торжественное, что ли, – чтобы трепать его из раза в раз. Слово «долг» – как выходной костюм, который надевают лишь изредка, в специальных случаях. А если станешь таскать его каждый день – мигом он затреплется и потеряет всю красоту. Нет, «долг» здесь, пожалуй, не годится.

Я проще скажу: есть овцы, есть пастухи, а есть овчарки. И без овчарок ни пастухам, ни овцам не обойтись. Вот я как раз такой овчаркой и был – и, честно сказать, гордился этим. Охранять стадо – достойное занятие, при всех оговорках. И уж точно куда более достойное, чем самому быть овцой. Конечно, интереснее всего быть пастухом, но мне это не дано и даже противопоказано – и по способностям, и по убеждениям. И потому я был овчаркой и вынужден был работать на пастухов – но ведь и стаду от того польза!

Нам в жизни и вообще никто не предоставляет выбора между добром и злом: если и выбираешь, то между злом меньшим и бóльшим. Я выбрал меньшее, и, как бы там ни было, старался выполнять свою работу честно – а это тоже не мало. Немногие, думаю, смогут сказать о себе то же самое – если только не привыкли врать себе напропалую.

* * *

Но вернемся к принцу Эдди – к безобразному Эдди, как предпочитал называть его я. Тогда, во время обыска, я пролистал этот паршивый журнал, жвачку для безмозглых «пихо», среди которых Эдди был законодателем мод, – а затем, не зная, зачем это делаю, вдруг выдрал оттуда страницу, целиком занятую рыжей физиономией принца, сложил глянцевую бумагу вчетверо и сунул в карман.

Почему я так поступил – в ум не возьму. Возможно, меня удивила дата его рождения, пропечатанная в самом низу: оказывается, мы с ним были одногодками, разве что родился он ровно на месяц раньше меня.

Вечером того же дня, выпив свой апельсиновый сок, я вспомнил о портрете принца, достал его, разгладил без особого старания – и вдруг понял, что нужно бы определить его на стену – как напоминание о том, каким ничтожным может быть человек, от рождения, по самой крови своей, предназначенный для совсем иной жизни.

Место для него в моей холостяцкой спальне придумалось сходу – доска для дартса. Все остальное пространство стен занято было мужскими игрушками. Стену восточную я приспособил под луки и арбалеты, на северной разместились боевые ножи спецподразделений, на южной – кинжалы, среди которых имелось несколько штучных экземпляров, а западную я определил под топоры. Как и всякий нормальный мужик, да еще с учетом моей профессии, я неровно дышал к оружию, в особеннности – к холодной острой стали.

На северной стене, кстати, имелась еще и мишень для метания ножей – березовый спил толщиною сантиметров в тридцать и не менее полуметра в диаметре. Когда-то мне пришлось здорово помучиться, чтобы зафиксировать намертво этот тяжеленный кусок дерева, – но вышло, в конце концов, замечательно. Конечно, Эдди можно было повесить и на эту мишень, но ею я периодически пользовался – а дартс позабросил давно, и давно же собирался убрать сизалевый круг в кладовку, да руки как-то не доходили. Что ж, теперь ему нашлось применение.

Портрет, подмявшийся у меня в кармане, не прилегал плотно к доске и все норовил покоситься на левую сторону, но это не заботило меня нисколько: принц Эдди вел точно такую же кособокую жизнь, так что портрет, скажем так, соответствовал оригиналу.

Именно тогда, наблюдая на доске его измятую физиономию, я впервые поймал себя на мысли, что не просто испытываю к безобразному Эдди неприязнь, – я его ненавижу ненавистью глубинной, глухой, но хорошо ощутимой. Послушав внутри себя, я хорошо его уловил, это тяжелое и сильное, отдающее больным жаром наверх,

чувство. Подозреваю, оно тлело в темной глубине меня уже давно – но в тот момент я впервые четко идентифицировал его и знал, что в дальнейшем никогда не спутаю его ни с каким другим.

Неделей позже мы обеспечивали порядок во время сидячей забастовки. Люди протестовали против очередного урезания зарплат, урезать которые давно уже было некуда. Вечером, как обычно это бывает, обстановка накалилась, вовсю заработали провокаторы, пустившие слух, что одному из бастующих полицейские во время стычки переломали пальцы на правой руке, другому – сразу несколько ребер, а третьему – выбили резиновой пулей глаз. Все три слуха оказались одной ложью, но в разных точках города тут же начались беспорядки.

Бастующие жгли мусорные контейнеры, били витрины и забрасывали машины полиции коктейлями Молотова. Разгромили и разграбили несколько бутиков на Бульваре, включая, разумеется, «Levi's» – по странной традиции его каждый раз методически разоряли во время очередной забастовки. Одним словом, было жарко, и многие из наших парней серьезно в ту ночь пострадали.

Досталось и на мою долю: два раза мне угодили камнем в шлем, причем ощутимо, и, вдобавок, приложили несколько раз в подвздошье древком флага, оставив на память о том здоровенные синяки. Не будь на мне стандартной бронезащиты – меня, уверен, просто проткнули бы насквозь, как копьем.

До своей квартиры я добрался ближе к утру – переругавшись от усталости с каждой ступенью. Кряхтя от болячек во всем теле, я механически выжал свой апельсиновый сок, так же машинально проглотил его и побрел, задевая стены, в спальню. У меня сил и раздеться-то не было. Сидя на краю кровати, слабыми до дрожи руками я стащил один носок, после другой – и почувствовал, что на меня смотрят. Ощущение было не из приятных. Я поднял голову на хрустнувшей жалко шее – ну конечно же, принц Эдди!

Он смотрел в объектив, чуть запрокинув голову и прищурив глаза, растянув в жабьей улыбке непомерно большой, ненормально красный, неизменно влажный свой рот, с этим своим привычным выражением превосходства и даже презрения на длинном, как баклажан, лице – и жаркая ненависть, словно прорвавшаяся на поверхность магма, укрыла меня с головой. Собрав остатки сил, я снова поднялся, разыскал в ящиках стола пару дротиков, упал на кровать – и так, из положения лежа, прицелился.

Р-раз! Портрет покосился еще более – а я ощутил внезапное облегчение, будто только что мне вкатили двойную дозу обезболивающего. Расстояние было великоватым, но в ухо безобразному Эдди

я все же угодил. В азарте я схватил второй дротик, бросил и на этот раз попал в «молоко» – но снова мне сделалось легче.

С того самого дня два дротика всегда ожидали на прикроватном столике, и метание их в портрет принца Эдди перед самым сном сделалось для меня неизменным ритуалом – как Долорес по субботам и четвергам или апельсиновый сок. Я не пропустил это упражнение ни единого раза. Если голова моя касалась перед сном подушки в моей квартире, будьте уверены: этому только что предшествовали два мощных и точных броска в физиономию, которая раздражала меня все сильнее.

Относительно «точных» я, пожалуй, слегка приврал – в случае особой усталости рука моя, случалось, давала сбой, и цель оставалась незадетой – но с тем большим тщанием я подходил к метанию в следующий раз. Опять же, промахи случались только вначале. Тренировка – великое дело, и спустя месяц-другой упражнений я мог угодить во врага даже из дальнего конца комнаты, и даже – с закрытыми глазами.

Назвав Эдди «врагом», я ничуть не погрешил против истины: чем дольше таращились на меня со стены напротив подернутые легкой пленкой, пожизненно наглые глаза принца, тем сильнее я убеждался в том, что Эдди – именно враг мне, враг заклятый и до конца дней.

Возможно кому-то покажется, что измываясь над его портретом, я мстил, как мог, принцу Эдди за то, что всё досталось ему даром, и к тридцати семи годам он уже успел даже истрепаться и подустать от бесконечного праздника жизни; за то, что, невзирая на все его выверты и прегрешения, у него миллионы поклонников по всему свету, – а я, ровно в те же тридцать семь, изуродован и одинок; я выхожу на дежурство и не знаю, вернусь ли после него домой, и при всем при том всякий встречный-поперечный считает своим долгом меня не любить без всяких на то оснований...

Да, со стороны может показаться и так, но я-то знаю, что истинная причина заключалась в ином. Будь безобразный Эдди обычным человеком, мне было бы глубоко наплевать на его явные мерзости и на великие сотни скелетов в его безразмерном шкафу. Но в том-то все и дело: Эдди не был «обычным». Этот червяк был принцем и однажды мог сделаться королем – то есть занять самое священное для меня место. Вот это угнетало меня более всего!

Сказав «священное», я не обмолвился. Кто-то возразит, что человека, регулярно и с удовольствием наносящего урон портрету наследного принца, сложно заподозрить в симпатиях к монархии, но уверяю вас – вы глубоко ошибаетесь!

Чтобы убедиться в этом, достаточно снова заглянуть в мою

изнывающую от оружия конуру и осмотреться там повнимательнее. Вы сразу увидите, что на восточной стене (не на той, куда я определил Эдди), между английским тисовым луком с одной стороны и боевым арбалетом с другой, висит портрет того, перед кем я действительно преклоняюсь, – нашего Короля.

Этот портрет я купил в одном из дорогущих магазинов на Бульваре, а потом сам смастерил для него светлооореховую рамку – куда более красивую, чем та, с которой он продавался. После с помощью рулетки я тщательно вымерил середину стены и подвесил портрет ровно по центру, но поближе к потолку – где и положено быть Королю. Когда я стоял напротив, мне приходилось смотреть наверх, чтобы встретиться с твердым взглядом его изумрудно-зеленых глаз, и это меня полностью устраивало, потому что я – монархист.

Более того – сторонник абсолютной монархии. Монархист до мозга костей, и не только потому, что живу в Королевстве. Не только потому, что присягал на верность Королю, когда ушел в армию, а после еще раз – когда попал в бримо. Причина в другом. Я монархист не по необходимости, а по убеждению, и удивляюсь даже, как может найтись хоть один здравомыслящий человек, не понимающий того, что абсолютная монархия – единственный строй, при котором государство может достойно существовать. Но здравомыслящие люди – редкость. На свете гораздо больше бессмысленных идиотов, чем разумных людей.

Да, люди не привыкли мыслить самостоятельно. Большинство предпочитает пользоваться уже готовым стереотипом: короли и династии – нелепый и дорогостоящий пережиток прошлых веков, которому нет места в современном мире. Королей не жалуют; они превратились в вымирающий вид, и в тех странах, где они еще водятся, никакой реальной власти, к сожалению, у них не осталось. Представительские функции и роль «свадебного генерала» – вот нынешний королевский удел.

Перерезать ленточку на торжественном открытии нового стадиона. Выступить с новогодним обращением к нации. Возглавить военный парад. Поставить формальную подпись на законодательном акте, который все равно будет принят, – хочет того король или нет. Посетить с дружественным культурным визитом одну из третьестепенных стран. Вот, пожалуй, и всё.

А все потому, что власть у королей отобрали эти грязные твари – политики. Прикрываясь неуязвимым и мерзким щитом под названием «демократия», они низвергли королей в прах и лишь из милости позволяют им кое-где влачить бессмысленное и бесполезное, в силу этого, существование.

Удивительно, что большинство людей не понимают и даже не стремятся понять, насколько глубока пропасть между королем, который определен на свое исключительное место кровью, традицией и воспитанием, и политиком – безродным авантюристом из низов, для которого кроме карьеры и денег нет ничего святого.

Я знаю, о чем говорю. Обеспечивать порядок на политических митингах и личную безопасность демагогов у власти – тоже наша работа. Так что на политиков я насмотрелся вблизи – с расстояния вытянутой руки. Многих из них я наблюдал годами, так что вся их «история болезни» известна мне досконально. Именно «болезни»: политики, как убедился я, – глубоко нездоровые люди.

Почему? Да потому что многие из так называемых «народных избранников» за эти годы успели сменить свои идейные убеждения на прямо противоположные – и не раз, – разве способен на такое здоровый человек? Это, впрочем, нисколько их не смущает, – с тем же азартом они продолжают рвать жилы на выступлениях, зажигая своим фальшиво-продажным жаром вечно слепое стадо. И что интересно, никому из так называемого «электората» даже и в голову не придет упрекнуть их в предательстве или политической проституции. Таковы правила игры, принятые всеми и давно ставшие такими же естественными, как дыхание, сон, прием пищи или походы в сортир.

Взять хотя бы нынешнего президента нашего региона: на заре его головокружительной карьеры я своими ушами (тогда еще двумя) слышал, как он, «перспективный молодой политик», называл стремление местных элит к независимости «смешным и насквозь популистским анахронизмом, место которому – на свалке истории», – а сейчас, посмотрите-ка, стоит во главе этого самого «анахронизма» и во имя него призывает народ на баррикады.

Что поменялось за эти жалкие десять лет? Мир? Люди? Моральные ценности? Установки его теперь уже бывшей партии? Нет, изменился сам человек, и причиной тому – абсолютно шизофреническое стремление любой ценой находиться у власти. Жажда власти – вот имя профессиональной болезни его и таких, как он. Своей маниакальной одержимостью властью и всеми прилагающимися к ней бонусами политик напоминает наркомана, прочно сидящего на игле и за дозу готового абсолютно на всё.

Для всякого, кто умеет думать, ничтожность «избранного» политика и величие династического монарха не нуждаются в доказательствах и проистекают из самой сути одного и другого.

Политик – грязен, ведь для того, чтобы оказаться наверху, растолкав себе подобных, он должен в совершенстве обучиться врать, не краснея, ходить по чужим головам, всаживать нож в спину вчераш-

нему другу, мгновенно забывать то, что было обещано только что, – и еще десяткам подобных умений. Король – чист. Ему не нужно взращивать в себе все эти мерзости, необходимые для того, чтобы проторить кровавую дорогу наверх, – поскольку он изначально на самом верху и находится.

Политик – алчен, потому что в большинстве своем – это представитель плебса, человек из низов, просочившийся всеми неправдами к управлению благами и стремящийся извлечь из своего временного положения максимальную личную выгоду. Это, если хотите, голодная свинья, дорвавшаяся до государственного корыта и спешащая сожрать побольше, пока ее не отогнали от кормушки свиньи посильнее, понаглее да поудачливей. Алчность и страх, что доступ к благам вот-вот прекратится, превращают политика в продажную шлюху, гулящую девку, готовую лечь с любым, кто больше заплатит. Король же по определению лишен всякого корыстолюбия и неподкупен: чем подкупишь того, у кого в собственности целая страна и ее народ?

Из временного и краткосрочного характера власти политика проистекает и еще один серьезнейший ее порок – безответственность. Нельзя быть по-настоящему ответственным за то, что получаешь на время и что у тебя вот-вот отберут. К тому же политиков – великие сотни, так что персональной ответственности на каждого, даже если бы она и была, приходился бы самый мизер, – что тоже, согласитесь, не располагает к серьезному отношению к своей миссии.

С монархом ситуация принципиально иная. Королевскую власть можно уподобить пожизненному сроку, отбывая который, до последнего вздоха, до последнего удара своего королевского сердца монарх должен нести единоличную ответственность за свое государство и свой народ. Единоличную! Да, это высочайшая, доступная лишь избранным привилегия – но и тяжелейшее бремя, и самый священный долг, и, осознавая это, государь не может вести себя легкомысленно, необдуманно или эгоистично.

Опять же, если уж речь зашла о деньгах... Король, смею заверить я, баснословно и упоительно дешев в содержании и обращении – если сравнивать его с громоздким, непомерно раздутым политическим аппаратом. Политикам несть числа, и множатся они, особенно в нашем Королевстве, со скоростью поистине китайской, а король – один. Один! Не нужно быть Эйнштейном, чтобы подсчитать: содержать одного короля, пусть даже и с семейством, неизмеримо дешевле, чем обеспечивать жизнь на широкую ногу тысячам вороватых и алчных «народных избранников» и их бесчисленной родни.

Как по мне, – всё, что нужно любому государству для процветания, – мудрый король и с десяток-другой толковых советников, близ-

ких ему людей, понимающих с полувзгляда намерения монарха и готовых повиноваться ему беспрекословно. Слаженная работа в команде – вот как это называется.

Это как у нас: если не будешь ловить каждый жест старшего в группе и действовать в ситуации форс-мажора единым организмом – быстро протянешь ноги. Взаимопонимание и здоровый психологический климат в коллективе – железное правило нашей Мобильной бригады. Но ничего из вышеперечисленного у короля нет – ни коллектива, ни климата, ни взаимопонимания. У короля и вообще ничего нет, как было сказано.

Вместо того, чтобы управлять страной, король режет ленточки на открытии торгового центра и принимает делегацию садовников из Зимбабве, прибывших в страну с культурным визитом, – и повинны в этом, как я сказал уже, политики с их пресловутой демократией...

* * *

...Интересно, есть ли в Зимбабве садовники? Должны быть – хотя я, признаться, имею смутное представление о Зимбабве. А все потому, что я родился и вырос в другой стороне Земли. В Зимбабве моря нет (это-то мне известно), а я – житель самого что ни на есть морского города. Море всегда было рядом. Море было всегда. Оно и сейчас здесь, всего в паре километров, и даже не видя его, я знаю, чувствую наверняка, что шторм набирает силу. Странно, я только сейчас впервые подумал об этом: а много ли было его в моей жизни по-настоящему – моря?

Море дышало в ухо и воспринималось такой же неотъемлемой частью бытия, как солнце, воздух или утренний круассан с чашкой хорошего кофе. Море было так же неотвратимо и неизбежно, как ночной рынок-парад трансвеститов у стадиона «Камп Ноу» или радужные флаги «мариконов» в Гейшампле. Как неподражаемые песни зазывал на Старой Барахолке или утренняя дудочка точильщика ножей по вторникам, – одним словом, как все, к чему в конце концов привыкаешь и перестаешь замечать. Как все, что откладываешь на потом, – только потому, что оно слишком доступно.

Так откладывал море на потом и я, не зная, что этого «потом» может и не случиться. Все свои почти четыре десятка лет я провел на земле. Да и вообще: моря нужны тем, у кого их нет. У меня – было, и мне хватало тех семи раз в год, которые я все-таки в него забирался: считается, что этого как раз достаточно, чтобы потом целый год жить без простуд.

Так что, выходит, моря у меня, по большому счету, не было. А чего еще? Да ничего! Ничего у меня, по большому счету, не было – а

все из-за работы. Работы, которую я любил и ненавидел одновременно и которая лишала меня даже свободного времени. Да, в свободное от работы время я не был свободен – от работы.

Работа определяла все мое существование. Квалификация третьего уровня требовала, чтобы я всегда находился не в хорошей даже, а в исключительной форме, – и потому, помимо всевозможных штатных тренировок, я, как и всякий из нас, дополнительно тренировался в спортзале и раз в неделю выбирался в тир. Я не употреблял алкоголь, за самыми редкими исключениями, и бросил курить едва ли не раньше, чем начал, не говоря уж о какой-нибудь, даже слабенькой, наркоте – третий уровень не предполагает подобных привычек.

А как только выдавался выходной или парочка, я сразу уезжал в горы – туда, где меньше людей, – это тоже из-за работы. Я не очень-то любил людей: именно потому, что постоянно приходилось работать там, где их было чересчур много, и, скажем так, – не самых дружелюбно ко мне настроенных.

Из-за этой чертовой – и все равно любимой мною – работы у меня не было никакой личной жизни – если не считать минет от Лайлы раз в неделю и Долорес из книжного магазина по субботам и четвергам. Да и какая там личная жизнь – без половины уха и без половины лица?

Однажды, лет семь назад, мы с напарником остановили мусульманку в никабе, чтобы проверить у нее документы. Ношение никаба у нас запрещено – и я полностью согласен с этим. Кой черт тебе прятать лицо, если ты честный человек и порядочная женщина? Традиции? Обычаи? Это не наши традиции и обычаи! У себя пусть ходят как хотят – а в нашем Королевстве так не принято!

Вот мы и решили посмотреть, что там у нее с документами, а заодно и заставить ее снять эту чертову тряпку. Итог – двенадцать раненых из числа случайных прохожих, два моих сослуживца погибли на месте, один остался инвалидом на всю жизнь, а я, счастливчик, отделался легким испугом и утратой «естественной природной красоты».

Взрывное устройство, которое она все же умудрилась привести в действие, не сработало в полную мощь – иначе могло бы пострадать гораздо больше людей. Так или иначе, после того случая я с левой стороны в профиль был еще так себе, а вот со стороны правой или тем более в анфас – урод уродом. Подозреваю, для счастливой семейной жизни нормальной девушке все же маловато – левой стороны в профиль. А если бы даже и нет – какого мужа она получила бы?

Мужа, которого почти не бывает дома? Которого по звонку могут посреди ночи выдернуть из супружеской постели – и когда и в

каком состоянии он вернется, и вернется ли вообще, – не взялся бы предсказать даже великий Нострадамус...

Мужа, который при первой возможности норовит удрать в какую-нибудь глушь, прочь от цивилизации и людей... Мужа, который почти превратился в неврастеника – из-за того, чем все чаще приходится заниматься на работе в последнеее время. Который чувствует, что вот-вот окончательно станет им – когда накопительный эффект постоянного стресса достигнет предела, который у каждого есть.

Недавно среди бримо проводили анонимный опрос – так вот: почти треть сотрудников указали, что испытывают постоянный психологический дискомфорт, учитывая особые обстоятельства их работы в ситуации экономического и политического кризиса, и, будь такая возможность, предпочли бы перевестись в другую полицейскую структуру – поспокойнее, пусть и с меньшей зарплатой. Я ничего такого не указывал и переводиться никуда не собирался, но насчет стресса и дискомфота – истинная правда. И весь свой негатив, будь я женат, я на ближайшего ко мне человека, то есть на жену, регулярно и выплескивал бы.

Хорошо это? Нет! Справедливо? Нет и нет! Так что даже из соображений элементарной гуманности всякая личная жизнь была мне глубоко противопоказана. Ее и не было, если не считать Лайлы и Долорес из книжного магазина.

Лайлу мне порекомендовал Бернабе Марти, снайпер нашего отделения. Ему как-то довелось пользоваться ее услугами, и он был в полном восторге. Когда я увидал ее в первый раз, то поразился жадности природы, обделившей Лайлу практически всем. Но то, что эта кривая на один глаз низкорослая девица из Колумбии вытворяла ртом... Никогда ничего подобного мне до того испытывать не приходилось, да это, я уверен, и невозможно – в искусстве минета Лайла определенно не знала себе равных.

Кроме того, она была неразговорчива, как и я, но, в отличие от меня, часто улыбалась, – мне нравилось в ней и то, и другое, не говоря уж о ее профессиональных навыках. Наши встречи сделались регулярными и стали, в конце концов, неотъемлемой частью моего бытия.

Что до Долорес... Впервые я увидал ее на демонстрации за равные права женщин. Я находился тогда в оцеплении – и запомнил эту азартно скандировавшую громче других девицу с плакатом в первом ряду. Да и трудно, собственно, было не запомнить: цвет ее волос был вопиюще, вызывающе и неестественно красен – как вся кровь, пролитая борцами за мировую справедливость со времен Христа.

Вторая встреча была неожиданной – примерно раз в два месяца

я захаживал в книжную лавку «Цицерон» в старом городе (иногда, пусть и нечасто, я любил почитать что-нибудь редкое из истории монархий, а тот магазинчик специализировался именно на такого рода литературе) – и в очередной свой визит обнаружил за прилавком уже знакомую мне активистку.

Правда, волосы ее имели к тому времени окрас ядовито-зеленый – как ряска всех болот бассейна Амазонки. Долорес любила кислотные цвета, была одержима мировой революцией и принимала активное участие в тех демонстрациях, которые мне приходилось разгонять. Я знал ее в лицо, она меня – нет (шлемы у всех одинаковы), так что знакомство с ней в «Цицероне» завел именно я, сходу пояснив, при каких обстоятельствах мы уже сближались в пространстве и времени.

Голову даю, именно поэтому мы и стали встречаться: я заинтересовал ее как типичный представитель Системы, которую она ненавидела и которую, таким образом, намеревалась узнать изнутри, – чтобы бороться с ней наиболее эффективными методами. «В постели с врагом» – так это можно назвать.

Мы встречались с ней по четвергам, а иногда и по субботам, и, что самое забавное, за несколько лет так и не удосужились поговорить о политике – как-то не пришлось. Все наше совместное время отнимала именно «вражда» в постели. Секс Долорес признавала только самый естественный (заниматься иным ей не позволяли идейные убеждения) – но и такой предполагает множество вариантов, а для минета у меня имелась Лайла.

Еще нам с Долорес нравилось иногда сделать вместе то, чем по отдельности каждый из нас заниматься ни за какие ковриги не стал бы: например, сходить на оперу Верди, посетить выставку современного искусства или просмотреть в постели целых полторы идиотских комедии подряд, заедая их попкорном и запивая кока-колой. Дважды я помогал Долорес выпутаться из кое-каких передряг, связанных с ее деятельностью антисистемщицы, и мы с ней замечательно ладили – чаще по четвергам, а иногда и по субботам тоже.

Всех, одним словом, всё устраивало. Но личной жизни у меня не было, что тут говорить. Не случилось – и сейчас уже поздно кого-либо винить в этом.

Но вернемся к нашим королям. Только что я размышлял о том, что абсолютная монархия имеет лишь одну, но существеннно уязвимую сторону, проистекающую из ее сути, – она целиком определяется личностью монарха. И если, по несчастному стечению обстоятельств, тот или иной король совсем уж не годится для своей высочайшей роли, – страну и народ ждут неисчислимые бедствия.

Но это, к счастью, был совсем не наш случай. Во-первых, никакой абсолютной монархии в нашем Королевстве не было и в помине – как нет и сейчас. А во-вторых, наш Король – человек, при котором я родился и вырос, – являл собой почти идеальное воплощение монарха и, обладай он реальной властью, он привел бы страну к величию, какого она никогда не знала ранее, – я был абсолютно уверен в этом. Для меня личный авторитет нашего Короля был непререкаем – и на то имелись веские причины.

* * *

Начать с того, что Король был настоящим военным, и не только потому, что надевал на парады самый главный военный мундир в Королевстве. Я о другом – он был истинным военным по сути и духу. Король честно отучился в пехотной академии, а затем целых пять лет не вылезал из армии и даже принимал участие в боевых действиях на Востоке. И там, как всем известно, он не отсиживался в бункере или штабе, а словно простой смертный, неоднократно рисковал жизнью и даже был однажды ранен в мякоть левой руки. Это, поверьте, имеет значение – особенно для того, кто служил сам и бывал в военных командировках в Афганистане, как, например, я.

А еще Король был настоящим храбрецом, в отличие от трусливых политиканов, способных проявлять мужество лишь на полях словесных баталий. Да, в бесконечных дебатах им не сыщется равных – но вспомните события сентябрьского путча в том далеком году, когда я как раз умудрился выклюнуться из мамы на свет.

Заговор вызрел тогда в среде военных, уставших от губительной демократической свистопляски, – и здесь их тоже можно понять. Путчисты намеревались захватить власть, распустить парламент, запретить все политические партии и ввести режим военной диктатуры, конечной целью которой являлось восстановление в стране абсолютной монархии.

Полторы сотни военных во главе со скандалистом и забиякой, бригадным генералом Зингером захватили здание парламента как раз в тот момент (избранный не случайно), когда наш Король выступал в Сенате с речью. Сохранилась видеозапись этого знаменательного события, которую я с величайшим удовольствием пересматривал тысячи раз: она предельно ясно позволяет понять, кто есть кто, и насколько урожденный монарх выше и достойнее жалкой политической шушеры.

Каждый фрагмент этой старой пленки я помню до мелочей. Вот бригадный генерал Зингер, за свою врожденную жестокость получивший прозвище «Тигр», врывается в зал парламента. Усы

Бисмарка, оловянный взгляд записного убийцы, потертый камуфляж, оружие всех видов, каким он увешан с ног до головы, увешан чрезмерно и даже карикатурно, словно пират из детского фильма, – однако намерения у Зингера самые серьезные. Люди его мгновенно перекрывают все выходы и рассредоточиваются по периметру. Зингер извлекает из нарядной кобуры блестящий и непомерно большой даже для его волосатых клешней револьвер – никелированный «Колт-Питон» с восьмидюймовым стволом. Оглушительный выстрел в потолок, вслед за ним еще один, сопровождаемый криками ужаса...

– С ядовитой заразой демократии покончено! Объявляется режим военной диктатуры! Всем встать на колени и завести руки за голову! – орет генерал Зингер во всю свою луженую глотку и для верности еще раз стреляет в потолочное небо.

И что, спрошу я вас?! Что? Как повели себя парламентарии и депутаты, эти правдорубы и борцы за права и свободы многострадального народа? Все, все как один, не просто встали, но с величайшей готовностью рухнули на эти самые колени, дрожа от животного ужаса, что Зингер и его люди могут, упаси Господи, попортить им ценный депутатский мех. Все, повторяю я, мигом упали на свои рабские колени, кроме одного человека – Короля. О, наш Король!

Король был неподражаем: ни одного лишнего движения, ни одного испуганного жеста. Дождавшись, когда Зингер перестанет рычать, Король выходит из-за трибуны докладчика и чеканным своим шагом направляется прямо к «Тигру». Выправка его безукоризненна, и сейчас, в этот тяжелейший момент, он особенно красиво несет свое длинное спортивное тело. Встав напротив мятежного генерала, король оказывается на голову выше этого громилы – как и должно быть.

– Что происходит, генерал? – своим глуховатым, но сильным голосом вопрошает монарх. – Приказываю немедленно объясниться!

Голос Короля суров, взгляд изумрудных глаз прям, решителен и не предвещает ничего хорошего, – и этот вояка Зингер, начинавший когда-то снайпером и застреливший собственноручно три десятка человек, этот генерал-сюрприз Зингер, известный своим самодурством, жестокостью зверя и пьяными кутежами, – этот Зингер ощутимо теряется.

– Но, Ваше Величество, – возражает, тем не менее, он, – ситуация, сложившаяся за последние годы в стране, невыносима для любого порядочного человека. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов. Попирались ключевые принципы монархического строя. Мы, военные, патриоты и монархисты, решили взять власть в свои руки – и передать ее Вам, нашему Королю, которому она и должна

принадлежать по Божьему соизволению и по праву. Примите этот дар от своих верных подданных, Ваше Величество!

Закончив эту короткую речь, Тигр-Зингер извлекает из камуфлированного кармана неожиданно-белоснежный платок и утирает им мгновенный пот, обильно высыпавший на его кумачовом лбу.

Король долго и не мигая глядит своими зелеными, со стальным оружейным отливом, глазами в самые зрачки Зингеру. О, этот взгляд Короля! Как много сменяющих друг друга чувств и мыслей отобразилось в нем! И соблазн, такой понятный по-человечески: принять всю полноту власти, предлагаемой ему военными, и восстановить, таким образом, давно попранную справедливость. И такое естественное раздражение на предмет того, что он узнал о происходящем в последнюю очередь... И, где-то на самом донце, – благодарность «Тигру» за то, что, оказывается, в развращенной демократией стране еще остались истинные патриоты...

На мгновение могло даже показаться, что он ответит Зингеру согласием, – но истинный монарх, мудрый и дальновидный правитель, в первую очередь думающий о государстве, а потом уже о себе, все же взял в нем верх. Да и можно ли было сомневаться? Как никто другой, Король понимал, что его положительный ответ приведет к немедленной гражданской войне, – и допустить это, обрушить бездну страдания на горячо любимый им народ – его народ – он, разумеется, не мог.

– Нет, генерал, – твердо, пусть и с усилием, пусть и не сразу, ответил он. – В нашей стране превыше всего – конституция, гарантом которой я являюсь. И пока я жив, защита законности и порядка была, есть и будет моей главной задачей. Ваши действия, генерал, какими бы мотивами они не были продиктованы, – противоречат конституции, а следовательно – незаконны. Как Главнокомандующий и Король, приказываю: немедленно разоружите своих людей и сдайте оружие лично мне. Ну! Давайте-давайте! Что вы там медлите – подчиняйтесь!

А когда Зингер – ошарашенный, укрощенный, уничтоженный, ожидавший совсем другого исхода – отдал револьвер Королю, тот, слегка улыбнувшись, произнес мгновенно ставшую знаменитой фразу, обращенную к сенаторам:

– Опасность, хвала Господу и Королю, миновала. Вставайте с колен, господа!

Миг величайшего триумфа – и величайшей трагедии. Только что он отказался от власти, какой он был всячески достоин, и вернул ее в грязные руки демагогов и ворюг – но еще находил в себе силы улыбаться и даже шутить! Вот что такое истинный Государь – в лучшем своем проявлении!

Одного лишь этого оказалось достаточно, чтобы я, когда самую

малость подрос и начал кое-что понимать, записал его в свои кумиры на всю жизнь. Собственно, именно благодаря личности нашего Короля я сделался монархистом. При таком монархе это было неизбежным.

Я, пожалуй, рискнул бы назвать его своим богом, или, скажем так, «временно исполняющим обязанности Бога» – но знаю, тут же найдутся сотни и даже тысячи тех, кто захочет распять меня за одно только это слово: Бог. В сегодняшнем демократическом обществе боги так же непопулярны, как и короли. Задай сотне уличных прохожих вопрос: «Веришь ли ты в Бога?» – и две трети, взбрыкнув копытцами, ответят негодующе: «Нет!» Ни в каких богов мы не верим, верить не собираемся, и вообще – даже не думайте тянуть нас в очередную секту! Так они ответят – потому что не привыкли думать. Так они ответят – и будут совершенно неправы. Как по мне, все гораздо шире – и гораздо проще.

«Бог» – это совсем не обязательно Будда, Аллах, Христос, Шива или Митра. Бог – это то, во что ты веришь. А каждый из нас обязательно во что-то или в кого-то верит – без этого человек не живет. Вера, что называется, входит в «базовую комплектацию» человека и так же необходима для существования, как почки, сердце, легкие или желудок. Каждый из нас верит, и каждый – в своего Бога.

Именно в «своего», в личного Бога, даже если имя ему – Христос или Будда. Потому что у каждого свой Будда и свой Христос. Богов ровно столько, сколько на свете людей, и все они разные, хотя есть нечто, что всех их объединяет: наш персональный Бог – лучшее, чего в нас нет и никогда не будет, но к чему мы страстно и мучительно стремимся всю жизнь. Именно это движение к Богу и заставляет нас жить, и наполняет нашу жизнь подобием смысла.

Слово «подобие» я употребил намеренно: чем больше я живу, тем сильнее убеждаюсь в том, что жизнь – глубоко бессмысленное и бесполезное занятие. К счастью, защитные механизмы психики не дают нам вспоминать об этом слишком часто – иначе человечество давно вымерло бы.

Но снова я отвлекся. Я лишь хотел сказать, что Бог есть у каждого – даже у того, кто заявляет во всеуслышание, что отродясь его не имел. Был он и у меня – правда, не тот, которого мне пытались навязать во время учебы в иезуитском колледже. Я и вообще не люблю, когда мне что-то или кого-то навязывают. Тем более – богов или святых. Бога я и сам в состоянии себе подобрать, а святым не очень-то доверяю. В святые чаще всего подается тот, кому так и не удалось стать настоящим грешником.

Моим богом был справедливый монарх во главе абсолютной монархии, а моим счастьем – то, что наш Король лишь укреплял меня в этой вере.

Конечно, я понимал, что Король не вечен, и когда он умрет, на трон взойдет его старший сын. Признаться, я думал о том не без печали: Бенедикт не унаследовал от венценосного отца ни его решительности, ни острого аналитического ума, ни умения мыслить в государственном масштабе... Однако, сделавшись монархом, думалось мне, он сможет многое наверстать (положение обязывает!) и будет, в конце концов, вполне достойным представителем династии.

Да, пусть с оговорками, я готов был увидеть Бенедикта на королевском троне, но не то что мысли – даже тени ее – не допускал о том, что королем может стать безобразный принц Эдди, который мигом извратит саму идею монархии, изгадит и опошлит ее точно так же, как уже изгадил все, к чему прикасался в своей никчемной жизни.

Теперь, я думаю, понятно, почему я так невзлюбил младшего сына Короля. Причиной тому не мое отрицание монархии, а напротив – самое трепетное к ней отношение. Иными словами, я регулярно перфорировал дротиками физиономию принца Эдди именно потому, что являлся убежденным и закоренелым монархистом! Звучит странно, знаю, – но теперь, когда я многое постарался объяснить, вряд ли кто-то усомнится в том, что я говорю чистую правду.

Дротиков, впрочем, мне показалось однажды мало. День, когда я перешел к ножам, тоже хорошо запомнился мне. Все это может показаться деталями, мелочами, не стоящими внимания, но когда смотришь назад из сегодня – в мелочах этих явно проглядывает их пророческая суть. Итак, ножи появились в тот самый день, когда я увидал факел в окне.

* * *

Факел в окне. Вообще-то, если объективно, бримо я был знатным – просто работенка в последнее время подворачивалась все больше мерзкая, и спать по ночам нормально я перестал. Одно дело – воевать с террористами и наркобаронами, и другое – с обычными людьми, не очень-то виноватыми в том, что их в очередной раз отымели. Особенно в нашем Королевстве, где банкам и политикам наплевать, что люди, потерявшие работу в результате кризиса, устроенного теми же политиками и банками, не могут не то что жить – выживать даже.

Взять те же ипотечные кредиты. Лет десять назад в Королевстве был строительный бум, люди имели работу и зарабатывали тогда неплохо – вот и загорелись все желанием обзавестись собственным

жильем – и, как следствие, нахватали ипотечных кредитов. А потом грянул кризис, безработица подскочила до пределов пугающих – и выплачивать эти самые кредиты люди попросту не смогли. Что делают в цивилизованных странах – в тех же Соединенных Американских Штатах? Есть у меня сетевой знакомый, американец – рассказывал. Дают людям отсрочку, а если по истечении ее всё равно платить никак не получается, тут уже делать нечего: клади ключи на стол и уходи из квартиры. И никто никому ничего не должен.

А что делается в моем родном и горячо любимом Королевстве? Как только должник перестал платить, банк тут же подает на него в суд, квартира выставляется на аукцион, где сам же банк через свою подставную фирму и покупает ее – но уже хорошо, если за половину стоимости. И мало того, что человек лишается жилья, – на нем еще и долг, который не выплатить до конца жизни. А самих должников по решению суда просто вышвыривают на улицу: с престарелыми родителями, с малолетними детьми, с инвалидами – не имеет никакого значения.

Вам бы такое понравилось? Люди – те, кому не все равно, – пытаются протестовать. Устраивают кордоны, когда приставы являются, чтобы начать выселение. Не пускают их в дом. А вот здесь уже наша работа – работа бримо: нейтрализовать, подавить и обеспечить нормальное исполнение решения суда. Справедливого и беспощадного, особенно, если речь идет о нищих, у которых отнимают последнее.

Но не станем забывать: мы живем при номинальной монархии и фактической демократии – так что чему удивляться? При демократах-политиках, живущих на содержании банкиров, – это вполне нормальное явление. Я сбился бы враз, если попытался бы подсчитать, в скольких выселениях за последние годы участвовал.

Занятие, мягко скажем, своеобразное.

Никогда не забуду, как выселяли одну женщину в районе Грасиа. Она стояла у окна второго этажа, слушая, как ломают внизу дверь уже не ее дома, и я еще подумал, что она сдуру возьмет сейчас и выпрыгнет на улицу, как поступали в таких случаях многие (сдуру, потому что высоты для самоубийства все равно не хватило бы, и вдобавок ко всем неприятностям в этой гребаной жизни, она бы еще и сломала себе пару костей), а та стояла молча, в дурацком полураспахнутом розовом халате, стояла и все сверлила глазами – и не кого-нибудь, а как казалось – меня. И халат у нее был в хорошо заметных влажных пятнах, и волосы сплошь мокрые, как будто она как раз принимала душ, когда явились ее выселять, и я помню, что всё ждал, наученный предыдущим опытом: вот-вот она заберется на табуретку,

выступит на подоконник и спрыгнет, тоненько закричав, в усаженный бархатцами садик, – но вышло иначе.

Она медленно и очень спокойно подняла правую руку на уровень лица – причем, видел я, в руке этой что-то приятно блеснуло, – и вспыхнула вдруг страшным факелом: разом, вся. Оказывается, никакой душ она не принимала, а просто облила себя бензином. Вспыхнув, она секунду или две еще продолжала совершенно молча стоять, сгорая в жадном пламени, – но и оттуда, из-за огненной завесы, вглядывалась, как казалось мне, именно в мои, а не чьи-нибудь, глаза. Да, черт побери, – она сгорала заживо, но продолжала смотреть мне в глаза!

В восприятии моем этот краткий миг растянулся до бесконечности; мне и запомнилось-то сильнее и страшнее всего не визг, не вой и не запах паленого мяса – а эти самые полторы невообразимо длинные секунды, что были до того. Потому что стояла она в огне – секунду, две или вечность – спокойно и молча, и даже глаза оставались совершенно бесстрастными, как если бы она наблюдала за происходящим со стороны, – вот что поразило меня тогда.

Да... Да. Да! Не я, будь оно всё проклято, отнял у этой женщины работу, и не я постановил выселить ее из дома. Я действовал в рамках закона и своего служебного долга, но знаете, как оно бывает: вроде, всё правильно, всё по инструкции, и тебе не в чем себя упрекнуть, – но в душе будто потоптался огромный слон, изломал все вдрызг да еще и навалил напоследок кучу дерьма.

Мне ведь и раньше не раз приходила в голову мысль о том, чтобы уйти из бримо. Уйти ради спокойного сна – а не из-за какой-то там мифической порядочности. Тем более, что у каждого она своя. Хотя здесь, пожалуй, в который раз уже я изрядно привираю: хотел уйти – давно ушел бы. А так что же получается: мучился, не спал по ночам, страдал душою за угнетенных овец – и продолжал пасти. Вот тут она самая ложь и есть. Делаешь – делай, а пока не сделал – молчи! Всё враки: уходить из бримо я никуда не собирался и не ушел бы – некуда было идти.

В тот вечер... Именно в тот самый вечер, когда я привычной рукою метнул пару дротиков в принца Эдди, перед тем как вытянуться на постели, – мне впервые показалось, что это какое-то ребячество. Да-да, именно так. Все равно что расписывать школьную парту матерными словами или рисовать порнографические картинки на стене туалета. А я между тем давно был взрослым человеком – частично даже седым, а кое-где и изуродованным в силу специфических особенностей своей профессии. И работа у меня была самая взрослая и серьезная – серьезнее некуда.

Женщина, которая подожгла себя, естественно, не умерла. «Естественно» – потому что так в большинстве случае и бывает. Вот вам и еще стереотип! Не возьму в толк, откуда они взяли, что стоит только облить себя бензином и чиркнуть зажигалкой – и тебе обеспечена быстрая и яркая смерть. Ничуть не бывало. Человек запекается снаружи, но, как правило, еще живет после того несколько дней – живет и чувствует, испытывая при том невообразимые мучения.

Некоторым и вовсе удается выжить – для того, чтобы влачить потом жалкое существование урода и калеки. Так было и с розовой женщиной в тот день – она обгорела почти полностью, но еще была жива, когда ее увозили в больницу, – и я надеялся, что смерть заберет ее как можно быстрее.

Черт, черт, черт – день был ужасен. Я пробовал уснуть – не получалось. Разыскал пачку сигарет в одном из ящиков стола и выкурил штуки четыре, нарушая свой же запрет пятилетней давности, – не помогало.

Я просто не находил себе места, и даже стандартный акт неуважения, выказанный в адрес безобразного Эдди, не принес, как я уже сказал, желаемого облегчения. От безысходности я остановился напротив стены с кинжалами и, поразмыслив немного, принял в руки аккуратный и относительно небольшой кинжал «Эпплгейт-Фэрбэрн Комбат».

Я купил его с полгода назад и даже не успел наиграться с ним как следует. Люди, спроектировавшие его, были ветеранами спецподразделений – то есть моими коллегами, знавшими толк в своем деле. Интересно, что и у Короля в коллекции имелся такой же, только выполненный на заказ и с золотой гравировкой в виде имени Его Величества. Наш Король, как я уже сказал, был настоящим военным и отлично разбирался в оружии.

Повертев его так и этак, я решил заточить его. Кинжал – оружие премущественно колющее, поэтому даже именитые производители в большинстве случаев выполняют заводскую заточку на слабенькую троечку. Чтобы убедиться, я проверил остроту лезвия ногтем – так и есть, «Эпплгейт» явно был туповат.

Почти радостно я принялся налаживать приспособление для заточки. Кстати, один из проверенных способов вернуть душевный покой – заточка ножей. Всякий, кому хотя бы однажды пришлось познать целительное воздействие этого медитативного занятия на нервную систему, охотно подтвердит мои слова.

Помогло и в тот раз. За полчаса я довел кинжал до состояния «бреет с хрустом волос» – и, честное слово, тяжесть на душе сделалась чуть менее ощутимой. Не отпуская кинжал из рук, я прилег с

ним на кровать – и, конечно, тут же наткнулся на наглый взор принца Эдди.

Вчера в новостях сообщалось о том, что Эдди закатил жуткий скандал в одном из ночных клубов Амстердама, куда его пытался не пустить не признавший его охранник. Визгливым по-женски голосом принц возмущался на всю улицу, пытался физически сладить со здоровенным чернокожим секьюрити и даже умудрился дважды укусить его за ногу. Охранник до сих пор находится в состоянии шока, наступившего, когда он узнал, что покусан лицом королевских кровей. Съемка телефонной камерой, пусть и не самого высокого качества, позволяла в деталях ознакомиться с этой мерзкой картиной.

И это сын Короля!

Ненависть глодала меня. Я привстал на кровати, подбросил кинжал в руке, поймал его за рукоять привычным обхватом и замахнулся было для броска, но в последний миг остановил себя. Кинжал, брошенный к тому же с той силой, с какой умел бросать я, легко мог прошить доску для дартса насквозь и повредить острие о бетон стены, он мог удариться о мишень плашмя и сломаться – безобразный Эдди таких жертв явно не стоил. Но ничего – у меня и метательных ножей имелось в достатке.

Мигом вскочив, я перевесил давно уже состоявший из множества мелких дыр портрет на ножевую мишень. После я разыскал в ящике стола несколько «металок» – специальных ножей для метания, отошел в противоположный угол комнаты, замахнулся и... Сложно передать удовольствие, которое испытываешь при глухом и тяжелом звуке, с которым холодная сталь входит в мягкое дерево, – в особенности, если перед тем как войти, она прошивает насквозь ненавистную тебе физиономию. Я метнул четыре ножа один за другим, и все четыре уложил в затрепанный рыжий овал Эддиного лица. После еще одной серии бросков портрет обратился в бумажные лохмотья, но это меня не смутило. Взрывная деятельность овладела мной. Мигом я завел компьютер, щелкнул кнопкой принтера и через пять минут имел распечатанного в цвете Безобразного Эдди в количестве аж пятидесяти экземпляров. Странно, что мысль постоянно поддерживать мишень в отличном состоянии ранее не приходила мне в голову. Просто раньше, черт побери, я обходился без ножей, а зря – по собственной глупости я, оказывается, лишал себя нешуточного удовольствия!

За десять минут интенсивного метания я искромсал в клочья трех Эдди – и, удовлетворенный, решил, что на этот раз достаточно. Бросал я метров с четырех, с противоположного конца комнаты, – и бросал очень точно: восемь из десяти ножей ушли в цель. Но это и не растояние, если честно. В тренировочном центре бримо нам прихо-

дилось метать ножи с семи и даже девяти метров. С семи и тем более с девяти попасть, разумеется, много сложнее, но если бы вместо бумажного Эдди мишенью служил живой, – я, как мне кажется, уж точно не промахнулся бы! Метал бы я, понятно, не в голову – но это уже частности.

Внезапно, впервые за весь этот мрачный день, я рассмеялся, поймав себя на том, какими нелепыми рассуждениями занимаюсь. Да, нелепыми – но они, так уж вышло, здорово подняли мне настроение.

Но почему, черт побери, Эдди? – спросит кто-то. Почему всегда, всюду и по любому поводу виноват Эдди? Ведь не он же довел страну до плачевного состояния, не он отдавал приказы Мобильной бригаде участвовать в выселениях, – так?

Что же, уже пояснял и поясню еще раз: чем больше у тебя отнимают, тем сильнее ты цепляешься за то, что еще осталось. То, чем мне приходилось заниматься в последнее время на работе, всё чаще не нравилось мне, и не нравилось – еще мягко сказано. И пастухи, на которых я работал, были мне отвратительны. Между тем я знал, что в другое место не уйду, потому что никакого другого места для меня попросту нет – и этот замкнутый круг давил своей бесконечностью все более.

Единственной отрадой мне оставалась безоговорочная вера в справедливого монарха, такого, как наш Король, – а безобразный Эдди, наследный принц и средоточие всех пороков, самим фактом своего существования уже был оскорблением моей вере и, следовательно, – моим личным заклятым врагом. И если бы случилось самое невозможное, и Эдди все же взошел бы на престол, – вера моя подверглась бы окончательному осквернению. Это-то я хорошо понимал, хотя боялся даже думать об этом. За это я Эдди и ненавидел – за зло, которое он уже совершил, и за гораздо большую мерзость, которую, теоретически, мог еще совершить. Снова и с удовольствием повторяю это: я ненавидел, я всегда ненавидел принца Эдди и даже сейчас ничуть не стыжусь этой ненависти.

Правда, форма ее выражения постепенно менялась. Форма... Форма приобретала всё большее соответствие объекту ненависти – я бы сказал так. Форма всё больше приближалась к... – но об этом позже. Забавы с дротиками остались в прошлом – отныне вместо того я ежевечерне добывал из ящика стола метательные ножи и устраивал безропотному и беспутному Эдди настоящий десятиминутный ад. Это, как оказалось, куда лучше успокаивало мои расшатанные нервы.

Впрочем, что такое по-настоящему «расшатанные нервы», мне предстояло еще узнать.

* * *

Теперь я подступаю к главному и должен, прежде всего, заметить: всякий ужас – понятие относительное. Всегда вдруг может случиться нечто такое, на фоне чего вчерашний кошмар покажется безоблачным счастьем. Именно это и произошло со мной седьмого ноября.

Вечер, собственно, был хорош, и ничто не предвещало беды.

Я только что проводил Лайлу, привычно удивляясь ее талантам. Это правда – в искусстве минета Лайла была не менее эпохальна, чем Караваджо – в живописи, а «Лед Зеппелин» – в музыке. Да и по-человечески она – маленькая, кривая и некрасивая, если не считать выдающихся губ, – была чем-то глубоко симпатична мне. Я ведь тоже не блистал красотой – без половины уха и половины лица. И денег за свой высший пилотаж Лайла всегда просила до смешного немного – поэтому каждый раз я платил ей вдвое больше.

Итак, я проводил Лайлу, выдавил свой сок, раздобыл ножи и привычно позабавился с Эдди. А потом я выключил свет и даже успел заснуть – когда меня разбудил телефон. Я всегда должен был держать его под рукой – на случай, если объявят сбор по тревоге. Звук сообщения был как раз тот самый, тревожный. Продрав глаза, я принялся читать сообщение – и, еще не дойдя до половины, знал, что случилось ужасное. Самое ужасное, что вообще могло случиться в нашем Королевстве.

Принц Бенедикт, ближайший наследник престола, старший сын и любимец Короля, полчаса назад погиб в авиакатастрофе. Через шесть минут после взлета королевский авиалайнер загорелся и огненной кометой устремился к земле, чтобы усеять ее мертвыми обломками. Экипаж и все находившиеся на борту, включая Бенедикта, направлявшегося в Сан-Себастьян на симпозиум по вопросам экологии, – разумеется, погибли.

Вселенная внезапно накренилась, и земной шарик, среди несчастных пассажиров которого числился и я, с ускорением помчал по наклонной плоскости к самому краю, за которым – сплошное ничто.

Только что погиб тот, кто в ближайшие год или два должен был занять место Короля. Я уже давно собирался приобрести портрет Бенедикта и повесить рядом с портретом Короля, правда, чуть левее и ниже, – да всё забывал.

Внезапная смерть старшего королевского сына сама по себе была трагедией и невосполнимой утратой – но главная беда заключалась в другом. Будучи бримо, я обучен быстро оценивать обстановку в ситуациях форс-мажора – поэтому и тогда сходу сообразил, что принц Эдди, благодаря чернейшему стечению обстоятельств, вышел

из зловонной тьмы и встал, ухмыляясь, в одном шаге от трона. Вот где была настоящая трагедия!

– Катастрофа, катастрофа, катастрофа, – забрав голову в жесткие тиски ладоней, машинально повторял, помнится, я, отказываясь верить в невозможное.

Да-да... То, о чем я боялся даже думать, грозило стать самой близкой реальностью. Когда я в полной мере уяснил это, началось мое стремительное нисхождение по кругам персонального ада.

На трое суток в Королевстве был объявлен траур и приспущены все флаги. Гражданам предписано было воздерживаться от шумных проявлений веселья. Отменили все спектакли, киносеансы, концерты и футбольные матчи. Отправили в трехдневный отпуск персонал публичных домов. Такого рода церемониальные реверансы – то немногое, что еще осталось униженным и оскорбленным королям.

Спустя трое суток во дворце Монтескье, где располагался королевский пантеон, состоялись торжественные похороны безвременно почившего Бенедикта. На Старого Короля было больно смотреть – так он осунулся и сдал за эти три дня. Когда он шатко выступал за гробом сына, голова его на трогательно истончившейся шее тряслась, как у древнего старца, – и все же он оставался Королем и вел себя, как Король, – вне всякого сомнения. Трагедия делала его еще более величественным. Более достойного поведения при столь печальных обстоятельствах мне видеть не приходилось.

Я смотрел церемонию в записи и, увы, достойным поведением похвастаться не мог – а всё потому, что слева Короля поддерживал за локоть тот, одно имя которого приводило меня в ярость, – безобразный принц Эдди. Рыжие кудри его зловеще выделялись на общем траурном фоне. «Ближайший претендент на престол» – то и дело повторял с ядовитым выражением я, добавляя каждый раз пару матерных слов. Но Эдди отныне и был – ближайшим.

У погибшего Бенедикта осталась семилетняя дочь, белокурая инфанта Марина, – однако по нашему полусалическому закону о престолонаследии после ухода Короля трон должен был наследовать именно Эдди, как мужской представитель династии, – и, глядя на этого «представителя», я цепенел в страхе и бессильной ярости.

Когда Эдди вскарабкается на престол, вера моя будет подвергнута неслыханному осквернению – и что тогда делать мне? Смириться с этой скверной? Искать нового бога? Но я не привык менять богов, как перчатки. Что, что мне делать? Первый раз за всю жизнь я находился в подобном смятении.

В день похорон Бенедикта я пил не апельсиновый сок. Бутылка

бренди украшала траурный стол, а по левую руку лежал мой (и королевский) «Эпплгейт-Фэрбэрн». В тот вечер я был пьян, жалок и как никогда остро осознавал собственное ничтожество. Периодически я брал кинжал в левую руку (я левша) и, дождавшись, когда Безобразного Эдди дадут крупным планом, наносил в его сторону ряд мощных ударов.

Кинжал, отметил я, был отлично сбалансирован, и клинок, при своей толщине в пять с лишним миллиметров, – управляем так, что казался почти невесомым. Специальные подвижные грузики в рукояти позволяли подогнать развесовку под индивидуальные параметры оператора. Оружие нравилось мне все более, и все менее – тупиковая ситуация, в которой я находился.

Иногда я вскакивал и кружил по комнате, останавливаясь всякий раз напротив стены, где с портрета в светлооreховой рамке, между арбалетом и тисовым луком, поближе к потолку, смотрел на меня мудрым и твердым взглядом Король.

Фотография была сделана лет пятнадцать назад. Король находился тогда в самом расцвете сил. Чуть удлиненное лицо с тяжелым волевым подбородком; изумрудной зелени глаза, способные видеть то, что недоступно взору простого смертного; длинный, как и у всех представителей династии, чуть широковатый в нижней части нос; аккуратный белый шрамик на левой скуле, полученный во время шторма на яхте, которой он сам профессионально управлял...

В свое время ни одна женщина не могла устоять перед его мужским обаянием. О бесчисленных победах Короля на любовном фронте ходили легенды. Из-за этих побед, собственно, все и запомнили покойную Королеву Мерседес мегерой – постоянные измены супруга явно не добавляли ей хорошего расположения духа. Да, было время!

А сейчас... Я переводил взгляд на экран, где продолжалась траурная церемония, – и на глаза мои набегали слезы. Да, слезы! Я, ветеран бримо, видевший жизнь в основном с изнаночной стороны, привыкший к жестокости, злу и насилию и загрубевший от этого душой, – я плакал тогда и не стыдился своих слез.

Более того, я сделал то, чего не делал аккурат с завершения учебы в иезуитском колледже, – решил помолиться, благо, что делать это меня в свое время научили исправно. Да, то были молитвы не моим богам, но Старый Король регулярно ходил к мессе, и нет ничего плохого в том, что я молился его небесным покровителям. После в молитве своей я обратился напрямую к Старому Королю со словами сочувствия и поддержки – я надеялся, это ему поможет.

* * *

Надежды мои оказались самыми тщетными. Разрушительный

механизм, запущенный седьмого ноября в 23:31 – именно в это время, как было установлено, возник пожар на борту королевского самолета, – уже нельзя было остановить.

Неделю спустя в экстренном обращении к нации Старый Король, глава государства, главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал-капитан армии, авиации и флота, почетный рыцарь двенадцати орденов и обладатель более сотни правительственных наград, – Старый Король отрекся от престола в пользу своего младшего сына, принца Эдуарда. Довольно короткий текст отречения он читал почти по складам, то и дело прерываясь, чтобы выпить воды.

За спиной его маячил Безобразный Эдди, раз за разом раскрывавший свой похожий на вагину рот и облизывавший быстрым языком сразу нижнюю, а потом верхнюю губу. На Эдди, или Эдуарде, как уже дня три называли его в знающих всё заранее масс-медиа, красовался новенький и прекрасно сидевший на его далеко не идеальной фигуре мундир полковника.

Вот так: эта гнида, не прослужившая в армии и дня, была, оказывается, полковником, а скоро станет и главнокомандующим всех родов войск Королевства – а я, его ровесник, отдавший лучшие годы армии и полиции, все еще носил чин капрала и в этом чине собирался выйти на пенсию.

Когда пытка отречением завершилась, и раздавленный бедой старик перестал быть Королем, я испытал явное облегчение. Иногда ожидание конца бывает много хуже, чем сам конец. Что же – теперь все было кончено. Человек, всю жизнь служивший лучшим воплощением моей веры, только что сложил с себя полномочия, освободив трон для демона.

Поднявшись, я встал напротив портрета старого короля и сделал в последний раз то, что делал до того каждое утро, – поприветствовал его по-военному. Как бы я ни расценивал его отречение – он заслужил это приветствие. После я снял его портрет со стены, аккуратно извлек из рамки фотографию и спрятал ее в дальний ящик стола.

Эдди, инаугурация которого должна была состояться через месяц, остался висеть – для меня он оставался прежним ничтожеством, и я не собирался отказываться от ежевечерней ножевой экзекуции его теперь уже почти королевской рожи.

Я не знал тогда, как собираюсь поступить. В подобную ситуацию попадать раньше мне не приходилось. Одно могу сказать точно: мне нравилось, что я воспринимаю ее много спокойнее, чем сам от себя ожидал. Все-таки сказывалось то, что я бримо, – я умел держать удар. Я чувствовал: выход есть, он обязательно должен быть, но каков он – пока не знал.

Я работал – и, как всегда, это не была легкая работа. Тренировался, как одержимый. Дольше задерживался в тире. Перед самым отходом ко сну сразу вслед за двумя стаканами апельсинового сока я делал четыре подхода по четыре броска в безобразного Эдди – занимаясь этим особенно тщательно.

Раз в неделю, как прежде, ко мне приходила Лайла, на профессиональные качества которой перестановки в королевской фамилии никак не повлияли. Конечно же, она видела опустевшую рамку из светлого ореха – но лишних вопросов не задавала.

Долорес из книжного магазина (волосы ее в последние два месяца снова приобрели оттенок революции) при виде опустевшей рамки подозрительно хмыкнула, но тоже обсуждать эту тему не стала – в конце концов, мы встречались не для этого.

Общим ощущением от тех дней было то, что рутина продолжается, но жизнь – застыла.

Завершилась эта пауза внезапно, когда, включив телевизор, я наткнулся на репортаж о королевской фамилии.

Вдовствующая супруга покойного принца Бенедикта с малолетней инфантой Мариной нанесли визит старому королю и провели с ним два часа за чаепитием и беседой. Там же, в резиденции отца, временно проживает и наследный принц Эдди, которого отец ежедневно готовит к новой ответственной роли, делясь накопленным за годы своего мудрого правления опытом...

СМИ, ввиду того, что Эдди вот-вот должен был сделаться королем, а фактически уже стал им, резко сбавили тон. О былых прегрешениях Эдди вспоминали в добродушно-извинительном тоне – если вспоминали вообще.

Пустили нарезку видео с пресловутым чаепитием.

...Старый король, сложивший полномочия, в маловатом ему краснопарчовом халате походил на удрученного владельца ломбарда, вышедшего на почти бедный покой. Эдди, старавшийся казаться серьезным и нелепо от этого деревеневший, с плохо скрываемым торжеством поглядывал на вдову своего брата, располневшую с годами Матильду, с которой всегда был на ножах.

Единственной, кто казался там живым человеком, была семилетняя инфанта Марина, внезапно вскочившая с места, подбежавшая к дяде Эдди и дернувшая его за рыжую козлиную бороду. Безобразный Эдди, явно не ожидавший этого, показал было злые зубы через кровавую щель рта, но тут же одубел снова, потрепал неохотной рукой племянницу по волосам и улыбнулся наифальшиво, забыв стереть из глаз неприязнь...

Инфанта Марина. Я наблюдал за белокурой зеленоглазой девочкой – и мысли, надолго замерзшие от отчаяния, начинали, кажется, помаленьку оттаивать. Инфанта Марина – следующая после Эдди претендентка на престол. Инфанта Марина – вот оно, решение!

Я вспомнил, что в дни траура по случаю гибели принца Бенедикта проститутки, возмущенные тем, что им запретили работать, вышли на марш протеста и скандировали, спускаясь порочными рядами по Бульвару: «Ни принца, ни короля! Ни принца, ни короля!» Пару девиц, неприлично пьяных и извергавших в промежутках между скандированием совсем уж циничную нецензурщину, мы тогда задержали, и одна из них, уже усаженная в фургон, все продолжала орать, пока ее не вырвало: «Ни принца, ни короля! Ни принца, ни короля!»

В завершение хроники было объявлено, что сразу после инаугурации король Эдуард отправится в длительный вояж по стране, в ходе которого, как главнокомандующий и монарх, посетит все воинские и полицейские подразделения государства и в каждом из них проведет не менее суток, знакомясь с личным составом и вникая в проблемы и суровый быт подчиненных ему людей в форме.

Традицию такого обстоятельного знакомства с силовиками завел именно старый король – в предстоящих действиях Эдди чувствовалась его направляющая длань. Правда, старому королю это знакомство так понравилось, что затянулось на целых пять лет, за которые он насквозь пропитался армейским духом и заслужил среди военных настоящий авторитет.

Вряд ли можно ожидать подобного подвига от Безобразного Эдди, но... Был в этой новости глубоко интересный лично для меня момент, и, проанализировав новость, я понял, в чем он заключается: если Эдди всё же выберется в свой вояж, неминуемо наступит день, когда он появится и в нашей элитной бригаде.

Определенно, что-то менялось – и это были перемены скорее в лучшую сторону! Так работает «правило тупика» – добравшись до самого его конца, дальше ты можешь двигаться только в обратном направлении.

– Ни принца, ни короля! Ни принца, ни короля! – повторяя этот чудесный лозунг, особенный смысл которого только сейчас открылся мне, я широко улыбался. Скрипнуло, взвизгнуло и стронулось с места вновь. Жизнь перестала стоять на паузе. Теперь я знал, что мне следует делать, а знание пути всегда вселяет спокойствие.

Отныне я и был спокоен. Спокоен, как скала. Спокоен, как бримо.

Даже в тот самый день, когда состоялась инаугурация

Безобразного Эдди – ни одно облачко не омрачило ясный горизонт моего сознания. Я – бримо, а бримо умеют держать свои эмоции и чувства под контролем. Когда цель ясна, бримо перестает быть человеком и превращается в высокоэффективный механизм для ее достижения.

Все подвигалось своим чередом. На следующий день Эдди, как и было объявлено, в качестве главнокомандующего и короля отправился принимать военно-полицейское наследство, а еще через две недели окончательно определилась точная дата визита нового короля в расположение бримо.

Вообще, все это королевское действо напоминало, скорее, концертное турне поп-звезды с широкой информационной поддержкой. Ежедневно СМИ публиковали фотографии безобразного Эдди в новых декорациях. Эдди за рулем армейского грузовика (почти как Элвис!). Эдди на броне танка. Эдди, схлопнув губы в тонкую красную линию, вглядывается в оптический прицел снайперской винтовки или в перископ подводной лодки. Эдди изучает новые образцы полицейского вооружения, закупленные в Германии. Эдди в составе патруля Гражданской гвардии инспектирует участок леса, где накануне были обнаружены следы браконьера. Это быстро стало традицией: новый день – новая сотня гламурных фотографий в стиле «милитари-полис».

Очень скоро все «знакомство короля с буднями и бытом подразделений» свелось к постановочным фотосессиям, неизбежно перетекавшим в продолжительные застолья, до которых Эдди всегда был охоч. Кажется, новоиспеченный король входил во вкус, и вкус этот был с явной гнильцой – как и все, к чему прикасался венценосный мерзавец. Во всяком случае, на снимках, в окружении брутальных людей в форме, одного из которых он обязательно дружески обнимал, безобразный король Эдди выглядел все более развязно и двусмысленно – тем более, что слухи о его особенном интересе к суровым самцам ходили всегда, и всегда же имели под собой самую реальную почву.

Это был позор, какого полиция и армия Королевства еще не знали. Совсем скоро Эдди намеревался быть у нас – для очередной фотосессии и кутежа. Его «неформальность» и пьяные братания были мне только на руку – какой бы подтекст они в себе ни несли. Все двигалось, ускоряясь до темпов пугающих, к финалу – но я жестко контролировал процесс.

В конце концов, до воскресенья – дня визита Эдди в наше расположение – осталось семь стремительных дней.

В понедельник, расставаясь с Лайлой, я сказал ей, что больше мы не увидимся.

– Ты уезжаешь? – спросила она.

– Да, ответил я.

– Жаль, я буду скучать, – она огорчилась.

– И я буду скучать, Лайла, – согласился я и подумал, что говорю чистую правду.

Хлопнула дверь, и какое-то время я еще слышал на лестнице шуршание ее легких шагов. Лайла была отличной девчонкой.

Во вторник я успел заскочить в тот самый магазин на Бульваре, где покупал когда-то портрет старого короля, – и вышел оттуда не с пустыми руками.

В среду я позвонил матери, чтобы сказать, что у меня все хорошо. Я так редко делал это, что она, конечно же, не поверила и сразу встревожилась – но тут уж мне некого винить, кроме себя.

В четверг у меня была Долорес. За кофе перед самым ее уходом я сказал ей, что уезжаю в командировку и вернусь не раньше чем через месяц.

– Вот как, – сказала безразличным, как и всегда, голосом она, и вдруг, подняв апельсиновую на тот момент голову, посмотрела в глаза мне очень внимательно. – У тебя все в порядке?

– Да, – согласился я, – у меня все в порядке.

– Точно?

– Точнее не бывает.

– Ладно, – сказала она. – Нам бы поговорить надо как-нибудь. По-настоящему. Серьезно. Хорошо?

– Обязательно, Долорес. Вернусь – и поговорим, – от того, что пришлось соврать ей, я самым непростительным образом смутился. Сказать ей, что это последняя наша встреча, я отчего-то не решился.

Поцеловав ее и прижав к себе, я постоял так чуть дольше обычного. Мне нравился запах ее волос: они пахли мятой, а еще – лавандой. Когда ее маленький красный «Пежо» отъехал – я наблюдал за этим через окно кухни, – я вздохнул.

В пятницу в пустовавшую уже который день рамку орехового дерева на восточной стене я поместил портрет белокурой девочки с зелеными королевскими глазами – инфанты Марины, следующей в очереди на престол. До совершеннолетия ее регентом будет мать, вдовствующая принцесса Матильда, которую я уважал за одну лишь ее глубокую инстинктивную неприязнь к Эдди.

В субботу я сорвал с мишени изувеченный портрет самого Эдди, прихватил пяток оставшихся от распечатанной партии и не использованных мною, вынес всю эту мерзость на балкон, изорвал в клочки и аккуратно сжег в глубокой обливной пепельнице. В конце концов

осталась горка исходящего зловонным химическим дымком пепла, который я вытряхнул в унитаз. Портреты негодяя больше не были нужны мне.

Завтра в 15:00 король Эдуард должен будет прибыть в расположение бримо. Я, как и стоило ожидать, оказался в числе пятидесяти лучших бойцов подразделения, отобранных для непосредственного общения с венценосным гостем и ужина с ним. Ужин, в соответствии с протоколом мероприятия, должен был начаться в 17:00. В списке я значился под седьмым номером – счастливое число.

Эдди-Эдди, Безобразный Эдди... Обстоятельства трагические и случайные загнали нас с ним на узкую тропку, разойтись на которой не было никакой возможности. Для меня – уж точно. Если допускаешь осквернение Бога – значит, предаешь его. Умей я предавать – все было бы иначе. Но бримо этому искусству не учат, а я был бримо до мозга костей. Бримо – и монархистом. И если бог абсолютной монархии – мой Бог – был оскверняем, я не собирался это терпеть.

Я принял душ, выжал два стакана апельсинового сока и отправился в постель. Мне нужен был крепкий здоровый сон, чтобы осуществить все, что я задумал.

* * *

Дальнейшее всем досконально известно – как если бы они сами при этом присутствовали. Это и понятно: «военно-полицейское шоу» Эдди, как уже было отмечено, действительно освещалось на самую широкую ногу. Профессиональные киношники и лучшие фотографы Королевства скрупулезно фиксировали для истории каждый шаг нового короля. Тем же занимались операторы сорока трех местных и зарубежных телеканалов, регулярно сопровождавшие короля Эдуарда в ожидании новой сенсации. Что же – они ее получили.

Королю явно нравилось среди бримо – сплошь бородатых мускулистых здоровяков, походивших на классических бандитов более, чем сами бандиты. Дошло время и до фотосессии, и здесь монарх не знал удержу. Фотографии с руководством, групповые фотографии, фотографии в мини-группах, а потом еще и с бойцами по отдельности. Во время одного из таких снимков все и произошло.

Партнером короля на фотографии должен был выступить смуглый бородач с крепкой, напоминавшей обрубок свежеошкуренного бревна шеей, с половиной уха и иссеченной шрамами правой половиной лица. Даже на фоне свирепых коллег этот бримо производил впечатление безграничной брутальности – а такие, как известно, и привлекали свежеиспеченного монарха в первую очередь.

Теребя рыжий бакенбард, интимно наклонясь к бородачу, король

долго вполголоса расспрашивал его об обстоятельствах, при которых тот заработал свои шрамы. Бородач охотно рассказывал, высверкивая то и дело хорошей улыбкой, – при этом казалось, что зубов у него во рту много больше, чем тридцать два.

Монарх, явно увлеченный рассказом, блуждающе улыбался и зачарованно смотрел мужественному ветерану в рот. Когда разговор был окончен, король и его собеседник встали под софиты; иссеченный шрамами боец аккуратно положил тяжелую руку на узкое плечо короля, обнимая его...

Все дальнейшее случилось в долю секунды – никто не успел ничего сообразить и среагировать на происходящее. Бородач неуловимо быстро и в то же время, казалось, нежно переместил огромную ладонь на лоб короля, запрокидывая его голову кверху, и ножом, мгновенно и неизвестно откуда впрыгнувшим ему в левую руку, перерезал королю тугое обнажившееся горло. Одно сильное, быстрое и уверенное движение, не оставившее королю ни малейшего шанса.

Выглядело это поистине жутко: как если бы дрессированный медведь во время представления внезапно и без причины спятил, явил свою звериную суть и прихлопнул дрессировщика, как комара.

После бородач бросил нож (точнее, кинжал «Эпплгейт-Фэрбэрн Комбат», как было позже установлено экспертизой) и продолжал – самый спокойный из всех – стоять, глядя, как хриплыми пульсами вытекает жизнь из маленького рыжего человека, агонизирующего у его ног.

Замешательство, впрочем, длилось не более секунды – на убийцу навалились, он и не думал сопротивляться, но всё было кончено: король Эдуард, с перемазанной кровью бородкой, сотрясся отчаянной последней судорогой, прохрипел протяжно в окончательный раз – и застыл.

Более качественной – и более страшной – документальной видеосъемки убийства еще не было. Ролик с невозможными кадрами, выложенный в сеть, за одну только неделю набрал сто двадцать три миллиона просмотров на Ютюбе – и продолжает набирать.

Огромное количество просмотров получила и непонятным образом просочившаяся в сеть запись первого допроса убийцы, на котором страшный бородач – оказавшийся, кстати, тезкой убитого им короля и носивший среди коллег прозвище «Безобразный Эдди» – на просьбу пояснить причины убийства монарха, глядя в камеру взором серьезным и простым, отвечает:

– По существу данного вопроса имею пояснить следующее: я убил короля, потому что я – монархист!

Подобный ответ может показаться тонким издевательством – да

так, кстати, все и решили. Одних этих слов было достаточно, чтобы колоритный «спец» начал уверенно набирать популярность среди антимонархического, насквозь пропитанного нигилизмом большинства.

Вообще же, главный парадокс всей ситуации заключался в том, что практически сразу общественное мнение безоговорочно, целиком и полностью оказалось на стороне бородатого убийцы. Удивляться здесь нечему – люди, увы, не привыкли мыслить самостоятельно. Они предпочитают пользоваться готовыми стереотипами, один из которых гласит: монархия – это дорогостоящий и нелепый пережиток прошлого, а короли, со всеми своими церемониями и ритуалами – всего лишь бесполезные напыщенные паразиты на шее демократического общества.

Не лучшую роль в выборе симпатий сыграла и отвратительная персональная репутация убиенного короля Эдуарда, который, будем справедливы, действительно не отличался при жизни праведностью.

Внес свою лепту и затяжной экономический кризис в стране: когда народ в очередной раз кладет зубы на полку, короли, как известно, становятся еще большими козлами отпущения, чем обычно.

Все это привело к тому, что трон серьезно зашатался. Позиции его и так никогда не были особенно прочными, но сейчас ослабли до почти предсмертного состояния. Никогда еще в истории Королевства рейтинг монархии не опускался до столь постыдно низкой отметки, и если Королевство все же не пало, то лишь потому, что среди ненасытных политиков имелось немало тех, кто хорошо грел на старой доброй традиции руки, честно опуская себе в карман половину суммы, ежегодно выделяемой из госбюджета на содержание королевского дома.

Так или иначе, сразу после убийства короля стихийно и со скоростью небывалой возникло мощнейшее общественное движение в поддержку заключенного под стражу ветерана спецподразделения. Движение это захватило все слои общества – даже проститутки, которым по случаю траура запретили работать целых девять дней, вышли на манифестацию под лозунгом: «Долой монархию! Свободу Безобразному Эдди!»

СМИ, которые ветеран не жаловал, мигом превратили его в героя, называя совершенное им убийство «жестоким, но неизбежным выступлением бунтаря-одиночки против прогнившей насквозь системы» или «хирургически точным надрезом, вскрывшим болезненные язвы нашего корумпированного общества и выставившим их на всеобщее обозрение в безжалостно ярком свете истины».

Безвестный бримо в одночасье сделался звездой номер один. Лучшие адвокаты дрались за право защищать его в суде – разумеется, совершенно бесплатно. Три международных издательства предложи-

ли ему три замечательных, один другого заманчивей, контракта на издание его биографии. Крупная компания-разработчик компьютерных игр пообещала Безобразному Эдди идеально круглую сумму за право использовать его имя и образ в качестве прототипа главного героя своей новой игры, обещавшей, учитывая популярность убийцы, стать мгновенным лидером продаж. Самым модным принтом года стало контрастное черно-белое изображение лица Эдди в обрамлении его знаменитой фразы: «Я убил короля, потому что я – монархист».

Бородатая победительница Евровидения, порядком уж было подзабытая, воскресла из небытия и двенадцать недель кряду продержалась в чартах с хитом «В постели Эдди безобразен – но как хорош!», причем в Великобритании песня добралась до первого места и удерживала его целых три дня. Да что бородатая... Сама певица Примадонна – мастодонт мировой поп-сцены – выступила с яркой эмоциональнолй речью в поддержку Эдди, а в конце ее неожиданно пообещала ветерану оральный секс, как только он обретет несправедливо отнятую у него свободу. Анджелина Джоли, известная своей активной гражданской позицией, в свою очередь, занялась сбором подписей известных в Голливуде и прочем мире персон под петицией о немедленном освобождении Эдди – и первым, кто подмахнул документ, оказался сам Брэд Питт!

Со своей стороны, сбором подписей в поддержку Эдди занимались и бримо – в трагическом конфликте между королем Эдуардом и Безобразным Эдди симпатии подразделения, как и следовало ожидать, оказались целиком на стороне своего сослуживца. Да и то: Безобразный Эдди был из бримо – а бримо своих не бросают.

Тысячи романтически настроенных, юных и не очень, красивых и напротив, представительниц женского пола писали Безобразному Эдди в тюрьму письма с признаниями в любви и предложениями немедленно выйти за него замуж. Пришла открытка в виде больших красных губ и от девушки по имени Лайла, с которой Эдди встречался раз в неделю, – но гораздо больше взволновало его письмо от Долорес из книжного магазина, начинавшееся словами: «Милый Эдди! Я всегда подозревала, что ты из наших...» Безобразный Эдди не был «из наших», но в свое время, находясь на свободе, так и не успел обсудить с Долорес кое-какие важные, пусть и не связанные с поиском мировой справедливости, темы – и теперь рад был возможности сделать это.

Политики всех мастей, кроме монархистов-консерваторов, вознесли Безобразного Эдди на щит идейной борьбы и беззастенчиво использовали его имя в целях своих пропаганд. Показательно, что сам Эдди, быстро, как видно, понявший всю мощь масс-медиа и обще-

ственного мнения, игравших в данной ситуации на его стороне, в многочисленных интервью ничего напрямую не отрицал, но ничего и не подтверждал, предпочитая высказываться уклончиво, – то есть, вел себя в точности, как какой-нибудь политик, которых он так не любил.

Однако не стоит забывать: Безобразный Эдди был из бримо, а сотрудник Бримо – это не просто центнер агрессивных мышц, но специалист, способный мгновенно оценивать ситуацию, принимать верные решения и действовать в соответствии с ними в постоянно меняющейся ситуации форс-мажора.

Впрочем, он мог бы и не осторожничать, и вообще – нести всё, что ему вздумается: популярность его к тому времени была столь велика, что превратилась в самостоятельное явление, повлиять на которое сам Эдди уже не мог, как бы ни пытался. Он и не пытался – предоставив событиям развиваться своим чередом. В конце концов, о причине своего поступка он поведал чистую правду – а дальше каждый был волен толковать ее, как ему вздумается.

Суд, намеревавшийся было упечь ветерана за решетку на долгих двести восемнадцать лет, под давлением общественности и благодаря изощренному мастерству адвокатов, делавших на шумихе вокруг цареубийцы замечательную саморекламу, вынужден был изменить приговор. В итоге Безобразному Эдди присудили всего семь лет одиночного заключения.

Если бы судья назвал большую цифру – он просто не добрался бы до дома живым. Даже за эти семь лет на выходе из суда он был встречен могучим улюлюканьем и яростно атакован тухлыми яйцами – многотысячная группа поддержки Эдди, собравшаяся у здания суда, не дремала. Адвокаты, впрочем, обещали, что непременно добьются пересмотра и этого решения в сторону смягчения приговора – и, зная высочайший уровень их пронырливой квалификации, можно было не сомневаться, что так и будет.

Кстати, благодаря стараниям тех же адвокатов, тюрьма, куда Безобразный Эдди отправился отбывать наказание, оказалась вовсе не рядовой: в свое время ее строили для вип-персон, наподобие совсем уж зажравшихся политиков или окончательно обнаглевших банкиров – так что условия у Эдди в неволе были самые что ни на есть достойные. Достаточно сказать, что поле для гольфа, которым располагало это пенитенциарное заведение, стабильно входило в десятку лучших в Европе.

Эдди любили. О нем писали. Его показывали. Ему платили. Его цитировали. О нем мечтали. Перед ним преклонялись. Ему посвящали песни, стихи и докторские диссертации. Им пугали непослушных детей и безнравственных работодателей. За него готовы были пойти

в огонь и воду. Если бы Эдди родился в Ливерпуле, он, пожалуй, мог сказать бы: «Сейчас я популярней Иисуса Христа!» – ему простили бы даже это.

Но ничего такого он говорить не собирался. Более того: Безобразный Эдди был, кажется, единственным, кто ни на йоту не поддался всеобщему ажиотажу. Напротив: когда ветеран осознал, что совершенный им во имя монархии акт убийства привел к прямо противоположному результату, он впал в глубокое отчаяние.

В те несколько дней, когда антимонархические настроения в Королевстве достигли пика, Эдди, как сам он признавался впоследствии, был даже близок к тому, чтобы наложить на себя руки. Но все-таки... все-таки – он был из бримо, а бримо не привыкли сдаваться. Монархия, воплощением которой стала, не без участия Эдди, девочка с льняными волосами и морским именем, устояла – и безобразный Эдди тоже начал выбираться из кризиса.

Да, в первые недели заключения его часто тревожили сны, в которых все странным образом смешивалось воедино: забастовки и манифестации, возглавляемые старым королем в халате из красной парчи; Лайла и Долорес на танковой броне под кровавым стягом революции, в окружении бесчисленного множества пьяных и сознательных проституток; женщина в розовом халате и с зажигалкой в высоком готическом окне королевского замка Монтескье, готовая вспыхнуть вот-вот страшным факелом; светловолосая девочка с исполненными ужаса изумрудными глазами, убегающая от неизвестного врага ночными трущобными улицами, а еще...

А еще во сне он явственно ощущал на ладони своей правой руки теплую и сухую кожу королевского лба и слышал хриплый клокочущий звук, с которым жизнь убегала из тела человека, которого он так ненавидел; еще он помнил жалкое тело его, сжавшееся смертно на плитах пола... Но так было только в первые недели – и все реже, реже, пока не исчезло окончательно.

Постепенно к Безобразному Эдди вернулись главные его достоинства – ясность мысли, целеустремленность и сила духа. В тюрьме он продолжал много тренироваться – задерживаться здесь надолго он, в свете текущей ситуации, не планировал, и к моменту освобождения хотел быть даже не в хорошей – в исключительной форме. Он прилежно сочинял автобиографию (контракт с отличными нулями все-таки был заключен) и, кроме того, неустанно и напряженно размышлял. О чем?

Разумеется, о спасении монархии – Безобразный Эдди не привык менять богов как перчатки.

Каталония

Борис Лихтенфельд

ЛИМИТРОФЫ

Куда вы скрылися, полночные герои?
Е. Баратынский

Бабьего лета с душою смущенной лукавые шашни:
вся вдруг зардела, как на рассвете верхушки деревьев.
Польские сыроежки на мшистой коряжистой пашне
всходят – и мнится уж сеятель смуты Гришка Отрепьев.

Речью шуршат Посполитой росистые стежки-дорожки,
и желтоногие белополяки, приветливо сдвинув
шляпы свои, подзывают издали, но в лукошке
тут же синеют, от местных в отличие белофиннов.

Разноплеменные листья смешала посмертная участь.
Разновременные лица в дебрях былого… И век сей,
там пребывает уже, чуть проклюнувшись и озвучась
в сопоставлениях вольных, в поэтике тихих аннексий.

Ею же взятый в полон, невоинственный Вяйнямёйнен
в чащу заводит словесную, в непроходимые топи
и затаясь наблюдает с пристальным недоуменьем
корчи славянских корней в борьбе мессианских утопий.

Буферной зоны букварь обнажает следы катастрофы,
после которой какая поэзия! Царство распада,
княжество тлена – ее ненадежные лимитрофы,
где каждый куст метафор – провокация или засада.

Сколько в него ни стреляй – не найдет виноватого пуля.
Сколько снегов растаяло с майнильского инцидента!
Что-то скрывая в потемках, какой-то сполох карауля,
память истории рвется, как старая кинолента.

Вижу другие возможности для продвиженья (другая
так вот нам брезжила жизнь у имперских окраин остзейских).
Медлю, колеблюсь, но всё же, со вздохом их отвергая,
внутренний строй сохраняю и внутренних полицейских.

Ритмы лесных барабанщиков порабощают волю,
тон задают и размер, чтобы снайперски взять на мушку
неуследимую суть по всему смысловому полю,
ориентируя слух на невидимую кукушку.

Освободиться не в силах от прелести и капризов
мраморной нимфы по имени Эхо, стыдливо рифмую
с трепетом лепет, звучащий в акустике новой как вызов.
Сквозь бурелом заклинаний на речь выбираюсь прямую.

Спите, герои полночные! Мир вашим дóмам подземным!
Мир блиндажам-погребам! Да не будет вовек потревожен
сон ваш ни шорохом мыши летучей, ни рёвом стозевным!
Плач из надтреснутой лиры извлекаю, как меч из ножен.

Жду, когда выползут на симпатический снег в маскхалатах
белым по белому буквы тех будущих маргиналий,
что Настоящему не захватить: на полях заклятых
искажено переводом недоступное в оригинале.

Стражи просодии отчей! Ряды ваши нынче редеют.
На пограничной заставе иные не помнят присяги.
Но, обветшав и обвиснув, еще золотятся и рдеют
над полувнятными тропами ваши опальные стяги!

2008

ГЕОРГ ГЕЙМ

16 января 1912

бежать от будущего чей зловещий гул
всё явственней тому кто заглянул
в прозор времен в сосуд где горсть оживших гранул
рельефными виденьями на дне
о предстоявшем как о судном дне
давала знать и с ужасом отпрянул

бежать от приступов тоски оцепенев
сквозь гниль и гнусь прозрев грядущий гнев
и трансмутацию невыразимой смуты
в драконов черных бешеную рать
над обреченным городом и рвать
реальности ослабленные путы

бежать от шелестов чумных газет и крон
унтер ден линден от со всех сторон
обставших призраков от судьбоносных знаков
читавшихся повсюду как следы
предвестия в предместиях беды
жертв жерновов ее заранее оплакав

бежать от брезжившего по наитью по
брусчатке мимо коробов депо
пакгаузов пандоры и беллоны
дымивших на рассвете пробудясь
бессонниц душных смрад и лязг и грязь
грузя в готовые к отправке эшелоны

бежать от незнакомого лица
днесь в лету канувшего века-подлеца
преступные с младенчества повадки
в чертах его невинных распознав
предугадав и вероломный нрав
и мощь палаческой необоримой хватки

бежать от неизбежного скольжя
ему навстречу зыбкая стезя
покуда как струна не оборвется
покуда музыка застыв не рухнет вдруг
артикулируя в руинах новый звук
устами юного первопроходца

бежать от будущего к берегу реки
свои катящей воды вопреки
оковам ледяным и как прибрежный тальник
свидетельствует ухнуть в глубину
три месяца спустя пойдет ко дну
расколот ледяной скалой титаник

2008

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Перед умственным взором недремлющим
прокрути эту ленту назад,
в каждом кадре мучительным зрелищем
концентрируя долгий распад
эфемерной империи внутренней,

уязвленной, но верной судьбе,
словно звезды – вечернюю с утренней –
день и ночь совмещавшей в себе.
Смысл какой-то ведь был в этой верности!
Камнем канул – вернуть помоги,
Режиссер, пусть на зыбкой поверхности
в той же точке сойдутся круги!

…Сжалась вся и, как память, изглодана.
Старый льется по-новому свет,
приглушен – как бы глядя из Лондона
(Анатолий Максимыч, привет!)
Расцвели все оттенки осенние
умирания в финских лесах,
в белом цвете суля воскресение
на каких-то других небесах.
Где-то там, довоенная школьница,
мама в стайке ближайших подруг.
Карнавальная дикая вольница
волны счастья разносит вокруг,
опьяняет большими надеждами…
«Страшно!» – голос за кадром сказал,
и балетными па центробежными
раздвигается зрительный зал.

О, как благоуханна, как солнечна
та лужайка в наплыве тоски!..
Потемнеет – и двушечку Сонечка
заработает за колоски.
По ненастному времечку Настенька
побредет – не тюрьма, так сума!
Ономастика строгого кастинга
слух линчует и сводит с ума.
Вылезает, волнами насилия
поднята из глубин забытья,
на экран, как большая рептилия,
достоверности галиматья,
между строк и навязчивых роликов
несусветный кроит свой сюжет,
розовеет колонией кроликов,
кружевами брабантских манжет.

Вот и пьяный корабль обессиленный,
как синюшный ночной нищеброд,
всё какой-то влеком Абиссинией,
пряным веяньем знойных щедрот.
Всё не так ведь, как было… Напомни-ка,
захвати болевой ареал,
чтобы зритель под крышей питомника
глупых страхов своих не дремал!
Всколыхни декорации горние,
чтобы Индии Духа достичь,
чтоб в священном лесу Калифорнии
ожила заповедная дичь!

…Мертвый дом перекличкой певучею,
как струною разбужен тугой.
Произвольный монтаж по созвучию
узаконен сибирской тайгой.
Смещены Достоевским и Диккенсом
оба центра, а память в плену,
как затворница Эмили Дикинсон,
отдаленную ловит волну.

2013

DIE SCHULDFRAGE

1

И в третьем рейхе пели птички, дар
забвения ниспосылая:
ни труб, ни барабанов, ни фанфар
суконных маршей, ни раскатов лая
из репродукторов! Прекрасные цветы
своим благоуханием кого-то
спасали от вонючей духоты,
а звезды орднунгом рассеянной когорты
о нравственном законе и тогда
кому-то возвещали тиховейно,
и вспоминался запрещенный Гейне,
не избавляя от стыда…

2

С любимой кошкой на диване,
давно уж всё поняв, лежишь

в каком-то полусне, в нирване,
в кармане честно спрятав шиш.

Не угрызайся, внуков радуй
и сам от мерзостей извне
служи сомнительной оградой
сомнамбулической жене!

Какое бы ни предстояло
возмездие, лови свой шанс:
вдохни поглубже, старый Ганс,
и с головой – под одеяло!

3

В здравом рассудке, как в противогазе,
можно отравленный воздух вдыхать,
с иммунитетом к липучей заразе,
как соловей, в эмпиреях порхать,

проповедь в кирхе о муках Господних
утром воскресным послушать… Ну что ж:
пусть не готов был на жертвенный подвиг –
не соскользнул ведь на подлость и ложь!

Совесть чиста: не поддался психозу
разгорячённой сплоченной толпы…
Но безрассудную «Белую розу»
вспомнишь – и в душу вонзятся шипы!

2016

ДВА АЛЕКСАНДРА

То наш Агамемно́н, пришедшего с мечом
прогнавший, то плешивый щёголь
(впечатался плевок в декоративный цоколь
победного столпа) – лишь старцем Кузмичом
не представал в глухих урочищах Сибири,
поскольку к заговору не примкнул поэт…
Однажды, кажется, друг друга невзлюбили –
днесь помирились, встретясь тэт-а-тэт.

Ослабли узы времени, а имя
связует ли еще, иль Таганрог межу
провел на подступах к тому же мятежу?
ужель чтоб мериться заслугами своими?

О вольности, о власти, о тщете
всех слав мирских и всех земных владений
беседуют, как будто в кущи те
далеких мест переселился гений.
Уже отца курносый силуэт
отмщения не требует от сына.
Отчавкав, сплетен выдохлась трясина.
Французский афеизм забыв, поэт
пред Словом, в плоть одетым наяву,
склонился кротко, а Благословенный,
Парижем с честью принятый и Веной,
зрит Бога сквозь горящую Москву,
что, как библейский куст, неопалима…
Беседуют – и льнет душа к душе,
и обе внемлют арфе серафима
без ужаса священного уже…

2017, Санкт-Петербург

Борис Григорин

Невидимка

* * *

Ветвь жасмина в поллитровой банке.
Там варенье сливовое было.
Это позже – митинги и танки,
Это – до, когда меня любила.

Там пьют чай уверенно и смело,
Ничего о будущем не знают.
А стреляют, им какое дело.
Пусть стреляют, в них не попадают.

Там меняют помыслы, как платья,
Там ни слез, ни радости не прячут.
Плачут по тебе еще объятья,
Поцелуи полуночью плачут.

Чашка чая, постояв, остыла.
Холодно, а говорили, лето.
Значит, это будущим и было.
Только настоящего все нету.

1996

НЕВИДИМКА

Ты и до этого не слишком был заметен,
И вот вдруг превратился в невидимку.
Ты – фикция. И голышом, как дети,
Идешь по снегу ночью, не по Риму.

Я знаю, кто заглядывает в окна,
Крадет с прилавка фрукты незаметно.
Как в линзе, выгнут ты, так в жизни вогнут,
А в общем, выгнан, неудачник, бедный.

Что говорить! Полгорода не видно.
Уэллс не про друзей писал… Но вещи

Могли бы пропадать не так обидно,
Не появляться, где не ждешь, зловеще.

Да и любовь… Ее всегда так мало.
Все время пропадает, нелюдимка.
То я был зол, то ты опять устала…
Лишь по слезам и видишь невидимку.

2002

* * *

Так ничего и не увижу:
Галапагосы, Фиджи, дайвинг,
Маркетинг тех блондинок рыжих,
Брюнеток этих моментальных.
Не будет у меня нимфеток
И дистрофических моделей.
Возможно, что отменят лето,
Примерно так же, как и тело.
Тут дело не в наличье денег
Или покоя, дорогая.
Не потому, что занят делом…
Нет, ты – какая-то такая.

2013

РЕЗИНА

Как нам вернуть резиновое время,
Где весело и растяжимо жили,
И если обзывали вас евреем,
То справедливо, в правильном режиме,
И если отправляли за границу,
То на резинке быстро возвращали,
И были там враги, как говорится,
Не бандюгами все-таки – врачами…

Жизнь истончилась жидкокристаллично,
Не видно связи, и причины нету
Возвратно-поступательно, прилично
Жить, наступить порядочному лету.
Вот как-то не по талии резинка!

Всё больше на липучках наши скрепы,
И держатся, на чем – не ясно, стринги,
И торжествуют Курбские, Мазепы.

Игрушечное стало настоящим,
Все на таблетках, и не купишь клизму:
Всё стало твердым, дорогим, блестящим,
А каучук рванул к капитализму.

2017

БОЛЬШАЯ ИЖОРА

Всё дальше жизнь тебя запихивает
в рукав, в какую-нибудь дельту,
всё не по-твоему, по-ихнему, –
живешь в провинции, как в детстве, –
по-стариковски, по-старушечьи,
зимуешь нетехнологично,
пока за окнами всё рушится,
и снова строится логично.
Свое вдруг спрячется за общим
и обзывается вчерашним…
А там – пустеющие рощи
и одиночество не страшное.

2011

Янислав Вольфсон

В темноте

М. В.

* * *

Вот мы и попрощались
загодя
Без шума грома и дрожания дождя
В пустынном брошенном кинотеатре
Где лента вдруг оборвалась шурша
По рваной ткани шорх карандаша
Экрана нет и воздух жаркий

Ребенок испугавшись взял тогда
Меня за кисть руки к нему лежавшей ближе
И подавил неполное рыда
Из бессловесной темноты сюда
Попавшее
Как метеор на храмовую крышу

Мы сразу поняли что ожидает нас
Меня сегодня а его нескоро
Как темноту скрывающую глаз
Уже наверно час который

Я был спокойней слова никогда
Рука окаменела как руда
Сказать не мог и думать не решался
Кто знает где я встречу встречу век
А так сижу еще как человек
Навеки с сыном попрощался

* * *

Ехал в средней линии
Никому не мешал
Посмотрел направо

Сидит женщина за рулем и плачет горько
Руки воздевая к небесам и коря богов

Посмотрел налево

Немного сзади нагоняя меня шла машина
За рулем конечно плакала женщина
и понять в чем дело было нельзя
На руках она держала апельсиноволицего

Младенца
И пыталась его укачать

Я насторожился и прибавил скорость

В правом ряду теперь
Вдалеке от меня

Прячась за шторкой
За рулем
Сидела маленькая девочка
И играла в куклы

Я прибавил что было сил

Дорога передо мной была теперь пуста

Спускаясь в гавань

Только в самой дальней точке стояла старуха

Раскинув руки

Для объятья

* * *

Вот и стала постепенно пресной
Средиземноморская вода
Вынужденно слушает словесность
Приговор народного суда

Это кто в подвале заседали
Главное решение крича
О посадке солнечной детали
До последнего луча

Как в падучей корчится прохожий
Заслуживший более других
Опуститься в сумрак односложный
Поднадзорно без единой зги

Участковый сядет на приступку
На ступеньку или парапет
Рядом сядет молодой отступник
Приступом раскаянья согрет

Мама ты зачем пустую раму
С перекосом старым без стекла
Вымыла опять до первозданной
Чистоты над дырами двора

Перестань краснеть и торопиться
И закату ворот расстегни
Что бледнеет словно кровопийца
Прячущийся в дворовой тени

Все четыре стороны овала
И четыре стороны реки
Вложены оболом как сказала
В лодку тонкокожую руки

Вудбери, США

Евгений Чигрин

Праздник воды

АДРИАТИЧЕСКОЕ

Выпита желтая чашка солнца,
Дождь Адриатики рот раскрыл.
Сколько со мною, любовь, ни ссорься –
Тянется этот потешный пир.
Жизнь неплоха? Хороша конкретно!
Но одинока, как звук трубы
В старом CD. Заливай дискретно
Море, и берег, и букву «ы».

Были бы жабры – метнулся б в море,
С рыбой и лобстером корешил,
Нечто уместное местной мойве
После полуночи говорил.
В легкой туманности не Андромеды…
(Вот многоточие нанесло…)
Рыбам и тварям – мои респекты,
Чайкам со мною в стихах везло.

Дождь прибавляет волненья морю,
Пляжный Могрен в керосине туч,
Влага штурмует дома и флору,
Башню Марии и башню кущ.
…Жизнь разбивает меня ночами:
Смерти в лицо посмотреть могу,
И позвенеть налегке ключами,
И засветить, как свечу, строку.

Я почитаю, а ты послушай,
Всё остальное – за кадром дня.
Смотрит бельем застиранным суша,
Море глотает дождинки для…
Джонку, фрегат, никакую шхуну,
Словно любовь, не увидеть за...
Море колотит волной в лагуну,
Смотрит свинцовым в мои глаза.

БЫСТРОНОГОЕ МОРЕ

Ялики в море и два самолетика над
Морем, которое – Будва, Могрен, Сутомóре…
Чайки ленивей, чем хочется чайкам, парят,
Рыбой сибас обдает быстроногое море.
Море, которое всё – как соната в раю,
Ангелы с лютнями в южной тональности тонут…
Жизнь понимаю как счастье, которое пью,
С грушевой ракией падаю в солнечный омут.
Облако в мыс прорастает корнями с утра,
Не одинокие женские груди по волнам
Типа дрейфуют в сонату… Смеется жара,
Лупит прямою наводкой по мальчикам вольным.
Ялики в море и два самолетика над…
Ангелы с музыкой в смертной тональности тонут.
Ялики, яхты, кораблик «Веселый пират»…
С грушевой ракией падаю в кубовый омут.
Море Ядранское, кажется, даже в паху…
Остров Николы по грудь в крестоносцах* заразных,
Лютни и ангелы здесь или там – наверху?
Здесь или там? Всё равно. Охерительный праздник!
Праздник воды поднимется Господом над…
Все самолеты и ялики – братья по крови!
Ангелом с лютней, создателем слепленный бард
Нежится в этом зеленобутылочном слове.
…Не опоздать бы туда, где Господь в облаках,
Облако в скалы сильней прорастает корнями…
Я обнимаюсь с прибрежною музой в стихах,
Не становясь (становясь!) золотыми словами.
Слышат меня крестоносцы в могилах своих,
Облачко, что превращается в скалы и бухты.
Жизнь прорастает в глаголах и рифмах простых,
Видимо, это *необщая* заповедь Будвы.

---

* На острове похоронены умершие от чумы крестоносцы.

* * *

Мертвецы из лонгплея являли знакомые рты,
Труп врага проплывал с головой афоризма-китайца,
И чернели кусты, как монахи, с монахом «на ты»
Говорила Косая и слышалось: то ли «кидайся»,
То ли «прыгай в мешок», и стишок про слезливый Коцит
Скоро выучишь ты в сводном хоре под знаменем Стикса…
Это я говорю потому, что забыт айболит,
Чаще слева болит и, как будто пред смертью, подстригся.
Уточнять ни к чему. Только радовать «нежных» друзей,
Деревянное небо в ЖЗ раздирающих жадно.
Мне бы небо живое, как в детстве, увидеть полней
И скормить тишину принимающим жизнь безоглядно.
Жизнь, как смерть, хороша, потому что и смерть – это жизнь,
Черной птицей апокриф над сонной речушкой взметнулся,
Старый куст на библейском другому кусту: «поклонись» –
Прошептал почему? Почему старый ветер проснулся?
Жизнь, как смерть, – хороша, потому что и смерть – это жизнь,
Это хор мертвых душ над стигийским горланит недаром!
Ветер крутит кольцо: то стихает, то трогает высь,
Поправляет листву и глядит индивидом усталым.

В ОКРЕСТНОСТЯХ МАЯКА

Зимний день бесследней дыма
Над фатерою… Тоска
По глотку искоренима
Бренди тающим. Строка
Веет высью островною,
Как положено тому.
Закуси морковкой злою,
Кушай жирную симу.
Хорошо тайфуна после,
Снег едва не голубой,
Осень спит в брусничном морсе,
Чай заваренный с лихвой
Блазнит мглою золотою…
Мнемозиной, словарем –
Жизнь, что дышит тишиною,
Островистым февралем.

Логотипом моря – айсберг –
Бывший шельфовый ледник
Вижу в мельтешенье чаек,
Как чудесный беловик.
…Зимний свет заливу Круза
Скажет *что*? И стянет мглой.
Добровольческая муза
Зарифмует с глубиной
Жизнь, стекающую к Фебу…
Месяц меткою-клеймом
Что-то быстро пишет небу,
Становясь моим письмом.

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА

В парке Чаир распускаются розы…
Павел Арский

Красный дракон и зеленые змеи любви –
Это я видел, когда попадал в твое пламя…
Хочешь – гадай по иероглифам, хочешь – язви,
Как научила тебя азиатская мама?

Девушка в ярко-зеленом, как чай в чайхане,
С музыкой из Поднебесной – январское диво
В твердой Москве, в изумрудном и синем огне
Бьющих реклам… На закуску тайваньская слива

И карамбола экзотикой тает во рту.
Сколько любви вырастает в округе Тайбэя?
В белой постели не спутать твою наготу:
Делала нежно, и делала *нечто*, смелея…

Я бы поплыл за тобой по реке Сюгулан
Мимо бамбука, тайваньской сосны, эвкалипта,
Выпей, подруга, проклятый московский обман:
Линия счастья – от эроса до недосыпа.

Остров Тайвань обнимаю не раз и не два:
Тай или *вань* я твоими глазами увижу?

Где-то к рассвету густеет в предгорьях трава,
Солнце ласкает какую-то ветхую крышу…

В парке Тайчжун (в сновидении) я окажусь,
Что мы вдвоем натворим в этих скрытых беседках!
Сколько подарков вручу я дракону. И – пусть.
Птицу счастливого Будды примечу на ветках.

Так ты врасплох сновиденьем забрала меня,
Желтый Тайвань – Гумилева неспетая песня!
В жирной Москве нам хватает по горло огня,
Линия жизни – от эроса до поднебесья.

Линия в полночь – зеленые змеи любви,
В парке Тайчжун распускаются розы? – промашка.
Хочешь – гадай по иероглифам, хочешь – язви,
Женщина из… Недопита последняя чашка.

Хочешь, тебе расскажу, кто такой Гумилев?
Хочешь, целуй нараспашку от рая до ада.
…Так вдохновенье плывет от твоих берегов
Древнекитайского сада.

Москва

Наталья Резник

ТРАВИАТА

Где-то в голоде и холоде
Дети мрут без провианта,
А в моем уютном городе
На экране травиата.

Ты в бреду, горячке водочной
Подыхаешь за сараем,
Мы в агонии чахоточной
Театрально умираем.

Ой, беда моя неновая,
Декорация складская...
Что ж настойкою вишневою
Я так страшно истекаю?

ТОСКА

Где тебя, художник, носит,
Молодая голова!
Где ты, мой Каварадосси?
Нарисуй, пока жива.

Время быстро выедает
Золотую пухлость щек.
Только чудом не седая,
Не иссохшая еще.

Время сыплется проворно
В бездну тоненьким песком.
Нарисуй мне локон черным,
Быстрым, порванным мазком.

Локон черным, плечи белым,
Как бывает у актрис.
Нарисуй перед расстрелом,
Перед первым криком «бис».

Хорошо в разгар карьеры
Понарошку умереть.
А у нас одна премьера,
И финита ля комедь.

* * *

Наш нерожденный ребенок играет в песке.
Губы в молоке,
Ведерко в руке.

– Мама, – он говорит и громко смеется.
Ты его видишь? Я вижу. Что еще остается.
Двигаться беззаботно, уходить налегке.

* * *

Поэзия должна быть глуповата,
Поэт – дурак, а поэтесса – дура,
Такая, что бледна и полновата,
По ней со школы плачет физкультура.

Тупой поэт напиться должен в стельку
И соблазнять тупую поэтессу,
Тянуть с плеча помятую бретельку,
Возить ладонью по брюшному прессу.

Они должны проснуться на рассвете
И осознать с завидным постоянством,
Что нету счастья в промискуитете
И не спасешься беспробудным пьянством.

Должны плоды минутного позора
Годами пожинать.
Когда б вы знали, из какого сора...
А лучше вам не знать.

* * *

В колорадском лесу маслёнок
Телом в почву уютно влип.
Рядом жмётся его ребенок –
Небольшой желторотый гриб.

Так бы жили ныне и присно
Под корнями родного пня,
А над ними уже нависла
Неизбежная пятерня.

Думал здесь дождаться гниенья?
Как ты, гриб, безнадежно глуп.
Сын твой канет в наши соленья,
Ты провалишься в русский суп.

Там, в кастрюле, народец братский
Вспоминает былые пни.
Гордый горный гриб колорадский,
Привыкай, варись, извини.

Не тоскуй о своей грибнице,
Из которой тебя сорвут.
Жизнь бывает и в загранице.
В супе тоже грибы живут.

* * *

Независимо и гордо
Жил, от радостей далёк.
Взял и, перерезав горло
Сам себе, в могилу лег.

Мы таких видали гордых,
Что несчастной смертью мрут.
Полежать в могиле – отдых.
Дострадать – тяжелый труд.

Я бы так же, я бы тоже,
Отрыдав, упала в гроб,
Если бы не свежесть кожи,
Если б не горящий лоб,

Если б не больная память,
Не дыханье за стеной,
Если бы не страх оставить
Без присмотра шар земной.

ОТЕЦ

Горы, язык и люди –
Были не наши.
Я говорила: «Я русская.
Отпустите
домой, домой, домой».
Только ты понимал,
Пока и сам не лёг
Недалеко от дома, дома, дома…
В трех кварталах.
И из чужой земли американской
в меня пророс.

Боулдер, Колорадо

Эдуард Старосельский

Приключения ...арона Мюнхаузена

История эта произошла в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Далеко от столицы, в мало известном читателю городе – «Будущее 17». Всякий советский человек понимал, что въезд в город с таким названием без специального разрешения невозможен.

Да и выезд тоже был ограничен. Предполагаю, что число «17» в названии обозначало количество предприятий, «по секрету» занятых на строительстве будущего всей страны. Но это вовсе не обязательно. Для большей секретности цифры могли быть взяты и с потолка. Люди в этом городе жили работящие, дисциплинированные и молчаливые. За это они получали повышенные зарплаты, и в старости их ожидала приличная пенсия. Но времена изменились. Предприятия, работающие на оборонку, потеряли свои льготы, а вместе с ними из названия города исчезли цифры.

В общем, теперь «Будущее» ничем особенным не отличался от других славных городов нашей планеты, в каждом из которых могла произойти эта история.

Итак. Гражданин А. родился еще в старое время, когда название города оканчивалось на «17». Родился в благополучной семье. В доме всё было: отец, мать, паровое отопление, холодильник. Каждый день родители уходили на работу и вечером возвращались домой. Разговаривали они с сыном и между собой мало и только шепотом. Скорее всего, чтобы случайно не разгласить вверенную им гостайну. По крайней мере, теперь так кажется. Главной в доме была тишина, если не считать раздававшихся по ночам из родительской спальни скрипа пружин и кряхтения. Эти загадочные звуки не давали нашему юному герою уснуть и будоражили его воображение.

Однажды, когда никого не было дома, вопреки семейным правилам, А., преодолевая страх, забрался на родительскую кровать и стал легонько подпрыгивать на ней. Сначала матрас тоскливо повизгивал – как обычно ночью. Но чем выше А. взлетал над кроватью, тем веселее вдыхали и выдыхали пружины, и тем громче заливался радостным смехом баловник. Всё выше и выше! Почти до потолка!

– Так вот чем они занимаются по ночам! – думал малыш.

С тех пор, как только А. оставался один, он взбирался на кровать

и… то космонавтом парил в невесомости над безбрежным океаном неведанной планеты (от одного края кровати до другого), то как орел взлетал над заснеженной долиной в поиске добычи – и камнем обрушивался на подушку, под которой пряталась несчастная жертва. После чего ему приходилось выдирать перья родительской подушки из своей кудрявой копны.

Время берет свое. Всё реже скрипел по ночам матрас. Мальчик подрос, набрал вес, и в один прекрасный «день полетов» что-то внутри матраса лопнуло, оборвалось, и он перестал пружинить и скрипеть. Родители каким-то родительским чутьем распознали причастность сына к порче матраса и всыпали ему «как полагается». Затем купили новый матрас, но А. больше на родительской кровати не прыгал. На ягодицах еще долго оставались полосы кровавых подтеков от солдатского ремня, который с тех пор висел на виду, терпеливо дожидаясь своего часа.

Мальчишка внезапно повзрослел, ему больше не хотелось представлять себя орлом или космонавтом.

Время шло. Время – единственное, что не останавливается ни на минуту, не присаживается передохнуть, заправиться, подлечиться, заменить износившиеся части, съездить в отпуск. Оно идет и идет, не отвлекаясь ни на что; оно всегда в пути. А. вырос, выучился, стал серьезным человеком, женился, сделался отцом. Но всё чаще ему вспоминалось, как он был орлом и космонавтом…

Работал А. бухгалтером местной газеты «Будущее сегодня», главным редактором которой служил его бывший одноклассник. Знакомы они были с первого класса. Особенной дружбы между ними никогда не возникало; главный и в юности скорее презирал молчаливого, серого троечника, непопулярного среди одноклассников. В свою очередь, А. по возможности избегал общения с ним, потому как тот всегда находил повод публично посмеяться над застенчивым А. Но газете понадобился бухгалтер – свой человек: предыдущего главного редактора сняли и «пятерочку условно» вкатали – и пусть, по слухам, совсем не за финансовые просчеты, а за какую-то писульку в интернете, но лучше «знать, где упадешь, и подложить туда солому», рассудил новый главный и предложил бывшему однокласснику должность бухгалтера.

Молчаливый, исполнительный, работящий А. был идеальной кандидатурой. Так бывшие одноклассники вновь оказались «за одной партой». Интернетом А. не пользовался – считал пустой тратой времени, и занимался исключительно бухгалтерской деятельностью. Очень скоро А. на деле доказал, что являет собой надежный щит в борьбе с финансовой инспекцией.

Таким образом, кроме деловых взаимоотношений у бывших одноклассников завязались, так сказать, и дружеские. Главред приглашал бухгалтера на свои семейные торжества, которые устраивал по случаю всевозможных госпраздников и дней рождений. Несмотря на очевидную полезность бухгалтера, главред всё же не мог справиться с привычкой прилюдно подсмеяться над А. Каждый раз, подвыпив, называл бухгалтера «Бух» и в присутствии всей компании декламировал какое-нибудь приготовленное заранее четверостишие, заканчивающееся рифмой «Бух – глух», или – «опух», «на слух», «петух».... Бухгалтер терпеливо сносил оскорбительные эпиграммы главреда и даже сам посмеивался вместе с компанией.

– Как так можно? Человек не должен терпеть оскорбления! – воскликнете вы. Воскликнете – значит не жили в те времена, когда без трудовой книжки ни на какую работу не возьмут, а в ней про твою деятельность начальством всё расписано. Начальник-хам понимает: куда ты денешься? Если повезет и появится у тебя самого подчиненный – вот тогда и ты на нем отыграешься, а пока терпи.

– Где ты еще заработаешь на чешское стекло и финский гарнитур? – думал покладистый Бух, получая наградные за ловкие манипуляции цифрами в налоговых отчетах.

Но как долго человек может терпеть унижения со стороны начальства, поступаться своим достоинством, честью и свободой ради подачек? Может сколько угодно, если этот человек живет в накрепко закрытом городе, закрытом обществе или даже стране.

Может – но бывают исключения. Эти исключения начинают искать лазейку, роют подземный проход, ныряют в океанскую бездну, натягивают над пропастью канат или, отчаявшись, подняв забрало, с голыми руками идут на начальство. Таким человеком, в силу мистических обстоятельств, оказался и наш бухгалтер.

Прежде всего в душе Бухгалтер не прощал главреду насмешек и на каждую из них отвечал записью в дневнике, называя главного редактора не иначе как «Глав Вред», а то и просто «Вред», и писал эпиграммы на начальника, рифмуя «Вред» с «бред» «навет», «ответ», «газет» и даже «физкультпривет». Как-то в разговоре с одним из сотрудников газеты он случайно так и назвал главного: «наш Глав Вред». На следующий день об этом знала уже вся редакция. А еще через пару дней «Глав» куда-то исчезло и остался только лишь «Вред». С тех пор, как бывает в любом творческом учреждении, за глаза их называли не иначе, как Бух и Вред. Мы тоже так поступим. Почему нет? – они нас всё равно не слышат.

Итак, первый удар по многолетнему насмешнику был нанесен.

Это вдохновило Буха, и он стал продумывать второй – «смертельный».

– Написать анонимку в глав финнадзор – мол, невзирая на то, что женат, заводит связи… Нет, больше выговора не дадут. Да и кто из начальства не заводит их?... На служебной машине… не годится!..

Так в мучительных размышлениях Бух провел несколько недель.

Однажды они с женой как обычно после ужина уселись по разные стороны дивана у телевизора. И, как всегда в последнее время, Бух погрузился в привычные размышления о выборе оружия мести ненавистному противнику.

Жена уставилась в экран телевизора. На экране какой-то ученый муж в бабочке вместо галстука рассказывал о своей телепатической связи с инопланетянами, Эта передача раздражала Буха, так как мешала сосредоточиться, к тому же жена постоянно повизгивала от восторга, восхищаясь умом и красотой телеведущего. И тут-то...

Рано утром Бух буквально ворвался в кабинет Вреда. Вред развалился в кресле за письменным столом после ночной правки передовицы и недовольно ворчал, зевал и сморкался.

То, что через секунду он услышал от Буха, сначала вызвало у него ироничную улыбку, потом перехватило дух: прямо с порога Бух заявил, что прошлой ночью его похитили... инопланетяне.

– У них там тоже финансовые проблемы? – сострил было Вред.

Бух не смутился и тихонько прошептал:

– Я тоже сначала так думал, но потом…

И тут завертелось, забурлило, понеслось такое, что лучше по порядку.

– Как обычно, после ужина... – начал Бух, – легли мы с женой спать. Я, как всегда, для успокоения включил телевизор. Смотрю новости: где чего взорвали, кто в аварию попал, какого губернатора арестовали. Почти задремал, как вдруг появляется на экране вместо ведущего этакий лягушонок с вылупленными глазами и лысой головой…

Вред усмехнулся:

– Конечно, с лысой головой. Это тебе не снежный человек. Кстати, на прошлой неделе мы напечатали статью одного члена-корреспондента о таком. Но ты науками не интересуешься, тебе бы только циферки складывать.

Бух, обычно безропотно принимающий бестактность главреда, на этот раз потерял над собой контроль. Его глаза налились кровью, взгляд заскользил по потолку, стенам, плинтусу и упал на стол. На столе среди бумаг и верстки завтрашнего номера в подстаканнике стоял стакан с холодным чаем. Вред перехватил взгляд Буха.

«Сейчас метнет в меня», – испуганно подумал он и ухватил за ручку подстаканник. «Что за чертовщина?» – оторвать стакан от стола не удавалось. Подстаканник быстро краснел, раскаляясь. Чай закипал. Обжигающая боль пробежала по руке Вреда и вонзилась в висок. Вред попытался оторвать руку, но ту как будто приварили к подстаканнику. Та же бесовская сила вместе с рукой подняла стакан над столом и, описывая круги, начала разбрызгивать кипяток на завтрашнюю передовицу и всё, что находилось на столе. Сделав очередной круг, стакан остановился над головой Вреда. Он зажмурился. В голове быстро пронеслись детские фотографии из семейного альбома вперемежку с теми, что на доске почета и из журнала «Плейбой», хранившегося в письменном столе. Вред вспомнил, как однажды, будучи совсем малышом, нарочно опрокинул чашку с горячим чаем младшей сестре на руку. Сестра кричала, а мать дула на обожженную руку и причитала: «Я тебе задам сукин сын, мерзавец»... Внезапно Вред почувствовал, что виноват, что это и есть то наказание, обещанное матерью. Ему стало легко, он распрямился в ожидании достойно принять заслуженное – быть вареным. Но произошло неожиданное. Вместо кипятка на голову хлынул поток ледяной воды объемом с хорошее колодезное ведро. Главный редактор вскрикнул и широко раскрыл глаза.

Внезапно голова Буха медленно отделилась от туловища. Из ноздрей, как из сопла стартовавшей ракеты, вырывались струи огня и дыма. Из шеи, где голова соединялась с туловищем, бил яркий пучок света. Голова рванула влево, затем метнулась вправо, с невероятной скоростью сделала круг по комнате и остановилась, нос к носу, перед Вредом.

– Не читаю я ваших местечковых, дурацких газет. Не по статусу мне! – прошипела голова Буха и вдавила своим носом нос Вреда в его перепуганное лицо. Главред чуть не задохнулся от боли и страха. Громадные глаза Буха были так близко, в них разверзалась такая глубина, что Вреду казалось: наклонись он вперед хоть на йоту, тут же провалится в черную бездну глазниц. Влекомый непреодолимым любопытством, он все же осторожно просунул голову внутрь. В голове Буха было темно, только где-то вдалеке раздавались голоса. Голоса звучали знакомо, но разобрать слова не удавалось. Как будто на мгновение блеснул луч фонарика и погас. Забыв про боль, Вред стал изо всех сил вглядываться в темноту, пытаясь понять, чьи же это голоса. Вдруг узнал один из них! – Конечно же, это был его собственный голос! В снопе света, струящегося из шеи Буха, Вред разглядел тот самый день – первое сентября, первый урок и знакомство с Бухом.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят… какой-то год. Будущий гла-

вред в наглаженной школьной форме вручает учительнице большой букет цветов. Та кладет его на стол рядом с букетами поменьше. Бух пришел без цветов, к тому же немного опоздал. Главред презрительным взглядом провожает его и вдруг замечает, что бляха на ремне Буха перевернута вверх ногами. Вред хихикает и тычет в нее указывая соседям по парте. Те заливаются звонким смехом.

Начался урок. Главред сидит за передней партой и с гордостью посматривает то на учительницу, то на ее стол, на котором лежит самый большой – его! – букет. Учительница мелом выводит на доске алфавит и после каждой буквы задает вопрос:

– Дети, кто знает, что это за буква?

С разных сторон робко тянутся ручонки первоклассников. Но опережает всех будущий главный редактор. Он первый выбрасывает вверх руку и, не дожидаясь, пока учительница укажет на него, во весь голос объявляет О! Пэ! Рэ! Сэ! Тэ! Бух сидит молча, пристально вглядываясь в кудрявые завитушки, которыми учительница украшает свои буквы. Минут через двадцать с начала урока Бух тоже поднимает руку.

– Марья Ивановна, сколько осталось до конца?

Учительница отвечает, и Бух опять погружается в свои мысли. Не проходит и пяти минут, как он опять тянет руку:

– Сколько осталось до конца урока?

И так – до тех пор, пока не прозвенел звонок. Одноклассники поднялись из-за парт. Бух остался сидеть.

– Почему ты сидишь? – спросила учительница. – Урок окончен.

Класс замер. Бух молчал. И тогда в полной тишине будущий главред объявил:

– Он описался!

Все засмеялись. Бух смутился. Это была неправда.

Ища поддержки, Бух взглянул на учительницу и заметил, как по лицу Марьи Ивановны промелькнула улыбка. Из глаз Буха покатились слезы.

...Перед потрясенным Вредом проносились подобные сцены унижений и обид, нанесенных старому «другу» в прошлом. Ему становилось стыдно, и он даже начал испытывать отвращение к собственному отражению, возникшему перед его глазами. Что-либо поделать он был не в силах. Отражение жило своей жизнью и находило новый повод для насмешек – над неуклюжей фигурой бухгалтера, его непригодностью к выпивке, неспособностью поддержать разговор, неумением рассказать анекдот, нелепым перекладыванием ножа и вилки из одной руки в другую, наконец, над покорностью неверной жене, недугам, властям да и самому главреду. Память бухгалтера вела

Вреда по закоулкам прошлого, и главреду становилось не по себе; его начинало подташнивать, веки тяжелели, наливались свинцом. Когда же перед его глазами возникло воспоминание о семейном застолье на прошлой неделе по случаю майских праздников, Вреду совсем сделалось противно. Он и без того хорошо помнил, как, сидя рядом с женой бухгалтера, одной рукой поглаживал под столом ее колено, в другой держал рюмку с водкой и рассказывал похабный анекдот о муже-рогоносце. Сидящие за столом понимали, на кого намекает главред, и с ухмылочкой поглядывали на бухгалтера. Эта сцена тянулась мучительно долго, расползаясь во времени. Когда же, наконец, Вред, умышленно уронив вилку, полез за ней под стол… Яркая вспышка ударила по его глазам и, как на фотографии, зафиксировала его вороватое лицо с широко раскрытыми глазами. Через мгновение веки с металлическим визгом рухнули вниз, в глазах потемнело. Видения исчезли.

Какое-то время Вреду казалось, что он падает в черную бездну и отчаянно кричит. Ощущение вины сдавливало горло. Задыхаясь, он соскользнул с кресла и упал на колени. Ему вдруг стало жалко себя. Две огромные слезы катились по его щекам.

– Как я мог не придавать значения его чувствам, – думал он, – как я мог так по-хамски вести себя по отношению к этому замечательному человеку? Да кто я такой? Жалкий, ничтожный графоман! Выдвиженец по партийной линии! Чего я добился своими восхваляющими начальство статейками?! Он – он человек воли! Столько лет терпеть! Копить в себе! Да это же крепче любого Шекспира! Его нужно печатать! Вопреки! Вопреки… вопреки… мне.

Вред ощупал себя – никаких следов насилия… Вскинул голову, Бух сидел напротив, как ни в чем не бывало, потирая шею и посапывая, что-то писал прямо на верстке газеты. Рука бухгалтера быстро скользила по странице с передовицей, перечислявшей рекордные показатели, успехи и имена победителей. Из-под авторучки Буха выходили не строки и даже не цифры, проценты и дроби, а слова, которые складывались из летающих над столом, словно мухи, букв.

– Будем печатать! – объявил главный редактор.

Бух поднял голову.

– Постой, не так быстро, я еще не рассказал, что со мной произошло, там у них на… на… космической этой станции. Ты, пожалуй, удивишься. – Вред вздрогнул: никогда раньше Бух не обращался к нему на «ты».

– И не надо рассказывать. Что напишете – то и напечатаем! – заверил главред, впервые за все годы перейдя на «вы».

Главред взял завтрашнюю передовицу с пометками Буха – и обомлел от того, что прочел:

Лежу я прошлой ночью на диване, пивком пробавляюсь, новости наблюдаю. Как вдруг замечаю, что ведущий как-то вдруг изменился во внешности. Он теперь зеленый и без единого волоска и, главное, вопросы задает не кому-нибудь, а прямо мне.

– Вы… – говорит, – Аристофан Базилевич, чем в жизни недовольны, на кого жалуетесь?

Я ведь не вчера родился, знаю, как на такие вопросы отвечать, особенно человеку, который из телевизора. Я ему:

– Всем доволен, ни на кого не жалуюсь. Особенно доволен начальством. А еще больше тем, который на самом верху. Крепкий мужик – военный. Нам такие и нужны.

– Ну а если б была у тебя такая возможность – побыть на его месте с чуток… Желал бы?

Я сначала подумал: «Хитер порученец! Нет, – думаю, – не на того напал; скажешь в шутку, что ‘не прочь бы’, а он на меня куда надо накатает, а те потом статью пришьют ‘за участие в госпереврате’». Только я так подумал, а он мне:

– Да ты не бойся, это я понарошке. Хочешь увидеть, как земля с луны выглядит?

– Я, – говорю, – по телевизору уже видел. Зачем мне два раза?

А он:

– По телевизору – не то. Это все равно, что лежа на диване рекламу Баварского пива вкушаешь – слюни глотаешь, а дальше Жигулевского дело не идет.

«Прав ведь, – думаю, – Жигулевского уже напился, теперь и Баварским позабавлюсь.»

– Согласен! – говорю. – Поехали!

Он направил на меня свой фонарик и прямо в глаза светит – слепит. «Ну, – думаю, – дурак, зачем я согласился? Щас наручники наденут и в обезьянник повезут.» Вдруг диван весь задрожал, и я с ним. Чувствую, весь организм мой на мелкие кусочки, на молекулы, рассыпается, и даже бутылка Жигулевского, что в руке, тоже. Потом не помню ничего – забылся и в темноту весь провалился. Когда очнулся, окинул взглядом вокруг – на обезьянник не похоже. Скорее, больничная палата для высшего состава.

Гляжу, а по соседству еще один лежит. Я его сразу узнал – дворник наш Никифор, пьяница, несдержанный и дебошир. Он меня тоже узнал. Его тоже через телевизор телепортировали для эксперимента какого-то. Лежим мы, а вокруг зеленые человечки в белых халатах толпятся и о чем-то спорят. Прислушался я, вроде бы языка ихнего не разбираю, да и говорят они так, чтобы тишину не нарушать, – слов не слышно, а я всё понимаю.

Оказалось, ругают одного зеленого – студента-практиканта. Ему доверили сборку наших организмов после телепортации, а он чтось в наших головах напутал. Тут слышу – Никифор мне пояснение дает: мол, он, дурья башка, зоны Брока и Вернике – это такие зоны в нашем мозгу, которые за речь и ее понимание отвечают, – перепутал с функциями ядра гипоталамуса!

Я вдруг подумал: «Смотри-ка! Дворник, без году неделя в космосе, а уже об устройстве мозгов рассуждает!» Подумал я так, и дальше размышляю: «Эх, черенок у метлы сломался. Надо бы заменить по возвращении». Тут я взволновался: «А чего это я о метле вспомнил? Не иначе как проделки этих лягушат».

Один зеленый так укоризненно на меня посмотрел: мол, напрасно вы, гражданин, о нас так думаете. Сначала стыдно мне стало, потом сразу спокойно. Чувствую – отрубаюсь. Так бы и уснул у них на столе, если б не зеленый пацан. Стоит надо мной и чуть не плачет – оправдывается. У старших докторов прощение просит. Я, говорит, не виноват, мне или енцефалоноскоп сломанный попался, или у этих экспериментале мозги набекрень. Мою сонливость как рукой сняло. Ну думаю…

Спасибо Никифору, пояснил:

– Это они на нашем брате практикуют, как телепортировать, а сборку студентам доверяют. Вот этот второгодник и напорол. Он, неуч проклятый, Вам чего-то от меня поставил, а мне – от вас.

Хотел я тут же подняться и этому второгоднику рыло начистить! Да не смог. Видно, они нас своим зельем одурманили.

Расстроился я, от бессилия лежу и матерюсь, но Никифор опять успокоил:

– Вы, говорит, бухгалтер с высшим экономическим образованием, непотребно вам как дворник изъясняться.

Дворник, а интеллигента из себя корчит. Лежу и думаю: «А мне-то чего от Никифора досталось?»

И вдруг почувствовал такую силу! Такую богатырскую – в своем корне! «Эх! Вот что мне от Никифора перепало – ядро гипоталамуса! Ох и развернусь я дома… – думаю, – только б не стали эти лягушата исправлять.» И смотрю с надеждой на студентика.

Но не тут-то было. Ихний главный почесал свою зеленую репу и говорит моему благодетелю:

– Оставайся ты, бацеолус, – «болван» по нашему, – здесь до тех пор, пока мозги этих инсектариев на родное место не вправишь, а мы в буфете посидим.

И смылись. А тот бацеолус уставился в енцефалоноскоп – и то за ухом почешет, то в носу ковырнет. Потом как начал кнопки нажи-

мать – когнитивные комбинации в наших головах менять. Мысли в голове моей скачут. Я – то как гаишник размышляю – где б, думаю, нарушителя движения словить, то как тёлка из шестнадцатой, думаю: «в ЦУМе помаду венгерскую выбросили, надобно подскочить»... Никифору тоже досталось. Он – то заголосит, как Карузо: «Смейся, паяц!..», то заплачет, как дитя. Довел меня этот недоучка до того, что не могу вспомнить: уровень алкоголя в «Столичной» в градусах или в процентах обозначается? Думаю, не видать тебе диплома, как своих ушей. Двоечник – он и на луне двоечник.

Он и сам видит – не получается ничего. Плюнул он, матюгнулся по-ихнему, мол: «Пока я тут с вами время теряю, буфет закроется». Нажал на самую большую – красную – кнопку и телепортировал нас взад, на землю.

Закончил чтение главвред, хотел было критически высказаться по поводу новой передовицы, но встретился с нетерпеливым взглядом Буха – и передумал. Вместо этого восторженно закричал:

– Гениально! Непревзойденно! Лучше, чем «Один день…»! Какой там «Один день» – да это же просто иностранная литература! Считайте, Нобель у нас в кармане!

Потом спохватился и так вкрадчиво говорит:

– Только вот подписать ваш труд лучше псевдонимом, а то начнутся звонки, письма трудящихся, опровержения, насмешки. Подпишем, например: «Арон Мюнхаузен» – чем не псевдоним?

Бух задумался.

На следующий день история повторилась, но с большей интенсивностью. Передовица наделала много шума. Телефон редакции разрывался! Со своими историями звонили люди со всех закоулков города Будущее. От домашних хозяек и пенсионеров до учащихся средней школы и преподавателей высших учебных заведений – все спешили изложить, как однажды… В общем, с ними когда-то, или совсем недавно, происходили истории, подобные описанной «Рабиновичем» – многие так называли автора статьи Арона Мюнхаузена. В конце концов, какая разница – Барон, Арон, Мойша, Сара или Хаим. Каждому понятно, о ком идет речь, и дело не в имени. Дело в том, что *эти*… они первые заговорили на *эту* тему. А значит, опять тыкают нам в лицо своей избранностью.

Ранним утром в конференц-зале газеты «Будущее сегодня» собрались редакторы подотделов, приехал главный цензор города и даже представитель президента. Присутствующие сидели за громадным, как футбольное поле, столом и укоряли, обвиняли, угрожали.

Главред сидел, съежившись, на краю стола и что-то мямлил о демократии, свободе слова и правах художника на собственную точку зрения.

Бух буквально ворвался в конференц-зал. Он с такой силой распахнул дверь, что дверная ручка врезалась в стену и пробила в ней дыру. Перепуганные присутствующие тут же сбились в кучу и замерли в ожидании небесной кары. И не напрасно! В глазах Буха сверкали огненные молнии презрения. Головы присутствующих казались Буху спичечными головками. Ему так и хотелось запалить их, чиркнув по столу.

Вы когда-нибудь поджигали спички, не вынимая их из спичечного коробка? А я поджигал! Вспыхивают мгновенно и все разом.

Буху так и хотелось чиркнуть головой по столу представителя президента, да и сжечь разом ненавистную газетенку к чертовой матери. Но он взял себя в руки, притушил пожар в своих очах, вспорхнул на стол и, слегка подпрыгивая, ловко обходя графины с водой, начал прохаживаться. Пройдя туда и обратно несколько раз, презрительно поглядывая на собравшихся, Бух остановился перед главредом, улыбнулся и отбил чечётку на мотив популярной песенки «Всё будет хорошо!». Присутствующие потихоньку стали распрямляться в своих креслах, а некоторые даже отхлебнули по глотку из стаканов. Отплясав, Бух пробежал взглядом присутствующих и объявил:

– А теперь о том, что произошло минувшей ночью!

Редакторы и представитель президента схватились за авторучки. Бух поднял руку.

– Нет нужды записывать, коллеги. Я посылаю мой рассказ каждому присутствующему в его ядро гипоталамуса!

Присутствующие с облегчением выдохнули и стали устраиваться поудобнее в креслах. Кто-то поджал под себя ноги, кто-то ослабил галстук, главный цензор было зевнул, но поймав укоризненный взгляд Буха, виновато покраснел и приготовился слушать.

– Значит так... – начал Бух: – Лежал я на диване, смотрел вечерние новости… Вы все, наверное, тоже лежали на диване и смотрели те же новости?

Все утвердительно забурчали и дружно закивали головами – все, кроме представителя президента. Тот недовольно цыкнул на присутствующих что-то вроде: «не перебивайте», все тут же умолкли, а представитель опять принял позу внимательно слушающего.

Бух продолжал:

– Вдруг ведущий программы позеленел, глаза выпучил, раздался в лобной части… в общем, изменился в лице, прижал руку к груди и говорит: «Простите великодушно, виноваты перед вами. Этот сту-

дент, что упражнялся на вас вчера, – сын первого помощника завлабораторией по совершенствованию ДНК землян. Как выяснилось, он был принят в нашу лабораторию по протекции отца, что противоречит одному из основных законов моральной конституции нашей галактики. Поэтому он тут же был переведен в лабораторию по Одушевлению Твердых Металлов (ОТМ), что соответствует интеллектуальному уровню развития подростка. Его отец решением Общественного Совета Очистки Совести (ОСОС) временно отстранен от должности и направлен в реабилитационную клинику для прохождения Курса той самой Очистки Совести (КОС).

Бух сделал паузу и обвел взглядом публику. Глаза присутствующих светились единодушным одобрением. Бух ухмыльнулся и продолжал:

– Очнулся я на том же столе, что и вчера. Справа от меня опять, вальяжно развалившись, лежит Никифор и курит какую-то гадость. Мало того, он и тот самый студент, который накануне перепутал наши зоны Брока и Вернике с ядром гипоталамуса, азартно режутся в «крестики-нолики». Я вам скажу, клеточек в той игре было не девять, как у нас, а сотни тысяч – больше, чем в тетради по арифметике. Но Никифору это будто нипочем. Студент напишет крестик, наш Никифор его своим ноликом кроет. Десять-пятнадцать ходов – и Никифор перечеркивает экран по горизонтали, а если совсем в ударе, то и по диагонали вмажет. Кто бы знал! Никифор партию за партией выигрывает. После каждого выигрыша студент награждал Никифора той вонючей сигареткой.

Тут в палату заходит вчерашний консилиум. Как увидели они, что студент с подопытным в нолики на сигареты играет, очень возмутились. Тот, который на главврача смахивал, как, молча, закричит на студента: «Ты что, захотел, чтобы ОСОС тебя в КОС к папаше отправил?!» Бедный студент перепугался и выскочил из палаты. Никифор расстроился – мол, выигрышная партия была, а вы помешали. Главный посмотрел на экран и говорит: «Ничего выигрышного здесь нет». И ставит свой крестик. Никифору того и надо. И понеслось…

В общем, закидал главврача наш Никифор ноликами так, что тот даже вспотел. «Расплачивайтесь за поражение теперь, ваша честь», – говорит Никифор. Профессор ему: «Я не курю. Давай в долг. Я должен отыграться». Никифор: «Я играю только на наличные!» Вижу – рука профессора к красной кнопке потянулась. Тут я не выдержал. «Стоп! – говорю. – Сначала исправляйте то, что ваш студентик напорол, а потом и телепортируйте нас.» Профессор

порылся в своих файлах и говорит: «Могу заменить твое ядро гипоталамуса на аппендикс Эйнштейна». Я решил: раз у меня зона Вернике от дворника, так я способность соображать потерял. Нет, думаю, засунь этот аппендикс себе… и тут профессор посмотрел на меня таким взглядом, что я сразу понял: «Лучше промолчать, чтобы не испортить межпланетных отношений». И говорю: «Согласен»!

На утро после выхода второй передовицы Буха в городе Будущий начались волнения. Волновалась наиболее сознательная часть города. По телевизору один за другим выступали представители различных конфессий, научных, общественных и политических организаций. Один местный историк-этнограф предложил извлечь аппендикс Эйнштейна из брюшной полости Буха и выставить его на обозрение в Колонном зале музея города.

Музей находился в бывшем Доме культуры. В его экспозицию уже входила такая достопримечательность, как ребро мамонта, которое главный инженер химзавода принес с рыбалки. Ребро давно перестало интересовать публику и пылилось промеж десятка найденных в области лоскутков шкур, каменных наконечников стрел и одной пуговицы, якобы принадлежавшей Суворову и потерянной Великим полководцем при переходе через Альпы.

Как известно, слава не бывает без завистников. Самым опасным оказался главинженер химзавода, нашедший ребро мамонта. Предполагая, что его ребру придется делить славу с аппендиксом Эйнштейна, он с горя запил. Напившись, решил отравить Буха мельдонием, который выпускал его химзавод. Но немного протрезвев и оперевшись на теорию сопротивления материалов, предположил, что такой мизерный объект, как аппендикс, не выдержит обрушившейся на него славы и лопнет. Ребро, напротив, рассчитано на многотонные нагрузки вместительного желудка мамонта и, пережив ледниковый период, переживет и славу аппендикса Эйнштейна.

Между тем, в Будущем чествовали своих героев. Благодаря общественной суете, Бух приобрел статус почетного гражданина города и всё свободное время прохаживался по центральному бульвару, щедро раздавая приветствия прохожим и погружаясь в мечты о предстоящем мировом признании.

Вы спросите – что стало с дворником Никифором? После того, как произошел ошибочный обмен ядер гипоталамуса и зон Брока и Вернике между бухгалтером и дворником, в жизни обоих начали происходить заметные перемены.

Карьера дворника всё меньше интересовала Никифора. Дом при-

шел в запустение. Никифора уволили. И он, используя свою популярность «невольного космонавта», стал поигрывать «по рублю» в крестики-нолики в городском парке. Количество любителей сразиться с «мастером межпланетного класса» постоянно росла. И Никифор открыл клуб любителей многоклеточной игры. В клуб потянулась молодежь со всех концов Будущего. Никифор назначил небольшие членские взносы, благодаря чему быстро поправил свое финансовое положение.

Бух сначала завидовал дворнику. Но потом предложил партнерство, мотивируя тем, что своим успехом тот обязан его – Буха – зоне Брока и Вернике. Дворник послал бухгалтера на… Бух попытался напугать Никифора «летающей головой». Но Никифор, побывав в тех же местах, что и Бух, сам научился выделывать такие трюки, что Буху и не снилось. Бух расстроился. Слава никаких дополнительных средств не приносила.

Он стал всё чаще подметать пол в квартире – сначала от нечего делать, потом, когда жена начала отпускать одобрительные комплименты в его адрес, – с удовольствием. По выходным Бух убирал окурки в парадном. Какой-то начальник жилконторы заметил эту его тягу к порядку и предложил по совместительству освободившуюся должность дворника. Бух тут же согласился. Помахав с неделю метлой, он положительно раздался в плечах и еще кое-где и стал относиться к метле как к боевой подруге. Однажды, заподозрив, что жена ревнует его к метле, решил поставить жену «на место». Другими словами, выпорол ее. Выпорол и пожалел. Выдернутые из метлы для проведения воспитательной процедуры розги пришли в негодность. Он с почестями расстаться со старой метлой и купил новую.

По этой причине или по какой другой жена резко изменила свои взгляды на семейную жизнь и стала отдавать всё свободное время заботе о детях и приготовлению обедов. Бух забросил бухгалтерское дело. Главреду пришлось нанять другого бухгалтера. Но уволить Буха он не решился и оставил ему небольшую зарплату – бедняга всё еще смертельно боялся летающей головы.

Время летело. Историк-этнограф одолевал Буха, требовал, чтобы тот согласился на извлечение аппендикса Эйнштейна.

– На благо мировой науки и во славу Будущего, – утверждал тот.

Бух отказался. Главный инженер химзавода ушел в очередной запой. Буха перестали показывать по телевизору и приглашать по праздникам на школьные мероприятия. Он превратился в самого обыкновенного дворника и, как положено дворникам, тоже запил.

Как вдруг на имя городского главы пришло письмо из Нью-

Йорка. Какой-то научный институт предлагал за аппендикс Эйнштейна кругленькую сумму – два миллиона долларов! Не больше – не меньше.

До сих пор из Будущего никто за границу не выезжал, даже в Болгарию. Начальство иногда вызывали в столицу – вернувшись, оно утверждало, что в Москве жизнь хуже, чем в родном городе, а значит за границей и подавно. Поэтому все сидели тихо, соблюдая секретность. Однако Родине нужна была валюта. После ряда собеседований в заинтересованных органах с Буха взяли ряд подписок о неразглашении и намекнули, что хорошо бы он привез заморские подарочки сотрудникам, которые очень старались.

– Главное, – повторили они несколько раз. – Не забудь шефа, он рассчитывает… потому согласился и подписал.

Бух великодушно улыбался и кивал головой. Ему выдали загранпаспорт и на всякий случай прикрепили сопровождающего.

Паспорт уже был с визой. Осталось собрать чемодан. Этим занялась жена. Она положила в чемодан по паре чистого белья и носков. Остальное – продукты. Чтобы муж экономил стране валюту, она сложила стопочкой десять банок различных консервов, буханку черного хлеба, палку «докторской», пяток яиц вкрутую, горстку конфет «Тузик» и еще какую-то дрянь, которая только прибавляла вес чемодану. Бух ходил вокруг и ворчал на жену. Но та не сдавалась и не желала облегчить поклажу ни на йоту.

– Если не съешь, будешь угощать американских бездомных, – причитала она, – пусть буржуи знают, что если надо – мы их консервами закидаем. Пусть скажут спасибо, что пока не надо!

Бух предъявил билет проводнице и забросил свой чемодан в тамбур купейного вагона «Будущее – Москва». Пыхтя, вскарабкался вслед за чемоданом, прошел в свое купе № 6, захлопнул дверь на защелку, бросил чемодан на пол и развалился на застеленной нижней полке. Сопровождающий опаздывал. Скорей всего, его должны были подсадить в Москве.

Жена осталась дома, на том настоял сам Бух. Она ему так поднадоела за последнюю неделю со своим постоянно увеличивающимся списком вещей, которые необходимо привезти из-за границы, что Бух запретил ей даже ехать на вокзал провожать.

Поезд тронулся. Бух закрыл глаза и стал мечтать… Вернее, рассчитывать, как и на что он потратит два миллиона долларов, полученные за аппендикс Эйнштейна. Подсчитав все расходы до последнего цента, он, засыпая, стал думать о предстоящей операции: «Наши,

конечно, отстают от зелененьких. Да и те в Штатах не известно, как режут… Главное, чтобы без боли».

В дверь постучали. Бух вскочил с места.

– Кто там?!

– Чай будете?

– Нет. Спасибо.

– Чай входит в стоимость билета!

– Буду.

Бух повернул защелку. Дверь распахнулась и здоровенная тень сильным ударом в челюсть повалила его на полку. За первой тенью возникли две другие, которые крепко ухватили Буха за руки и за ноги. Яркий свет зажатого в зубах первой тени фонарика ослепил несчастного. Зловещим блеском сверкнуло лезвие скальпеля и полоснуло сначала свитер, затем рубашку.

– Сейчас будет больно! – подумал Бух и попытался закричать.

Но на лицо уже давила подушка без наволочки. Крикнуть по-настоящему не удалось. Он чувствовал, что теряет сознание.

Не прошло и месяца, как инопланетяне возобновили опыты по усовершенствованию ДНК землян. У них там расследования неудач проходят быстрей, чем у нас на земле, – и закончились как нельзя вовремя. В тот самый момент, когда первая тень была готова нанести решающий удар скальпелем по брюшной полости, где предположительно находился аппендикс Эйнштейна, «время» дрогнуло, согнулось пополам, затем лопнуло, как при телепортации...

На этот раз неугомонные инопланетяне спасли Буху жизнь, телепортировав его на свою космическую «тарелку» с чемоданом и билетом в столицу. По неизвестной причине Бух оказался не на знакомом ему операционном столе, а в лаборатории, в которой хранились ДНК земных гениев прошлого. ДНК использовались для клонирования того или иного «образца».

Интерьер лаборатории напоминал «райский уголок». Тот самый, в котором Ева, не устояв перед соблазном, согрешила, вкусив запретный плод. Адам, не подозревая, что становится грехоподельником, тоже проявил слабость. Создатель же не любил читать мораль и, видя бесполезность такого занятия, просто изгнал грешников из Рая. С тех пор их потомки при первой же возможности продолжают грешить, что, несмотря на войны, эпидемии и засухи, может привести землю к перенаселению. Если это и произойдет, уверен, у создателя имеется решение на этот счет.

Очевидно, идею райского интерьера инопланетяне содрали с картин мастеров эпохи Возрождения.

Голландский лужок. На нем пасутся кудрявые овечки. Нужды перемещаться у овечек никакой нет. Трава, которую они выщипывали, мгновенно вырастает. Над голландским лужком курлычет рожок пастушка, ему подпевают небесные пташки. Томно журчит ручеек. Там и здесь, прибывая в сонной неге, растянулись обнаженные нимфы. Над ними порхают розовощекие ангелочки. На вершине холма, раскинув могучие ветви, обильно увешенная плодами, стоит яблоня. Под ней толпятся клоны гениев. Обнаженные... но не совсем. Каждому было выдано по клиновому листочку.

Бородатые, гладко выбритые, мускулистые, худые, измученные и изнеженные, клоны гениев сидели, лежали и стояли под плодоносящим деревом и жевали яблоки.

Маленький, толстый инопланетянин – должно быть, гардеробщик, приказал сдать распоротую бандитами одежду и выдал Буху клиновый лист с номером. Лист был маловат и подсохший, потому царапал плоть.

Чемодан был значительно тяжелее, чем на земле. Но Бух, перехватив алчущий взгляд гардеробщика, принюхивающегося к чемодану и непрерывно сглатывающего слюну, решил чемодан взять с собой. «Если что вести на обратном пути, то здесь такой чемодан не купишь, а местного производства, пожалуй, будут слишком дорогие», – Бух плелся на вершину холма и ругал Америку, непрерывно бормоча себе под нос нецензурные эвфемизмы вперемешку со словами «притяжение», «невесомость», «дура, нагрузила».

Высоко над головой палило солнце. Дорога вконец утомила Буха. Приблизительно через час, голодный, выбившийся из сил, он добрался до вершины и рухнул в прохладной тени рядом с каким-то бородатым старцем с густыми нависшими над мутными глазами седыми бровями. Вокруг валялись ржавеющие огрызки яблок. От голода кружилась голова.

Дотянуться до висящего на ветке спелого плода не было сил, и Бух украдкой – так, чтобы старец не заметил, – подхватил валявшийся рядом, еще не совсем заржавевший огрызок и впился в него зубами. Напрасно он стыдился, старик даже бровью не повел, только поправил кленовый листочек.

Огрызок оказался невероятно кислым. У Буха свело зубы. С трудом проглотив откусанное, он тайком положил огрызок на место в траву. Перехватив косой взгляд старика, Бух пробормотал себе под нос:

– Неспелые, такие только на компот годятся.

Старик бросил на новичка укоризненный взгляд. Бух виновато прошептал:

– Кислятина! Разве запретный плод не должен быть сладок?

Прошептал и удивился: он вовсе не собирался шептать – куда пропал голос?

– Сладок? – усмехнулся старик и тоже заговорил шепотом: – У каждого яблока свое состояние зрелости, и выражается оно по-разному. Есть такие яблоки, что от рождения, а то и при зачатии, уже румяненькие, и аромат от них такой… думаешь, слаще плода и быть не может. Ты его хвать, а он кислятина такая…

Тут только Бух обратил внимание на то, что все «гении» общались друг с другом исключительно шепотом.

– Скажите, почему все разговаривают здесь шепотом?

– Очень просто. Главный закон здесь: сделал открытие – можешь крикнуть «Эврика»! А до тех пор говори шепотом, чтобы другим не мешать обдумывать открытия. Вон того – видишь, с бородой, как у меня?

Бух повернул голову в сторону, куда указывал старик.

– Это тот, что нечесаный?

– Ну да. Из недавно прибывших, лет сто пятьдесят, как его клонировали. Он не хотел подчиниться и постоянно орал: «Вас эксплуатируют! Вы тут все – угнетенный класс! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой буржуазию! Да здравствует рабочий класс!» Я сам было сначала поверил, уж очень он всё заманчиво излагал. Но кроме меня никто на него внимания не обращал. Куда там – «соединяйтесь». Здесь одни умники собрались. По любому поводу, а то и без повода, у каждого – свое мнение. Да и на философские темы с ним не порассуждаешь. Слушать не умеет. Твердит свое: «прибавочная стоимость», «диктатура пролетариата», «классовая борьба»... Да еще и в полный голос. Вот его в какой-то степени и оскопили. Теперь только на пальцах и может… фигу какую-нибудь скрутить. А так тихий.

Бух всмотрелся в лохматого: тот энергично перебирал валявшиеся вокруг огрызки, откусывал их и бросал в траву.

– Лицо его мне больно знакомо, где я его мог видеть?.. Ну конечно! На первомайской демонстрации! – воскликнул Бух.

– Вот и я говорю… – продолжал бубнить старец, – от таких одни проблемы. Им бы дождаться, пока яблочко созреет. Ан нет, торопятся, срывают неспелый плод. По этой причине и отсутствует глубина познания. Как вы правильно заметили, укушенные яблоки только и годятся, что на компот. Правда, есть такие гении, что яблок сами не срывают, – ждут, когда те созреют и на голову упадут.

– Лентяи? Как Исаак Ньютон? – сострил Бух, указав на лежащего на спине с закрытыми глазами клона.

– Не… это Мичурин, тоже из новичков. Новый сорт яблок выво-

дит: верхняя оболочка – яблоко, под ней – груша, внутри груши – слива, а в сливе – вишенка. Сорт «Матрешка» называется. Пока безуспешно. Чувствую, не удержится он здесь, еще лет сто так пролежит, и переведут его в отделение непризнанных.

– Это какие? – удивился Бух.

– Те, которые изобрели что-то, но их никто не помнит. Колесо например, мясорубку, фейсбук. Но этот упрямый! Говорит: «Пусть хоть в дворники переводят, я всё равно ‘Матрешку’ выведу».

При этих словах старика Бух закашлялся, как будто костью подавился. А старик видит, что его слова силу возымели, и пошел «углублять тему».

– Вот порода! Такой пока лоб не расшибет, будет биться головой о стену. А ведь главное в науке – это мысль! Отчего она появилась в голове, что ее побудило туда прийти – совершенно неважно, пришла – и во благо! – старик торжествующи посмотрел на Буха.

– Во благо кому?

– Видите ли, молодой человек. Идея блага необходима для познания самих идей, как и для способности человека познавать эти идеи.

– Я понимаю… – призадумался Бух, – дворник улицу метет на благо проживающих в доме граждан…

– Вот видите: если человек понимает, что метет не просто за зарплату, а на благо человечества, то метет с вдохновением, со страстью, с упоением!

– Ну какое тут благо идее – «мести улицу»?

– Да благо в том, что человек познал благо идеи.

– А-а-а… – Бух почесал затылок. – Я раньше об этом не задумывался.

– Правильно! Вы, молодое поколение философов, мало о чем задумываетесь.

Старик откинулся назад, его лицо озарила самодовольная улыбка. Он протянул для знакомства руку: – Платон.

Бух пожал ледяную руку древнегреческого философа, задумчиво почесал подбородок и тихо представился: – Бухгалтер… экономист в прошлом, А-а-рон!

Платон вскочил на ноги и воскликнул:

– Арон! Брат Моисея! Ни за что не узнал бы! Где борода, куда девалась седина?! Давно ли с братом виделся? Как он?

Клоны мгновенно перестали размышлять и с недовольными гримасами повернули головы на крик. Платон виновато прикрыл ладонью рот и хотел было произнести извинительное изречение, как ударил гром, блеснула и озарила электронными разрядами всё вокруг молния. По стволу дерева пробежала дрожь. Яблоки посыпались на

головы застывших в ужасе клонов. Могучий столб воздуха, словно из гигантского пылесоса вместе с листвой втянул в себя Буха и…

Через минуту он оказался на знакомой больничной койке. На той самой, что и в первую телепортацию. Над ним склонился зеленый человечек в белом халате:

– Здравствуйте, уважаемый, Я завотделением по выписке отработанных экспонатов – доктор Астро…

Не успел доктор представиться, как Бух сбросил прикрывавшую его простыню и, пытаясь встать, дернулся так, что если б не пристяжные ремни, врезался бы головой в светильник, висевший над столом.

– Какой я тебе экспонат? Где мой чемодан?! – промычал Бух.

– Извините, дорогой, произошла ошибка, – донеслось из глубины гигантских глаз инопланетянина. – Ваш аппендикс… аппендикс господина Эйнштейна... сбил с толку нашего регистратора, и он направил вас не в то отделение.

– Не в то отделение!? – возмутился Бух.

– Совсем не туда, – промямлил зеленый человечек. – Ваши умственные способности не соответствуют…

– Да вы тут что! Расисты! Где мой чемодан?! – опять воскликнул Бух.

Доктор попятился назад.

– Нет, не подумайте. Мы – ученые… Какие мы расисты? Мы – сами зеленые.

– Зеленые! – кричал Бух. – Раз зеленые, ваше место на грядке, рядом с редиской, а мое там, где все гении культурно проводят время! Я с самим Платоном на равных! Я любого заткну… Где мой чемодан?!

– Уважаемый! Это был не совсем Платон. Как бы вам объяснить… вы беседовали с отражением Платона.

– С отражением? – растерялся Бух. – Как в зеркале?

– Вот-вот, как в зеркале.

– Скажи еще – «в кривом зеркале»! – возопил Бух.

Доктор замялся:

– Сами понимаете, обладание аппендиксом Эйнштейна никак не ставит вас на одну ступень с автором Теории относительности.

– Ставит! Может, вся гениальность вашего Эйнштейна и зависела от моего аппендикса! Мне за аппендикс десять миллионов в этой... как ее... Америке предлагали!

– Понимаете, наша лаборатория исключительно для особо одаренных! Как бы вам объяснить по-земному…

И доктор, послюнявив указательный палец, поднес его к своему виску и стал делать движение, как будто перелистывал страницы.

Бух замер. Лицо доктора раздулось и покрылось зелеными пятнами. Слышно было, как раздавался невыносимо громкий шелест мысленно перелистываемых им страниц. Наконец доктор нашел в своей голове нужное:

– Это всё равно, что если бы вас забрали в вытрезвитель, а вы оказались в санатории для членов… В общем, вы понимаете?

– Чего тут не понять! Зажрались вы тут все! О, рожу какую отъел! Где мой чемодан?!

Зеленый доктор слегка побелел.

– Извините, но нам пришлось заменить ваш чемодан на чемодан не менее известной личности – товарища Шарикова.

Тут уже Бух окончательно вышел из себя. Он схватил двумя руками доктора за тонкую шею и стал трясти.

– Какой чемодан, какого Шарикова?!

Голова доктора болталась, грозя вот-вот оторваться. В помещение вбежал мускулистый зеленый инопланетянин и кулаком, со всей силы, ударил по красной кнопке.

В голове Буха затрещало, заискрило, как в старом радиоприемнике… не успел он послать разом всех инопланетян в одну из известных ему галактик, как всё вокруг завертелось, потемнело, он вздохнул… И через минуту оказался на диване перед телевизором.

Мерцающий свет голубого экрана выхватывал из темноты лицо слегка похрапывающей рядом жены.

Бух выскочил в коридор, забрался на табуретку и заглянул на антресоли. Чемодан был на месте.

Резко зазвонил телефон. Бух схватил трубку.

– Алё!

Из трубки раздался голос главреда – явно подшофе:

– Эй Бух! завтра с утра финн… финн… и… спектор с ревизией! Смотри, не опаздывай!

Бух молча уставился на мерцающий экран телевизора, пытаясь отделить сон от реальности. Из трубки неслось:

– Ты чё молчишь, Бух?! Объелся мух?! … Ха-ха-ха...

Часы пробили три часа ночи. Бух поплелся в спальню. «Теперь бы поспать часок-другой.»

2018

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Владимир Сёмин

От мистицизма до марксизма

Идейные практики юного Николая Гумилева

По воспоминаниям родных Н. С. Гумилева, в подростковом возрасте и на заре своей туманной юности будущий поэт реализовал несколько идейных практик. В первую очередь, речь идет о создании мистического «тайного общества» гимназистов, которое занималось исследованием подземных ходов и кладоискательством: «В здании гимназии, в людской, в заброшенном леднике, в пустом подвале, устраивались собрания членов ‘общества’ при свечах, в самой конспиративной обстановке. Мальчики были помешаны на тайных ходах, на подземельях, на заговорах и интригах, выстукивали в домах стены, лазили по подвалам и чердакам, искали клады, разочаровывались и снова увлекались»[1].

Мать поэта, потомственная дворянка Анна Ивановна Гумилева (урожд. Львова), своим выразительным чтением библейских историй из красочно иллюстрированной «Бабушкиной библии» – «Bible drine miste» – приобщила Николая Гумилева к духовным религиозным ценностям. На впечатлительную натуру юного адепта христианства оказали влияние рассказы о мучениях Христа. «Его поразили слова в Евангелии: ‘вы – боги’ <…> и он решил самосовершенствоваться. Живя в Березках, он стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье», – вспоминала А. С. Сверчкова, сводная сестра поэта[2].

Аскетическое отрешение Гумилева от мирской жизни завершилось после обнаружения тайной пещеры на берегу реки. Душевные переживания, связанные с этим событием, выплеснулись в эмоциональные строчки стихотворения «Я в лес бежал из городов…», опубликованного в «Тифлисском листке»[3]:

Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал…
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде, не рыдал.

Вот я один с самим собой…
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь.

Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей;
Но растоптал я идеал…

Я мог бороться, но как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря: «Увы, я слаб!» –
Свои стремленья задавил…

Я грешник страшный, я злодей…
Прости, Господь, прости меня.
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!..

Есть люди с пламенной душой,
Есть люди с жаждою добра,
Ты им вручи свой стяг святой,
Их манит и влечет борьба.
Меня ж прости!..

Поведенческая реакция Николая Гумилева на свою первую публикацию показана в воспоминаниях жены старшего брата Дмитрия, Анны Андреевны Гумилевой: «Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу ‘Тифлисский листок’, где было напечатано его стихотворение ‘Я в лес бежал из городов’. Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет»[4].

Во время учебы в 1-й Тифлисской мужской гимназии (1901–1903) Гумилев проникся идеями социальной справедливости: «Под влиянием товарищей, в особенности одного из братьев Легранов – Бориса, впоследствии политработника, – и Гумилев увлекся (он всегда быстро загорался) политикой. Начал изучать ‘Капитал’ Маркса»[5].

Стихи певца народной жизни Н. А. Некрасова повлияли на формирование мировоззрения младшего сына статского советника: «Некрасов пробудил во мне мысль о возможности активного отноше-

ния личности к обществу. Пробудил интерес к революции»[6]. Наглядным примером может служить раннее подражательное стихотворение в стиле Некрасова[7]:

Я всю жизнь отдаю для великой борьбы,
Для борьбы против мрака, насилья и тьмы.
Но увы! Окружают меня лишь рабы,
Недоступные светлым идеям умы.

Они или холодной насмешкой своей,
Или трусостью рабской смущают меня,
И живу я во мраке, не видя лучей
Благодатного, ясного, светлого дня.

Но меня не смутить, я пробьюся вперед
От насилья и мрака к святому добру,
И, завидев светила свободы восход,
Я спокоен умру.

В летние каникулы, проведенные в рязанском имении Березки, шестнадцатилетний гимназист Гумилев попытался политической практикой «пробудить интерес» местного населения к революции. Первый биограф Гумилева П. Лукницкий[8] относит время действия события к 1901–1903 годам, а исследователь В. Лукницкая[9] указывает на лето 1903. Усредненный вариант датировки предложил литературовед В. Крейд: «Лето 1902 года. В усадьбе Березки [Гумилев] ведет ‘марксистскую’ агитацию»[10]. Гипотезу В. Крейда подтвердил документ, обнаруженный рязанскими архивистами. На основе этого архивного дела краевед П. Трибунский подготовил небольшую статью, в которой пересказал суть события, процитировал фрагменты документа, сделав вывод о «мистификаторском характере ‘агитации’ Гумилева»[11].

Не одно поколение исследователей пыталось определить время приобретения и место нахождения усадьбы Березки. Так, П. Лукницкий полагал, что покупка отцом поэта усадьбы в 60 десятин в Рязанской губернии состоялась зимой 1901 года, причем четкая локализация имения отсутствовала[12]. Примечательно, что в окладной книге 1902 года землевладельцем Затишьевской волости Рязанского уезда значится не Степан Яковлевич Гумилев, а его супруга – Анна Ивановна Гумилева[13]. Имение Березки неоднократно «находили» в разных местах Рязанского уезда. Для примера приведем одну из таких локаций: «Эта небольшая – 60 десятин 300 саженей – усадьба

располагалась неподалеку от реки Рака Затишьевской волости Рязанского уезда той же губернии в 22-х километрах от Рязани, где прошло семинарское детство отца»[14]. По заключению Трибунского, «установить точное время покупки не представляется возможным: поскольку уже в отчетах губернского архивного бюро за 1919 год состояние рязанского нотариального архива определяется как хаотическое, большое число бумаг которого было расхищено, а некоторые носили следы поджогов»[15]. Несмотря на столь категоричные выводы, мы продолжили архивные изыскания, обследовав десятки фондов, изучив несколько сотен дел в Государственном архиве Рязанской области. В фонде Рязанского губернского дворянского депутатского собрания было выявлено искомое «Дело о переходе земли от одного владельца к другому по Рязанскому уезду»[16]. Документ содержит сведения о прежнем владельце имения, земельной площади, месте расположения и точном времени его приобретения женой статского советника Анной Ивановной Гумилевой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Земство Рязанской Губернии
Рязанская Уездная Управа
Июня 28 дня 1901 года
№ 1911

В Рязанское Дворянское
Депутатское Собрание
30 июня 1901 № 1201

Уездная Управа имеет честь уведомить
Депутатское Собрание,
что ею на основании Купчей крепости, утвержденной 26 мая 1901 года, перечислено от коллежского секретаря Петра Григорьевича Киреева вся земля 60 д[есятин] 300 с[аженей] при деревне Салькoвой к жене Статского Советника Анне Ивановне Гумилевой.

Член Управы [Подпись] / Бухгалтер [Подпись]

С обнаружением выписки из купчей крепости достаточно точно определяется адрес имения Гумилевых. Усадьба Березки находилась возле деревни Салькoво Затишьевской волости Рязанского уезда, в двадцати двух верстах от губернского города Рязани[17].

В 1902 году Гумилевы во второй раз приехали из Тифлиса в Березки на летний отдых. Они часто посещали село Мосолово Пронского уезда, где проживал помещик Кудрявцев. Братья Гумилевы, Дмитрий и Николай, познакомились с 20-летним сыном помещика Алексеем, наносившим ответные визиты в Березки. Была и другая причина участившихся поездок братьев в Мосолово[18]. Дело в том,

что у главы обширного семейства Владимира Ивановича Кудрявцева помимо трех сыновей было пять разновозрастных дочерей. Николай Гумилев обратил внимание на юную Ольгу Кудрявцеву, 14-летнюю воспитанницу Рязанской Мариинской женской гимназии[19]. Вероятно это ее через несколько лет пытался выкрасть гимназический товарищ Гумилева, а Николай настойчиво уговаривал свою сводную сестру Александру Сверчкову принять участие в этом романтическом предприятии: «…будучи учеником 8 класса, Коля обратился к сестре Шуре, с которой был очень дружен, и просил ее помочь его товарищу похитить девицу, ученицу 7-го класса в Рязани, дочь инспектора. Сестра должна была приютить беглецов и в течение хотя бы двух недель продержать тайно в своей комнате. Много надо было употребить хитрости и тактичности, чтобы отговорить друзей от рискованного дела и настоять на том, что прежде надо всем троим выдержать переэкзаменовки»[20]. Заметим, что в отличие от Николая, воспитанница Рязанской Мариинской гимназии Ольга Кудрявцева училась «очень хорошо» и никаких переэкзаменовок ей не требовалось[21].

Другим знакомцем Гумилева стал 25-летний Сергей Михайлович Курапов, самый младший из пяти сыновей хозяйки водяной мельницы, сотоварищ Николая по охоте и велосипедным прогулкам[22]. Гумилеву было о чем поговорить со своим визави, если принять во внимание, что братья Кураповы «хорошо грамотные, а один из них был учителем церковно-приходской школы»[23].

В то насыщенное разными событиями лето Николай, кроме ружейной охоты, велосипедных прогулок, плаванья, верховой езды и чтения политической литературы, успевал вести агитацию среди местных жителей[24]. Предположительно в первой декаде июля Гумилев признался своему новому другу Курапову в том, что «принадлежит к тайному противоправительственному обществу, имеющему цель возмущения простого народа против помещиков и зажиточных людей, для отнятия от последних земли и имущества в пользу простого народа»[25]. Гумилев предложил Курапову вступить в общество, в котором насчитывается свыше 500 человек, и рассказать об этом помольщикам, приезжающим молоть зерно на водяную мельницу. Николай самостоятельно пытался завербовать в организацию двух хозяйских работников, получив согласие одного из них. По версии юного пропагандиста, «все действия и распоряжения общества ведутся успешно, без всякой переписки и что по заполнении общества достаточным числом членов оно откроет более активные действия и произведет открытый бунт черни»[26].

Официальное расследование агитационной деятельности Николая Гумилева начинается в середине лета. Мы установили, что

исправником Рязанского уезда был уроженец Рязани, дворянин Дмитрий Дмитриевич Гривцов (1847 г. р.), впоследствии служивший старшим советником в Рязанском губернском правлении. Начальник полиции Рязанского уезда исправник Гривцов[27] в своем рапорте от 15 июля 1902 года проинформировал о «пропаганде воспитанника Тифлисской гимназии Николая Степановича Гумилева» надлежащие властные структуры: рязанского губернатора Брянчанинова[28], прокурора окружного суда и жандармского полковника. На следующий день, 16 июля, в канцелярии губернатора было открыто «Секретное дело. Переписка об агитационной деятельности среди крестьян [сына статского советника Николая Степанова Гумилева]». Губернатор дал строгое указание исправнику Гривцову «подвергать таких агитаторов аресту», если факт агитации подтвердится[29].

В свою очередь, губернское жандармское управление потребовало от Гривцова выяснить, от кого была получена исходная информация по делу Гумилева[30]. Через неделю уездный исправник отправил подробный отчет губернатору, в котором в частности, говорилось, что сведения получены от урядника 7-го участка Вострухина, а Вострухин узнал от Сергея Курапова, а последний «указал на Николая Гумилева как на человека начитанного, умного, знающего, который может всё объяснить, о чем бы его ни спросили, но какого-то странного, в подтверждении чего указал на попытку Николая завербовать Курапова в некое тайное общество»[31]. Курапов отметил, что Николай очень опасается своего отца, и «если отец узнает о затеях сына, то сживет его со света»[32]. По словам Курапова, Николай Гумилев представляет собой «тип юного теоретика», а исправник Гривцов назвал его «легкомысленным агентом, при посредстве которого действуют социалисты-революционеры». Гривцов предположил, что «политических злоумышленников» следует искать в Тифлисе, по месту проживания Гумилевых. В связи с таким предположением совсем не случайным выглядит приезд из Тифлиса 17-летнего гимназиста Георгия Леграна в самом начале пропагандистской деятельности Гумилева. Видимо, у Леграна были веские причины появиться в имении Березки и проживать там некоторое время инкогнито, не предъявляя вида на жительство[33].

По указанию начальника Рязанского губернского жандармского управления за Н. Гумилевым установили строгое секретное наблюдение, но инкриминировать ему ничего не смогли, поскольку С. Курапов всячески отрицал разговоры с урядником Вострухиным и Гумилевым о тайном обществе, «не имея никакого понятия о сем обществе и не придавая ему никакого значения»[34]. Дело Николая Гумилева об агитационной деятельности среди крестьян завершилось для него без

каких-либо последствий, но после недоказанной попытки антиправительственной пропаганды Николай с политической практикой распрощался навсегда: «Гумилев никогда больше к политике не возвращался и не стремился в нее вникать»[35]. Не исключено, что отец провел с сыном серьезный разговор и, чтобы избавить Николая от революционно настроенной тифлисской молодежи, в 1903 году вывез семью из Тифлиса в Царское Село[36].

События, произошедшие в 1901–1902 годах в рязанском имении Гумилевых Березки (попытка ухода от светской жизни в пещерное отшельничество и хождение в народ с революционной пропагандой) легли в основу первого печатного произведения «Я в лес бежал из городов…»[37]. Эта знаковая для юного автора публикация позволила ему сделать приоритетный выбор в пользу поэтической практики: «Первая публикация доставила ему огромную радость и определила дальнейший путь»[38].

Введенные в научный оборот архивные документы: выписка из купчей крепости на имение Березки, а также полный текст «Секретного дела» станут важным дополнением в изучении ранней биографии поэта Серебряного века Н. С. Гумилева.

СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО КАНЦЕЛЯРИИ РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Переписка [Переписка по донесению Рязанского исправника] об агитационной деятельности среди крестьян [сына Статского Советника Николая Степанова Гумилева].

Начато 16. VII
Окончено 31 июля 1902

№ 2163
15 июля

Совершенно секретно
Его Превосходительству господину Рязанскому губернатору
Рязанского уездного исправника рапорт.

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что проживающему в Затишьевской волости, близ деревни Коротково, на хуторе, называемом «Березки», в имении своего отца Действительного Статского Советника Гумилева, воспитанник Тифлисской гимназии Николай Степанович Гумилев, 17 лет, бывая нередко на соседней водяной мельнице крестьянина Курапова, будучи хорошо знакомым с сыном мельника Сергеем Михайловым Кураповым, во время прогулок на велосипеде, или на ружейной охоте с ним, неоднократно

высказывал ему, что он, Гумилев, принадлежит к тайному обществу, имеющему цель возмущение простого народа против помещиков и зажиточных людей для отнятия от последних земли и имущества в пользу простого народа, что в кружке этого общества, к которому принадлежит он, Николай Гумилев, находится более 500 человек, и что он занимается вербовкою в этот кружок новых людей. Гумилев просил Сергея Курапова распространить это между помольщиками его мельницы и сказал, что сам он уговаривал двоих работников его отца примкнуть к этому кружку, из которых один согласился, а другой – нет.

Разъясняя частью образ действий и распоряжения общества, Гумилев объяснил, что все действия и распоряжения общества ведутся успешно, без всякой переписки, и что по заполнении общества достаточным числом членов оно откроет более активные действия и произведет открытый бунт черни.

К означенному Гумилеву неделю тому назад приехал его товарищ по Тифлисской гимназии, неизвестный человек, до сего времени не предъявив своего вида на жительство, и нередко к Гумилеву приезжает в гости сын пронского помещика Кудрявцев.

О вышеизложенном мною вместе с сим донесено гг[осподам] прокурору Рязанского окружного суда и жандармскому полковнику.

Уездный исправник Гривцов[39]

По входящему № 2163
Дело 556
Секретно
23 июля 1902

Господину Рязанскому уездному исправнику

Из рапорта Вашего от 15 текущего месяца за № 170 усмотрено, что находящиеся в нем сведения об агитационной деятельности воспитанника Тифлисской гимназии Николая Гумилева сообщены Вами гг[осподам] прокурору Рязанского окружного суда и начальнику губернского жандармского Управления.

По этому поводу считаю необходимым указать В[ашему] В[ысокоблагородию], что в случае обнаружения подстрекательства со стороны каких-либо лиц к беспорядкам или возбуждению в крестьянской среде нежелательных толков и домогательств гг[осподам] уездным исправникам согласно циркуляру моему от 5 текущего месяца должны немедленно, не дожидаясь мероприятий жандармской

полиции подвергать таких агитаторов аресту в порядке Положения о государственной охране и [краткого] исследования об их вредной деятельности представлять мне.

Так надлежит действовать Вам и по отношению к Николаю Гумилеву, если Вами немедленно при тщательном выяснении дела, будет установлено, что он действительно делает попытки к привлечению крестьян в состав противоправительственного общества и имеющего целью возбудить крестьян против помещиков.

[Подпись] *Губернатор Брянчанинов*
Верно: *Помощник Правителя канцелярии Муретов*[40]

Вход[ящий] № 2163 Секретно
Дело № 556 / 1902
Господину начальнику Рязанского Секретного стола
губернского жандармского управления
23 июля 1902 № 2235

Рязанский уездный исправник донес мне, что им сообщено В[ашему] В[ысокородию] об агитационной деятельности воспитанника Тифлисской гимназии Николая Гумилева, который по полученным сведениям проживает на хуторе своего отца близ д[еревни] Коротковой Рязанского уезда, делает попытки к привлечению отдельных крестьян в состав какого-то противоправительственного общества, имеющего целью возмущать крестьянское население против помещиков. Ввиду сего, имею честь просить В[аше] В[ысокородие] сообщить мне, приняты ли Вами какие-либо меры к преступной деятельности Николая Гумилева.

[Подпись] *Губернатор Брянчанинов*
Верно: *Помощник Правителя канцелярии Муретов*[41]

Начальник Рязанского губернского жандармского управления
Июля 25 дня 1902 года
№ 2235
Город Рязань

Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что за воспитанником Тифлисской гимназии Николаем Гумилевым установлено мною лишь секретное наблюдение и ведется негласное расследование. Ввиду того, что из сообщения Рязанского уездного исправника не усмотрено, от кого им получены сведения об агитационной дея-

тельности Гумилева, чтобы можно было основываться на положительных данных для производства у него обыска в порядке охраны, и потому мною запрошен Рязанский уездный исправник о более точных сведениях относительно деятельности Гумилева, о чем мною будет сообщено Вашему Превосходительству дополнительно.

Полковник [Подпись][42]

Его Превосходительству
господину Рязанскому губернатору
Рязанского уездного исправника рапорт
556 / 1902
26 июля
№ 2325

На предписание Вашего Превосходительства от 23 июля за № 2234 и в дополнение к рапорту своему от 15 июля за № 140, имею честь донести, что Действительный Статский Советник господин Гумилев проживает все время в г[ороде] Тифлисе и только на лето приезжает в свой хутор «Березки», заключающий в себе 60 десятин земли и находящийся близ д[еревни] Коротковой Рязанского уезда.

Семья Гумилева состоит из отца, матери и двух сыновей, учеников Тифлисской гимназии, Николая – 18 и Дмитрия – 19 лет. У них гостил товарищ по гимназии Георгий Васильевич Легран – 17 лет, и нередко приезжал в гости из села Мосолова Пронского уезда сын Кудрявцева. Гумилевы почти нигде у соседей не бывают, но лишь часто ездили к Кудрявцеву и на мельницу Курапова. Хозяйкой на мельнице состоит вдова Курапова. И при ней четыре сына и одна дочь, лет 20-ти.

Курапловы живут довольно зажиточно, помол у них большой, дающий в иные дни рублей 30-ть. Сблизившись с молодежью на мельнице, младший сын Гумилева, Николай Степанович, стал делать попытки завербовать Сергея Михайловича Курапова в какое-то тайное общество, высказывал ему всё то, что сообщено мною в рапорте от 15 июля за № 170.

Урядник 7-го участка Вострухин, будучи хорошо знаком с семьей мельничихи, как-то разговорился с Сергеем Кураповым, который, рассказывая про Гумилевых, указал на Николая Гумилева как на человека начитанного, умного, знающего, который может все объяснить, о чем бы его ни спросили, но какого-то странного, в подтверждении чего указал на попытку Николая завербовать Курапова в некое тайное общество. При этом Курапов пояснил, что, по словам Николая Гумилева, старший брат его Дмитрий не сочувствует млад-

шему, что если отец узнает о затеях сына, то сживет его со света. Помимо попытки завербовать Курапова, со стороны Гумилева никакой противоправительственной деятельности не замечалось, и кроме как на мельнице, он нигде в окрестных селениях не бывает.

Принимая во внимание, что братья Кураповы хорошо грамотные, а один из них был учителем церковно-приходской школы, что мельница является пунктом скоплений окрестных помольщиков, следовательно, представляет собой место вполне подходящее для политической пропаганды, что Николай Гумилев являет собой, со слов Сергея Курапова, тип юного теоретика, следовательно, является самым подходящим орудием в руках политических злоумышленников, что, судя по месту постоянного жительства Гумилевых, корень зла нужно искать в Тифлисе, и Николай Гумилев лишь тот легкомысленный агент, при посредстве которого действуют социалисты-революционеры; наконец, что Николай Гумилев в Рязанском уезде не проявлял активной деятельности по подстрекательству крестьян к беспорядкам, а лишь делал попытку привлечь Сергея Курапова в какую-то тайную организацию, я, рязанский исправник, сделал распоряжение о негласном наблюдении за Гумилевым, постановил: о вышеизложенном, как заключающем в себе признаки государственного преступления, на основании 1035/2 Ст[атьи] Т. XVI Устава уголовного судопроизводства, издание 1892 года, направил это дело <…> Начальнику Рязанского губернского жандармского управления.

Уездный исправник Гривцов[43]

Начальник Рязанского губернского жандармского управления
Секретно
Июля 30 дня 1902 года
№ 1722
Город Рязань

31 июля доложено в дополнение отношения моего от 25-го сего июля за № 1667 имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что негласным расследованием по делу Николая Гумилева выяснилось, что попыток Гумилева к привлечению крестьян в состав какого-то противоправительственного общества ни от кого не слыхать, а лишь высказывает о сем местный урядник Вострухин, что Гумилев хотел будто бы привлечь в состав такого общества мельника Сергея Курапова, который, не имея никакого понятия о сем обществе и не придавая ему никакого значения, рассказал об этом Вострухину. Между тем, сам же Курапов положительно опровергает свой разговор с Гумилевым и Вострухиным, ввиду сего, не имея положительных дан-

ных в возбуждении переписки, в порядке Положения о государственной охране против Гумилева, мною за ним установлено строгое секретное наблюдение, о чем и донесено Департаменту полиции.

Полковник [Подпись][44]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Лукницкая В.* Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. – Л., 1990. – Сс. 19-20.

2. *Сверчкова А.* Записи о семье Гумилевых. Митя и Коля // Гумилев Н. С.: Pro et contra. Антология. – СПб., 2000. – С. 235. Другой побудительной причиной к освоению Н. Гумилевым духовной практики могла стать его рязанская родословная. Несколько поколений Гумилевых – Пановых служили священниками, дьяконами и дьячками в Христорождественской церкви села Желудево Спасского уезда Рязанской губернии. Отец поэта, Степан (Стефан) Яковлевич Гумилев (1836–1910), окончил среднее отделение Рязанской духовной семинарии, но неожиданно для домочадцев не принял духовного звания и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Дед поэта, Яков Федотович Панов, женился на дочери священника Матрене Григорьевне Гумилевой, сумевшей сохранить в замужестве девичью фамилию и записать на нее своих детей. В метрической книге Христорождественской церкви отцом рожденного 28 июля и крещеного 2 августа Стефана значится Яков Федотов без упоминания фамилии. См.: Государственный архив Рязанской области (далее – ГАРО). Ф. 627. Оп. 254. Д. 61. Метрическая книга Христорождественской церкви села Желудево 1836 года. Л. 5; *Гольцева Г.* Время открытий // Приокская правда. – Рязань, 1989. 24 сентября.

3. «Тифлисский листок». – Тифлис, 1902. 8 сентября.

4. *Гумилева А.* Николай Степанович Гумилев // Гумилев Н. С.: Pro et contra… – С. 219.

5. *Лукницкая В.* Николай Гумилев… – С. 23. Легран Борис Васильевич (1884–1936), член РСДРП, член Революционного военного совета 10-й армии Южного фронта (1918–1919), председатель Революционного Военного Трибунала РСФСР (1919–1920), полномочный представитель РСФСР в Закавказье (1920–1921), директор Государственного Эрмитажа (1930–1934), заместитель ректора Всесоюзной Академии художеств (1935–1936). (См.: Легран Борис Васильевич // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. – М., 1983. – С. 321; *Авраменко С.* Легран Борис Васильевич // Эрмитаж, который мы потеряли: Документы 1920–1930 годов / Коммент., прим. Серапина Н. – СПб., 2002. – Сс. 406-407).

6. *Гумилев Н.* Собрание сочинений. В четырех томах / Под ред. Струве Г. П., Филиппова Б. А. – Вашингтон, 1968. Т. 4. – Сс. 373-374.

7. *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений в 10 тт. Стихотворения. Поэмы (1902–1910). – М., 1998. Т. 1. – С. 30.

8. Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь писателей XX века. – М., 1928. Т. 1. – С. 109.
9. *Лукницкая В.* История жизни Николая Гумилева. Повесть в документах // Аврора. – Л., 1989. № 2. – С. 97.
10. *Крейд В.* Гумилев Н. С. Библиография. – Connecticut, 1988. – С. 114; Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. – М., 1992. Т. 2. – С. 53.
11. *Трибунский П.* «Революционер» Николай Гумилев: мифы и реальность // Вопросы литературы. – М., 1997. Сентябрь-октябрь. – Сс. 369-373. Автор относит попытку агитации Гумилева к юношеской браваде и сознательной мистификации, исключив его «умение учить, поражать, вести за собой – словом, лидерствовать» (*Лукницкая В.* Николай Гумилев… Сс. 23-24). Следует отметить, что объектами воздействия юного пропагандиста были люди, превосходящие его и по возрасту, и по жизненному опыту (ГАРО. Ф. 627. Оп. 160. Д. 18. Ведомость духовной книги Рязанского уезда села Бежтвина Христорождественской церкви за 1901 год. Л. 6 об.-7). В анализе агитаторской деятельности Гумилева пропущен приезд инкогнито из Тифлиса (в качестве контролера?) Георгия Леграна, гимназического товарища Николая (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело канцелярии рязанского губернатора. Переписка [Переписка по донесению Рязанского исправника] об агитационной деятельности среди крестьян [сына Статского Советника Николая Степанова Гумилева]. 1902 год. Л. 1об., 7).
12. *Лукницкая В.* Николай Гумилев… – С. 22. Существует другая версия о времени покупки имения – весна 1901 (*Лукницкий П. Н.* Труды и дни Гумилева Н. С. – СПб., 2010. – С. 48).
13. ГАРО. Ф. 129. Оп. 157. Д. 135. Расклады поземельного налога с землевладельцев Рязанского уезда. Начато – 1902 год. Окончено – 1902 год. Список с землевладельцев в Рязанском уезде для распределения раскладки государственного поземельного налога на 1902 год. Л. 88.
14. *Трибунский П.* Там же. – С. 370.
15. Там же. – Сс. 369-370.
16. ГАРО. Ф. 98. Оп. 116. Д. 22. Дело о переходе земли от одного владельца к другому по Рязанскому уезду. Л. 28.
17. Населенные места Рязанской губернии. – Рязань, 1906. Ред.-сост. Проходцов И. И. – Сс. 464-465, 470-471.
18. Трибунский акцентирует внимание на закрытости Гумилевых во время проживания семейства в рязанском имении: «Гумилевы жили в Березках замкнуто <…>. Сами Гумилевы изредка выезжали в гости к Кудрявцевым, иногда заглядывая на находившуюся невдалеке мельницу Кураповых» (*Трибунский П.* Там же. – С. 370). Сравним с текстом архивного документа: «Гумилевы почти нигде у соседей не бывают, но лишь часто ездили к Кудрявцеву и на мельницу Курапова». (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 7). Состав семьи Кураповых на май 1901 года: вдова Павла

Федорова Курапова – 57 лет; дети: Федор – 30, Иван – 27, Алексей – 27, Валентин – 26, Сергей – 24, Екатерина – 23 (ГАРО. Ф. 627. Оп. 160. Д. 18. Ведомость…Л. 26 об).

19. Кудрявцев Владимир Иванович, из тверских дворян, жена Мария Петровна Кудрявцева (урожд. Фиглева). Дети: Николай (? г.р) , Алексей – 1882 г.р., Евгений – 1894 г.р., Варвара – 1876 г.р., Мария – 1878 г.р., Надежда – 1879 г.р., Ольга – 14 июля 1888, Екатерина – 1892 г.р. (ГАРО. Ф. 98. Оп. 102. Д. 10. Дело Рязанского дворянского депутатского собрания о внесении в дворянскую родословную книгу штабс-капитана Владимира Ивановича Кудрявцева с семейством. Начато – 13 января 1887 года. Кончено – 25 января 1905 года. Л. 4, 6, 7-7об., 10, 12; Ф. 605. Оп. 1. Д. 413. Годовой обозрительный отчет о состоянии гимназии [с приложением] за 1906 год. Список служащих и воспитанниц гимназии за 1906 год. Л. 19об.-20).

20. *Сверчкова А.* Записи о семье Гумилевых. Митя и Коля // Гумилев Н. С.: Pro et contra... – С. 235.

21. ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 413. Годовой обозрительный отчет… Л. 19об.-20.

22. ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 1; Возраст С. М. Курапова определен мною по: ГАРО. Ф. 627. Оп. 160. Д. 18. Ведомость… Л. 26об.

23. ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 7об.

24. *Лукницкая В.* Николай Гумилев… – Сс. 23-24.

25. ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 1-1об.

26. Там же.

27. В августе 1919 года Дмитрий Дмитриевич Гривцов губернской чрезвычайной комиссией арестован и взят в заложники «как принадлежащий к буржуазии» и отправлен в Рязанский концентрационный лагерь принудительных работ. Умер в губернской больнице предположительно в декабре 1919 года. (ГАРО. Ф. Р-2817. Оп. 1. Д. 6. Дело заключенных, обвиняемых в распространении ложных слухов, службу в полиции и принадлежности к антисоветским партиям с буквы «А-П». Л. 32; Д. 14. Дело заключенных заложников с буквы «В-Д». Л. 75-76; *Григоров А. А., Григоров А. И.* Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР. 1919–1923 годы. – М., 2013. – Сс. 14, 16).

28. Брянчанинов Николай Семенович (1844–1915), потомственный дворянин, племянник святителя Игнатия (Брянчанинова), рязанский губернатор (1893–1904), Шталмейстер Двора Его Императорского Величества, кавалер отечественных и иностранных орденов, сенатор, действительный тайный советник. (ГАРО. Ф. 4. Оп. 47. Т. 11. Д. 10106. С Высочайшего приказа Его Императорского Величества по ведомству Министерства внутренних дел о награждении орденами рязанского губернатора Брянчанинова и служащих губернского Правления. 1899 год. Л. 1-2; Д. 9. Переписка о награждении чинами за выслугу лет. Формулярные списки [о службе] губернатора Брянчанинова и канцелярского служителя Плаксина Михаила Ивановича. 1899 год. Л. 23об., 28об; Д. 10121. Формулярные списки о службе Рязанского

губернатора Николая Степановича (следует читать – Семеновича. – *В. С.*) Брянчанинова и помощника бухгалтера Данковского уездного казначейства Петра Григорьевича Иванова. 1900 год. Л. 1-9; *Шафранова О.* К истории рода Святителя Игнатия Брянчанинова // Игнатий (Брянчанинов) свт. Полное собрание творений. – М., 2002. – Сс. 590-591, 594).

29. ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 2-3об.
30. Там же. Л. 3-6об.
31. Там же. Л. 7-7об.
32. Там же.
33. Там же. Л. 1-1об.
34. Там же. Л. 8-8об.
35. *Лукницкая В.* Николай Гумилев… – С. 23.
36. *Гумилева А.* Николай Степанович Гумилев… – С. 219. Лукницкая отмечала: «В то время большая часть тифлисской молодежи была настроена революционно» (*Лукницкая В.* Николай Гумилев… – С. 23.).
37. Другим социально мотивированным произведением Гумилева можно считать стихотворение «Я всю жизнь отдаю для великой борьбы…». См: *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений… – С. 30.
38. *Лукницкая В.* Николай Гумилев… – С. 25
39. ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3462. Секретное дело… Л. 1-1об.
40. Там же. Л. 2-3об.
41. Там же. Л. 4-5.
42. Там же. Л. 6-6об.
43. Там же. Л. 7-7об.
44. Там же. Л. 8-8об.

Публикация, комментарий – В. Сёмин

Вадим Ярмолинец

Возвращение на Волгу

Неопубликованные стихи А. М. Федорова

В последний год своей жизни известный в начале прошлого века литератор Александр Митрофанович Федоров стал посылать свои неопубликованные стихи и поэмы перебравшемуся в Америку внуку Вадиму. Он рассчитывал на то, что тот сможет предложить их в одно из американских русскоязычных изданий.

В это время А. М. Федоров жил в Софии. Он поселился здесь в начале 1920 года, бежав из «красной» Одессы. В отличие от других уехавших из Одессы коллег, А. М. Федоров застрял в Софии до конца своих дней. Причин было несколько. Во-первых, он сразу же получил работу преподавателя русского языка и литературы в софийской гимназии, что дало ему невысокий, но стабильный доход. Отказаться от него было сложно, как бы он ни ненавидел свою работу, о чем постоянно жаловался в письмах И. А. Бунину. Во-вторых, Бунин, с которым его связывала многолетняя дружба, не помог ему с переездом в Париж, невзирая на многочисленные мольбы Федорова.

Начиная с 30-х годов жизнь А. М. Федорова стала отчаянно тяжелой и в материальном смысле, и в психологическом. Его несколько раз увольняли с работы в гимназии и восстанавливали, пока, наконец, не лишили места окончательно. От нищеты и улицы его спасла семья Желязовых. Поначалу он снимал у них комнату, но со временем сблизился с овдовевшей хозяйкой и остался в доме на правах ее гражданского супруга. В своем последнем романе «Плеяды» – автобиографическом настолько, что его впору назвать документальным, – автор объяснил, почему дело не дошло до официального оформления их союза: Невена Желязова получала военную пенсию покойного мужа, и повторный брак мог лишить ее этого дохода.

Под крышей этого дома он провел остаток жизни и скончался от инсульта в апреле 1949 года.

Ведущие журналы русской эмиграции его почти не печатали, а те, которые печатали, не платили гонораров. Розыск его редких публикаций может стать интересной и, наверное, неблагодарной задачей для человека, который захочет составить полную библиографию Федорова.

В 1937-м Александр Митрофанович получил известие о том, что оставленная им в Одессе супруга – Лидия Карловна – арестована. Обращаясь к ее образу в своей прозе и стихах того времени, он с поразительной точностью определил, каким был ее конец: 70-летнюю женщину расстреляли за связи с заграницей. Она действительно могла получать из-за границы финансовую поддержку от сына-белоэмигранта. Но фактически за доносом, арестом и стремительным судом стояло стремление местной литературной организации отобрать у нее дом на Даче Ковалевского.

В январе 1946 года Александра Митрофановича постиг еще один удар – его сын Виктор, живший в Бухаресте и работавший художником-декоратором в румынской Королевской опере, был арестован и отправлен в ГУЛаг.

Спасением и утешением оставалась литература. Федоров продолжал писать большую и малую прозу, стихи, драматургические произведения. Для кого? – Для себя. Это была его, как теперь бы сказали, психотерапия.

В 1945-м с ним связались московские литераторы, попавшие в Болгарию в составе советских оккупационных войск. Федоров был уверен, что их интерес был чисто литературного свойства. Его помнили! Может быть... Но не исключено, что его использовали как источник бесценной информации для поиска белоэмигрантов, сотрудничавших с немцами. В Болгарии и Румынии в это время трудились сотни агентов СМЕРШа, вошедшего туда в составе оккупационных войск. Федоров, возглавлявший Союз русских писателей и журналистов Болгарии, где до войны издавалось около 80 русских газет и журналов, был в этом плане бесценным источником информации. Это предположение дает повод выдвинуть и еще одно: не мог ли его сын Виктор быть арестован и отправлен в лагерь, где и погиб, с подачи отца, который просто не представлял, кому он рассказывал о гениальности своего мальчика – выдающегося театрального художника?..

Так ли иначе, но «военно-литературные» гости А. М. Федорова предложили взять его тексты для публикации в Москве. Имя одного из них известно – Исай Заславский, специалист по Лермонтову. Александр Митрофанович загорелся надеждой и на возвращение в литературу, и на гонорар, который помог бы ему рассчитаться со своими благодетелями. Однако отправленные в Москву роман и литературные мемуары как в воду канули. Он больше не услышал и о тех, кто увез его тексты.

Поводом для новой надежды стал переезд внуков – Вадима и Леонида – в Нью-Йорк. До 1945 года они с матерью – первой женой В. А. Федорова – жили в Чехословакии. Затем оказались в американ-

ской оккупационной зоне и эмигрировали в США. Александр Митрофанович, души в них не чаявший, много раз принимавший их в Болгарии на летний отдых, продолжал переписываться с ними. Отправляя им свои поэтические труды, он просил передать их в какое-нибудь из американских русскоязычных изданий. Такими могла быть ежедневная газета «Новое русское слово» или «Новый Журнал».

В оставленных им воспоминаниях внук писателя Вадим Викторович Федоров говорит, что его попытки найти издателя не увенчались успехом. Но стихи не пропали.

Живя в Регенсбурге, братья Федоровы познакомились с поэтом Алексисом Раннитом (наст. Алексей Долгошев). В 1944 году он бежал из Латвии в Германию, а в 1953-м эмигрировал в США. Первоначально работал в Публичной библиотеке Нью-Йорка, а затем – куратором отдела Славянской и Восточноевропейской литературы библиотеки Йельского университета. Вадим Федоров передал стихи деда ему, предоставив право распорядиться ими по своему усмотрению. Раннит ушел из жизни в 1985 году. Папка со стихами А. М. Федорова, написанными в период с 1933 по 1948 год, лежала в его доме. После смерти Раннита она могли исчезнуть – как исчезли десятки архивов русских эмигрантов. Но в 1989 году вдова Алексиса – Татьяна Раннит – сделала то, чего не сделал он сам: передала стихи в Архив редких книг и рукописей библиотеки Байнеке в Йельском университете.

Отобранные для этой публикации стихи привлекают тем, что в самые тяжелые для него годы мысли Федорова были обращены к малой родине. Александр Митрофанович родился и вырос в Саратове. Нежная любовь к матери была предельно обострена ее ранней потерей. Его первая публикация состоялась в журнале «Саратовский дневник» в 1885 году, когда автору было 17 лет. Очень скоро его связь с Саратовым стала непостоянной – он часто переезжал с места на место, а в 1896-м поселился в Одессе. В 1899-м он, кажется, последний раз вернулся на Волгу – в качестве корреспондента «Одесских новостей». В течение нескольких месяцев он рассказывал своим читателям о страшной трагедии – голоде и сопутствующих ему эпидемиях цинги и тифа. Побывав в родном Саратове, Федоров был разочарован его провинциальностью, несопоставимостью с «тремя столицами», с которыми теперь была связана его жизнь. Он часто бывал в Москве и Петербурге, где устраивал свои литературные дела, однако продолжал жить в Одессе.

С Одессой связаны самые плодотворные и благополучные годы Федорова. Здесь у него был свой изобильный и гостеприимный дом, здесь родились его сын и внуки. Здесь развивается действие трех его романов: «Природа», «Подвиг», «Его глаза», повести «Море» и мно-

гих рассказов. И тем не менее, ощущая приближение финала своего печального эмигрантского пути, писатель возвращается душой не в Одессу, а на Волгу; все его мысли наполнены впечатлениями детства.

Публикацию этих стихов можно считать посмертным исполнением мечты поэта, трагически осознающего, что он стоит на краю бездны, в которую вот-вот канет и он сам, и труды всей его жизни. Но, перефразируя известное высказывание, рукописи не исчезают. Какая-то неведомая сила, странные случаи разбрасывают их по миру, сохраняя для будущих поколений.

Благодарю Архив редких книг и рукописей библиотеки Байнеке (The Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University Library in New Haven) за разрешение данной публикации стихов А. М. Федорова.

А. М. Федоров

Неопубликованные стихи

ДЕТСТВО

Видно, жить осталось недолго:
Все чаще вспоминается мне
Родина, детство, Волга.
Я вижу их даже во сне.
И сны эти ближе к правде,
Чем то, что наяву.
Да я и не знаю – явь где,
А где я в мечтах живу:
Не видел бы я иначе
Себя со стороны
То в скучном осеннем плаче,
То в буйном смехе весны.

ПЛОТЫ

Как острова из бревен, ровны, долги,
Плоты проходят с севера по Волге.
На них – теплушки и плотовщики;
Их голоса певучи и легки,
Разносятся над волжскими водами.

Косматые, с большими бородами,
Без шапок, босиком, без чапанов,
Они похожи то на колдунов,
То на лихих разбойников. Ночами
С плотов во мрак горящими очами
Глядят огни пылающих костров.
В котлах варят уху из осетров,
И вкусно пахнет в воздухе здоровом
Рекою, лесом и дымком сосновым.
Шуршит меж бревен, плещется вода, –
Отражена в ней каждая звезда
И месяца серебряный осколок.
Путь из Уфы до Астрахани долог,
Но песня им сподвижник и другарь,
Не знает скуки с песнею волгарь.

* * *

С любовно сладостною жутью
Любуюсь чуть не полчаса,
Как на листах капусты ртутью
Дрожит во впадинах роса.
Бока вилков покрыты матом.
Последним отблеском заря
По их отливам синеватым
Скользит улыбкой сентября.
И погасает... Божье око
Раскрылось и глядит – звезда,
И звон субботний издалека
Зовет усталых от труда.
Такая бедность вкруг, такая
Родной природы простота.
Но в чем же сила колдовская,
Чем эта кротость не свята?
И отчего я ей, как чуду,
Дивлюсь, молюсь душой без слов,
И до могилы не забуду
Звезду, как око, бедность всюду,
Росу и звон колоколов.

ПЬЯНЫЙ БОР

По-над белою Камой,
Есть высокий, крутой косогор.
До вершины до самой
От подножья вздымается бор.
При огнистом закате
Красным пламенем блещут стволы.
В дивной черни и злате
Их убор до последней иглы.
Буйно сосны и ели
Наклонились туда и сюда.
Разгулялись во хмеле,
Точно в Каме вино, не вода.
Снизу доверху пьяны,
Рвутся все вперебой, напролом
Колдуны великаны,
Чтобы Каме ударить челом.
Побродил я по свету,
Повидал я немало чудес,
А подобного нету
За пределами наших небес.
Да и сами сибиллы
Вряд ли знают ответ на вопрос:
От своей ли от силы
Пьян тот бор, иль от горя и слез.

ПЕСНЯ

В раннем детстве мать мне пела
Песнь. Но память не уздечка,
Песнь – не конь. Не уцелело
Ни напева, ни словечка.
Песен срок давно мне вышел.
Но минувшей ночью снова
Я во сне ту песню слышал
Всю, от слова и до слова,
Всю с ее напевом дивным
И таким простым, казалось,
Со словами неразрывным,
Что одно в одно вливалось.

А проснулся – тщетно память
Слово, звук родной ловила,
Все, как снег, ночная замять
Покрывала и кружила.
Верно так кружила дико
В эту ночь и на погосте,
Где от милого мне лика
Уцелели разве кости.
Все истлело. Не истлело
Только то, что стало мною,
Что поет во мне и пело
Этой ночью ледяною.
Все истлело: сердце даже,
Сердце матери, в котором
День и ночь любовь на страже
Пела вместе с Божьим хором.
И глаза ее истлели,
А ведь в них-то и таились
Те слова, что в сердце пели
И в зрачках ее светились.

* * *

В прощальные ласки заката,
Когда обмирают леса,
Нас осенью поздней куда-то
Зовут тишины голоса.
Зовут неизвестно откуда,
Неведомо новы и чьи,
Как тайн сокровенные чуда,
Как вечных жрецов литии.
Дорогой иду незнакомой
В далекой и чуждой стране.
Все сердце прощальной истомой
Сияет в закатном огне:
Не боль, не предсмертная мука,
А та же, что в каждом листе,
И в каждой былинке – разлука,
Причастье к иной красоте.

Публикация – В. Ярмолинец

История Новой Кубани

Беседа историка Ю. Сандулова с атаманом А. И. Синченко

Казакам и казачкам, основателям и
строителям Новой Кубани посвящается

Если Вы путешествуете по южному Нью-Джерси, то дорога сама приведет вас в казачье поселение Новая Кубань. Эта станица расположена в часе езды от бывшей столицы США – Филадельфии. Съезжая с Weymouth, вы попадаете на центральную дорогу Новой Кубани с непривычным для американцев названием «Дон», которая разделяет станицу на две части. От нее отходят улицы Терек и Кавказ. Вдоль дороги выстроились аккуратные почтовые ящики с именами хозяев: Синченко, Неклюдовы, Полупановы, Поначевские; в глубине за деревьями расположились дома.

Как всегда, нас радушно встречает атаман Анатолий Иванович Синченко. Человек удивительной судьбы. Двенадцатилетним мальчишкой он попал в Америку, здесь выучился, основал свое дело, многого добился в бизнесе. Однако в истории Русской Америки, думаю, он останется как человек, создавший Кубанский казачий музей в США. Анатолий Иванович рад каждому посетителю музея, часами может рассказывать об истории казачества как в России, так и в Зарубежье. Неутомимый коллекционер и исследователь, он в каждый наш приезд показывает все новые и новые экспонаты. Особое внимание уделяется пополнению казачьей периодики. Специалисты считают, что А. И. Синченко собрал самую большую коллекцию эмигрантских казачьих газет и журналов. Двери его музея всегда открыты для исследователей, которых становится все больше и больше.

Отдохнув немного и отведав прекрасного вина, которое хозяин готовит и хранит в огромных бутылях в подвале, мы переходим к главной цели нашего приезда – подготовке книги по истории Новой Кубани. Атаман объективно оценивает историю казачества и те события, в которых пришлось участвовать ему лично. Если сомневается или не помнит какие-либо даты, тут же протягивает руку и достает с полки ту или иную книгу или папку с документами – а их здесь огромное количество. «Не успеваем разбирать», – вздыхает он, – после смерти казаков многие родственники приносят документы прямо в коробках, зная, что у атамана ничего не пропадет; каждой фотографии и каждому документу найдется свое достойное место в музее. Много и подробно Анатолий Иванович рассказывает о создании как самого поселения

Новая Кубань, так и об истории музея. Его голос наливается теплотой, когда он рассказывает о первых жертвователях – тех, кто передавал на постройку музея по тысяче и более долларов из своих «кровных»: Василий Григорьевич Глазков, Стефан Михайлович Маршал, Юрий Дмитриевич Малиновский, Петр Яковлевич Ходосов.

Конечно, не все было гладко; в рассказе Синченко звучит и горечь, когда он говорит о расколах и разброде в казачьей среде. Рассказывает, как в 1969 году на общем черезвычайном собрании членов Общества Новая Кубань было принято решение о строительстве здания для Общеказачьего исторического музея и библиотеки. Обращение было направлено всем зарубежным казачьим организациям. Но как часто бывает, из-за разногласий по многим вопросам финансовая помощь оказалась минимальной. Рассчитывать пришлось только на свои силы. Еще раз Казачье собрание обратилось к казакам и казачкам с просьбой жертвовать на окончание строительства музея и подписываться на беспроцентный заем. Так же был решен вопрос «об избрании в пожизненные почетные члены Правления Общества Новая Кубань», пожертвовавших на строительство Общеказачьего Историческаго музея и библиотеки более 1000 долларов.

– Атаман, вам уже много лет, откуда столько энергии? – спросил я.

– Это всё она, всё благодаря поддержке супруги – Нины Ивановны Сичкиной; многие годы она является казачьим писарем в Обществе, ведет всю бухгалтерию, протоколы собраний; она – председатель Дамского благотворительного комитета.

...Каждая наша встреча длится до позднего вечера, все рассказы атамана аккуратно записываю, так как хочется донести до читателей убежденность человека, занимающегося главным делом всей своей жизни.

Ю. А. Сандулов

– Среди историков, я уже не говорю о прессе, все еще идет дискуссия: казачество – это сословие или народ? Ваше мнение?

– Для меня ответ абсолютно понятен: казачество – народ. Это советская историческая наука, руководствуясь партийными указаниями, сделала из казаков сословие. В архивах Российской империи, связанных с переписью народов, записано четко: «славянские народы» – и первыми идут русские, а вторыми – казаки, в том числе и кубанские. Некоторые пытаются найти промежуточное решение – это, мол, не народ, но военное сословие. Не согласен: мы – народ.

– Какова была численность казаков по войскам и общая?

– Всего казачьих войск было двенадцать: Войско Донское, Кубанское, Семиреченское, Енисейское, Уссурийское, Уральское, Сибирское, Амурское, Забайкальское, Терское, Астраханское, Оренбургское... кажется, никого не пропустил, не обидел хлопцев. На

этих территориях находилось – приводят разные данные – около пяти миллионов казаков. По одним данным, во время Первой мировой войны на фронтах сражалось около полумиллиона казаков, но я думаю, что было больше.

– В чем было их отличие – кубанцев, донцов, терцев... – только географическое?

– Да, думаю только география расселения; у казаков было больше общих черт, чем различий. Созданные курени и станицы различались также принадлежностью к войску.

– Почему казаки не поддались угару революции?

– Главная причина, наверное, была в том, что казачество никогда не знало крепостного права, оно всегда было свободным, имело свои земли и пользовалось широким самоуправлением.

– После эвакуации из Крыма казаки неминуемо должны были раствориться в эмигрантской массе. Со всеми ее непримиримыми политическими, идеологическими и другими противоречиями...

– Должны были раствориться, но этого не случилось, потому что казаки уходили в эмиграцию со своими выборными атаманами, станичными и окружными, Войсковым атаманом, членами войскового Круга, со своим правительством, наконец. Уже на первом этапе эмиграции, находясь в Константинополе, Войсковые атаманы Дона, Кубани и Терека дали казакам программу – именно для того, чтобы предохранить их от всевозможных идеологических и политических разногласий.

– Как происходило реальное обьединение казачества в эмиграции, с чего начинось?

– Поскольку казаки эмигрировали вместе со своей администрацией, они продолжали жить по законам, принятым ими еще в России, и в этом отношении начинать новую жизнь им было легче. Прежде всего создавали казачьи станицы, группы хуторов, а затем уже в этих поселениях стали возникать общественные организации, часто благотворительные, облегчавшие казачью жизнь. Комитеты казачьей помощи, Кубанская касса взаимопомощи и, конечно, почти всё строилось по земляческому принципу. Руководителями казачьих союзов, как правило, становились авторитетные лидеры, имевшие поддержку всей казачьей массы. Думаю, именно создание станиц принесло казакам наибольшую пользу, так как не позволило раствориться в общей эмигрантской массе. Думаю, что казаки первые поняли, что выжить в новых условиях можно только через взаимопомощь и самоорганизацию. К концу 20-х годов в Казачий союз, скажем, во Франции входило 188 казачьих организаций, существовавших на то время в 18 странах мира.

– Правовое положение казаков отличалось от основной эмигрантской массы?

– Думаю, что нет, оно было столь же сложным и неопределенным. Поскольку советское руководство лишило российского гражданства всех эмигрантов, кто не взял советские паспорта к 1 июня 1922 года, многие стали получать статус беженцев, бесподданных. Лига наций начала выдавать «нансеновские паспорта», которые служили подтверждением их статуса апатрида. По этим паспортам можно было уехать в страны, которые нуждались в дешевой рабочей силе для восстановления экономики после Первой мировой войны или если руководство страны поддерживало идею славянской консолидации. Скажем, Чехословакия, Болгария, Югославия. В последней казаки-хлеборобы были даже приравнены в правах с местным населением. В Королевстве сербов, хорватов и словенцев признавалось также российское высшее образование.

Несмотря на жестокость американских эмигрантских законов, Америка была очень привлекательна для казаков. Здесь они, благодаря своему трудолюбию и сплоченности, могли довольно быстро пройти все этапы адаптации и стать на ноги. Уже к 30-м годам в Нью-Йорке и прилегающих к нему городах проживало более 400 казаков. В конце 40-х переселение казаков в США из Европы стало массовым – этому способствовал Билль о допуске в 1948–1950 гг. в страну 205000 европейцев и политических беженцев.

– Как разделилось казачество в эмиграции по политическим направлениям?

– Несмотря на пестроту взглядов казачество делилось на три основных направления: монархисты, сторонники П. Н. Врангеля и П. Н. Краснова – они составляли правое крыло; умеренные, казачьи войсковые атаманы, входившие в Обьединенный Совет Дона, Кубани и Терека. Большая часть из них была за федерацию в рамках единого Российского государства; казачьи края должны были бы иметь в этом государстве самостоятельность, основой которой служила бы конституция Всевеликого Войска Донского от 1918 года. Третье – это демократически настроенные казаки – антимонархисты, выступавшие за республиканское правление; они считали, что после свержения большевизма в России будет Российская Демократическая Федеративная республика, а казачьи республики в нее войдут как отдельные штаты со своими законодательными и государственно-административными органами. Некоторые пошли еще дальше, обьединившись в «Союз Вольного Казачества» в 1927 году, впоследствии их стали называть «самостийниками». Атаман П. Н. Краснов также подлил масла в огонь, распространив среди казаков письмо, в котором

сообщал, что у него есть план, по которому Советская Россия покидает казачьи земли на Дону и передает их ему, а он уже на этой территории создает самостоятельное казачье государство – естественно, во главе с ним. Сейчас сложно судить, верил ли он сам в этот прожект.

– В воспоминаниях казаков иногда упоминается борьба уже в Америке, в 1920–1930 годы, с живоцерковниками.

– К 1922 году живоцерковники полностью захватили церковную власть в Советской России. Но на этом они не остановились и стали засылать в Америку «красных попов»-эмиссаров. Бурную деятельность развернул в Америке живоцерковник свящ. Иоанн Кедровский, он выдавал себя за законного архиепископа Нью-Йоркского и начал тяжбы в американских судах, чтобы отсудить церковное имущество епархии. И надо сказать, что он в этом преуспел, – в его руки перешел Свято-Николаевский кафедральный собор в Нью-Йорке и еще, кажется, 160 храмов. Казаки Калединской станицы в Нью-Йорке как могли противостояли живоцерковникам, особенно когда они пытались захватить храм Христа Спасителя. Практически борьба с «красными попами» – это противостояние советским органам разведки ГПУ против их попыток забрасывать в Америку своих агентов через церковные организации. В этих тяжелейших условиях митрополиту Платону ничего не оставалось делать, как собрать Собор в Детройте, где было принято решение об автономии Северо-Американской епархии. Кстати, в России к началу Второй мировой войны всех живоцерковников или пересажали, или расстреляли, поскольку они уже не были нужны.

– А отношение казаков к Обществу военных инвалидов?

– Русско-японская, Первая мировая, а затем Гражданская войны оставили после себя тысячи инвалидов. Для помощи этим несчастным было создано «Общество помощи русским военным инвалидам зарубежья» – таково его полное название. В США было два центра этого общества, один в Нью-Йорке, которым долгие годы руководил полковник А. В. Амилахвари, и второй в Лос-Анджелесе, – там, кажется, был руководителем подпоручик Игнатьев. Понимая, что все раненые бойцы белых армий, находящиеся в госпиталях, обречены на смерть, главнокомандующий П. Н. Врангель всех их вывез при эвакуации из Крыма. Основная масса инвалидов оказалась в Болгарии и, в конечном счете, они могли рассчитывать только на себя. Уже в 1920 году был разработан устав и программа действий Союза. Это послужило примером для инвалидов, находящихся в других странах. Инвалиды не делились на русских, украинцев или казаков – это были просто люди, нуждавшиеся в человеческой помощи. Уже к 1923 году через РОВС все разрозненные организации были обьединены в еди-

ный «Зарубежный союз русских военных инвалидов», которым успешно начал руководить генерал от кавалерии Н. Н. Баратов. Союз для сбора средств на поддержку инвалидов проводил базары, балы, лотереи, концерты. С 1926 года начал проводиться «День военного инвалида», а после появления средств Общество стало открывать дома для инвалидов, общежития, библиотеки. Многое делалось для адаптации инвалидов в обществе. Начали издавать свою газету «Русский Инвалид». Казаки полностью поддерживали деятельность Союза и всегда были его почетными членами. Почему я так подробно рассказываю об этом обществе? – Потому что это было то начинание, которое обьединило все Зарубежье, здесь разногласий не было. Это светлое пятно в зарубежной истории.

– Был т.н. Тройственный Союз, претендовавший на общее казачье руководство. Пришли ли казаки впоследствии к выбору единого руководителя?

– Это и был единый орган управления казачеством. Атаманы обьединили свои действия, в соглашении подчеркивалось: «...Дон, Кубань и Терек, сохраняя неприкосновенными свои конституции, по вопросам внешних сношений, военным, финансово-экономическим и общеполитическим действуют обьединенно. Впредь до возвращения в свои края заботы об устройстве беженцев составляют также предмет обьединенных действий». Все внешние сношения от Обьединенного Совета Дона, Кубани и Терека по решению Совета проводил атаман А. П. Богаевский.

Из Константинополя казаки стали переправляться на остров Лемнос, в Румынию, Югославию, Болгарию, Чехословакию, Грецию и Венгрию. И очевидная заслуга казачьей администрации в том, что со всеми группами была вскоре налажена связь. Также это позволило и дальше оказывать казакам помощь в переезде в страны, которые нуждались в рабочей силе. Во Францию и Чехословакию, например, – здесь были большие зарплаты и лучшие условия труда. Что касается молодежи, то были вывезены полностью Донской Мариинский институт, Донской Кадетский корпус им. Императора Александра Третьего и еще в Югославии был создан Второй Донской Кадетский корпус.

– В эмиграции, особенно в первые годы, преобладали надежды на скорое возвращение в Россию. Каковы были настроения в казачьей среде?

– Думаю, они отличались кардинально. Казачье руководство, трезво оценив обстановку в России, да и во всем мире, пришло к выводу, что эмиграция – это надолго и необходимо готовить людей жить в новых условиях.

– Вы имеете в виду готовить морально?

– Не только, нужно было дать казакам какую-либо профессию, чтобы они могли зарабатывать, ведь они были, в основном, воины и хлеборобы. Для этого в местах большого количества казаков были организованы, в большинстве своем, бесплатные курсы – тракторные, автомобильные, сапожные, электромонтерные, сельскохозяйственные, даже курсы иностранных языков. Вот у меня в руках приказ № 3 от 7 февраля 1932 года – в нем говорится о том, что в Белграде организованы офицерские курсы. Цель – возобновить и получить новые военные знания. Эти курсы были обязательны для всех кубанских офицеров.

Хорошо оплачиваемой работы часто не хватало, тем более, не забывайте, что они были эмигрантами, поэтому следующим шагом атаманов и правительства было создание вспомогательных касс и комитетов «Казачья помощь», выдававших беспроцентные ссуды, а часто и безвозвратные, – для открытия своего дела. Создание целых артелей, таких, как сельскохозяйственные, садовые, рыболовные, охотничьи, столярные... были даже шляпные артели.

– Что влияло на политические настроения и взгляды основной массы казачества?

– На их взгляды, конечно, повлияли в качестве горького опыта революция 1917 года, Гражданская война и поражение белых армий в этой войне; повлияли противоречия между П. Н. Врангелем, А. И. Деникиным, с одной стороны, и лидерами Донского и Кубанского войска, с другой. Находясь в эмиграции, большая часть казачества не признала идей монархизма, на них посыпались обвинения в сепаратизме. Что, естественно, укрепило позиции «федералистов» и «самостийников» среди зарубежного казачества. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что между П. Н. Врангелем и войсковыми атаманами были напряженные отношения. Войсковые атаманы сами хотели влиять на казачьи массы, и это, соответственно, не могло понравиться ген. Врангелю: он решил разговаривать с казачьими массами через головы атаманов, что привело в дальнейшем только к обострению противостояния.

– Но казаки не мыслили себя без родины и, соответственно, без России...

– Не совсем так. Казачье понятие «родины» отличалось от привычного для эмигрантов. Казаки часто родиной называли только казачьи края и области, зачастую противопоставляя их России. Первые строчки войскового гимна звучат так: «Ты Кубань, ты наша родина...». Это впоследствии даст раскол. Показательна в этом смысле роль казачества во Второй мировой войне. Хочу заметить, что казаки не стремились в русские партии и организации эмиграции, а

создавали свои, и все политические вопросы рассматривали с точки зрения интересов казачества.

– Лиенц. Кровавая страница в истории казачества после окончания Второй мировой войны. Там установлен памятник, вы там бывали?

– Ежегодно в Австрии в г. Лиенц проходят Дни памяти жертв, выданных на растерзание Сталину. Когда есть возможность, то мы принимаем участие. Казаки из Новой Кубани часто ездили туда со своим духовенством – архиепископом Орестом, протепресвитером отцом Палладием, отцом Семионом; с нами не раз были и бывшие члены хора Жарова. Возлагали венки из живых цветов с лентами из казачьих национальных цветов. Лиенц – это большая и тяжелая тема.

– Памятник жервам в Лиенце был установлен в 1945 году?

– Нет, в 1945 году появилось кладбище: после выдачи казаков в Лиенце и Юденбурге, трудами немногих уцелевших после трагедии на кладбище был сооружен крест. Считается, что в 28 могилах захоронено около 300 казаков. В 1948 году крест был заменен на скромный памятник – благодаря трудам архтепископа Венского и Австрийского Стефана. И только в 1951 году трудами особого Строительного комитета, который возглавлял Анатолий Иванович Рогожин, полковник и бывший командир Русского Корпуса, был воздвигнут памятник, который мы можем видеть сейчас. В 1955 году появилась ограда вокруг кладбища. Также в 1960-е годы появилась идея строительства часовни, но идея тогда не была реализована, и только к 70-летию трагедии часовня Покрова Божией Матери и Святого Цесаревича Алексея была сооружена.

Часовня начала сооружаться к 70-летию, но было мало средств, и комитет обратился к российскому казаку из Подмосковья В. П. Мелихову – он сделал много для сбора средств на строительство, но он подвергается настоящей травле, вплоть до дого, что его не выпустили из страны на открытие часовни в Лиенце.

– В свое время Владимир Петрович Мелихов создал два казачьих музея в России, в которых собрал уникальные документы по истории казачества и его трагедии. Из прессы мы знаем, что ему пришлось пережить за эти годы. Вы с ним знакомы?

– Достойный человек, который боролся с госмашиной, выдержал бессчетное количество судов, но не был сломлен. Думаю, что главная причина гонений на него – это антикоммунистическая направленность его музеев. А сейчас возобладала линия «все вместе, строем, назад в СССР», со всеми его атрибутами, гулагами и прочим.

– К какой церковной юрисдикции принадлежит часовня в Лиенце?

– Чтобы избежать недопониманий и трений между казаками, чьи взгляды на церковные расколы и объединения раличались, решили часовню сделать не обьектом религиозного культа, а памятником казакам – жертвам выдачи в Лиенце. Деньги на строительство часовни собирали «всем миром». Регулирование проведения памятных мероприятий взяли на себя общества «Черного Креста» и «Общество памяти Лиенцевской трагедии». Сама часовня находится под патронажем «Черного Креста».

Для увековечивания памяти жертв сталинского террора было решено возвести эту часовню, она была необходима и духовенству для совершения поминовений и панихид. Обратились в Городской совет города Лиенц и получили полное одобрение и поддержку. Городские власти поставили только одно условие: казаки сами должны собрать деньги на сооружение часовни. Требуемая сумма была быстро собрана и депонирована на счет № 1929 в городской ссудо-сберегательной кассе. Попечителем выступил доктор, натариус Рорахар. 23 июля 1970 года были получены документы на землю и постройку часовни. Но что тут началось... Советский Союз выступил с нотой протеста, поставил на ноги всех своих агентов влияния в Австрии и Германии. Любой ценой хотели скрыть сталинские злодеяния. Давление Москвы дошло до такой степени, что правительство Австрии предписало городским властям Лиенца отменить разрешение на строительство часовни. Но казаки – не те люди, кто опускает руки; работа пошла на правительственном уровне. В конечном счете дело о строительстве вернули городским властям, и те еще раз подтвердили законность строительства. Советский Союз не только не добился запрета на строительство, но и вновь привлек мировое внимание к своим злодеяниям. Количество статей и книг о трагедии в Лиенце увеличилось во много раз. Для решения проблемы многое было сделано архимандритом Иоанном и атаманом В. Г. Глазковым – председателем Казачьего Американского Комитета граждан США, а также членами Казачьих союзов в Германии и Австрии, которые собрали все документы против советских провокаторов и передали их бюргермайстеру в Лиенце.

– *Можно ли сейчас, по прошествии стольких лет, назвать общее количество жертв этой трагедии?*

– Вы знаете, я склонен верить данным, опубликованным полковником В. А. Беляевским, участником всех этих событий, в его книге «Вторая мировая война. Роль казачества в этой войне и трагедия такового. (1939–1945» (1963). «...по данным Лейштелле, немецкого учреждения, ведающего казачьими делами в Германии, на территории ее было в то время до 110 тысяч казаков; в это количество входило до 40000 человек Казачьего стана и 25000 человек Казачьего кавалерий-

ского корпуса. Кроме указанных выше цифр, много казаков находилось в разных организациях и частях, как, например, у Власова и других. Указанная цифра немецкого учреждения – Лейштелле, отвечает примерной действительности, но из этого количества казаков малая часть спаслась, и теперь находится в рассеянии по всему земному шару.»

– Несколько лет назад атаманами зарубежных войск было опубликовано открытое письмо В. В. Путину с требованием, чтобы он своим приказом убрал «из всей территории уничтоженной Донской республики Всевеликого Войска Донского, где проходил геноцид казачества, все памятники преступлений и вернуть исторические названия всем городам, станицам, хуторам, улицам и площадям, которые теперь несут имя преступников». Что-то изменилось?

– Я думаю, что-то должно измениться, но это, как всегда, очень медленно, слишком многие цепляются за прошлое.

– Выдача людей в Лиенце – страшная трагедия. Были ли случаи выдачи советских военнопленных из Америки?

– Таких страшных мест было много. Выдали из лагеря Кемптен в 1945 году, из Дахау – в 1946 году, из Бад-Айблинга около 800 человек в 1946 году, из Платтинга выдавали дважды – в феврале и мае 1946 года около 3300 человек.

Было несколько случаев в США, но вам лучше посмотреть папку с документами о выдаче в Форт Дикс, он расположен не так далеко отсюда, в Нью-Джерси, там есть вырезки из газеты «Россия» за 1945–1946 годы.

(Этот уникальный документ приводим без сокращения).

ФОРТ ДИКС: Боясь отправки в СССР, где русских военнопленных ожидала бы смерть, в пятницу 29 июня русские военнопленные в числе 150 человек, за полчаса до погрузки на пароход, отправляющийся в СССР, в виде протеста против насильственной репатриации, имея столовые ножи и палки, попытались, несмотря на вооруженную пулеметами и ружьями охрану и проволочное заграждение, пробиться на свободу, дабы тем самым избежать высылки в СССР и гибели там.

В бараках американские военные власти нашли трех военнопленных повесившихся, а 15 человек готовыми покинуть жизнь самоубийством, приготовив уже для этой цели петли. Во время попытки бегства из лагеря 9 русских военнопленных были ранены, причем ранеными оказались также три чина военной охраны лагеря.

Возбужденное состояние военнопленных было заметно уже тогда, когда подполковник Г. М. Трейш приказал им собраться для отправки на пароход, так как русские военнопленные, по Ялтинскому соглашению, подлежат репатриации в СССР. Военнопленные отказались отправляться для

посадки, после чего в бараках был замечен дым. Подполковник Г. М. Трейш приказал чинам охраны забросать барак газовыми бомбами. После этого военнопленные выбежали из бараков и пытались прорваться через охрану.

Ранеными оказались: лейтенант Клифтон Филанд, лейтенант Ира Фридер и рядовой Дерзонич.

Вооруженная охрана открыла ружейный и пулеметный огонь, в результате которого 7 человек военнопленных оказались ранеными. Пожар в бараках был быстро остановлен.

В течение 30 минут попытка к бегству 150-ти русских военнопленных была ликвидирована, после чего эта группа была направлена для отправки в СССР в лагерь Шэнкс, штат Нью-Йорк.

В субботу, после 1 часа дня, на пристани 51 в Нью-Йорке, стали прибывать первые партии русских пленных под исключительно сильной вооруженной охраной: на четырех русских – пять человек охраны с пулеметами и ружьями. На пристани ожидал военнопленных еще отряд в 300 человек солдат, сильно вооруженных пулеметами и ружьями.

В последний момент перед отправкой, совершенно неожиданно, распоряжением военного министерства, отправка русских военнопленных была задержана и в 3 часа 30 минут их направили обратно в Форт Дикс.

– Почему была остановлена выдача, что произошло, ведь по подсчетам историков Сталину было выдано более двух миллионов? Жернова политической машины перемалывали судьбы сотен тысяч людей, и вдруг они остановились из-за 150 человек.

– Думаю, здесь три момента. Первый – политики стали понимать, кто такой Сталин; второй – было очень много крови при выдаче из Форта Дикс, об этом узнала пресса, политикам не очень хотелось брать на себя ответственность за такое кровавое пятно; и третье – многие эмигрантские организации обьединились для спасения этих людей. Писали письма и петиции на всех уровнях. Большую работу проводила эмигрантская пресса. Активно участвовала газета «Россия».

СООБЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РОССИЯ»

В субботу 30 июня утром, на основании американской прессы, ознакомившись с трагическими событиями на Форте Дикс, редакция газеты и журнала «Россия» сразу же утром направила срочные телеграммы Президенту, Американскому Правительству о приостановке высылки в СССР русских военнопленных.

Телеграммы посланы следующего содержания:

«Во имя справедливости и во имя принципов, на которых были созданы Соединенные Штаты Америки, мы, американские граждане русского происхождения, объединенные вокруг нашей ежедневной русской газеты и полу-

месячного журнала на английском языке – 'Россия', просим вступиться за русских военнопленных Форта Дикс, Нью Джерси, и остановить бесчеловечную депортацию в СССР, где они будут замучены и казнены интернациональным коммунистическим правительством, укрепившимся в России».

Н. П. Рыбаков, редактор и издатель ежедневной газеты и журнала «Россия»; 480 Канал ст., Нью-Йорк 13

Телеграмма послана также:

Президенту Гарри Труману,

Е. Р. Стеттиниусу, Государственному Секретарю,

Х. Ф. Стону, Верховному Судье,

Генералу С. Маршаллу, Начальнику Штаба,

С. Райбурну, Спикеру Дома Представителей,

Д. М. Меду, Сенатору от Штата Нью-Йорк,

С. Блуму, Председателю Комиссии по Иностранным Делам Дома Представителей, Конгрессмену от Нью-Йорка, Коменданту Форта Дикс.

– Вы сказали, что в этом деле объединились даже организации, ранее занимавшие непримиримые позиции по отношению друг к другу.

– Да, ведь вопрос стоял не о каких-то политических разногласиях, а о жизни реальных людей. Многие объединились вокруг Русской Православной Церкви за рубежом. Она четко озвучила свою позицию по этому вопросу в одном из меморандумов.

МЕМОРАНДУМ АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА

Православной Русской Церкви за рубежом об участи 300 военнопленных лагеря Платтлинг

Послан одновременно четырем лицам:

1. Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций г-ну Тригви Ли.

2. Президенту Соединенных Штатов Америки г-ну Труману

3. Генералу Иосифу Мак Нарней, Главнокомандующему Вооруженными Силами Америки в Европе.

4. Г-же Элеоноре Рузвельт.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СИНОД
ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ЗА РУБЕЖОМ

23 марта 1946 г.

№ 647 Мюнхен

Русские Православные Епископы, пребывающие в Мюнхене, считают своим долгом довести до сведения Организации Объединенных Наций следующее:

В лагере военнопленных в г. Платтлинг (Бавария) заключено более 3000

русских. Они являются частью так называемой Русской Освободительной Армии, которую пытался организовать Генерал Власов. Заключены солдаты 2-й дивизии и Военного Училища, находившиеся в стадии формирования. Ни одно из этих перечисленных формирований не принимало участия в военных действиях против союзников. Они добровольно сдались Американской Армии при первой возможности. Эти люди вошли в Освободительную Армию не из любви к Германии и не для того, чтобы сотрудничать с ней, но чтобы послужить делу, которое они считали справедливым и патриотичным. Они хотели свергнуть власть коммунистической партии, они хотели демократического правительства в своей стране вместо того, которое они считали тоталитарным. Это было чисто демократическое движение и терпелось немцами потому, что Германия была близка к катастрофе.

Теперь этих людей предают насильственной репатриации на основании Ялтинского соглашения.

Это соглашение, по-видимому, получило поправку, когда Объединенные Нации провозгласили политическую свободу для беженцев и проголосовали против их насильственной репатриации. До сих пор мы не знаем, как окончательно был определен термин «военный преступник», но мы считаем своим христианским долгом обратить Ваше внимание на то, что Платтлингские заключенные не могут считаться в массе «военными преступниками» или «предателями», ибо на самом деле они принадлежали к определенному национальному демократическому движению.

Мы, Епископы, стоим вне политики, но подымаем наш голос в защиту Платтлингских заключенных потому, что они взывают к нам, потому, что нет никого другого, кто бы это сделал, и потому, что это есть святая миссия Христианской Церкви – взывать к милосердию и справедливости.

Мы знаем, что случилось в Дахау 19 января 1946 года. Об этом было сообщено в газете «Звезды и Полосы» от 19 и 23 января. В Дахау группа русских, которые не были ни СС, ни чем-либо подобным, была насильно репатриирована. Это был рабочий отряд. Многие из солдат были мобилизованы рыть окопы с фольксштурмом. Протестуя против того, чтобы их считали «предателями», они прибегли к массовым самоубийствам. Более 100 человек из 170 пытались покончить жизнь самоубийством. Многие из них в это время пели псалмы пред иконами, расставленными на столе в одном из бараков.

Подобная трагедия ожидается и в Платтлинге.

Во имя Христа мы умоляем Вас остановить эту трагедию.

Представьте беспристрастной комиссии или международному суду внимательно рассмотреть дело каждого. Если среди этих людей будут обнаружены действительно преступники, пусть их присудят к наказанию, которое они заслуживают, но не допустите того, чтобы ужасная несправедливость свершилась над всей группой.

Последнее решение Организации Объединенных Наций исключает часть Ялтинского соглашения. Это соглашение было подписано без достаточной информации о русских в Германии. Безусловно, ни мистер Рузвельт, ни мистер Черчилль не могли знать, что большая часть беженцев и русских солдат не являются «коллаборантами» нацистов, что они не являются «Квислингами», но что они принадлежат к демократическому движению, которое должно было быть организовано и развито в Германии только по той причине, что люди, которые создавали это движение, находились на немецкой территории. Так же, как и в отношении гражданских беженцев, необходимо изменение Ялтинского соглашения и в отношении тех русских, которые принадлежали к активному антикоммунистическому демократическому движению. Если существует демократическая свобода, то почему эти люди должны быть лишены ее и наказаны за то, что они предпочли демократический режим тоталитарному коммунизму?

Итак, во имя христианского милосердия и справедливости мы умоляем:

1.Чтобы все приготовления, имеющие целью репатриировать Платтлингских заключенных, были немедленно приостановлены.

2.Чтобы участие этих людей в антикоммунистическом демократическом движении не рассматривалось как преступление против человечества.

3. Чтобы только те, кто виновен в действительном преступлении против человечества, были бы наказаны после внимательного изучения индивидуального случая международной комиссией, а не только исключительно советскими органами, ибо люди, о которых идет речь, не могут ожидать справедливого и бескорыстного суда от них, зная, что они заранее считают их преступниками, исключительно из-за участия в антикоммунистическом движении.

Подписали:

Вице-Президент Архиерейского Синода Православной Русской Церкви за рубежом Митрополит Серафим

Члены:

Архиепископ Пантелеймон

Епископ Стефан

Епископ Феодор

– Какая станица в Америке была создана первой после войны?

– Старейшая казачья станица – Каледенская, это имя она носит с 1948 года, была основана 25 ноября 1925 года генералом С. В. Денисовым, который и стал ее первым атаманом. Впоследствии его на этом посту сменил атаман П. И. Медведев. Кроме желания жить вместе в своем казачьем быту немалое место занимало желание продолжить борьбу с большевизмом во всех его проявлениях и, конечно, недопущения влияния идей коммунизма на казачью эмигрантскую среду.

– Неужели в Америке коммунистические идеи были настолько популярны?

– Еще как! Москва всегда стремилась к максимальному разобщению эмиграции. Она пыталась ввести в состав руководства той или иной организации своих агентов, поменять или подменить цели организации. Об этом много было написано в свое время. Коммунисты всех мастей всегда были в Америке «пятой колонной», их руками или через них красная Москва проводила свою политику. Для примера хочу сказать, что просоветские организации приобрели большое влияние перед Второй мировой войной. Они устраивали провокации против антикоммунистических газет и журналов, уничтожали тиражи, устраивали продавцам газет байкот, срывали антикоммунистические митинги. Когда в начале сороковых газета «Новое Русское Слово» сообщила о страшном голоде в России, тысячная толпа коммунистов двинулась по Манхэттену в сторону редакции НРС, и только вызванная полиция смогла предотвратить неминуемую расправу.

– Когда был рассвет казачества в Америке?

– 40-60 годы были годами повсеместной организации казачьих станиц и хуторов не только в Америке, но и в Европе, в то время только в ФРГ было 20 действующих станиц. Появляется влиятельный центр «Казачий Союз», продолжается организация станиц и хуторов вольноказачьей ориентации, входившие в Казачье Национально-освободительное движение.

– Что заставило создать Кубанскую станицу именно в этом месте, в Южном Нью-Джерси, в местечке Бьюна Виста?

– В первую очередь – желание быть вместе, ну и, конечно, здесь было много свободных земель.

– Что стало главным в создании Новой Кубани – остаться в одной казачьей культуре? Совместный быт в соответствии с обычаями или политические задачи?

– Что вы имеете в виду под «политическими задачами»? Многие эмигранты второй волны прибывали в Америку под чужими фамилиями и долгие годы должны были скрывать свои имена – во всяком случае, до Родиона Берёзова – дела, известного как «берёзовская болезнь»; советское правительство проводило большую работу в США по выявлению таких людей с целью депортации их. Многие специально уезжали в глубинку, подальше от Нью-Йорка. Кстати, на нашем кладбище на памятниках тоже много двойных фамилий, – одна, по которой въехал, а вторая – настоящая.

– Существовал ли штаб по переселению, были ли собраны финансы для приезжавших?

– Всего было распределено всем желающим 73 участка, каждый от трех до 27 акров. Общая площадь Новой Кубани равна 824 акрам. Участки продавались по цене 20 долларов за акр, т. е. практически бесплатно, это примерно соответствовало стоимости разметки участка. Во времена расцвета в станице проживало до 50 семей, да еще около 100 человек вокруг. Много здесь жило военных из РОА.

– Были ли случаи, когда кому-то не разрешили вступить в вашу станицу, стать ее членом?

– Не часто, но такие случаи были. Не принимали коммунистов и тех, кто подкоммунивал.

– Кто принимал активное участие в создании Новой Кубани?

– Старые казаки Костенко Стефан Миронович, Шведин И. Н., Духнай Алексей Лукич, Ходосов Петр Яковлевич, Сафонов...

– Сколько было атаманов в Новой Кубани?

– Шведин И. Н. и Синченко Анатолий Иванович, с 1986 года.

– Но до 1986 года вы многие годы были помощником атамана. Сколько лет?

– Пять лет.

– Когда ваша семья переехала в Новую Кубань?

– В 1972 году мы с женой и сыном поселились здесь.

– Форма правления. Выбирают атамана – затем он весь выборный период руководит станицей, является ее представителем с администрацией штата Нью-Джерси – так?

– Да, после выборов начинается круговерть – строительство, материалы, контракторы, решение проблем с городом... Ну и, конечно, организация и проведение казачьих праздников.

– При подъезде к музею с левой стороны центральной дороги находится небольшой, но очень красивый храм – как я понимаю, он был возведен одновременно с Новой Кубанью?

– Жители станицы Новая Кубань стали первыми прихожанами образовавшегося в 1953 году прихода. Строительство храма заняло чуть более пяти лет – с 1959 по 1964 гг.; сразу после открытия при храме была создана приходская школа и библиотека. В попечительский совет храма входил епископ Виталий (Максименко), огромная поддержка и непосредственное участие в строительстве принял архиепископ Никон (Рклицкий). Иконы для храма были написаны архимандритом Киприаном (в миру – Кирилл Дмитриевич Пыжов), а чудесный иконостас создал епископ Даниил (в миру – Дмитрий Борисович Александров), ученик одного из самых известных иконописцев Зарубежья – Пимена Сафронова. Расцвет прихода пришелся на шестидесятые годы, но с угасанием казачьей станицы все малочисленнее становился и наш приход. После смерти настоятеля храма

отца Николая, скончавшегося на 84 году жизни, службы в храме почти прекратились. Надежда на возрождение появилась только после организации при бывшем приходе Покровского мужского скита с открытием при нем монашеского братства имени преподобного Варлаама Хутынского. Постепенно в скиту возобновились богослужения. Кладбище при ските находится в очень хорошем состоянии, благодаря стараниям протоиерея Любо (Милошевич) и его матушки Славицы. В 1963 году настоятелем стал отец Николай (Неклюдов). При храме тоже было устроено кладбище. Но думаю, что вам лучше поговорить об истории храма с дочерью отца Николая – Марией Неклюдовой.

– Основные праздники, которые вы празднуете в казачьей среде, связаны с православным церковным календарем?

– Конечно, мы же православные. Скажем, праздник Покрова Пресвятой Богородицы – общий. Но у каждого войска были и свои небесные покровители: у терского казачества – святой великомученик Варфоломей, у оренбургского – чудотворная икона Божией Матери Табынской, у енисейского – Три Святителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, у кубанского – Благоверный князь Александр Невский.

Первыми начали праздновать день Покрова Пресвятой Богородицы казаки войска Донского почти 400 лет назад, затем к ним присоединились казаки других войск и начали считать его своим войсковым праздником. В этот день на сцене мы вывешиваем огромный казачий флаг, изготовленный покойной Ольгой Борисовной Глазковой и освященный на Казачьем кладбище в Лиенце. В восемь часов начинается молебен. Молодежь выстраивается с казачьими флагами. Затем атаман Новой Кубани открывает праздник. Рассказываем о вкладе каждого казака в общее дело. Поскольку часто бывают американские конгрессмены и другие официальные лица, коротко рассказываем о религиозном, народном и историческом значении праздника. Зачитываем поздравления в адрес казаков, а затем идет представление гостей. Поздравления приходили и от президента США Рональда Рейгана, от многих конгрессменов, в том числе и Вильямса Хаджа. Ну и, конечно, праздничный ужин, веселье под живую музыку оркестра, которое может затянуться допоздна.

– Рядом с вами в Лейквуде находится большое старое русское Свято-Владимирское кладбище, и на нем есть большой казачий участок. Почему правление решило организовать еще одно кладбище – и здесь, в Новой Кубани?

– Члены Новой Кубани были, в основном, в годах и потому старались хоронить близких рядом с поселением. Так легче навещать

могилы. Сложно старым людям добираться от нас в Джорданвилль – пять-шесть часов, или в Ново-Дивеево – три часа, да и в Лейквуд путь не близкий.

– На кладбище Фарма Роввa в Лейквуде также есть большой участок, где захоронены казаки, установлена часовня. Вы принимали участие в ее строительстве?

– На этот памятник деньги также собирались всем миром.

– Рядом с Новой Кубанью находится «Казачий монастырь». Интересна история его возникновения.

– Он основан и воздвигнут трудами иеромонаха Адама Бурхана при помощи казаков-братчиков. Монастырь принадлежит сербской юрисдикции и зарегистрирован в книгах г. Мейс Лендинг, шт. Нью-Джерси, 19 мая 1958 года как казачий религиозно-культурный центр для удовлетворения духовных потребностей казаков-эмигрантов и для оказания помощи нуждающимся. Монастырю принадлежит участок земли в 20 акров, на котором построено монастырское подворье с храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Планировали создать и старческий дом. Но в связи с финансовыми трудностями этот проект не был доведен до конца, это место последние годы переходит из рук в руки.

– Как создавался казачий исторический музей?

– Решение о строительстве музея было принято на общем станичном собрании в 1969 году. Для этой цели атаман И. Н. Шведин продал обществу свой участок земли в пять акров за символическую плату в один доллар. Но при условии, что общество должно иметь на строительство исторического музея не менее пяти тысяч долларов. Для сбора денег потребовалось еще три года. И только продав имеющиеся у общества десять акров земли, нужную сумму собрали. В 1973 году мы приступили к строительству Общеказачьего Исторического музея и библиотеки. Как часто бывает в таких ситуациях, находится человек, за которым идут все остальные. У нас таким человеком стал старый казак Петр Яковлевич Ходосов, который сказал, что даст 5000 долларов безвозмездно, при условии, что им с женой до конца жизни будут выплачивать 6% годовых. Петр Яковлевич был, конечно, уникальный человек, настоящий казак. Кстати, он снимался в американских фильмах, работал каскадером и занимался джигитовкой. Правление согласилось, ну и за ним пошли остальные. Конечно, мы и через газеты обратились к казакам за поддержкой. Казачий писатель Стефан Ф. Маршалл один из первых пожертвовал 500 долларов на строительство. Кубанский казак Глоба Терентий с женой Зинаидой пожертвовали на музей 4000 долларов. Мария Францевна Касякова оставила завещание о передаче дома.

Фонд создания Общеказачьего исторического музея стал пополняться. На собрании также был решен вопрос о почетных членах правления Общества Новая Кубань. Первыми почетными членами были Василий Григорьевич Глазков, Стефан Михайлович Маршалл, Юрий Дмитриевич Малиновский, Петр Яковлевич Ходосов, семья Расстрыгиных. Когда мы начинали строить музей, у нас было под его строительство только пять акров земли. Сейчас мы имеем в нашем активе 23 акра.

– Кроме того члены Новой Кубани бесплатно трудились на строительстве исторического музея. Остались об этом какие-либо записи в архивах?

– Ну конечно. Вот одно из обращений – Общеказачье Общество Новая Кубань публикует в казачьей печати отчет о поступлении денежных средств в фонд строительства Общеказачьего Национального Исторического Музея – Архива и библиотеки в Новой Кубани за период времени, начиная с марта месяца 1959 года по первое января 1983 года, из которого мы видим, что в этом деле приняло участие 182 человека, которые дали в качестве пожертвования на строительство музея 57012 долларов. Также публикуется отчет о «трудовых вложениях» в строительство музея – 40 человек затратили 3992 часа на общую сумму 19581 долл., из них пожертвовали 2843 часа на сумму 13031 долл., зачислили в пожизненный членский взнос 471 час на сумму 2750 долл. и дали взаимообразно 577 часов на сумму 3800 долл. Был опубликован баланс Общества по состоянию на 1 января 1883 года: в активе средств на сумму 142070 долл., из них на здание музея (в страховой оценке) – 125000 долл. Несколько человек, пожертвовавших деньги и труд, уже отошли в лучший мир, оставив о себе вечную славу и память.

– Были ли еще казачьи музеи в эмиграции?

– Казачьи музеи были везде, где жили казаки. Первый указ атамана В. Г. Науменко в эмиграции был о создании музея и библиотеки. В эмиграции были Казачий Донской музей, который впоследствии был сдан на хранение в Народный музей в Праге, затем захвачен советскими войсками и вывезен в Россию. Кубанские регалии хранились и экспонировались в Военно-историческом музее в Белграде с 1938 по 1944 гг., неоднократно выставлялись в Доме Свободной России в Нью-Йорке, а также в Кубанском Войсковом доме в Нью-Йорке. Лейб-гвардии казачьего полка бывшим певцом Жаровского хора казаком Лазаревым был создан казачий музей; у Н. Н.Туроверова было прекрасное собрание казацких древностей в Лейб-гвардии Атаманском полку; в Лейквуде до сих пор существует музей Кубанского казачьего войска. Рядом с Лиенцем, в городе Тимау, в Италии, в городском

музее есть отдел с экспонатами Казачьего Стана; работу по сбору экспонатов, связанных с казачьей трагедией в Лиенце, проводит протодиакон Георгий Кобро.

– Первые поступления в ваш музей?

– То были двадцать картин, холсты без рам. Нам их передал в дар художник, донской казак Владимир Лазарев. Второе поступление – казачье седло, затем пернач, лемносовский крест, булава, датированная 17-м столетием, и пара бунчаков. Затем стали поступать флаги, книги, монеты.

– При музее собрана прекрасная большая коллекция картин. Они написаны художниками-казаками?

– Не только у нас в музее; большая коллекция художника-пейзажиста, донского казака И. Л. Калмыкова находится в Сан-Франциско, во Франции много работ Г. К. Артемова. Большое наследие у К. В. Попова, В. В. Перфильева. ну и, конечно, С. Г. Королькова. Как только исследователи поднимают тему художников-эмигрантов, как тут же выясняется, что казаки и здесь приложили свою руку. Их имена заслуженно остались в истории – это Г. К. Перфильев, С. В. Латышев-Байкалов, С. А. Попов, Г. И. Самойлов, П. М. Поляков, Н. Н. Лутохин, Л. Л. Мяснов, Н. Ф. Бурова, А. А. Заханевич, Е. В. Михайлов. В нашей коллекции на сегодняшний день более шестидесяти полотен.

– Расскажите немного о них.

– «Атаман Ермак – Великий князь Сибири» – это копия картины В. И. Сурикова, выполненная казачьим художником Б. Г. Лазаревым. Нам привезли этот холст в 1981 году. Портреты Кузьмы Крючкова – кстати, первым получившего орден св. Георгия в Первой мировой войне; С. В. Болдырева – опять же, первого офицера – кавалера ордена св. Георгия, казачьего историка. Портрет Верховного атамана И. А. Билого – украинского художника Лапуха; ну и много картин о казачей истории и быте. У нас также находятся две работы теркского казака скульптора Казьмина: «Ермак» и «Бюст президента Никсона», – он выиграл грант на создание этой скульптуры.

– У вас в галерее висит портрет казака-эмигранта Ивана Васильевича Турчанинова, расскажите его историю. Как портрет к вам попал?

– Эта работа художника Лазарева, он нам ее передал в дар для нашего музея. Казаки готовились отмечать 75-летие со дня кончины первого политического эмигранта-казака в США. Он был подвижник президента Линкольна, герой Гражданской войны. И. И. Безуглов обратился от имени Комитета американцев казачьего происхождения к конгрессмену Эдварду Дервинскому с просьбой отметить в Конгрессе США кончину генерала Турчина, к прошению он приготовил огром-

ный исторический материал о генерале, его роли в Гражданской войне, о его жизни и деятельности. Конгрессмен выступил с докладом в Конгрессе США об этом удивительном казаке-американце. Его доклад был опубликован в официальном органе Конгресса США «The Congressional Record» тиражем в 18 миллионов экземпляров.

– Казачья печать в Зарубежье – что вы знаете об этом?

– Как ни парадоксально прозвучит, но казачьи литературные кадры были подготовлены еще в дореволюционной России, поскольку уровень грамотности в казачьих областях был очень высок. Уровень подготовки в школах не уступал аналогичным школам в Центральной России. Оказавшись за рубежом, казаки хотели запечатлеть на бумаге ярчайшие события, свидетелями которых они являлись. Об этом их просили и различные казачьи архивы, и исторические комиссии. В том числе такие архивы, как Донской, самый старый из казачьих архивов, возникший в 1919 году, Кубанский заграничный архив, возникший немного позже, в 1925 году в Чехословакии и т. д. Работа этих архивов и комиссий способствовала расширению литературного процесса среди казаков. Вы можете почерпнуть много информации из двухтомника «Галерея казачьих писателей», изданного в 70-е годы в Нью-Йорке.

– Думаю, что любая библиотека может позавидовать вашим коллекциям казачьей периодики, в частности, газетам и журналам. Как они к вам попадают?

– Еще на Лемносе, Кабадже, казачьи корпуса, военные училища и полковые обьединения имели свои переодические издания. Первый приказ генерала В. Науменко был о создании библиотеки, войскового музея и хора. Это о многом говорит. С возникновением станиц и различных общественных организаций появляются и их печатные издания. Какие-то существовали недолго – как «Информационный листок Донского лагеря на острове Лемнос», другие – десятилетиями, – как «Родимый край», «Донской Атаманский Вестник»; но большинство, конечно, существовало по нескольку лет, пока существовала сама организация, его выпускавшая. Я думаю, что наш следующий шаг – сделать опись всех книг и журналов в нашем музее. Уверяю, это огромный труд. Огромное литературное наследие в виде стихов, поэм, рассказов, очерков и, конечно, воспоминаний оставили казаки в эмиграции для будущих поколений. Что касается печатных форматов, у нас преобладают казачьи журналы, но есть, пусть в малом количестве, календари, бюллетени, песенники, альбомы; большие собрания документов и фотодокументов, книготорговые каталоги заграничных казачьих издательств. Ну а если говорить о персоналиях – среди них бывший атаман Всевеликого Войска Донского

генерал П. Н. Краснов. Большое литературное наследие в виде мемуаров и статей на военные темы оставил полковник Ф. И. Елисеев. Он печатался и в «Русской жизни», в «Новом русском слове» и др. Большой след оставили генерал А. Г. Шкуро, Н. И. Туроверов, И. И. Сагацкий, К. А. Келин, Н. В. Альникин, М. Волкова, Н. Н. Евсеева, Н.Н. Воробьев, В. Смолянский, А. Ф. Перфильев, П. С. Поляков – можно еще долго перечислять, но лучше их читать. На страницах казацких газет и журналов велась и полемика по актуальным проблемам времени, в которой участвовали генерал-лейтенант А. П. Богаевский, А. И. Бояринов, С. К. Сватиков, И. Л. Буданов, Г. В. Губарев.

– О казачьих писателях. На ваш взгляд, кто более всего сумел сохранить для будущих поколений историю казачества за рубежом?

– Вы знаете, огромный пласт текстов после себя оставили казачьи атаманы – здесь и книги воспоминаний, и публицистика П. Н. Краснова, А. П. Богаевского, П. Х. Попова, В. Науменко, Н. Ф. Быкодорова, И.А. Полякова, Б. А. Богаевского, И. Р. Поздеева, Г. А. Знаменского.

– В вашей музейной коллекции много поэтических сборников; насколько я понимаю, казаки-поэты – тема, которая еще ждет своих исследователей.

– Вы знаете, мы всем даем возможность ознакомиться с нашим музеем и архивом. Высылаем информацию о содержании тех или иных сборников. Сейчас в России многих казаков-поэтов переиздали, другие работы еще ждут своего издателя. На сегодняшний день найдено более 150 имен казачьих поэтов в эмиграции, некоторых я уже упоминал – В. А Петрушевский, М. Надеждин. А. И. Пивень – его еще называли «кубанским кобзарем»; М. А. Волкова, А. Ачаир, Воробьев-Богаевский Н. Н. На нашем материале можно сделать «Антологию казачьей поэзии».

– Были ли казачьи издательства?

– Конечно, были, по всем странам рассеяния. «Союз кубанских писателей и журналистов», «Общество ревнителей Кубани», «Кружок казаков-литераторов» в Париже – им руководил Н. Н. Туроверов, «Донская историческая Комиссия», «Общество по изучению казачества», издательство Ольги Дьяковой в Берлине. Издательская деятельность велась и журналами, такими, как «Вольное Казачество», «Казачий Союз», «Общество ревнителей казачьей старины», «Лига возрождения казачества», – и это всё при том, что издатели понимали: тираж будет почти всегда убыточен; они работали для потомков. Казачий поэт И. И. Назаров написал такие стихи: «Вы спросили меня: ‘Почему я пишу?’ / Ничего не сказал я, но знаю: / Я пишу потому, что у сердца ношу / Всю тоску по родимому краю». Согласитесь, что лучше не скажешь. Последнее время появляется все больше

исследователей поэзии и прозы казаков-эмигрантов. На сегодня нашли стихи 150 казаков-поэтов Зарубежья.

– У всех на слуху хор С. А. Жарова, но были и другие казачьи хоры?

– Хор Жарова на слуху абсолютно заслуженно, но, конечно, хоров было намного больше; одни давали концерты в Европе, другие в Америке. Жаров со своим хором объехал весь мир. Но были и другие, которым досталось, может быть, меньше славы, но их члены были не менее талантливы. Свою миссию они выполнили сполна. Руководителей (регентов) и участников стоит помянуть добрым словом – Б. М. Ледковского, Н. Ф. Кострюкова, А. И. Шелух, М. Подгурного, А. А. Таранца, А. П. Черного, В. П. Спасского, В. В. Короченцева, А. В. Власова, С. Ф. Шелухина, С. Г. Соколова. О хорах у нас много подборок из газет и журналов.

– Чем еще прославились казаки в эмиграции?

– Джигитовкой, конечно. Казак большую часть жизни проводил в седле. Расцвет джигитовки – это 20-50 годы. Было большое количество казачьих групп, многие казаки оставили о себе память – Ф. И. Елисеев, Г. А. Солодухин, есаул Юрков, подхорунжий Пахомов, Иван Корнилов. В 20-30 годы более 40 групп казаков-джигитов в Европе и Америке показывали зрителям свое мастерство. Они не только показывали зрителям мастерство джигитовки, но и снимались в фильмах. Во Франции – в фильме «Наполеон», в Голливуде – в «Воскресении», «Казаках»; часто в сьемках принимали участие и хоры С. А. Жарова, Н. Ф. Кострюкова, Д. Косоротова – нередко в вестернах их гримировали под индейцев. Они не только снимались, но и консультировали ковбоев, как надо падать на карьере, класть лошадь – было даже несколько книг воспоминаний об этом. Очень многого добился Гавриил Солодухин, который работал в крупнейших цирках Америки, выступил на Всемирной олимпиаде в 1932 году, в стотысячном «Коллизее» в Лос-Анджелесе, на выборах американского президента Ф. Рузвельта... – обьехал все страны и континенты. После Второй мировой войны он еще семнадцать лет пел и танцевал в хоре Платова. Его судьба – это взлеты и падения. В двадцатые годы он вырвался из России в Финляндию, затем с Елисеевым попадает в Европу, где его ждала блестящая карьера, тысячи зрителей, огромные гонорары, потом – приезд в Америку и практически нищета; в США в это время начался экономический спад. Но на то он и казак, чтобы всё преодолеть и опять оказаться в седле. Несгибаемый был человек... Многие стали знаменитыми актерами – Натали Вуд (Наталья Гурдина), Н. Мельников, М. Филлипова...

– Были ли у казаков Новой Кубани в хозяйстве кони?

– Да, несколько человек держало, но это больше напоказ. Я сам долго держал двух. Гнедые были, но вот тройки ни у кого не было.

– Я недавно готовил материал о «Золотой Книге Эмиграции». Поразил огромный вклад в мировую науку, сделанный эмигрантами, в том числе и казаками. В вашем музее есть информация о них?

– Думаю, что если кто-то захочет обработать материал нашего архива, он отдельно создаст энциклопедию о вкладе казачества. Здесь нам есть чем гордиться. Казаки в эмиграции были и ректорами университетов, и заведующими научных лабораторий в технических институтах. На некоторых именах хочу остановиться: инженер Николай Иванович Греков, геолог Иван Иванович Согацкий, инженер-химик Борис Африканович Богаевский, инженер-землемер Николай Федорович Пузанов, инженер-геолог Николай Васильевич Альникин, горный инженер Василий Матвеевич Кузнецов, военный инженер Леонид Васильевич Кузнецов, инженер-строитель Владимир Федорович Зверев, инженер-химик Николай Петрович Спасский, инженер-химик Илья Андреевич Дьяконов. Игнат Билый был не только идеологом казачества, но и выдающимся инженером.

– В музее есть материалы, связанные с «Союзом Андреевского флага» – САФ? Разве это казачья организация?

– Не только казачья, намного шире. Союз был основан генералом П. В. Глазенапом как военная антикоммунистическая организация в американской зоне оккупации в 1946 году в лагере ди-пи Шляйсхайм. Вначале у нее была большая поддержка в среде эмиграции. Но постепенно финансирование пропало, и интерес тоже, – мне кажется, что это из-за ее националистической направленности.

– На одном из знамен – аббревиатура КНОД...

– Это Казачье Национально-Освободительное движение, основанное в Праге в 1941 году приверженцами идеи казачьей нации. То было большое движение среди казаков, цель которого – освобождение от большевиков, борьба с Советским Союзом и построение своего независимого казацкого государства Казакии. Под этим флагом старые казаки-эмигранты и решили основать казачье поселение Новую Кубань.

– Чем обуславливался интерес казачества к национал-социализму? Что привело, в конечном счете, к участию такого большого количества казаков на стороне Гитлера?

– Думаю, что не только казаки тяготели к идеям национал-социализма. Руководитель РОВС генерал Е. К. Миллер в приказе от 2 января 1937 года четко сформулировал: «...мы, чины РОВС, являемся как бы естественными идейными фашистами. Ознакомление с теорией и практикой фашизма для нас обязательно». Многие эмигранты, в том

числе и казаки, верили, что с помощью Гитлера можно уничтожить власть большевиков в России. Тогда Гитлер был для них меньшим злом. Так же в теории национал-социализма была сильна антикоммунистическая составляющая. Сыграло свою роль и недовольство многих тем, что Запад сближается с большевиками, ну и, конечно, резкое ухудшение политической атмосферы вокруг всей эмиграции перед Второй мировой войной. Казаки последовательно проводили в жизнь линию категорического неприятия политического режима большевиков; антисоветская направленность закреплялась в уставах казачьих организаций; в частности, в уставе «Союза Донских казаков в Америке», зарегистрированного в 1959 году, был пункт о том, что общество создается «...для борьбы с коммунизмом (во всякой форме), чтобы всегда сохранять достоинство души, свободу религии, частной инициативы и частной собственности». –Кстати, не только у казаков, у наших соседей в Лейквуде в Обществе «Родина» в уставе было четко записано, что двери их общества открыты всем, кроме коммунистов и им сочувствующим.

– Во время войны было организовано «Общеказачье обьединение в Германской империи»...

– Объединение было организовано в Чехии как «Общеказачье объдинение в Протекторате Чехия и Моравия» в 1939 году, а с 1940 г. распространило свою деятельность и на Германию как «Общеказачье Объединение в Германской Империи» (до 1945 г.). Его целью было представительство казаков перед немецким правительством и подготовка сил для войны с СССР. Объединение подчинялось Главному управлению по делам российской эмиграции в Германии. Начальником был генерал-лейтенант Е. И. Балабин. В ноябре Общеказачье Объединение вступило в «Комитет освобождения народов России».

– Одновременно, уже в 20-30 годы, да и после войны, казачество возвращалось в СССР. Наступило примирение?

– Нет, думаю репатриация была вызвана чисто материальными лишениями, неустройством быта, тоской по родным краям и, конечно, одиночеством. В странах, где казаки остались без своего станичного руководства – Польша и Финляндия, например, казаки попадали под влияние всяких провокаторов из «Союзов возвращения на Родину» – и возвращались. С Лемноса также вернулось 1300 казаков в Россию, после обьявления правительства Франции, что оно прекращает поддерживать русских беженцев и предлагает два варианта: выезд в Бразилию, в основном, на земледельческие работы, или Россию. Был и третий – взять судьбу в свои руки, чем многие и воспользовались. В Россию вернулись, в основном, пожилые казаки и те, у кого там остались семьи. Также нельзя сбрасывать со счетов работу советских

спецслужб, создавших целую сеть организаций, агитировавших за возвращение на родину, имевших свои издания и распространявших свою литературу в эмигрантской среде. «Союзы возвращения на Родину» или «совнарод», как их сокращенно называли, создавались советскими спецслужбами при помощи коминтерновских агитаторов и агентуры разведупра РККА и ВЧК. Скажем, при активном содействии болгарской компартии ее агитаторами к 1923 году на ее территории было организовано 65 таких групп «совнарода» – с их помощью было отправлено в Россию 8500 человек.

– В БСЭ сообщалось, что «совнарод» создавались самими эмигрантами после издания директивы ВЦИК от 1921-го и 1924-го годов об амнистии участников Белого движения.

– Конечно, были и поверившие, и, как правило, за этим следовали теплушка, допрос, расстрел. Довольно скоро об этом узнали на Западе – и в ответ получили идею непримиримости. Так возник День Непримиримости.

К десятилетию захвата власти большевиками в 1927 году планировалось устроить огромные торжества. В противовес митрополит Антоний, Первоиерарх РПЦЗ, издал окружное послание: «К печальному десятилетию захвата власти в России большевиками». В этом послании 7 ноября обьявлялось «Днем Непримиримости». К этому дню стали присоединяться эмигранты разных стран, отмечать стали ежегодно.

– А в Нью-Йорке проходил?

– Конечно, особенно многочисленный был к 50-ти летию большевистского переворота; в 1967 году обьединились для проведения Дня Непримиримости сорок эмигрантских организаций. Все их собрал под знамена начальник отдела РОВСА в США С. Н. Ряснянский.

– Но ведь практика созданий комитетов, подобных «совнароду», была и ранее. Так, в марте 1917 года в Париже был образован Комитет по возвращению на родину, а затем, в том же 1917-м они появились в США, Англии, Швейцарии.

– Да, были такие. Но если в 17-м возвращенцам реально оказывали помощь, то в 1920-м уже выманивали на убой; офицерам – расстрел сразу, остальных – по лагерям. Мало кто выжил. Казачество в России было обречено; в соответствии с директивой ВЦИК от 1919 года оно подлежало полному уничтожению только за то, что они были казаки. Когда в 1955 году в СССР прибыл К. Аденауэр, чтобы добиться освобождения из лагерей солдат вермахта, был поднят вопрос и о казаках, выданных в Лиенце и Юденбурге. Так вот, из 1430 казаков-эмигрантов, выданных в Юденбурге, осталось только 70 человек, которые смогли выехать на Запад, остальные погибли в лагерях.

– Колесо русской истории неоднократно проезжало по казачеству, оставляя за собой кровавый след. Каковы взаимоотношения казаков с американской властью?

– Нужно знать историю и природу американского государства, ведь оно создавалось эмигрантами и работа эмигрантских организаций поддерживается на всех уронях, в том числе и наша. Я хочу напомнить, что еще на острове Лемнос эмигранты, в том числе и казаки, получили наибольшую поддержку от Американского Красного Креста. Если вы просмотрите раннюю казачью периодику, то вы узнаете, что американцами было взято шефство над двумя лазаретами, – всего в лазаретах находилось около 800 больных, – над детскими общежитиями на 100 человек; они также открыли библиотеки и читальни. Привезли и передали в пользование палатки и различный инвентарь. Ими же был создан санаторий для туберкулезных больных на 40 мест. Ну и, конечно, медикаменты. Так что помощь была.

– Ваш взгляд на историю казачества в Америке очень ценен, вы провели всю вашу жизнь в самой гуще событий. Что вы из этого вынесли?

– Наверное, главное, что казачий народ – это великий народ, и он достоин того, чтобы его историю сохранили. Чем я и занимаюсь вот уже без малого пятьдесят лет.

– В процентном отношении из тех, кто приехал в Новую Кубань в 50-е годы – кто остался сейчас?

– На сегодняшний день из первых поселенцев Новой Кубани уже не осталось никого. Все переселились на наше кладбище. Да и уход в американскую жизнь – это естественный процесс. Среди молодежи постоянную связь с Новой Кубанью поддерживают немногие. Но к пятидесяти-шестидесяти годам люди часто возвращаются.

– Как вам видится будущее вашего музея? Кто придет вам на смену? Существует мнение, что сейчас в Америке казачьих организаций больше, чем казаков, десяток одних и тех же людей блуждают из организации в организацию, откуда взять новые силы?

– Подобрать куратора музея – серьезнейший вопрос, но мы над этим работаем. Есть люди, которые интересуются казачьей историей и готовы пожертвовать своим временем для ее сохранения. К нам часто привозят американских школьников, я им рассказываю об истории казачества. Ну и, конечно, мы всегда открыты для исследователей.

Вы знаете, люди возвращаются к своим истокам на пороге старости, в пятьдесят-шестьдесят лет. Карьера сделана, дети выращены, внуки поставлены на ноги, – и человек хочет вернуться в ту атмосферу, в которой он рос в детстве. Кроме того, у нас большая переписка не только с российскими казаками, но и из других стран.

Недавно пришло письмо от казака из Вьетнама... Не могу сказать, что интерес к нашему музею огромен, но он постоянен.

– *Существует ли опись экспонатов, что поступили за эти годы в казачий музей?*

– Знаете, на все не хватает времени. Документы о приобретении тех или иных экспонатов собираем в коробки. Но, думаю, вскоре предстоит огромная работа: с одной стороны, по внесению в музейные книги всех вещей, что находятся в музее, а с другой стороны – их атрибутация. А если Бог даст здоровья, мы еще всё и отсканируем и выставим на свой сайт – думаю, что те фотографии и документы, которые находятся в нашем музее, имеют огромную историческую ценность.

– *Расскажите историю наиболее интересных или необычных вещей в вашем музее.*

– На мой взгляд, здесь каждый экспонат интересен, многие существуют в единственном экземпляре. Не так давно мы делали выставку в музее Метрополитен; американцам была показана уникальная коллекция шашек и кинжалов. Куратор музея был настолько потрясен, что хотел получить в дар некоторые экспонаты для Метрополитен. К сожалению, пришлось ему отказать, это все принадлежит нашему музею.

– *Чтобы содержать такое огромное здание, необходимы немалые деньги. У музея есть свои бизнес-проекты? Или живете за счет поддержки общественности? На пожертвования?*

– На сегодняшний день музей содержится при общественной поддержке. Ну и, конечно, мы пытаемся заработать на музей своими проектами. Пришли молодые казаки и казачки, которые с энтузиазмом взялись за дело и продолжают подстраивать казачий музей, среди них, например, инженер-электрик Юрий Гузий, электрики Анатолий Сенченко и Григорий Хатки. Как закончат установку отопительной системы, начнут устройство постоянного освещения. А затем нужно делать несгораемые прозрачные стенды, несгораемые полки для библиотеки. Работу будем стараться проводить собственными силами, а на строительные материалы нужно еще много денег. Поэтому мы обращаемся ко всем казакам, казачкам и ко всем сочувствующим казачьему делу и просим пополнить списки жертвователей, не стесняясь малых сумм, – кто сколько может. Имя каждого пожертвовавшего будет вписано в Казачью историю. А имена давших сто долларов и больше будут записаны на мемориальной доске.

Мы убедительно просим отозваться на наше обращение и прислать свою лепту на следующий адрес: MR. J. SCHWEDIN, NEW KUBAN, PO BOX 99. BUENA, NJ 08310 USA.

Новая Кубань

ПЕРСОНАЛИИ

Амилахвари Александр Владимирович, князь (1879–1968). В эмиграции с 1921 года в Константинополе, затем в Париже. Во время Гражданской войны в Испании поступил добровольцем в Национальную испанскую армию. Затем жил в Перу. В 1957 переселился из Перу в США, где возглавил в Нью-Йорке Союз русских военных инвалидов.

Киприан, архимандрит (Кирилл Дмитриевич Пыжов). В 1904–2001 гг. архимандрит Русской Православной Церкви за границей, художник и иконописец, насельник Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Много сил посвятил развитию в странах русского рассеяния древнерусской канонической школы иконописи. Основатель Джорданвилльской иконописной школы. Расписал 14 храмов. Автор рождественских и пасхальных открыток. Воспитал несколько поколений семинаристов; был духовником многих русских эмигрантов, монашествующих и архиереев.

Корольков Сергей Григорьевич (1905–1967). В Нью-Йорке с 1948 года. Учился в Ленинградской академии художеств на факультете скульптуры. Затем в Московской академии художеств. В Америке создал свое самое знаменитое полотно «Выдача казаков в Лиенце. 1945».

Науменко Вячеслав Григорьевич (1883–1979). В эмиграции в США с 1949 года. Участвовал в жизни русских организаций, один из основателей Кубанского казачьего музея. Сотрудничал с Представительством кн. С. С. Белосельского-Белозерского. Занимался историей Войска Кубанского. Собирал документы и материалы о насильственных выдачах казаков.

Рогожин Анатолий Иванович (1893–1972)). Полковник, командир дивизиона Лейб.-гв. Кубанской и Терской сотен. В Русском Корпусе – командир 3-го батальона 1-го Казачьего полка, командир 5-го Казачьего полка, а также Сводного полка. С 1945 в лагере Келлерберг (Австрия), с 1952 в США. До 1972 – командир дивизиона Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

Ряснянский Сергей Николаевич (1886–1976). Начальник Северо-Американского отдела Русского Обще-Воинского Союза, полковник Генерального штаба. Книги: «О Российском воинстве, защищавшем Русь-Россию» (1969), «Русско-японская война» (1954), «10-й гусарский Ингермандланский полк» (1954). Редактор книг: «Ледяной поход 1918–1953», «Незабываемое прошлое славной Южной школы. 1865–1965», «Первые начавшие» (1958).

Сафронов Пимен Максимович (1898–1973). Иконописец и реставратор. Своими трудами послужил возрождению византийской иконописи. Награжден Крестом Таксирха всех трех степеней. В знак признания его трудов и помощи Православной Церкви П. М. Софронов возведен в дворянское достоинство.

Марк Уральский

Молодой Алданов

Глава I: Счастливые годы (1886–1914)

Биография Марка Алданова – одного из самых видных и, несомненно, самого популярного писателя русского эмиграции первой волны – до сих пор не написана. Особенно мало сведений имеется о его доэмигрантском периоде жизни. Даже в серьезной литературоведческой статье «Марк Алданов: оценка и память» Андрея Гершун-Колина[1], с которым Алданов был лично знаком, о происхождении писателя и его жизни в России сказано буквально несколько слов[2]. Отметим как печальное совпадение, что эта статья увидела свет через десять месяцев после смерти писателя, в декабре 1957 года. Не прояснены детали дореволюционной жизни Марка Алданова и в работах, написанных другими историками литературы[3], в том числе Андрея Чернышева, открывшего российскому читателю имя Марка Алданова, подготовившего и издавшего в Москве собрания сочинений писателя[4].

Из всего, что сообщается алдановедами, явствует только одно: писатель родился в Российской империи и здесь же прошла его молодость, пора физического и духовного созревания. Но в каких условиях, в какой обстановке – семейной и общественно-политической – это происходило? На фоне какого природного и урбанистического ландшафта – фактор исключительно важный для формирования личности русского человека XIX столетия – проходило его возмужание? В каком «культурном бульоне» варился этот человек в годы молодости? Все эти вопросы до сих пор остаются без ответа. И это при том, что Алданов навсегда покинул родину в 1919 году уже *зрелым человеком* 33-х лет отроду, из коих он четыре года тоже провел за границей.

Итак, дореволюционная составляющая биографии Алданова до сих пор окутана дымкой неизвестности, хотя в целом его образ как русского писателя-эмигранта «первой волны» достаточно прояснен.

Имеются, несомненно, и объективные факторы, сильно осложняющие поиск биографических подробностей жизни Алданова. Во-первых, он два раза терял свои архивы – при бегстве из России от большевиков и при бегстве из Франции от немцев. Во-вторых, что

представляется особенно важным, Алданов по характеру был человек скрытный, тщательно оберегающий от посторонних глаз свою личную жизнь. О «закрытости» Алданова свидетельствует, например, публицист и мемуарист русского рассеяния Александр Бахрах, который был «с ним знаком с незапамятных времен». В очень теплой и подробной статье «Вспоминая Алданова» он пишет, что «Алданов был человеком с двойным, если не с тройным дном, и его внешняя застегнутость была в какой-то мере показной, некой самозащитой, не столько от посторонних, сколько от самого себя. Он был, несомненно, много сложнее того, каким он виделся со стороны. <…> Свое подлинное ‘я’ он умышленно затемнял и прикрывал его, если не маской, то во всяком случае полумаской»[5].

Третьим отягчающим обстоятельством для биографов является тот факт, что «Алданов не оставил воспоминаний и завещал уничтожить часть своего архива, не желая сообщать каких-либо сведений о себе и своих современниках, тем более, еще живых. В то же время характерно его стремление увековечить текущий момент и осознание особой роли эмиграции, при котором факт личной биографии становился частью общеэмигрантской истории, а миссионерские представления диктовали поведение в быту. <…> историк, пожелавший написать его биографию, обнаружит, что в сохранившихся о нем свидетельствах частный человек отходит на второй план, уступая место общественному деятелю. Причем очевидно, что личная сторона биографии старательно замалчивается, в то время как общественно-политическая позиция исправно подчеркивается – таким образом, место истории его собственной жизни занимает текущая история эмиграции. С другой стороны, некоторые факты алдановской биографии позволяют представить его общественную деятельность как постоянную борьбу за репутацию эмиграции. Очевидно также, что Алданов сознательно конструировал свою биографию, исходя из своеобразного кодекса эмигрантской чести и своих представлений об исторической роли эмиграции, чем было обусловлено его поведение в тех или иных значимых с этой точки зрения ситуациях. <…> Осознание себя как объекта истории и как представителя эмиграции накладывало особую ответственность за свою репутацию, в первую очередь политическую, а личная биография становилась политическим аргументом в борьбе большевистской и эмигрантской идеи. В этом смысле Алданов уподоблял себя дипломату, ежедневно в официальных выступлениях и в быту представляющего свою страну и являющегося ее лицом. С другой стороны, его деятельность вполне вписывалась и в масонские представления о жизнестроительстве, а он, как многие другие эмигрантские политики и общественные дея-

тели, был масоном. В итоге ему одному из немногих эмигрантских общественных деятелей удалось сохранить свою биографию незапятнанной, заслужив таким образом звания ‘последнего джентльмена русской эмиграции’ и ‘принца, путешествующего инкогнито’»[6].

Поэтому реконструкцию живого образа молодого Алданова приходится вести буквально по крохам, собирая и расшифровывая случайные оговорки и упоминания биографического характера в его переписке, исторических документах и мемуарах свидетелей времени.

Марк Александрович (Израилевич) Ландау (Алданов – анаграмма-псевдоним, ставшая затем используемой публично фамилией) – коренной киевлянин, чье детство и юность неразрывно связаны с этим городом. Впрочем, и сельский ландшафт не являлся в эти годы для него чужим. Так, в письме к Ивану Бунину от 22 августа 1947 года он сообщает: «Я не совсем городской житель: до 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой. (Позднее, окончив гимназию и став ‘большим’, начал ездить за границу, а с 1911 в этом раю не бывал совсем.) Но эта деревня была в Волынской губернии, т. е. в Малороссии. Великорусской деревни я действительно не знаю, – только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году»[7].

Волынская губерния с ее главным городом Житомиром была самой западной окраиной в Российской империи, граничившей с Австро-Венгрией. Основное население ее составляли малороссы (украинцы) – более 70% и евреи – более 13 %. Из промышленных производств особенно процветало сахарозаводчество. Купцами 1 и 2-й гильдии в губернии являлись только евреи[8]. Можно полагать, что как сахарозаводчик отец Марка Алданова – Александр (Израиль) Ландау – имел на Волыни не только поместье, но свои предприятия. Но все же детство и юность Алданова прошли главным образом в Киеве. На рубеже XIX – XX столетий Киев являлся не более чем крупным губернским центром, седьмым по численности населения в Российской империи (около 250 тыс. человек). Несмотря на провинциальность, Киев по своему историческому значению стоял вровень с Москвой – столица древней Руси, город Святого Равноапостольного князя Владимира. «Киев – колыбель святой веры наших предков и вместе с сим первый свидетель их гражданской самобытности», – сказано в высочайшем указе императора Николая Павловича об учреждении киевского Университета Св. Владимира.

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!

Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!

А. Хомяков. Киев (1839)

Киев был славен не только своей священной для русских сердец историей, но и очень красив. Николай Гоголь со свойственной ему романтической пылкостью писал: «В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами**,** опоясанном моим южным прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр»[9]. В конце XIX – начале XX вв. Киев, центральные улицы которого, с дорогими магазинами и ресторанами, быстро застраивались многоэтажными домами, помимо красоты обрел и особую атмосферу, возможно, не настолько притягательную, как у Парижа или Вены, но тем не менее запоминающуюся на всю жизнь. Панегирики Киеву писали и киевляне – современники Марка Алданова, например Михаил Булгаков: «Эх, Киев-город! Красота!.. Вот так – Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой! Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубицкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте… Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских. Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег…»[10]. Киевлянин Николай Бердяев, с которым в 1950-е годы дискутировал Алданов, вспоминая в своем философско-автобиографическом труде «Самопознание» о детстве, писал: «Киев один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софиевским собором, одной из лучших церквей России»[11]. Другой урожденный киевлянин, современник Алданова – Илья Эренбург вспоминал: «Летом на Крещатике в кафе сидели люди – прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением. <…> Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветли-

вости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. <…> В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: ‘Это – Шолом-Алейхем’. Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев ‘Егупцем’, и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Егупцем в Бабьем Яру…»[12].

Киев слыл также столицей проституции. В городе насчитывалось более 29 домов терпимости, десятки тайных притонов, замаскированных под мастерские или дешевые «минерашки», где, выпив стакан минеральной воды, можно было поиметь девицу за пятак; пятым в списке самых распространенных заболеваний среди населения был сифилис. Александр Куприн в повести «Яма» (1905) описывает Киев конца XIX – начала XX вв. как «сплошной бордель».

По национальному составу Киев был выражено русский город: в конце XIX – начале XX вв. русские составляли около 56% от общего числа всех его обитателей, украинцы – 22% и евреи около 14%[13]. При этом, однако, евреи играли исключительно активную роль в деловой жизни города, например, в списке евреев Киева купцов 1-й гильдии числится 279 человек[14] – одна треть всего списочного состава; евреи составляли 44% киевского купечества, а на еврейские производства приходилась четверть выпускаемой в городе продукции.

Еврейский предпринимательский дух сильно изменил ментальность коренных киевлян, что отмечал еще Николай Лесков в 1883 г.: «Тут мы, молодыми ребятами, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о ‘чувствах высокого и прекрасного’ и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать...»[15] Вот не менее интересный с исторической точки зрения литературный этюд «О бирже на Крещатике», принадлежащий перу Шолом-Алейхема: «Я втерся в компанию маклеров и сам стал, с Божьей помощью, не из последних, сижу уже у Семадени (Кондитерская швейцарца Семадени располагалась напротив здания Биржи. – *М. У.*) наравне со всеми за белым

мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. Такой уж здесь обычай – не то подходит человек и выгоняет вон. Тут, у Семадени, и есть самая биржа. Сюда собираются маклеры со всех концов света. Здесь всегда крик, шум, гам, как – не в пример будь сказано – в синагоге: все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорятся, спорят, затем судятся, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии; без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплеух никогда ни у кого – в том числе и у меня – не обходится»[16].

Деловая жизнь в Киеве 1880-х – 1914 гг. била ключом. Город стал важным центром торговли и транспортного сообщения Российской империи, контролируя экспорт зерна по железной дороге и по реке Днепр. Некоторые новые технологии в Российской империи впервые внедрялись именно в Киеве: в 1892 г. была запущена первая в Российской империи электрическая трамвайная линия, в 1912 г. построены первый стационарный стадион и первый и единственный в дореволюционной России небоскреб высотой более 60 м, построенный по проекту одесских архитекторов А. Минкуса и Ф. Троупянского. Здание возводилось по заказу строительного магната, купца 1-й гильдии Льва Гинзбурга, входившего в десятку самых богатых киевлян. Оно было наиболее современным в Киеве, поскольку имело редкие в то время кованые лифты американской фирмы «Отис». Жилые дома такой высоты, как «небоскреб Гинзбурга», в начале XX в. существовали лишь в США, Германии, Аргентине и Канаде.

В Киеве работали такие выдающиеся деятели авиации, как пионер в области высшего пилотажа Петр Нестеров и знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский – создатель первых в мире многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец». Со второй половины XIX в. в городе постепенно развивалась театральная и музыкальная жизнь. С 1870-х годов в Киеве жил и работал композитор Н. В. Лысенко, создатель украинской оперной классики. Киевский оперный театр – «Русская опера» (открыт в 1867 г.) – неоднократно посещал П. И. Чайковский и оставил положительные отзывы как о мастерстве актеров и музыкантов, так и о художественном оформлении спектаклей. В 1890 году композитор сам руководил постановкой в Киеве своей оперы «Пиковая дама». В 1890-е годы была осуществлена постановка «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова, на которой присутствовал автор, а С. В. Рахманинов выступал в качестве дирижера на постановке своей оперы «Алеко». С сезона 1869–1870 гг., когда в Киеве начали гастролировать театры оперетты, этот музыкальный жанр приобрел особую популярность у киевлян. В 1901–1912 гг. в Киеве ежегодно бывал петербургский театр С. Н. Новикова «Пассаж»,

в котором выступали многие звезды российской оперетты. По данным адресного справочника за 1907 год, в Киеве на тот момент существовало семь постоянных театральных сцен – театры Соловцова, Бергонье, два народных дома, «Русская опера», театр в Контрактовом доме и «Малый театр».

Особенно славилось Музыкальное училище Киевского отделения Императорского русского музыкального общества, преобразованное в 1913 г. в Киевскую консерваторию, из стен которой вышел величайший пианист XX столетия Владимир Горовиц. В этом учебном заведении работали такие выдающиеся музыканты и педагоги, как Рейнгольд Глиэр, Григорий Беклемишев, Феликс Блюменфельд. Училище было в учебно-образовательной системе Российской империи на редкость либеральным заведением, в него принимались без ограничения «лица обоего пола, всех наций, сословий, вероисповеданий»[17].

И все же в культурном отношении Киев явно уступал не только обеим российским столицам, но и Одессе. Особенно это касалось литературного сообщества. Из знаменитых дореволюционных литераторов в этом городе несколько лет жили Шолом-Алейхем да Александр Куприн (1894–1901 гг.). В некрологе «Памяти А. И. Куприна» (1938) Алданов писал: «Не принадлежа к числу самых близких к нему людей, я очень его любил и хорошо знал, – впервые увидел лет тридцать пять тому назад, еще будучи гимназистом». Говоря о киевских писателях, нельзя не отметить и такого знаменитого уроженца этого города, как Александра Вертинского, который в годы своей молодости (1905–1913) подвизался в Киеве в качестве литератора: он писал театральные рецензии на выступления знаменитостей, публиковал небольшие «декадентские» по духу рассказы в местных газетах: в «Киевской неделе» – «Портрет», «Папиросы Весна», «Моя невеста», в еженедельнике «Лукоморье» – рассказ «Красные бабочки». Вертинский был завсегдатаем литературно-художественного салона Софьи Зелинской, где собирались такие выдающиеся деятели первого русского авангарда, как художники Александра Экстер, Марк Шагал, Казимир Малевич, Александр Осьмеркин, Натан Альтман, поэты Михаил Кузмин, Бенедикт Лифшиц и др. Салон С. Н. Зелинской – единственный в своем роде киевский «культурный очаг», оставивший яркий след в истории русской культуры начала XX в.

Молодой Марк Ландау отнюдь не был посетителем салона Зелинской. А вот с мыслителями Серебряного века, которые родились и жили в Киеве, – Николаем Бердяевым и Львом Шестовым – Марк Алданов поддерживал отношения в эмиграции.

Такова в общих чертах физиономия города, в котором появился

на свет Марк Ландау и где прошли его детство, отрочество и студенческие годы. У Алданова можно найти характеристики самых разных городов. В своей «Повести о смерти» (1952) сложил он хвалебную песню и о Киеве:

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды, серебряный, суконный, шелковый, меховой, коверный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево <…>. Особенно славились сласти, варенье, пряники. Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. <…> Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. <…> Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. <…> К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «Дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив – относились с большим интересом и уважением. <…> Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», – так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка[18]*. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт, и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. <…> Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать*

в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de братья Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой бочонки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. <…>. Русские <…> спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор» с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. <…> Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, – кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»

<…> Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, – торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. <…> Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» – и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, непейки, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли?

Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый польский, мазурку, французскую кадриль.<…> По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. <…> Студенты вообще жили в Киеве

весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на биллиарде и в карты, – кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, – такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, – дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское Общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно, если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей.

В «Повести о смерти» Алданов делает особый акцент на том, что даже такому знаменитому французу, как Оноре де Бальзак, нравилось жить в «варварской», по мнению многих его соплеменников, России. Ему особенно приятно, что великий парижанин восхищался его родным Киевом. Бальзак, посещавший Киев в 1847, 1848 и 1850 гг., в своем очерке «Письмо о Киеве» называл его «северным Римом» и, сравнивая этот древний западнорусский город с другими российскими столицами, писал, что: «Петербург – город-младенец, Москва – взрослый человек, Киев же – старец, чей возраст – вечность».

Марк был первым ребенком, родившимся 26 октября / 7 ноября 1886 года в интеллигентной и очень состоятельной еврейской семье Ландау. Впоследствии у него появились брат Яков и сестра Любовь. Семья Ландау даже по общероссийским стандартам была отнюдь не «простая». Мать Марка Александровича – урожденная Шифра

(Софья) Ионовна Зайцева – являлась дочерью киевского сахарозаводчика купца 1-й гильдии Ионы Зайцева, чье имя как филантропа увековечено в истории города Киева. В 1893 году, например, он основал небольшую бесплатную хирургическую больницу на 7–10 коек в нанятом здании. Это благотворительное учреждение получило название в честь «бракосочетания Их Императорских Величеств (Николая II и Александры Федоровны) 14 ноября 1894 г.». В 1897 году он выстроил на Кирилловской улице одноэтажное на цокольном полуэтаже каменное здание, в котором расположилась «больница Зайцева». Здесь каждый год проводилось около 400 операций. При больнице действовала также амбулатория, где больные могли бесплатно получить консультации у хирургов, ортопедов и отоларингологов. Главным врачом больницы был знаменитый хирург Григорий Быховский. Хотя больница Зайцева обслуживала, прежде всего, неимущих евреев, кто-либо другой из местной бедноты тоже мог рассчитывать здесь на медпомощь. В 1899 г. Иона Зайцев приобрел также усадьбу Багреевых с кирпичным заводом (там еще продолжались археологические изыскания). Общая площадь его владений под склоном Юрковицы превысила 10 гектаров. Когда почтенный филантроп умер (в 1907 г.), эту недвижимость унаследовал его старший сын Маркус. (В списке евреев купцов 1-й гильдии он значится под № 97 как Меер Зайцев). Зайцев-младший оказался достойным продолжателем отцовского дела. В начале 1911 г. он начал строительство новой больницы, в которой предполагалось поместить еврейский приют-богадельню и небольшую синагогу.

Однако через несколько дней после того, как газеты известили о закладке богадельни, Киев всколыхнула весть о зверском убийстве 13-летнего мальчика по имени Андрей Ющинский. Его мертвое тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в пещере на склоне Юрковицы, неподалеку от усадьбы Зайцева. Обнаружились «свидетели» из среды местной шантрапы, которые указали на причастность к преступлению еврейского обывателя Менахем-Менделя Бейлиса. Тот был служащим кирпичного завода Зайцева и жил в небольшом домике на территории заводской усадьбы. Зачем ему было убивать мальчика? Обвинители выдвинули две версии: для того, чтобы воспользоваться христианской кровью для приготовления мацы (приближалась иудейская пасха) или чтобы оросить этой же кровью место сооружения будущей синагоги при богадельне. По указанию из Петербурга официальное следствие принялось отрабатывать ритуальную версию «дела Бейлиса»[19], а сам подозреваемый на два года оказался за решеткой. После длительной следственной волокиты осенью 1913 года в Киевском окружном суде (ул. Владимирская, 15)

состоялся судебный процесс, на котором Бейлис был оправдан, хотя настоящие убийцы так и остались ненайденными. Следует отметить, что приговор присяжных оказался половинчатым. Сняв обвинение с Бейлиса, присяжные не согласились с доводами защиты, что убийство вообще не имеет отношения к усадьбе Зайцевых. В их вердикт, с подачи обвинителей, было включено недостоверное и неточно сформулированное указание, что якобы кровавое преступление совершено «в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева». Это давало косвенную возможность антисемитам говорить о «доказанности» ритуальной версии.

Строительство нового здания в филантропическом комплексе Зайцевых все же было завершено, и с 1912 года богадельня и синагога в его стенах начали действовать. Ко времени начала «процесса Бейлиса» и в те годы, что он длился, Марк Алданов пребывал за границей, где продолжал свое образование. По этой причине он не являлся очевидцем ожесточенных публицистических баталий на тему «о пролитии евреями христианской крови в ритуальных целях», развернувшихся в русском обществе. Но не вызывает сомнения, что они не прошли мимо его внимания и оставили в его душе неизгладимый след. Итак, по материнской линии Марк Алданов – отпрыск известной династии киевских евреев-промышленников и благотворителей.

Иона Зайцев, по-видимому, являлся поборником светского просвещения и интеграции евреев при условии сохранения ими своих национально-религиозных особенностей. Интеграционное движение, получившее название «Хаскала», возникло в конце XVIII века в Германии, а его представителей в еврейской среде называли «маскилим» («просвещенные»). Стремясь к изменению отношений между евреями и неевреями путем искоренения традиционной еврейской обособленности и приобщения евреев к «общечеловеческим» ценностям, маскилим настаивали на введении обучения евреев светским наукам, на изучении языков тех государств, в которых они жили, на развитии стремления к гражданскому равноправию и, одновременно, гражданской лояльности, на изменении внешнего традиционного облика и поведения евреев, включая ношение европейской одежды и усвоение европейского этикета, на изменении характера экономической деятельности евреев в направлении ее продуктивизации, чтобы по своей социальной принадлежности евреи ничем не отличались от населения стран проживания.

Российскую империю в XIX в. населяло более 200 народностей и этнических групп (sic!). Среди них евреи были одним из самых многочисленных неславянских этносов – 5, 8 млн. человек[20]. В своем абсо-

лютном большинстве российские евреи изъяснялись между собой на идиш, религиозно образованные представители еврейства, главным образом мужчины, владели также и ивритом. Идиш был живым литературным языком, а переводы на русский язык произведений еврейских писателей делали их имена известными русскому читателю. С ростом национального самосознания и просионистских настроений активизировался интерес еврейской интеллигенции к изучению иврита и созданию литературных произведений на этом языке. Однако и в среде российского еврейства шел интенсивный процесс расслоения на почве национальной самоидентификации, запущенный Хаскалой. Начался он в эпоху царствования императора-«освободителя» Александра II, которого и как человека и венценосца, и как государственного деятеля, стремившегося к преобразованию российского общества в духе западноевропейского либерализма, Алданов оценивал по самой высшей шкале (см. роман «Истоки»). В историческом этюде «Русские евреи в 70-х – 80-х годах»[21] Марк Алданов писал:

Будет вполне естественно, если будущие историографы русской интеллигенции, как дружеские, расположенные к евреям, так и антисемиты, начнут новую главу ее истории с тех лет, когда евреи стали приобщаться к русской культуре, так как роль евреев в культурной и политической русской жизни в течение последнего столетия было очень велика. Главу эту следует начинать с конца 70-х и начала 80-х годов минувшего века. <…> Александр II не был антисемитом. Можно, пожалуй, при желании даже сказать, что он был расположен к евреям, особенно в первую половину своего царствования. В законах о судебной реформе, осуществленной в 1864 г., не имеется нигде каких-либо ограничений для евреев. В училища и гимназии евреи принимались на равных правах с другими учащимися. Евреи имели право держать экзамены и получать офицерские чины. Они также могли получать дворянское звание и нередко получали его. Получив чин действительного статского советника или тайного советника, орден св. Владимира или первую степень какого-нибудь другого ордена, еврей становился дворянином.

Несправедливости для евреев были связаны с отбыванием воинской службы. Немногим известно, что при Николае I евреев-солдат было пропорционально больше в отношении к численности еврейского населения, чем солдат-христиан, так как при рекрутском наборе евреи обязывались поставлять 10 солдат на тысячу, а христиане – только 7. Этим объясняется, что в войнах 1828, 1830 и 1854–55 годов принимало участие очень много евреев. Но с введением всеобщей воинской повинности эта несправедливость отпала. Почти

все позднейшие ограничения евреев были проведены уже в царствование Александра III.

<...> в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была совершенно лояльно настроена по отношению к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Гинзбурга, Поляковых, Бродских, Зайцевых, Болоховских, Ашкенази. <...> В начале царствования Александра II откупщик Евзель Гинцбург основал в Петербурге свой банк, который вскоре занял в столице первое место в банковской сфере <...>. Владелец нового банка стал гессенским консулом в Петербурге, и он оказал немало услуг гессенскому великому герцогу в Дармштадте. За это Гинцбурги получили в 1871 г. от великого герцогства баронский титул. Супруга Александра II была сестрой великого герцога гессенского, и Александр II, который никогда ни в чем не отказывал своим бедным немецким родичам, <...> по просьбе великого герцога <...> он утвердил баронский титул Гинцбургов и в пределах России. <...> Дом барона Горация Гинцбурга, второго члена баронской династии, посещали выдающиеся представители русской интеллигенции: Тургенев, Гончаров, Салтыков, братья Рубинштейны, Спасович, Стасов. (В 1863 г. Гораций участвовал в создании Общества по распространению просвещения среди евреев, в 1878 году стал его председателем. – *М. У.*). *Гораций Гинцбург поддерживал добрые отношения с высшей аристократией и даже с некоторыми членами царствующего дома, особенно с принцем Ольденбургским*[22].

Почти в то же время другой еврей, Самуил Поляков, приступил к сооружению железных дорог. Он построил шесть железнодорожных линий. В последние годы три брата Поляковы стали потомственными дворянами и тайными советниками. И Гинзбург, и Поляковы (и другие еврейские миллионеры.[23] – *М. У.*) *жертвовали крупные суммы на различные учреждения и на благотворительность. <...> эти евреи искренне любили царя и горько плакали, когда первого марта он был убит.*

Как бы странно это ни звучало, но так же были настроены и многие бедные евреи, которые не пользовались никаким почетом, не получали ни титулов, ни медалей. <...> думаю, что и евреи-революционеры в ту пору не испытывали к Александру II той ненависти, которую испытывали к нему некоторые русские террористы-дворяне, как Герман Лопатин, Екатерина Брешковская или Вера Фигнер. <...> революционеры, вышедшие из народных низов, сохранили в глубине своей души память о том, что всё же Александр II освободил крестьян от рабства, – в то время как для русских дворян цареубийство было в какой-то мере «традицией» (вспомним судьбу Петра

Третьего и Павла Первого). <...> несколько евреев, принимавших участие в покушении на жизнь Александра II, сочли нужным подчеркивать, что в мировоззрение доминировал социалистический, а не революционный и террористический элемент. <...> По-видимому, у многих революционеров-евреев было на первом плане стремление к социальной справедливости, укрепившейся в них от сознания, в каких тяжких экономических условиях находилась в России преобладающая часть еврейского населения. <...>

Экономическое положение еврейских народных масс при Александре II было ужасно. Но, по-видимому, евреи обладают двумя сложившимися характерными особенностями: стремлением к социальной справедливости и чувством благодарности, – или, по меньшей мере, отсутствием слишком острой враждебности к тем властителям, которые проявляют к ним доброту или просто терпимость[24].

Нельзя не отметить, что будучи «западником», Алданов тем не менее резко критически оценивал некоторые высказывания русских западников XIX столетия:

*В самое лучшее, вероятно, время всей русской истории, в царствование Александра Второго, в пору истинно необыкновенного расцвета русской культуры, многие знаменитые европейцы признавали и восторгались – какие цитаты можно было бы привести, цитаты в русскую историю и не попавшие! Но такой умный и образованный человек, как Кавелин, вдобавок весьма умеренный по взглядам, писал такие письма, которые могли бы очень пригодиться Альфреду Розенбергу: «А что такое вообще Москва? Боже великий! Бухара и Самарканд – более, кажется, европейские города!» Несколько позднее он столь же компетентно высказался и о русской культуре вообще: «Кругом все валится. Нет явления, производящего сенсацию, которое бы не свидетельствовало о преждевременном растлении, о гнилом брожении, которому не видать ни конца, ни края. За что ни возьмись – все рассыпается под руками в гниль... Музыка российская в новых произведениях, по моему мнению, есть последнее слово отрицания музыки. О литературе и не говорю: ее нет; только Салтыков (Щедрин) составляет блистательное исключение: этот растет не по дням, а по часам как обличитель пошлости и навоза, в которых мы загрязли по уши, пребывая в нем даже с каким-то Wohlbehagen**. *Я часто спрашиваю себя, да уж не взаправду ли мы*

* Wohlbehagen – удовольствие (*нем.*)

*туранцы** <...>? Что ж в нас европейского? Азия, как есть Азия». Это было сказано в пору Толстого, Достоевского, Тургенева, '[Могучей] кучки', Чайковского!*

По мнению Алданова, жесткая политика государственного антисемитизма, проводившаяся правительством после убийства Александра II, дискредитировала власть в глазах всех слоев многомиллионного еврейского сообщества. В работе «Русские евреи в 70-х – 80-х годах» он писал: «При Александре III начались погромы, издавались антисемитские законы и вводились правовые ограничения против евреев[25]. Эта полоса вызвала всеобщее разочарование и среди представителей еврейской буржуазии, и среди привилегированных элементов. Часть их пыталась, правда, без большого успеха, сохранить свои верноподданнические позиции. <…> Однако [что] было <…> возможно и естественно <…> при Александре II, <…> стало просто смешным при его преемнике. Привязанность к Александру III даже еврейских магнатов выглядела бы 'односторонней' без малейшей встречной приязни. Об отношении к режиму со стороны еврейской интеллигенции и говорить нечего. Следы этого жестокого разочарования можно легко обнаружить у еврейских писателей того времени». Однако при этом интеграция евреев в русский социум отнюдь не замедлялась, а напротив, набирала все большие и большие обороты. Быстрыми темпами шли процессы аккультурации и ассимиляции. Дети еврейской элиты ходили в русские гимназии, учились в русских университетах, постепенно они становились людьми русской культуры. Среди шести урожденных киевлян писателей, вошедших в «золотой фонд» русской литературы XX в., – Михаил Булгаков, Максимилиан Волошин и Константин Паустовский, Марк Алданов, Бенедикт Лифшиц и Илья Эренбург – трое имели еврейское происхождение. Однако никто из них никакого отношения к еврейству, кроме «корней», не имел. Лифшиц и Эренбург по сугубо «духовным» соображениям крестились, Алданов, хотя от религии дистанцировался, тем не менее похоронен был в Ницце не на еврейском, а на русском православном кладбище Коканд.

Типичным примером *аккультурации и ассимиляции* была и семья Ионы Зайцева. Все его внуки и правнуки лишь происходили «из евреев», но душой и сердцем полностью были связаны с русской и европейской литературой и русской и западноевропейской культурной традицией. Ни писатель Марк Алданов, ни его родная сестра писатель Любовь Полонская, ни его жена переводчица Татьяна Ландау-

* Туранцы – народы, населяющие Среднюю Азию.

Алданова, приходившаяся ему кузиной, ни племянница – поэтесса Гизелла Лахман, ни племянник – поэт и переводчик Рауль Робинсон[26], уже никто ни в какой степени не имели отношения к еврейской среде.

Генеалогическое древо Марка Алданова по материнской, т. е. «зайцевской» линии, свидетельствует, что он состоит в различных (по отдаленности) степенях родства с целым рядом крупнейших филологов и литературоведов XX столетия. Двоюродным братом Алданова является Яков Малкиель (Yakov Malkiel, 1914–1998), знаменитый американский этимолог и филолог, специалист по романским языкам, троюродными братьями которого – по отцовской линии – были историк литературы Юрий Николаевич Тынянов и академик Виктор Максимович Жирмунский. Примечательно также, что Юрий Тынянов является одновременно и видным историческим романистом, писавшим, в частности, как и Алданов и примерно в то же время, об эпохе царствования Павла I (повесть «Восковая персона», 1931). Неизвестно, знал ли Алданов о своем далеком родстве с Ю. Н. Тыняновым, но отзывался он о нем – советском, а значит, несвободном «от системы ʻзаданий’» художнике (sic!) – с большим уважением и, в первую очередь, именно как об историческом романисте: «В исторических его вещах нет ни пресмыкательства, ни желания угодить начальству. Кроме того, он ученый человек и добросовестный исследователь: он хорошо изучил ту эпоху и тех людей, о которых пишет. <…> Его исторические персонажи выписаны чрезвычайно тщательно, точно, иногда очень тонко, но это все-таки не живые люди. <…> Со всем тем, и он, бесспорно, даровитый человек <…>. Вполне возможно, что из него выйдет большой писатель. Я очень этого желаю, но не очень в это верю»[27].

Здесь же, поскольку речь у нас идет о биографии Марка Александровича Алданова, особо отметим, что он обладал исключительной способностью к иностранным языкам: свободно владел английским, немецким и французским, отлично знал, как особо отмечено в его гимназическом аттестате, также латинский и древнегреческий. При этом родного, казалось бы, ему еврейского Алданов, как ни странно, совсем не знал. Об этом он писал 15 июля 1950 года своему знакомому А. И. Погребецкому, предложившему ему посетить Израиль с курсом лекций: «Нисколько не отказался бы и от лекций, но на каком же языке? Ведь я, к сожалению, еврейского языка не знаю»[28]. То, что полиглот Алданов не знал идиш, указывает на исключительно высокую степень ассимиляции его ближайшего окружения. Ну, а незнание им иврита свидетельствует об отсутствии у него даже начального еврейского религиозного образования, которое

в традиционных еврейских семьях было обязательным для мальчиков. В противном случае, имея вкус и способности к изучению иностранных языков, он, несомненно, в детстве выучил бы эти языки.

Из всего этого явствует, что Марк Ландау (Алданов) рос и воспитывался в сугубо русской атмосфере, а посему всегда и во всем искренне ощущал себя русским человеком. Эта, без натяжек и оговорок, жизненная позиция никогда им не манифестировалась в форме нарочитого ура-патриотизма, но она недвусмысленно прочитывается из высказываний в его частной переписке и литературных произведениях: «Он очень любил Россию – той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев» («Девятое термидора»).

Для представителей его поколения – полностью ассимилированных в русской среде выходцев из богатых еврейских семейств Санкт-Петербурга, Киева, Одессы – такого рода «русскоцентризм» был явлением типичным. Ассимилированные еврейские интеллектуалы испытывали восторженно-прозелитское, зачастую умилительное чувство любви ко всему русскому. Их разговорный и литературный язык нередко демонстрировал нарочитую любовь к «истинно русским» оборотам речи и поговоркам. Такова, например, речевая стилистика культурного преуспевающего еврея-адвоката Семена Исидоровича Кременецкого – героя романов Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера». Этот персонаж, по словам В. Набокова, «родился и жил в воображении одного только Алданова», но при этом оказался столь удавшимся с точки зрения «типичности», что современники упорно искали его прототип в своей среде[29]. Отметим, что слащаво-умильное любование исконно-«посконным» являлось в конце XIX – начале XX в. своего рода маркером ретроградского консерватизма, носители которого упорно отстаивали к тому времени изжившую себя концепцию «официальной народности»[30].

В отличие от многих своих обрусевших современников-интеллектуалов из еврейской среды, Алданов, при всем своем «русскоцентризме», вероисповедания не менял, но будучи по природе и мировоззрению человеком неверующим, от любой формы религиозной активности дистанцировался. В этом отношении принадлежность в эмиграции к масонству – он являлся членом-основателем парижских лож «Северная звезда» (1924 г.) и «Свободная Россия» (1931 г.)[31] – было для Алданова не модной забавой или формой «полезного» общения, а духовным выбором. Ибо: «Он в масонстве видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми» («Заговор»).

Совершенно иным было настроение русского интеллигентского сообщества в целом, особенно литераторов. Модернистские течения

в русской культуре – как декаденты, так и выступавшие с мистически окрашенных провиденциальных позиций символисты, – отнюдь не тяготели к «корням»[32]. В их представлении это была тема реалистов, которые, по определению Константина Бальмонта, «всегда являются простыми наблюдателями». Реалисты же – в первую очередь, представители «натуральной школы» – со второй половины XIX в. и вовсе выступали с очень жесткими и нелицеприятными обличениями традиционных устоев русской жизни и народа. В начале XX в. подобного рода критика на русской культурной сцене звучала повсеместно – Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Куприн, Иван Бунин, Скиталец, Семен Юшкевич, Евгений Чириков и др. Общей для всех вольнодумцев-интеллектуалов в конце XIX – начале XX столетий, как русского, так и еврейского происхождения, являлась враждебность по отношению к царскому Двору и особенно царскому правительству. «Русская интеллигенция была инструментом разрушения. Интеллигент прежде всего был врагом царской автократии и всего ею созданного. Его враждебность могла принимать и действительно принимала различные формы, но она присутствовала всегда, и это было той самой базовой характерной особенностью, которая ставила интеллигенцию вне всех прочих слоев российского общества. Можно сказать, что интеллигенция была не столько классом, сколько состоянием ума и духа»[33]. По этой причине в царствование Николая II Двор Его Величества и русское литературное сообщество в целом являли собой два враждебных лагеря. Лев Толстой – величайший русский писатель и моральный авторитет мирового уровня – в своем личном послании Николаю II (1902) нелицеприятно, руководствуясь, по его словам, «только желанием блага русскому народу и Императору», писал: «Любезный брат! Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того, еще и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. <...> Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним» (16 янв. 1902). Запанибратская форма обращения к Государю, как и поучительно-наставительный тон письма, со стороны российского подданного в эпоху Золотого века русской литературы, когда Пушкин и Жуковский принимались при Дворе и удостаивались *высочайшей милости* – личного общения с Государем, – звучали бы как что-то немыслимо дикое и в высшей степени неучтивое. Но в начале XX в. сакральный ореол

Государя уступил место галерее уничижительных карикатур на Самодержца всея Руси и самодержавие как принцип властвования. С самого начала царствования Николая II отношения между Двором Его Величества и русским литературным сообществом в целом, являлись, мягко говоря, неприязненными.

Характеризуя отношения Льва Толстого с властью, Алданов, типичный до мозга костей русский интеллигент, называет его первым *свободным гением* России. Ибо, по его словам, за всю свою жизнь Толстой не сказал власти ни одного слова, которое не было бы пропитано *независимостью и достоинством.* Здесь же, как одну из характеристик духовного облика молодого Алданова, отметим, что Лев Толстой являлся для него «нашим всем» – альфой и омегой художественности, образцом гражданственности и, конечно же, ярчайшим мыслителем, с которым с первых своих шагов в литературе он вступает в интеллектуальный дискурс.

Теперь пришло время сказать несколько слов об отце Алданова – Александре Марковиче Ландау. Увы, в рассказе об этом персонаже биограф вынужден опираться лишь на косвенную информацию, ибо никаких документов, проливающих свет на личность А. М. Ландау, обнаружить до сих пор не удалось. По свидетельству Татьяны Осоргиной – последней жены писателя-эмигранта Михаила Осоргина, с которым Марк Алданов был близко знаком и которая дружила с четой Алдановых-Ландау вплоть до их кончины, подбор достойного жениха для Софьи Ионовны Зайцевой продолжался довольно долго из-за отсутствия в ближайшем окружении Зайцевых достойного кандидата. В конце концов, Зайцевы выписали из Австрии молодого человека из «хорошей семьи», кажется, сына раввина, чтобы он и женился на их дочери[34]. Такой способ «организации» брака был довольно распространен в те времена в привилегированных слоях еврейского сообщества. Сам Алданов не очень любил говорить об этом. Однако в статье «Русские евреи в 70-х – 80-х годах» он все же отметил, что его прадед по отцу был главным раввином Праги (sic!).

Без всякого сомнения, он имел в виду Йехезкеле Ландау – видного еврейского общественного деятеля и галахического авторитета XVIII века. «В 1754 г. он был приглашен на один из самых важных постов в руководстве центральноевропейским еврейством – раввина Праги и всей Богемии. Представляя евреев Богемии перед австрийскими властями, Ландау развернул также активную общественную и раввинистическую деятельность. В Праге он возглавлял одну из крупнейших иешив того времени, привлекавшую сотни учащихся из

разных стран. Главный труд Ландау ‘Нода б-Ихуда’ (ч. 1 – 1776; ч. 2 – 1811) <…> неоднократно переиздавался с глоссами и комментариями видных ученых позднейших поколений, как и его другие сочинения в области Галахи <…>. Сборник проповедей и надгробных речей Ландау ‘Хават Цион’ (‘Любовь к Сиону’) вышел в свет в 1827 г. Первоначально благосклонное отношение Ландау к Хаскале изменилось под влиянием нападок некоторых ее деятелей на раввинов. Ландау запретил пользоваться Библией на немецком языке <…>, ‘дабы не стала наша Тора прислужницей и распространительницей среди населения чужой речи’ <…>. Несмотря на это, Ландау не возражал против занятий историей, грамматикой, естественными науками и т. п. <…> призывал евреев к укреплению корректных отношений с нееврейской средой и к лояльности по отношению к государству. Многие галахические решения Ландау отличаются смелостью и терпимостью, свидетельствующими о сознании им своей ответственности перед общиной и умении находить компромисс между постановлениями Галахи и требованиями времени»[35].

Как пример «иронии судьбы», отметим, что рабби Йехезкель Ландау, чей правнук вошел в либерально ориентированную хасидскую семью Зайцевых, являлся не только противником либерализма в духе Хаскалы, но и зародившегося в середине XVIII в. хасидизма. Вот что об этом пишет сам Алданов: «Известный главный раввин Праги Иехезкл Ландау, прадед пишущего эти строки, был подлинной крепостью консерватизма. Он был политическим и идеологическим противником либералов, во главе которых стоял тогда Моисей Мендельсон. На похоронах королевы [Марии-Терезии] пражский раввин произнес пламенную монархическую речь. У моего отца в библиотеке находилось письмо канцлера Марии-Терезии, графа Кауница, адресованное этому реакционному раввину. О нем существует обширная, но мало известная литература, к который я не имел доступа» («Русские евреи в 70-х – 80-х годах», с. 52).

Спустя семь лет в письме из Ниццы к своему хорошему знакомому Г. Лунцу от 21 июля 1949 года Алданов сообщает о том, что миллионер-меценат из среды русской эмиграции Фрэнк Атран «по воздушной почте прислал мне статью из ‘Форвертса’ о семье Ландау и заодно обо мне! По моей просьбе, мне ее здесь перевел знакомый. Очень мило написано, генеалогическая эрудиция автора замечательная, но у него, видно, есть свободное время»[36]. Речь идет о статье известного еврейского публициста и общественника Гершона Света: «Потомок пражского гаона р. Йехезкеля Ландау получила в Нью-Йорке литературную премию» в нью-йоркской еврейской социалистической газете «Форвард» (*The Forward*) от 2.07.1949 года. В статье

рассказывается о некоей американской аспирантке по фамилии Ландау, являющейся прямым потомком пражского раввина Йехезкеля Ландау. Молодая женщина-ученый получила престижную премию за работы в области филологии. Одновременно автор приводит обширные сведения о еврейском роде Ландау, давшем миру много талантливых людей. Среди двух десятков носителей этой фамилии – раввинов, врачей, журналистов и т. д. – упомянут также и Марк Алданов как выдающийся русский романист, чьи произведения в переводе на идиш публиковались, в частности, и в «Форвард». В статье также говорится о прямом родстве Марка Ландау-Алданова с Ионой Зайцевым, причем этот факт подается в связке с «делом Бейлиса». Как видно из текста письма, восторга по поводу этой публикации Алданов не выказал. С учетом же присущей ему корректности в выражениях, касающихся третьих лиц, фразу «у него, видно, есть свободное время», можно трактовать как показатель глубокого равнодушия писателя к еврейскому контексту, даже в случае, когда его имя упоминается в высшей степени комплиментарно.

Судя по родословному древу фамилии рава Йехезкеля Ландау[37], его возможный внук – Израиль (Александр) Ландау – является сыном рава Йозефа Ландау. По-видимому, он был значительно старше своей супруги и скончался задолго до революции 1917 г. Это предположение основывается на том факте, что вся его семья – жена Софья Ионовна и трое детей – эмигрировали во Францию и там закончили свои дни. Сведения о них можно найти в авторитетном справочнике «Российское Зарубежье во Франции (1919–2000)»[38], но А. Ландау в нем не фигурирует. Увы, все архивные документы, которые могли бы пролить свет на личность Ландау-старшего, погибли в России или «достались немцам» (см.: М. А. Алданов – В. Н. Муромцевой-Буниной от 7 декабря 1953 года), которые разграбили парижскую квартиру Алдановых после их бегства из города в 1940 г., – и тоже бесследно исчезли[39]. С большой долей уверенности можно полагать, что Ландау-отец был человеком европейской культуры и совершенно не религиозным. Поэтому юный Марк Ландау в хедере не учился, а по достижении 10-летнего возраста поступил в Пятую киевскую классическую гимназию, открытую в самый год его рождения. У киевских обывателей гимназия именовалась не иначе как «Печерской», по месту своего расположения на Печерске – в уютно прислоненной к Киево-Печерской Лавре и городской крепости части старого города. В 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина на средства преподавателей и учеников – в их числе и Марка Ландау – перед гимназией был установлен небольшой бюст поэта.

Николай Бердяев вспоминал: «Атмосфера Печерска была осо-

бая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром <…>. Вместе с тем, Печерск был военной крепостью, там было много военных. Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации. <…> К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами. <…> Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия. <…> В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой» («Самопознание», С. 3).

В контексте последнего замечания философа отметим, что Марк Ландау в качестве писателя Алданова является единственной европейской знаменитостью, которая вышла из стен Печерской гимназии. Он окончил гимназию в 1904 году с золотой медалью, что давало ему как еврею право беспрепятственного поступления в высшие учебные заведения Российской империи. Об атмосфере в части межнациональных отношений по линии «русские – евреи» дает представление автобиографическая зарисовка Константина Паустовского, выпускника старейшей и наиболее престижной в Киеве Первой классической гимназии (основана в 1809 г.): «О евреях в гимназии. Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет. – Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек»[40].

В 1904 г. Марк Алданов был зачислен на физико-математический факультет киевского Императорского университет Святого Владимира. В начале XX столетия Киевский университет ничем особо среди рос-

сийских университетов прославлен не был – ни в части профессорско-преподавательского состава[41], ни громкими именами его выпускников. Ректоры Николай Бобрецкий (профессор зоологии, 1903–1905) и Николай Цитович (профессор экономики, 1905–1917), на время каденции которых приходятся студенческие годы Марка Ландау, либеральными взглядами, что превалировали в профессорской среде столичных университетов, не отличались и проводили в своем учебном заведении политику в духе официального консерватизма. К 1905 году «…в связи с начавшимся повсюду общественным движением, волнения в академической жизни значительно усилились. Во многих городах (например, в Петербурге, Москве, Варшаве) преимущественно учащимися стали устраиваться уличные демонстрации. Московский университет в постановлении совета (14 декабря 1904 г.) заявил, что причина студенческих волнений – в общем недовольстве, которое коренится в отсутствии твердого и прочного правопорядка. Еще полнее и определеннее эта мысль была развита в известной ‘Записке о нуждах просвещения’ 342 деятелей ученых и высших учебных заведений («Право», 1905, январь, № 3). В ней говорилось, что высшие школы выйдут из теперешнего крайнего расстройства только тогда, когда произойдет ‘полное и коренное преобразование существующего порядка’ (государственного) и университетам будет предоставлена автономия. После события 9 января 1905 г. на сходках (в конце января и начале февраля) во всех высших учебных заведениях было постановлено прекратить учебные занятия до сентября месяца и требовать коренных реформ в государственном строе. Университеты один за другим были временно закрыты». Киевские профессора, напротив, всячески внушали студентам мысль о «‘нейтрализации науки’, о настоятельной необходимости изъять политику из У[ниверситета], чтобы этим ‘спасти страну от надвигающегося одичания’. <…> профессора во имя культуры призывали молодежь вернуться к науке, приняться за научные занятия. <…> У[нивеситет] должен быть не очагом революции, а мастерской, в глубине которой совершается великая тайна познания истины и создания идеалов»[42].

По-видимому вследствие этого, киевское студенчество, в отличие от Санкт-Петербургского, Московского и Одесского, не принимало активного участия в революционном движении и даже в бурные годы Первой русской революции в целом оставалось политически инертным. Касалось это и еврейского студенчества, в массе своей сильно политизированного[43]. Однако революционные события не могли, конечно, не оставить болезненных следов в памяти Алданова, особенно еврейский погром в Киеве 1905 г. Вот как описывает его один из очевидцев: «В <…> весенние дни 1905 года произошла пер-

вая в России революция. В Киеве начались беспорядки, еврейские погромы, демонстрации черносотенцев, которые шли по улицам с портретом царя Николая II, флагами и пением ‘Боже, царя храни’. Мы всей семьей с балкона наблюдали эти шествия, которые я очень хорошо запомнила в свои 4 года. Но еще ярче в памяти встает картина погрома еврейских лавок на Сенной площади. Грабили лавочки евреев, их самих вытаскивали, били, когда они сопротивлялись, тащили все, что там было. Запечатлелась жуткая картина – толпа обезумевших, жадных к легкой добыче людей тащит из маленькой лавочки кипы материй, которые волочатся по грязи, а самого хозяина, старого еврея в черном лапсердаке и ермолке, избивают с остервенением. Разносится дикий крик, вопли. И вдруг мы увидели молодого еврея, который бежал по крышам лавочек, преследуемый дикими криками разъяренной толпы. Ему удалось проникнуть к подъезду нашего дома. Папа быстро надел свою тужурку с красными генеральскими отворотами (папа в то время уже был действительный статский советник), спустился вниз, успел открыть дверь подъезда и впустить преследуемого молодого человека, который стремглав помчался вверх по лестнице на чердак. Отец не впустил в дом никого из беснующейся толпы благодаря воздействию своей генеральской куртки. И вид генеральских отворотов преградил дорогу толпе. Так был спасен от самосуда один из многих евреев, пострадавших от реакции 1905 года»[44].

Как интересные исторические совпадения отметим, что на юридическом факультете вместе с Марком Ландау учились такие будущие советские знаменитости, как поэт-футурист Бенедикт Лифшиц – Георгиевский кавалер Первой мировой, расстрелянный в годы Большого террора; его обвинитель Андрей Вышинский – верный сторожевой пес Сталина, создатель «правовой базы» советского карательно-репрессивного аппарата, прокурор СССР, а затем министр иностранных дел; Давид Заславский, журналист-идеолог, выразитель официальной линии партии при Сталине и Хрущеве, знаменитый советский политический обозреватель. Последний вышел из университета в один год с Алдановым, но никаких сведений о том, что они как-то общались друг с другом, не имеется.

В 1906–1910 гг. в Киеве жила и училась Анна Ахматова (урожд. Горенко), но с Марком Ландау она нигде не пересекалась, а Алданов, по его собственным словам, «ничего не понимавший в стихах», вряд ли знал об этом факте биографии знаменитой поэтессы. Один из героев алдановских литературных портретов – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 годах, Ллойд Джордж, с ранней юности пристрастившись к публицистической деятельности, – публиковал,

как пишет Алданов, в местной газете политические статейки, по которым нетрудно судить о его взглядах в молодости. Казалось бы, и Марк Ландау, будучи студентом университета, должен был тоже както заявить себя на этом поприще: печатать, например, статейки или репортажи в газете «Киевская мысль» – солидном издании либерально-демократической ориентации, где среди прочих публиковались Короленко, Горький, Луначарский, Лев Троцкий… Однако же никаких сведений о публицистических опытах киевского студента М. Ландау не обнаружено.

В 1910 г. Марк Ландау, окончив полный курс по физико-математическому (отделение химии) и юридическому факультетам, вышел из университета. Личных воспоминаний о сокурсниках и комментариев о годах, проведенных им в стенах этого учебного заведения, Алданов не оставил. Можно полагать, ничего экстраординарного в те годы с ним не происходило: периодически ездил за границу посмотреть на мир Божий и попрактиковаться в иностранных языках и, конечно же, упорно и с увлечением учился, ибо от природы был расположен к учению и мышлению, а судьба распорядилась так, что он имел возможность свои способности развить.

Современники полагали, что если рассматривать биографию молодого Алданова «с точки зрения всего пережитого, особенно людьми его поколения, Алданов был человеком счастливой и во многом завидной судьбы. Родился он в семье, которая могла без труда обеспечить едва ли не все его прихоти. Родился еще в эпоху, когда ему казалось, что все для него ʻморе по колено’. ‘Живи как хочешь’ – не вполне удачно озаглавил он один из последних своих романов, но это заглавие было в его буквальном смысле применимо к его биографии. Родился он с врожденным, рано проявившимся талантом и, мало того, с жадным, с неутолимым любопытством к миру, к знанию, к истории – и, может быть, меньше всего к ʻпервым встречным’, какими бы они ни были. На своем веку он, вероятно, прочитал все, что только было достойно прочтения, не ограничиваясь тем, что по каким-то неписанным правилам прочитать ʻнадлежало’, – и это касалось не только области литературы, но и обнимало философию и все те ʻточные’ науки, как математика, физика или химия, для которых эпитет ʻточный’ оказывался в конце концов устаревшим и условным. Кончил он, едва ли не походя, два факультета университета Св. Владимира <…>, в качестве туриста, а может быть, лучше сказать, стороннего ʻнаблюдателя’ побывал он на четырех материках <…>. Все это вместе взятое позволяло ему почти на личном опыте знать понемногу обо всем или, по крайней мере, почти обо всем, но зато почти во всех областях»[45].

Сам Алданов о своей молодости говорил как о времени несомненно счастливом в его жизни: «...Я родился в богатой семье киевских сахарозаводчиков. Это дало мне счастливую возможность идти навстречу своим стремлениям и путешествовать, путешествовать без конца! Единственная часть света, в которой я не был, – Австралия... Материальная независимость дарила меня возможностью посвятить себя двум редко совместимым богам: литературе и... химии... Я – химик и, по словам моего профессора Анри, – подававший надежды»[46].

В год выхода Марка Ландау из университета в ежемесячном киевском журнале «Университетские известия», вышла его работа «Законы распределения вещества между двумя растворителями», которая определила вектор его последующих научных изысканий – кинетика химических реакций (раздел физической химии, изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, в зависимости этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений). В те годы это было новое, активно развивающееся направление физической химии, основы которого заложили труды выдающегося голландского ученого Якоба Хендрика Вант-Гоффа – первого лауреата Нобелевской премии по химии.

Щедро снабженный семьей деньгами и вдобавок еще, наверное, рекомендательными письмами, Марк Ландау в начале 1911 года отправился путешествовать по миру. Как и Юлий Штааль – главный герой его романа «Девятое термидора» (1921 г.), он во многом, видимо, руководствовался при этом указанием своего любимого философа Рене Декарта:

Штааль взволнованно отыскал в библиотеке сочинения самого Декарта. Он открыл «Discours de la Methode» («Рассуждение о методе») и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий… Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни». – Эти слова открыли Штаалю значение его собственной

жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через все, – а потом смысл придет сам собою… <…> Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее… Я пойду в мир искать ее! («Девятое термидора»)

Вспоминая о днях своей молодости, он писал В. А. Маклакову: «В 1912 г. я побывал в Соединенных Штатах (в ту пору изъездил четыре части света, только в Австралии не был). Помню, приехал в С. Луис на Миссисипи – и подумал, что ближайший знакомый у меня находится на расстоянии в несколько тысяч верст»[47].

Впоследствии, в беседе с Г. Светом Татьяна Марковна вспоминала о том, что Алданов посещал Святую землю до Первой мировой войны: «В те годы, – рассказывала она, – ездил в Палестину и Бунин, опубликовавший свои впечатления в книге ʻСвятая земляʼ[48]. Алданов собирался написать рассказ на тему Екклесиаста, но не успел. Смерть унесла с ним и ряд других невоплощенных литературных планов»[49].

Молодой Алданов путешествовал, образовывался и воспитывал себя как «примерного европейца». Один из персонажей знаменитых «Трех разговоров» В. С. Соловьева (Политик) рассуждает следующим образом: «Что такое *русские* – в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну, а к какому же существительному это прилагательное относится? <...> Настоящее существительное к прилагательному *русский* есть *европеец*. Мы – *русские европейцы*, как есть европейцы английские, французские, немецкие. <...> Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, потом и на Востоке, явились русские европейцы, там за океаном – европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец – это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом»[50].

Результаты «направленной» европеизации в случае Алданова были более чем плодотворными и, по общему мнению знавших его людей, характеристика «русский – это европеец» по отношению к его персоне являлась правомочной и безоговорочной. Так, например, Нина Берберова, относившаяся к Алданову без особой теплоты, – она, впрочем, вообще в своих воспоминаниях «Курсив мой» и «Люди и ложи» ни к кому из ближайшего круга своих современников-литераторов не выказывает особой симпатии! – пишет, что: «Такт и мера в характере Алданова не были врожденными чертами, они были им

благоприобретены. Он создал их в себе, он всю жизнь заботился о своей ‘гештальт’, образе, который он проецировал на других, образе ‘европейца’, цивилизованного члена цивилизованного века, так или иначе не позволявшего себе проявлений эмоций дикаря, ошибок дурака, дурных манер и слишком искренних исповедей»[51].

В своих путешествиях молодой Алданов не только европеизировался, но и набирался знаний, впечатлений и обзаводился интересными знакомствами. Все, что впитала в себя его цепкая память в это счастливое и беззаботное время его жизни, впоследствии использованы были им в качестве живых деталей для картинок и сцен в документально-исторической прозе. Так, например, говоря о романе «Десятая симфония», он вспоминал об эпизоде своей случайной встречи с последней французской императрицей Евгенией, которая подтолкнула его к написанию сюжета о встрече императрицы Евгении с художником Изабэ.

Я остановился на этом с особенной бережной любовью. У меня всегда было какое-то мистически-благоговейное чувство к живой, человеческой «цепи», соединяющей исторические звенья... Как-то до войны еще, в Париже, я на Рю де ла Пэ перед витриною ювелира Картье. Подъезжает карета. Сухой, высокий старик под руку высаживает даму в глубоком трауре со следами замечательной красоты. Это была императрица Евгения, а старик – ее личный секретарь Пьетри... Я шел под впечатлением этой встречи. Я только что увидел одну из самых трагических венценосиц... Шестьдесят пять лет тому назад, тоже в центре Парижа, остановилась карета, из нее вышла молодая цветущая императрица и милостиво беседовала с почти восьмидесятилетним миниатюристом Изабэ, тем великим Изабэ, кто в ранней молодости своей писал портрет Марии Антуанетты...

Осознав, видимо, в какой-то момент, что посмотрел он мир достаточно, Алданов принимает решение заняться конкретным делом: углубить и отшлифовать свои научные знания. Интересным фактом в его биографии является то, что он никогда не пытался заявить себя как правовед, хотя, казалось бы, эта гуманитарная сфера деятельности куда больше сочеталась с его страстью к писательству. А вот химия казалась ему тогда делом, стоящим того, чтобы посвятить ей жизнь. В 1913 г. он начинает стажироваться как химик у известного французского ученого профессора Виктора Анри в парижской Практической школе высших исследований (École pratique des hautes études – EPHE). Здесь Алданов занимался исследованиями в области кинетики химических реакций.

Профессор Виктор Анри (Victor Henri; 1872–1940) был фигурой не только уникальной по широте и всеохватности его научных интересов, но и яркой личностью. По происхождению он русский и является единокровным братом знаменитого механика, математика и кораблестроителя академика Алексея Николаевича Крылова (1863–1945). У них был общий отец, а матери приходились друг другу родными сестрами. Если бы Анри родился в России, то его как незаконнорожденного ожидала бы весьма печальная судьба. Поэтому Крыловы приняли решение всей семьей переехать во Францию, где незаконнорожденные не ограничивались в гражданских правах. Родившийся там ребенок получил имя Виктор, крестным отцом его был старший брат Алексей, от которого он получил отчество, а фамилия ему была дана типично французская. Как французский подданный, он позднее был привезен в Россию, где до 14 лет проучился в гимназии, а затем вернулся вместе с матерью во Францию и жил в Париже. В 1891–1894 гг. Виктор Анри штудирует математику, физику и химию в подготовительных классах Высшей школы, затем учится в Сорбонне, одновременно работая в университетской лаборатории экспериментальной психологии. Его научные публикации по психологии привлекают к себе внимание научной общественности, и вскоре он становится весьма авторитетной фигурой в этой области. В 1894–1896 гг. Анри стажируется на факультете психологии Лейпцигского университета и одновременно занимается исследованием химических основ физиологических процессов, включая кинетику и катализ ферментных реакций. Научные интересы Виктора Анри невероятно обширны. В 1897 г. он защитил докторскую диссертацию в Геттингенском университете на тему «Локализация вкусовых ощущений», а в 1902 г. – в Сорбонне, вторую докторскую диссертацию, уже в области биохимии, – «Общие закономерности действия диастазы». По мнению историков науки[52], из-за разнонаправленности научных поисков Виктора Анри его имя до сих пор не оценено по заслугам: биохимики не знают ни его ранних работ по физиологии, ни последних – в области спектроскопии и фотохимии. Однако именно Анри в 1902 г. на основе своих экспериментальных исследований опубликовал статью, в которой впервые описал кинетику ферментных реакций.

Многолетние успешные работы Анри в области физической химии и молекулярной спектроскопии обрывает начавшаяся Первая мировая война. Ученый переключается на выполнение правительственных оборонных программ в области химической защиты. В 1916 г. Виктор Анри по официальному направлению французского правительства, как научный атташе, приезжает в Россию, где занима-

ется организацией химической промышленности оборонного значения. Можно полагать, что в годы войны (1916–1918) профессор Виктор Анри, работая в военной индустрии России, сотрудничал со своим русским учеником Марком Ландау, который после объявления войны вернулся на родину и поселился в Петрограде. О своей работе в оборонной промышленности в период 1914–1917 гг. Алданов рассказывал в публичном интервью лишь единожды и то очень скупо: «С началом военных действий, я только-только успел прибыть к ним из-за границы <…>. Меня мобилизовали. <…> Я надел форму тылового земгусара[53] и, как химик, занялся удушливыми газами, с откомандированием на соответствующие заводы».

В области разработки средств защиты от удушающих газов Алданов, скорее всего, также сотрудничал с выдающимся русским химиком, изобретателем знаменитого «противогаза», академиком Николаем Зелинским. Косвенно это предположение подтверждается нижеследующим высказыванием Веры Николаевны Буниной в ее письме из Парижа в Ниццу Татьяне Марковне Ландау-Алдановой от 24 августа 1953 года: «Скажите ‘Вашему’, что скончался Н. Д. Зелинский на девяносто третьем году жизни. Я знала его близко, он бывал у нас. Читал на курсах (Московские высшие женские курсы проф. Н. Гернье. – *М. У.*) органическую химию и задавал нам задачи в лабораториях на разных курсах. Он – одна из постоянных связей прошлой моей жизни. От последней жены у него остался сын. Их у него было три. Два после 50-ти лет... А как он любил первую! И как он горевал после ее смерти»[54].

После революции и октябрьского переворота Виктор Анри вместе за своим старшим братом – генералом царского флота и академиком-кораблестроителем Николаем Крыловым – пошел на службу к большевикам. Алданов же, напротив, примкнул к непримиримой оппозиции. С этого времени, видимо, пути учителя и ученика разошлись.

«Искус большевизма» у Виктора Анри довольно скоро сменился на его категорическое неприятие. Вернувшись во Францию, он вошел в члены редколлегии парижского журнала «Грядущая Россия»[55], который в 1920 г. начал было издавать (вышло всего два номера) председатель антибольшевистской партии народных социалистов (НТСП) Николай Чайковский, председатель Заграничного комитета НТСП, со своим однопартийцем Марком Алдановым и тогда еще «белым» графом Алексеем Толстым. Впоследствии Виктор Анри работает профессором в Цюрихском университете, а с 1930 по 1940 гг. – профессором и заведующим кафедрой физической химии Льежского университета. После начала войны с Германией он вновь приступает

к работе над военными проблемами, но летом 1940 г. умирает от воспаления легких в г. Ла-Рошель[56].

В переписке Алданова не звучит тема, как, оказавшись в эмиграции, он пытался пристроиться на работу в научных центрах, где профессорствовал Виктор Анри. Видимо, вкуса к экспериментальной работе у него не было. Тем не менее, свою жизненную привязанность к химии Алданов, даже став известным литератором-романистом, не упускал случая подчеркнуть. Подобного рода амбиции с его стороны нуждаются в прояснении. Действительно, Алданов – один из немногих русских эмигрантов-интеллектуалов, у которых была «кормящая профессия». Представляется очевидным, что это свое преимущество он пытался по жизни использовать. Его перу принадлежат две научные монографии, написанные по-французски. Обе книги носят чисто теоретический характер, являя собой пример глубокого аналитического обобщения современных Алданову достижений в области физической химии, главным образом связанных с исследованиями кинетики химических реакций. Однако собственных новаторских работ у автора этих книг не было: он не открыл новых законов, не предложил оригинальных уравнений, не высказал пионерских гипотез. Проживая после своего бегства из России в Европе и США, Марк Ландау никогда не занимался прикладной или инженерной деятельностью в области химии. Он – чистый теоретик-систематизатор и в этом качестве, в силу давления над ним неблагоприятных финансовых обстоятельств, мог бы подвизаться лишь в качестве университетского преподавателя, но – не случилось. Можно полагать, что причиной этому являлось как отсутствие у Ландау-химика ученой степени – он почему-то не дал себе труда защитить докторскую диссертацию, так и «отрывчатость» его занятий химией. Наука еще в большей степени, чем писательское ремесло, требует постоянного в нее погружения. Длительные перерывы в научной деятельности неизбежно ведут к отставанию, снижению профессионального уровня. Факторы «свежего глаза» и «спонтанного озарения» здесь весьма незначительные составляющие действительного успеха. К тому же, чтобы завоевать прочный авторитет в научном мире, надо в нем постоянно быть на слуху у коллег-ученых. Все это в случае Алданова не просматривается. Поэтому Дон-Аминадо – старый друг-приятель Алданова, отнюдь не проявлял излишний скептицизм, когда на склоне лет в одном из писем к нему (от 8 августа 1945 года) писал: «В то, что Вы займетесь химией, я, дорогой Марк Александрович, не верю. Проклятие или благословение – но писательство тяготеет над Вами ныне и присно. И слава Богу!»[57] Для Марка Алданова его литературный дар, несомненно, являл собой пример «благословения», хотя в художественном

плане «из всех русских писателей он является наиболее научномыслящим и наименее фантазером»[58].

Что же до научного склада ума и даже высокого уровня профессиональных знаний, то эти качества личности не дают все же основания при написании биографии Марка Ландау-Алданова аттестовать его как полноценного ученого. Скорее всего, здесь уместно говорить о «научных интересах» писателя Алданова, во многом определивших особенности его мировоззрения. Так, например, учение о статистическом характере протекания химических реакций явно повлияло на формирование концепции «хаоса истории»[59], которая в оценке динамики исторических процессов стала у Алданова доминирующей. Как писал Алданов в своем романе «Чертов мост»: «Людям свойственно переоценивать долю намеренного, сознательного и целесообразного в действиях всевозможных правительств. Планы, мысли, стремления людей, стоящих у власти, вызывают разные, большей частью враждебные чувства. Но самое существование этих мыслей, планов, целей обычно не вызывает сомнения. Огромная доля бессознательного, случайного, механического в том, что делает власть, постоянно проходит незамеченной».

(*продолжение в следующем номере*)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гершун-Колин (Guershoon Colin) Андрей Иванович (1892–1957), литератор, философ, участник Белого движения, в эмиграции жил в Англии, один из организаторов «Центра писателей-беженцев» при английском ПЕН-клубе.
2. *Guershoon Colin Andrew.* Mark Aldanov: An Appreciation and a Memory // The Slavonic and East European Review. 1957 (Dec). Vol. 36. No. 86. Pp. 37 – 57.
3. *Партис Зинаида.* Марк Алданов: URL: http://magazines.russ.ru/slovo/2007/54/pa11. html; Tassis Gervaise L`eouvre Romanesque de Mark Aldanov: Révolution, histoire, hasard (Slavica Helvetica). – Bern: Peter Lang, 1995; *Ли Николас.* Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество // Russian Literature and History. Jerusalem. 1989, цитируется по URL: http://silver-age.info/mark-aleksandrovich-aldanov-zhizn-i-tvorchestvo/0
4. *Алданов М.* Собрание соч. в 6 тт. – М.: Правда, 1991 (I); Сочинения в 6-ти книгах. – М.: Новости, 1994. (II); Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 1. – М.: Терра-Кн. клуб, 2007 (III); *Чернышев А. А.* Материк по имени «Марк Алданов» / Открывая новые горизонты. – М.: Паблит, 2017. Сс. 202-357.
5. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. Сс. 155-182, цитируется по: URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksandr-bahrah-vspominaya-aldanova.html
6. *Лагашина О.* Марк Алданов: Биография эмигранта // Toronto Slavic

Quarterly. 2007. № 22, цитируется по URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/22/aldanov22.shtml
7. Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым / Публ. А. Звеерса // Новый Журнал. 1983. № 155. С. 139.
8. Волынская губерния / Еврейская энциклопедия. Т. 5. – СПб.: Из-во Брокгауз и Ефрон, 1906–1913. Стлб. 738-743.
9. *Вересаев Викентий.* Гоголь в жизни. В 2 ч. Часть 1. – М.: Юрайт, 2018. С. 148.
10. *Булгаков Михаил.* Киев-город // Юность. 1987. № 12. Сс. 21-22.
11. *Бердяев Николай.* Самопознание, цитируется по URL: https://profilib.net/chtenie/ 58742/nikolay-berdyaev-samopoznanie.php#t1
12. *Эренбург Илья.* Люди, годы, жизнь. Кн. 2. Гл. 9, цитируется по: URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/70406/10/Erenburg_Lyudi%2C_gody%2C_zhizn%27_Kniga_ II.html
13. Население Киева: URL: http://bagazhznaniy.ru/history/naselenie-kieva. В реальности численность евреев в городе была значительно больше официально регистрируемой, так как многие уклонялись от регистрации: URL: http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_(еврейская_община).
14. Список евреев Киева купцов 1 гильдии. 1899. № 95. С. 12:
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/1899_ год._Список_евреев_Киева_ купцов_1_гильдии.pdf
15. *Лесков Николай.* Печерские антики. URL: http://rvb.ru/leskov/01text/vol_07/045.htm
16. *Шолом-Алейхем.* Менахем-Мендл (Повесть в письмах). – М.: ФТМ, 2016, цитируется по: URL: https://www.litmir.me/br/?b=50429&p=15#section_40
17. *Рибаков М. О.* З історії київських драматичних театрів, або адреси київської мельпомени // Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К.: Кий, 1997; *Зильберман Ю.* Очерк деятельности Киевского музыкального училища. 1868–1924. – К.: 2012: URL: https://issuu.com/horowitzpianocompetition/docs/kniga_uchilishe_rus
18. Именно Дмитрий Бибиков в 1843 г. добился у царя разрешения на временное проживание в Киеве (в двух арендуемых евреями подворьях; существовали до 1857 г.) еврейских купцов и ремесленников – для оживления пришедшей к тому времени в упадок экономической жизни города. Начиная с 1860-х гг. и до Второй мировой войны еврейская община Киева непрерывно росла и процветала. В 1919 г. численность евреев составляла 114524 человек (21% от всего населения), 1939 г. – 224200 человек (26, 5 %), в 1959 г. – 153466 человек (13,8%), в 1989 г. – 100584 человек (3,9%), а в 2009 г. – менее 15000 человек (ок. 0,5 %). – См. Киев в ЭЕЭ: URL:http://eleven.co.il/ diaspora/communities/12072/ и Население Киева. URL: http://bagazhznaniy.ru/ history/naselenie-kieva/?mode=article&id=11073 &query
19. *Тагер А. С.* Царская Россия и дело Бейлиса. Исследования и материалы / Сост. Л. Кацис. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 1995.

20. Россия в начале XIX в. История (Россия в первой половине XIX в.), цитируется по URL: https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-nachale-xix-v

21. *Алданов М. А.* Русские евреи в 70-х – 80-х годах / Книга о русском еврействе: От 1860-х годов до революции 1917 г. – Минск: МЕТ, Мосты культуры / Гешарим, 2002. Эта работа, впервые увидевшая свет в переводе на идиш в нью-йоркской социалистической газете «Форвард» от 7 июня 1942 года, является единственным такого рода примером публичного заявления Алдановым своего исконного иудейства.

22. Имеется в виду принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812–1881), Его Императорское Высочество (1845), российский военный и государственный деятель, член российского Императорского Дома, внук Павла I.

23. Израиль Бродский основал в Киеве еврейскую больницу – ныне областную, финансировал строительство Киевского политехнического института, строительство Бактериологического института на Батыевой горе, а также крытого рынка на Бессарабке. Бродские возвели в Киеве две синагоги, приют, две Талмуд-Торы и другие объекты.

24. *Алданов Марк.* Из записной тетради (отрывки), цитируется по: URL: https://royallib.com/read/aldanov_mark/iz_zapisnoy_ tetradi_otrivki.html#0

25. В 1882 г. были утверждены «Временные правила», запрещавшие селиться евреям вне черты оседлости, вновь селиться в деревнях, приобретать недвижимость, арендовать землю вне местечек, торговать по воскресеньям и в христианские праздники. Вводились запреты на профессию. Почти полностью были вытеснены евреи с государственной службы, военный министр ограничил долю евреев-врачей и фельдшеров в армии пятью процентами, был закрыт доступ на работу на железнодорожном транспорте.

26. О Гизелле Лахман и Рауле Робинсоне см.: Российское Зарубежье во Франции (1919–2000). Биографический словарь в 3-х тт. Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist

27. *Алданов Марк.* Вековой заряд духовности. Две неопубликованные статьи о русской литературе // Октябрь. 1996. № 12. С. 175.

28. «...Интерес к Вам есть...» (Неосуществленные проекты поездки М. А. Алданова в Израиль и его издания на иврите) / Публикация А. А. Чернышева, В.Хазана. Вступит. заметка и комментарии В. Хазана // Архив еврейской истории. Том 6. – М.: РОССПЭН, 201. – С. 248.

29. *Будницкий О., Полян А.* Русско-еврейский Берлин: 1920–1941. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 364.

30. *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. – М.: ОГИ, 1999. – Сс. 233-244.

31. См.: URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist; Также: *Берберова Н.* Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. – М.: Калейдоскоп, Прогресс-Традиция, 1997.

32. *Долин Александр.* Пророк в своем отечестве: Профетические, мессианские, эсхатологические мотивы в русской поэзии и общественной мысли. – М.: Наследие, 2002.
33. *Успенский Б.* Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры / Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. – М.: ОГИ, 1999. – Сс. 100-101.
34. Частное сообщение швейцарского слависта-алдановеда Жервезе Тассис. Под понятными причинами подразумевалось нежелание Алданова акцентировать внимание на еврейских корнях его семьи.
35. См.: Ландау Йехезкель бен Иехуда в ЭЕЭ. URL: http://jewishencyclopedia.ru/?mode=article&id=12317&query
36. Алданов Марк. Письма из Ниццы: Письма Г. М. Лунцу. 1948–1949 // Новый Журнал. 2012. № 267, цитируется по: URL: https://archive.li/7Hav5#selection-561.0-597.28
37. Landau / Jewish Encyclopedia. URL: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9608-landau#anchor7
38. См.: URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist
39. *Грин Мелица*. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // Новый Журнал. 1965, № 81. – С. 113.
40. *Паустовский К*. Книга о жизни. Гл. 22, цитируется по URL: http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/dalekie-gody_18.htm
41. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884) / Под ред. В. С. Иконникова. – Киев: В типогр. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884.
42. Университет / Гео-Киев: URL: http://geo.ladimir.kiev.ua/pq/dic/g--K/a--UNIVERSITET42. Университеты и другие высшие школы в 1902–1906 гг. / Словарь Брокгауза и Ефрона. Доп. т. IIа. 1907. – Сс. 798-800.
43. *Иванов А. Е.* Еврейское студенчество в Российской империи начала XX века. Каким оно было? Опыт социокультурного портретирования. – М.: Новый Хронограф, 2007.
44. *Матвеева (Вакар) Е. П*. Воспоминания о жизни моей семьи Вакар с начала XX века (1901 г.). С. 7, цитируется по: URL: www.famhist.ru/famhist/biblioteka/vakar-matveeva_liza.pdf
45. *Бахрах А. В.* Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. – Сс. 155-182, цитируется по: URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksandr-bahrah-vspominaya-aldanova.html
46. *Суражский Н.* (Брешко-Брешковский Николай). Четыре звена Марка Алданова (От нашего парижского корреспондента) // Для Вас. 1934. № 39, 22 сентября. – Сс. 3-4.
47. *Алданов М.* Письмо В. А. Маклакову от 4 августа 1954 г. BAR – Bachmettev Archive of Russian and East European Culture at Columbia University // Mark Aldanov Papers. Letters. Box 6.

48. Возможно, имеется в виду книга «Весной, в Иудее» (Нью-Йорк, 1953), названная по одному из вошедших в нее рассказов.
49. *Алданов Марк.* Вековой заряд духовности... – С. 242.
50. Соловьев Владимир. Три разговора / Собр. соч., 2-е изд., в 10-ти тт., Т. 10. – СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1911–1914. – Сс. 149-150.
51. *Берберова Нина*. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. – М.: Прогресс-Традиция, 1997. URL: https://unotices.com/book.php?id=2317&page=63
52. *Cornish-Bowden A., Mazat J.P., Nicolas S.* Victor Henri: 111 Years of His Equation // Bulletin of the Société de chimie biologique: Biochimie. 2014. Vol. 6. Part B. December. – Pp. 161-166.
53. Лица, сотрудничавшие в Земгоре, созданного деятелями Всероссийского Земского союза и Союза городов в 1915 г. для организации производства и снабжения Действующей армии, носили особую форму. Их прозвали в народе «земгусары».
54. Жаль, что так рано кончились наши бабьи вечера. (Из переписки В. Н. Буниной и Т. М. Ландау) / И. А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. – М.: Русский путь, 2004, цитируется по: URL: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1959_iz_perepiski_very_buninoy_i_t_landau. shtml.
55. Грядущая Россия. – Париж, 1920. Кн. 1-2 / Под ред. Н. В. Чайковского, В. А. Анри, М. А. Ландау-Алданова и гр. Алексея Н. Толстого. URL: http://www.emigrantika.ru/rusparis/334-pom
56. *Алексей Николаевич Крылов*. Мои воспоминания. – М.: Издательство «Политехника», 2014; Debru Claude. Henri Victor: URL: https://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/henri-victor
57. Сходившиеся параллели (Из переписки Дон-Аминадо с Марком Алдановым) / Евреи в культуре Русского Зарубежья. Т. V. /// Сост. и изд. М. Пархомовский. – Иерусалим: 1996. – С. 201.
58. *Сабанеев Л.* Об Алданове (К двухлетию со дня кончины) // Новое русское слово. 1959. 1 марта. – Сс. 5-7.
59. *Млечко А. В*. Символика «хаоса Истории» в романах Марка Алданова и «русский текст» «Современных записок» («Мыслитель», «Ключ. Бегство. Пещера», «Начало конца») // Вестник ВолГУ. 2003–2004. Серия 8. Вып. 3. – Сс. 74-86.

Брюль, Германия

Т. В. Гордиенко

Евгений Алексеевич Бунин

В семье Людмилы Александровны (урожденной Чубаровой) и Алексея Николаевича Буниных родилось девять детей. Первым в 1857 г. появился на свет Юлий, через год Евгений; родившиеся следом за ними Анатолий, Константин, Олимпиада, Сергей умерли в раннем возрасте. В 1870 году родился Иван, затем две дочери – в 1873 г. Мария и в 1874 г. Александра, которая через пять лет умерла. Остались три брата и сестра.

Мария была всеобщей любимицей, как самая младшая; Юлий и Евгений, погодки, в детстве и ранней юности держались вместе, маленький Ваня к ним тянулся, они много времени проводили с ним, брали его с собой на прогулки, на охоту. Характеры и увлечения, проявившиеся у мальчиков уже в раннем детстве, были разные: не по возрасту серьезный Юлий всем интересовался, много читал; Евгений неплохо рисовал, любил веселье, развлечения; у Ивана рано проявилось редкостное чутье к слову. Людмила Александровна и Алексей Николаевич радовались своим детям и гордились ими.

Народная пословица гласит: «первый сын – Богу, второй – Царю, третий – себе на пропитание»; словари, раскрывая смысл пословицы, пишут: первый сын или умрет, или станет священником, второй уйдет на 25 лет на службу в царскую армию, а третий будет работать не покладая рук и содержать родителей до конца жизни. Алексей Николаевич, присмотревшись к сыновьям, оценил их по-своему и сказал однажды младшему: «Старшие сыновья не в меня. Юлий, – вечный студент, неловкий, боится на лошадь сесть, Евгений – сквалыжник, из-за гроша может выйти из себя… Только ты в меня легкостью и талантом…»[1]. О том, что кто-то из детей должен «работать не покладая рук и содержать родителей до конца жизни», он вовсе не думал, в оценке детей не ошибся: Иван Бунин стал писателем, получил мировую известность, был увенчан на родине двумя премиями им. А. С. Пушкина (1904, 1909), первым среди русских писателей получил Нобелевскую премию по литературе (1933). Юлий, возможно, не без влияния отцовской характеристики, преодолел всякий страх и выбрал нелегкий путь революционера-народника, грозивший ему арестами, тюремными заключениями, вечным надзором поли-

ции, но в правильности своего выбора, похоже, никогда не усомнился – по крайней мере, от своих взглядов не отрекался. Пережил немало бед, за свои убеждения расплатился исключением из Московского университета и ссылкой, тем не менее выстоял, получил высшее образование – стал кандидатом наук по математике, журналистом, редактором крупного педагогического журнала «Вестник воспитания», известным общественным деятелем. Всю жизнь достойно выполнял миссию старшего сына – как понимал ее сам: материально и морально поддерживал родителей, младшего брата, всех членов семьи, включая племянников, сыновей Марии. Помощь его была бескорыстной; мягкий добрый характер, редкостный талант общения привлекали к нему самых разных людей; в литературных кругах Харькова, Полтавы, Москвы – везде, где Юлий Алексеевич в разные годы работал, он оставил по себе добрую память. О нем современники написали немало воспоминаний; в архивах Московского университета сохранилось личное дело студента Юлия Бунина, в других государственных архивах России есть документы, в том числе автографы его статей и письма, личные и деловые, а также комплект журнала «Вестник воспитания», главным редактором которого он был с 1897 вплоть до его закрытия в 1918 году[2].

Евгений тоже оказался неординарной личностью: делом своей жизни считал продолжение традиций рода, пытался спасти и приумножить остатки бунинских владений, работал не покладая рук, преуспел, стал владельцем небольшого поместья. Если бы не роковые 1905–1906-й и 1917-й годы, достиг бы желаемого и, возможно, по-другому сложилась бы судьба его детей, внуков и правнуков, продолжателей рода Буниных.

Родился Евгений 17 сентября 1858 года в деревне Каменке Елецкого уезда. Детство его, как и детство Юлия и Ивана, прошло в деревенской глуши. Обширные земли в Костромской, Московской, Орловской, Тульской, Тамбовской губерниях, принадлежавшие когда-то Буниным, были распроданы еще предками, осталось лишь несколько имений, но и на них рассчитывать не приходилось. Отец, «человек живого сердца и ума», при всех его исключительных талантах, был вспыльчив, порывист, подвержен страстям и порокам, в том числе и мотовству, по этой причине со временем разорился и обрек семью на нищету. Справедливости ради надо сказать, что родные ему все прощали «за веселый нрав, художественную одаренность, за неиссякаемую веселость, за подлинную щедрость натуры». В воспоминаниях Ивана Алексеевича Бунина есть жесткие слова о бесхозяйственности, пьянстве отца, но это воспринималось как данность; отец всегда оставался для него, да и для других детей, человеком

талантливым, душевно близким, от которого они унаследовали много хорошего. Людмила Александровна, происходившая из знатного рода Чубаровых, в отличие от балагура и весельчака мужа, привлекала к себе поэтичностью, тонкостью натуры, была тихой, набожной, истово молилась, стоя на коленях перед иконами. Свойственные ей мягкость и доброта укрепляли семью, многое держалось на ее скромности, терпении и благородстве. Ради детей она могла проявить твердость и силу воли: когда один из сыновей попал в беду, она дала обет не есть мяса и свято следовала ему, до конца жизни оставаясь вегетарианкой.

Характеры у родителей были разные, но в вопросах воспитания они были едины: главное для детей – это любовь и уважение, о наказаниях не могло быть и речи. Большую роль в воспитании играли семейные вечера, беседы с детьми, рассказы отца, матери об их предках, Буниных и Чубаровых, об истории России. Мать любила поэзию, читала детям стихи А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, отец рассказывал об участии в Крымской войне и о своей встрече с Л. Н. Толстым. Сыновья почитали родителей, семейные узы были крепкими, жили дружно, хотя очень нуждались, порой не было самого необходимого. «Детьми мы с братом Юлием часто ходили по нашей маленькой деревне Бутырки, состоящей всего из пяти дворов: крайний двор – Горячева, второй – Аникея, третий – Максима, четвертый – рыжего Фелюшки, и последний – Наума, по прозвищу ‘Ковыряй’», – писал в своих воспоминаниях Евгений и добавлял: «Мое детство и молодость прошли в захолустных, заросших хлебом и бурьянами хуторах моего отца. Были просветы, когда мы уезжали на зиму в город, где учились, но все-таки деревенская жизнь оставила у меня глубокие и сильные воспоминания и впечатления»[3]. Стоит отметить, что преданность русской деревне он пронес через всю жизнь.

Система воспитания в семье строилась в соответствии с дворянско-сословными правилами: приглашали домашних учителей, прививали вкус к чтению, заметив какое-то увлечение ребенка, старались его развивать, готовили к поступлению в гимназию: для этого отдали Юлия и Евгения в частный пансион в Ельце; Евгений, правда, считал, что для него тот год прошел бесполезно, а для Юлия это было только начало. Ради учебы детей родители оставили на несколько лет родной хутор и уехали в Воронеж к родственникам, где была одна из лучших гимназий того времени. Поездка и пребывание в Воронеже способствовали еще большему разорению Буниных, но мальчики, пройдя дома подготовку, непременно должны были поступать в 1-ю классическую Воронежскую гимназию. Принимали туда с десяти лет, год ушел на подготовку; Юлию было двенадцать, а Евгению одиннадцать лет; Юлий блестяще выдержал все собеседования и стал гим-

назистом, а Евгений учиться не захотел и вернулся с родителями домой.

Старший брат, с которым он провел детские годы, теперь приезжал только на каникулы, и тогда досуг они проводили вместе. С возрастом четко определились их жизненные пути. Юлий стремился к учебе, к общественной деятельности; после окончания гимназии поступил в университет и единственный в семье получил высшее образование и степень кандидата математики. Евгению нравилась деревня с ее простыми хлопотами и заботами. В будущем он видел себя помещиком, владельцем большого имения, и предпосылки к тому были: во-первых, он любил заниматься хозяйством, во-вторых, видел, что семейное гнездо распадается, их земли уходят с молотка, а он готов был работать сколько угодно во имя спасения родового имения, так как понимал, что кроме него этим заняться некому, ведь Юлий далек от хозяйственных дел и не приспособлен к деревенской жизни, а Ваня – подросток, да и с ранних лет проявляет склонность к творчеству, к литературе. Евгений мог бы стать неплохим художником, всем нравились его рисунки, и не исключено, что его призванием была именно живопись. Отмечали, что особенно хорошо у него получались портреты, он даже ездил в Петербург поступать в художественное училище, однако ограничился консультациями с известными художниками и с этой целью часто ездил туда; посещал также музеи, чтобы расширить свой кругозор, брал уроки мастерства. Мысли об учебе не терял, но с возрастом все больше врастал в домашние дела, много работал в поле и по хозяйству, времени на учебу не оставалось. Каким он был, можно узнать из воспоминаний родных и близких.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Увидев его впервые в 1907 г. уже зрелым человеком, жившим своим домом в уездном городе Ефремове, Вера Николаевна Бунина, вместе с мужем приехавшая к нему погостить, составила такой портрет: «Не успели мы сесть к круглому столу, покрытому скатертью, как отворилась дверь и вошел полный, с большим брюшком, пожилой человек и внимательно посмотрел на меня своими светлоголубыми глазами, лицом напоминающий старшего брата Юлия. Я сейчас же догадалась, что это и есть Евгений Алексеевич. Я уже знала его по рассказам, знала, что он не развил своего таланта художника, посвятив себя сельскому хозяйству, что хозяйничал он удачно, со страстью, вообще, что он человек сильных страстей, живший всегда очень самобытно, какой-то своей, непохожей на других жизнью, деля время между хозяйством, писанием портретов и романами (женщин дей-

ствительно в его жизни было много. – *Т. Г.*). Поэтому я тоже с большим интересом взглянула на него»[4].

Галине Кузнецовой, рассказывая о прообразах героев «Чаши жизни», где город Ефремов назван Стрелецком, И. А. Бунин говорил: «Отец Кир… это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый… А кое-что в Селихове – от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, от чего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность… От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла ‘Чаша жизни’»[5]. В этом «томлении и безнадежности» прошла почти вся жизнь его среднего брата, но приезжающим в ефремовский дом родителям, сестре, братьям запомнилось и другое – старинный дом красного кирпича, сад, антоновские яблоки, радушие хозяйки, неутомимой Настасьи Карловны. С фотографии, где они все вместе, Евгений смотрит гордо, с достоинством, как успешный хозяин, наследник старинного дворянского рода, сохраняющий его традиции и принимающий у себя дорогих гостей. Сюда все приезжали охотно: Юлий и Иван с такой основательностью не устраивали свой быт, жили в гостиницах, на съемных квартирах, и дом брата был единственным местом, где могли собираться всей семьей.

Важно отметить, что Иван Алексеевич, хотя и жаловался порой на плохое отношение к нему Евгения, но к его суждениям о литературных произведениях, о писателях относился со вниманием – например, не раз отмечал его глубокое знание творчества А. М. Горького. В письме Н. Д. Телешову Бунин писал 16 июля 1900 года о своем разговоре с братом: «Хотел я и в деревне Огнёвке распространить его (Горького. – *Т. Г.*) славу, но брат Евгений не поддался. Он находит его талантливым, но отвратительным, на ¾ нежизненным и преувеличивающим все до плоскости»[6]. Есть и другие примеры, свидетельствующие об интересе Евгения Алексеевича к литературе, искусству, о хорошем его вкусе.

АВТОПОРТРЕТ

В 1932 году, на склоне лет, Евгений Алексеевич написал воспоминания «Раскопки далекой темной старины»; писал их, по его собственным словам, как материал для творчества младшего брата, который во время работы над повестью «Деревня» и другими произведениями обращался к нему с вопросами о нравах и обычаях в крестьянской среде – и вообще о деревенской жизни. Текст «Раскопок» в Париж до И. А. Бунина, наверное, не дошел; опубликован он не был, автограф (незавершенная, лишь частично сохранив-

шаяся статья) оказался в руках чужих людей, но, к счастью, не пропал, а был передан в Отдел рукописей ИМЛИ РАН, и небольшой фрагмент опубликовали в 1973 г. в томе Литературного наследства, посвященном И. А. Бунину. Л. К. Куванова, которая готовила текст к печати, отметила текст как всего лишь «сырой материал», но все-таки увидела ценность его в том, что это «единственное дошедшее до нас свидетельство непосредственного очевидца детских и юношеских лет Бунина, свидетельство человека, выросшего в той же среде, что и будущий писатель». Заметим, что воспоминания Евгения правдивы, местами печальны, и это бесценный материал не только о И. А. Бунине, о семье и быте, но и о самом авторе, о чем он там и говорит: «Пишу исключительно для брата своего Вани, касаюсь его детства и юности**,** *а также своей молодой, незатейливой и мало чем интересной жизни* (Выделено мной. – *Т. Г.*)».

Приведем несколько описаний из «Раскопок», характеризующих их автора: «Все, о чем я хочу писать, уже отошло в предание. Нового я, конечно, ничего не скажу, немало уже было написано про деревню, нравы и обычаи крестьян и мелкопоместных дворян, которые, кстати сказать, мало отличались от них своей некультурностью. Но я, со своей стороны, хочу восстановить в памяти, не прибавляя никакого вымысла, совершенно достоверные эпизоды».

«Я часто ходил в деревню Новосёлки (это было от нашего Гуниба с версту[7]) <…> Бывал я часто в этой деревне на улице и был любим всеми ребятами, так как многие были моими сверстниками, а тем более, что я по ихнему понятию уж очень хорошо на гармошке играл и немного играл на бубне. Они всегда целой оравой приходили за мной на хутор, и мы шли все весело и дружно. Ни одна свадьба не обходилась без меня.»

«Хутор наш приходил в упадок, землю большей частью отец сдавал крестьянам, в хозяйстве же оставались две-три коровы и лошадей тоже немного. Себе в посев оставалось очень мало, и все вокруг заросло бурьяном, крапивой, татарками так же, как и сад. Но все это было как-то поэтично: глушь, тишина, только сычи нарушали по ночам эту дремоту, да вблизи, прямо за сараями, была масса перепелов и коростелей. Я любил охотиться за перепелами с сетью и трюкалками подзывать их. Со мной Ваня пристрастился к этой охоте, и мы с ним, половив вечернюю зарю, обыкновенно собирались уходить на утреннюю зорю дальше. Ночи стоят в это время короткие, вот я, бывало, говорю: ‘Ну, я, брат, лягу в амбаре пока поспать, а ты не прозевай, буди меня, карауль зорю’. И вот, бывало, стоит прекрасная лунная ночь, и он не спит, бегает вокруг амбаров и не ложится, а как услышит первого перепела, будит меня, и мы с ним отправляемся

целиком по ржам, по росе. Еще темно, уж перед утром идем, выслушиваем, где лучший перепел.» Из этих заметок видно, что автор не лишен литературного дарования: он наблюдателен, трезв в оценках поместного дворянства, его записки читаются с интересом. Из них мы узнаем немало интересных свидетельств не только о жизни семьи, но о нравах и обычаях, царивших в мелкопоместных усадьбах и в крестьянских дворах, о детстве братьев; Евгений сообщает горестные подробности нелепой смерти маленького братишки Анатолия, который был на руках у няньки, когда на нее замахнулся пьяный муж, а удар пришелся по ребенку и сломал ему ключицу»[8]. Об этом периоде жизни Буниных сведений не так уж много, и этим воспоминания Евгения Алексеевича особенно ценны, да и к его собственному портрету они имеют прямое отношение. Остается только сожалеть, что сохранился лишь небольшой фрагмент. Правда, есть еще письма к родителям, братьям, – земные, касающиеся повседневной жизни, быта, нередко содержащие просьбы о материальной помощи. Они тоже многое дополняют к портрету Евгения Алексеевича.

ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Летом 1883 г. Бутырки были проданы за долги, и Бунины переехали в Озёрки, в усадьбу, которая перешла по наследству к Людмиле Александровне после смерти ее матери, А. И. Чубаровой. На новом месте надо было обустраиваться, дел было много, и Евгений с головой погрузился в них: его не тяготили ни полевые работы, ни уход за скотом, он все делал основательно, по-хозяйски. Сверстникам нравилось, что Евгений не кичится своим знатным происхождением, что любит шумные сборища, громкие песни и пляски под гармошку, именующиеся «страданиями». Евгений купил себе модную гармонику-ливенку (инструмент производили в г. Ливны) и с удовольствием упражнялся на ней, – словом, жил, как все деревенские. Вовремя отбывал воинскую повинность, считая это своим долгом и не пытаясь получить отсрочку. В молодости ни перед чем не пасовал, мог всегда найти верное решение: думал, что если повезет в армии получить место писаря, выпишет к себе любимую девушку, а если нет – то тоже не беда, после службы можно вернуться к тем же хозяйственным делам и заботам. Да и погулять он любил. Ему нравилось быть первым парнем на деревне, немного беспечным, но веселым – девушки были от него без ума.

В 1884 г. в соседней деревне у него родилась внебрачная дочь; мать, Катерина, приносила Дарью в Озёрки, Бунины приняли ее, как родную; Евгений же вскоре задумал жениться и искал себе невесту. Ему уже шел 27-й год, и в начале июня 1885 года он посватался к

Насте (Настасье Карловне Гольдман), падчерице винокура Отто Карловича Туббе из села Васильевского, которую давно уже выделял среди прочих своих зазноб. Выбрал себе в жены девушку не из помещичьей среды, не какую-нибудь неженку, а крепкую, работящую, под стать себе. Катерина тяжело переживала, узнав о его сватовстве, приходила к бунинскому дому, плакала, но Евгения это не остановило. Получив согласие от своей избранницы, он начал готовиться к свадьбе. Свадебные торжества проходили по-деревенски пышно, шумно, весело. Младшему брату запомнились поездки сватов к будущей невесте, а на Ильин день молодые венчались в Знаменском, приходе Озёрок. Свадьба была в Озёрках, пир продолжался всю ночь. Настя в бунинском доме освоилась быстро, умело вела хозяйство – трудолюбивая, экономная, – загляденье, все у нее спорилось. Евгений тоже всегда был занят в поле: пахал, сеял, косил, молотил. Не сразу, но уже вскоре молодые начали думать о том, чтобы отделиться и зажить своим домом. Вначале взяли в аренду усадьбу Цвиленевых, открыли лавку и занялись торговлей, родительский дом тоже требовал сил и времени: Евгений не бросал его, занимался полевым хозяйством, «но оно из-за отсутствия капитала и высоких процентов по векселям неуклонно шло на убыль». Чтобы его спасти, нужны были большие средства. Настасья Карловна получила немного денег в приданое, и уже вместе они как могли старались зарабатывать, чтобы приумножить имеющийся капитал. Все у них получалось, потихоньку богатели, строили большие планы на будущее. Ваня часто приезжал к ним; Евгений, как и раньше, брал его с собой на охоту. Со временем отголоски охотничьих увлечений Евгения и его образ получили отражение в стихотворении Ивана Бунина «Брат, в запыленных сапогах…» (Донник)[9]:

Брат, в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на парах,
Цветок засухи – желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел…
Ну да, все поле – золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.

Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет –
И значит, завтра вновь жара
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.

Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом…И все же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!
1903–1906

Евгению хотелось быстрее разбогатеть и стать крепким помещиком; братья немного переживали, боясь, что в спешке он примет неправильное решение. В мае 1890 г. Иван писал Юлию, который жил в то время в Харькове, что «Евгений все торгуется с Н[иколаем] Фед[оровичем] (Цвиленевым. – *Т. Г.*) относительно земли и, наверно, продаст все <…>. Так что Евген[ий] может навсегда покинуть Озёрки»[10]. Все шло к тому – в итоге так и случилось: уже в середине июля Иван сообщил Юлию, что Евгений договорился с Н. Ф. Цвиленевым о продаже земли в Озёрках, «написал запродажную» и «в октябре все будет кончено»[11].

Всем было жаль терять Озёрки, но вскоре Евгений стал восстанавливать утраченное, прилагая к тому много усилий. Так, с женой Туббе, Александрой Гавриловной, ездил в Рязань, где на торги было выставлено находящееся недалеко от них небольшое именьице, заложенное в Московском банке. В 1891 г. «прикупил имение десятин в двести вблизи сельца Огнёвка»; затем, наконец, исполнив свою давнюю мечту, приобрел в собственность и саму Огнёвку, последнее имение отца в Тульской губернии. Все приобретения оказались удачными, основные владения были спасены. Теперь можно было немного расслабиться – наконец он стал, как и хотел, настоящим помещиком: у него было все – земля, усадьба, дом; к сожалению, не складывались отношения с крестьянами. Евгений по характеру оказался слишком жестким человеком, мужики невзлюбили его и во время революционных событий 1905 года припомнили свои обиды.

Братья, даже видя его хозяйственные успехи, по-прежнему считали, что он не должен так беспечно относиться к своему дарованию, пытались помочь ему все же получить «специальное художественное образование». В. Н. Бунина писала в воспоминаниях: «Младший брат укорял его, что он из-за благ земных забросил живопись, поставил крест на своем таланте. Евгений Алексеевич возражал, что уже поздно, что руки у него испорчены работой, а для себя он будет, когда немного приведет имение в порядок, ездить зимой в Москву, там работать под руководством какого-нибудь художника в его мастерской»[12]. И действительно, он часто ездил в Петербург, работал там в музеях, получал консультации, но так и не выбрал времени на систематические занятия в учебном заведении. Иван, всякий раз, когда бывал у брата,

уже человека семейного, самостоятельного хозяина, напоминал ему об учебе. В одном из писем своему другу И. А. Белоусову обращался с просьбой: «Если только будет свободная минута, съезди в школу живописи и ваяния (если не ошибаюсь, там, т. е. в Москве, одна), возьми там программу и пришли мне. Крайне буду благодарен. Прошу об этом потому, что брат Евгений хочет поступать туда вольнослушателем»[13]. При этом Иван понимал заботы брата и видел, что они с женой работают без устали, уже успели внести банковский долг и все усилия прилагают к тому, чтобы сохранить родовое гнездо, но тем не менее твердо считал, что надо спасать талант художника, – и был настойчив.

Как и во всякой семье, отношения между братьями при разнице интересов и несовпадений во взглядах на жизнь складывались поразному, иногда возникали размолвки, ссоры, но если кто-то попадал в беду, забывая всё, тотчас бросались на помощь. Известно, как тяжело строились отношения младшего брата с Варварой Пащенко, его первой любовью. Ее родители были решительно против их брака; она и сама, будучи не уверена в своих чувствах, долго металась, стремясь найти какое-то решение, и наконец сообщила Ивану, что им надо расстаться. Это выбило молодого человека из колеи настолько, что Юлий, у которого он в это время жил в Полтаве, вызвал Евгения, чтобы тот увез брата в Огнёвку, поближе к родным, и позаботился о нем. Евгений давно советовал брату «бросить всю эту канитель, не губить своей жизни» – Варвару он недолюбливал; не медля ни минуты, он приехал в Полтаву, но увидев состояние Ивана, испугался настолько, что не решился ехать с ним один, пришлось присоединиться и Юлию, – так и поехали втроем.

В переписке братьев не раз обсуждается вопрос денег, в них всегда была большая нужда, чаще всего на помощь приходил Юлий, присылая деньги родителям, Ивану, сестре, иногда выручал и Евгения. В сохранившихся письмах Евгения к старшему брату постоянно звучат просьбы о денежной помощи: надо выручить, прислать денег на хозяйственные нужды, на конкретные покупки, – и Юлий Алексеевич немедленно откликался, ведь дом брата был продолжением родительского гнезда, здесь чаще всего все Бунины собирались вместе.

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

После революции 1905 года жизнь в России стремительно менялась. Помещичий быт терпел крах, трещало по всем швам: разорение родовых имений, поджоги, бессмысленное уничтожение крепких хозяйств. Эта разрушительная сила сметала все на своем пути, не щадя никого и ничего. После революционных событий 1905 года

Евгений покинул Огнёвку. В канун нового 1906 г. И. А. Бунин был в Ефремове, но встречал Новый год не у брата, а у Отто Карловича[14]. Брат, по его словам, «удравший из деревни» из-за революционных событий в Ефремов, еще не обустроился на новом месте. Иван навестил его лишь через несколько дней, они долго обсуждали происходящее, мучительно переживая наступившие перемены. Это отражено в дневниках, в произведениях, в письмах И. А. Бунина.

В течение 1905–1907 гг. обстановка в деревне постоянно накалялась, и в этих условиях обострилась вражда, которая давно уже разгоралась между крестьянами и Евгением Буниным. Начались ссоры, нападения, один из работников запустил в Евгения камнем и ранил его. В мае в Огнёвке произошел пожар: обозленные крестьяне подожгли дом и объявили свой приговор ненавистному помещику; крестьяне требовали повышения зарплаты за труд и, не получив ее, подожгли дом. Как всегда в минуту опасности, братья были вместе. Юлий, приехавший вскоре в Огнёвку, обстоятельно описал гражданской жене Е. Е. Юргенс увиденное: «...сгорели две кухни, скотный двор, три лошади (самые лучшие и дорогие), свиньи, птица и проч. (убытку всего тысячи на две; из них возвращены могут быть только убытки за постройки, которые были застрахованы). Пожару особого значения не придали, относя его к несчастной случайности… Но вот произошла следующая история. Крестьяне нашей деревни составили приговор и объявили его брату. В приговоре сказано, что отныне у брата никто не может жить в работниках, кроме крестьян нашей деревни, а потому все посторонние его постройки должны быть немедленно удалены – иначе их скинут силой. Затем устанавливаются новые цены:(годовому работнику не менее 120 р., работникам и подросткам по 80 р. с непременным обязательством заключить условие на годы, с неустойкой), поденным до начала уборки мужчинам 1 р. и женщинам 75 к., а во время рабочей поры работнику 3 р., а работнице 2 р. в день; скосить и связать десятину 8 р. (обычно же было 3 р. и 3.50). Если брат не согласится на это, то они сами уберут хлеб и не отдадут его, пока не будет уплачено за труд. Заявить обо всем этом приходили целым сходом и вели себя хотя и сдержанно, но очень вызывающе. Брат на эти условия, конечно, не согласился, так как при таких ценах убирать хлеб не стоит, – уборка и молотьба обойдутся дороже всего урожая. Посторонние рабочие были немедленно сняты, но конфликт стал неизбежным. Мать, Маша, да и все были крайне перепуганы и волей-неволей пришлось немедленно уезжать в Ефремов, чтобы снять там квартиру. Брат поехал сделать заявление исправнику и у него встретил целую массу помещиков с совершенно такими же заявлениями. Исправник сказал им, что положение созда-

ется очень затруднительное, так как войска мало. Уверял однако, что насилий крестьяне решили не делать, если их к этому не вынудят сами помещики. Что будет дальше, неизвестно, но во всяком случае, возвратиться в деревню едва ли будет возможно. Здесь снимем квартиру для всей семьи.

Вещи, кроме самого необходимого, увезти не успели... Я свои, впрочем, вещи с собою захватил... Здесь остановились пока у знакомых. В деревне осталась Настя и отец, но и их ждем сюда завтра-послезавтра. Ваня, мать, Маша и дети здесь. Евгений поехал к становому и пока еще не возвращался. Вообще, все лето испорчено. <…> Хотелось бы переехать в имение к двоюродной сестре, но и там ожидается такая же история, и она рассчитывает сама скоро уехать... Волнения, как в нашем, так и в соседних уездах, развиваются. Полагаю, что может быть объявлено военное положение или чрезвычайная охрана»[15]. 19 июня 1906 г. И. А. Бунин коротко сообщил об этом происшествии в письме Н. А. Крашенинникову: «Многоуважаемый Николай Александрович, пожалуйста, простите за поздний ответ – у нас в деревне сначала был пожар, а затем мужики сняли рабочих, пообещав разгромить, и так напугали наших стариков и сестру с детьми, что пришлось ездить в Елец и Ефремов, искать квартиру, а затем перевозить, хлопотать, нервничать – и все это среди нестерпимой жары»[16].

Оба брата принимали активное участие в переселении и обустройстве своих близких на новом месте. Сначала они остановились на постоялом дворе, потом сняли ненадолго наемный дом на подворье Моргунова, оттуда переселились в дом Проселкова на Покровской улице, который сняли за 18 рублей в месяц, но вскоре обстановка изменилась и пришлось снова вернуться в деревню, чтобы внимательно все изучить и принять окончательное решение.

Из письма Юлия Е. Е. Юргенс от 25 июня 1906 года известно, что в конце июня дело с крестьянами удалось разрешить мирным путем, хотя и пошли на большие уступки: пришлось значительно повысить заработную плату, отдать крестьянам часть земли в аренду на выгодных для них условиях. Затем состоялся сход и в знак примирения «Евгений выставил им угощение водкой». 19 августа Юлий писал ей, что Евгений сдал, наконец, мужикам все имение в Огнёвке, кроме усадьбы, и в середине августа переселился на постоянное жительство в Ефремов. Супруги давно уже присматривались к городу и вскоре купили здесь дом с усадьбой постройки 1880 года по улице Тургеневской, 47. В «Чаше жизни» Бунин описал этот дом: «Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце – в доме было тепло. На дворе палил летний зной – в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина.

Летом часов с десяти до трех пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы – они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала на вокзал извозчики»[17]. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной улице. Этот благословенный дом собирал в своих стенах всю семью – родителей, детей, внуков. Евгению все-таки удалось задуманное – возродить усадьбу в одном из мест, где исконно располагались поместья, принадлежащие древнему бунинскому роду. Это было удачей, однако 1906-й год для семьи заканчивался печально. 6 декабря в деревне Огнёвке скоропостижно скончался Алексей Николаевич. О смерти отца Евгений известил братьев телеграммой, вскоре приехал Юлий, Ивана на похоронах не было. Похоронили отца недалеко от этих мест в селе Грунин Воргол у церкви[18]. Людмила Александровна переехала к Евгению: ей шел восьмой десяток, она часто болела, страдала от астмы и нуждалась в постоянной помощи, которая ей была обеспечена в семье Евгения; здесь она оставалась до конца своей жизни. Как всегда, сюда из Москвы приезжали Юлий и Иван. Из записей Веры Николаевны (июль 1907 года): «В этот день впервые после смерти отца вся семья была в сборе, но мне казалось, что и он присутствует среди нас, так много о нем говорили, изображая его, вспоминая его словечки, остроты, целые фразы…»[19]. 26 мая 1909 г. об очередной семейной встрече, прошедшей в теплых воспоминаниях, сделал запись Иван Алексеевич: «…Говорили о том, как бедно было наше детство – ни музыки, ни знакомых, ни путешествий»[20]. Евгений был прекрасным собеседником, у него был огромный запас всяких наблюдений, рассказывал он образно, порой с юмором.

Летом 1910 года здоровье Людмилы Александровны резко ухудшилось, врачи делали неутешительные выводы. В начале июля был вызван из Петербурга Евгений, который работал там в музеях. Он спешно вернулся и застал еще мать в живых, но она уже никого не узнавала. Через несколько дней ее не стало. Евгений сообщил телеграммой о ее смерти братьям, которые тоже приехали. «Дорогая моя,– писал Ю. А. Бунин Е. Е. Юргенс, – вчера похоронили нашу мать. Она скончалась в ночь с 15-го на 16-е июля. Последние дни она почти все время была в бессознательном состоянии. На похоронах было много народу, сегодня поразъехались…»[21] 30 июля / 1 августа он сообщал тому же адресату подробности: «В начале июля Маша и Настасья Карловна почти ни одной ночи не спали, ухаживали за больной. На Маше это сильно отразилось, у нее появилась невралгия, выражающаяся непрекращающимися головными болями, и при этом очень сильными. Боли эти не проходят у нее и теперь. Из всех нас

отсутствовал при кончине матери Ваня, уехавший в Москву, так как говорит, что совершенно не выносит таких событий. К тому же, ему совершенно необходимо окончить повесть в августе, и он работал не вставая. Расходы на похороны – значительные для нас (не меньше двухсот рублей) мы поделили на три части»[22]. Отпевали Людмилу Александровну в Преображенской церкви при ефремовском кладбище, где и похоронили ее.

Ефремовские Бунины всегда жили скромно: Настасья Карловна, верная и преданная спутница жизни Евгения Алексеевича, была хорошим человеком, порядочным, добрым, чутким, отзывчивым, у всех вызывала уважение. На сохранившейся семейной фотографии симпатичная женщина с открытым лицом и ясным взглядом так и искрится добротой и сердечностью. Их брак с Евгением Алексеевичем можно было бы считать счастливым, но, к сожалению, по состоянию здоровья Настя не могла иметь детей. После тридцати двух лет брака с Настасьей Карловной у Евгения Алексеевича родились внебрачные дети – сын Арсений (1917–1988) и дочь Маргарита (?–2002). Их мать, Наталья Карпухина, работала в доме Буниных экономкой и жила в соседней деревне Кропотово. Детей Евгений Алексеевич признал и принял в свою семью, именно он занимался их воспитанием, и они носили его фамилию. У матери дети бывали часто.

1917-й год многое менял в жизни страны, времена наступали тяжелые, но пока была возможность, братья по-прежнему приезжали, иногда останавливались у двоюродной сестры, С. Н. Пушешниковой, в Глотове. 7 октября 1917 г. Иван Алексеевич писал оттуда старшему брату, который был болен: «Крепко целую, беспокоюсь за тебя ужасно – сходи к хорошему доктору». В приписке Вера Николаевна коротко сообщала о том, что происходит вокруг: «…в России идет Бог знает что <…> Погода холодная и ясная. Молотят на дворе, шум молотилки придает поэзию и на дворе кипит жизнь, хотя народу приходит мало. Мужики все наглеют, последний слух, что придут выгонять С[офью] Н[иколаевну]» (Пушешникову. – *Т. Г.*)[23]. Одну ночь Бунин переночевал у брата. В дневнике 27 июля 1917 г. сделана запись об этом, как оказалось, последнем приезде в Ефремов: «Счастливый прекрасный день. Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний»[24]. Не известно, когда последний раз виделись братья, возможно, Евгений приезжал в Москву, но 5 июня (23 мая) 1918 г., когда Бунины уезжали из Москвы на юг, провожал их Юлий[25]. После долгих скитаний обосновались они во Франции.

Увидеться больше не пришлось, связь с родными, оставшимися в России, была затруднена.

Умер Евгений Алексеевич 23 ноября 1933 года, видимо, так и не узнав о триумфе младшего брата, получавшего в эти дни Нобелевскую премию по литературе. Период с 1918 года по 1933 для ефремовских Буниных был очень тяжелым...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Иван Бунин*. Литературное наследство. Т. 84. В 2 кн. Кн. вторая. – М.: «Наука». – С. 175. Далее в ссылках на это издание указывается название и страницы.
2. См. *Тамара Гордиенко*. Старший брат Ивана Бунина. – «Новый Журнал», № 285, 2016.
3. *Бунин Е. А*. Раскопки далекой темной старины // *И. А. Бунин*. Литературное наследство. – М., 1973, Т. 84. Кн. вторая. – Сс. 224-236. Далее все цитаты из «Раскопок» приводятся по этому изданию.
4. *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина, 1870–1906. Беседы с памятью / Сост., предисл. и примеч. А. К Бабореко. – М., 1989. – Сс. 381-382.
5. *Кузнецова Г. К.* Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. А. К. Бабореко. – М.: «Московский рабочий», 1995. – С. 229.
6. *И. А. Бунин*. Письма 1885–1904 годов / Под общ. ред. О. Н. Михайлова. – М. ИМЛИ РАН, 2003. – С. 321.
7. Гунибом называл хутор Бутырки А. Н. Бунин.
8. *Бунин Е. А*. Раскопки… Иван Бунин. ЛН. Т. 84. Кн. вторая. – Сс . 224-236.
9. *Бунин И. А*. Собр. соч. в 8 тт: Стихотворения. Том первый. – М.: Моск. рабочий, 1993. – С. 164. На это стихотворение как на память о Евгении обратил мое внимание физик-теоретик, поэт, академик Владимир Захаров.
10. *Бунин И. А.* Письма 1885–1904 годов. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 30.
11. Там же. – С. 34.
12. *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. – М., 1989. – С. 121.
13. *Бунин И. А*. Письмо И. А. Белоусову до 20 августа 1897 г. // И. А. Бунин. Письма. 1885–1904. – С. 242
14. Этому событию И. А. посвятил стихотворение «Новый год (Ночь прошла за шумной встречей года…)»
15. *Бунин Ю. А*. Письмо Е. Е. Юргенс от 14 июня 1906. / ОГЛМТ. Ф. 17 (Ю. А. Бунин). Оп. 1. КП. 3383 / 10 оф.
16. *Бунин И. А.* Письма 1905–1919 годов. Указ соч. – С. 33.
17. *Бунин И. А*. Собр соч. в 8 тт. Чаша жизни. Т. 5. – С. 464. Юлий своим домом не обзавелся, у Ивана в России дома не было; только в Париже он осел основательно.
18. 23 апреля 2016 в селе Грунин Воргол Становлянского района Липецкой

области по инициативе Бунинского Общества России (БОР) на стене храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» была установлена мемориальная доска памяти А. Н. Бунина / Вестник Бунинского общества России. Под ред. Д. М. Минаева, 2016, вып. № 2.
19. *Муромцева-Бунина В. Н*. Жизнь Бунина. – М., 1989. – С. 382.
20. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. В трех томах. Франкфурт-на Майне, 1977 г. – Т. 1. – С. 83.
21. *Бунин Ю. А*. Письмо к Е. Е. Юргенс 19 июля 1910 г. ОГЛМТ. Ф. 17. Оп.1. 3383/ 24 оф. Автограф.
22. *Бунин Ю. А*. Письмо к Е. Е. Юргенс 30 июля / 1 августа 1910 г. ОГЛМТ. Ф. 17. Оп. 1. 3383/23 оф.
23. *Бунин И. А*. Письма 1905–1919 годов. – М.: ИМЛИ РАН, 2007. – Сс. 401-402.
24. Устами Буниных. Дневники. Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. В трех томах. Т. 1. – С. 163.
25. Летопись жизни и творчества И. А. Бунина. Т. 2 (1910-1919). – М: ИМЛИ РАН, 2017. – С. 934.

Москва

Лев Бердников

Егор Канкрин. Финансист на все времена

«В государстве Российском есть два человека, обязанные служить до самой смерти: я и ты», – говорил графу Егору Францевичу Канкрину (1774–1845) император Николай I. И в такой высокой оценке деятельности государственного мужа царь был не одинок. Рассказывали о его «гениальной даровитости», «изумительной проницательности» и «мудрой бережливости». Ведь более чем за 20 лет на посту министра финансов Канкрин сделался человеком, незаменимым для Империи: он остановил инфляцию, добился бездифицитного бюджета, укрепил рубль, способствовал развитию отечественной промышленности. Не правда ли, такие достижения были бы очень важны и своевременны для современной России?

Родился он в г. Ханаи-ам-Майн (земля Гессен, Германия), исповедовал лютеранство и своей наружностью походил на натурального пруссака; по-русски говорил с сильным немецким акцентом. Многие воспринимали его как этнического немца. И не случайно, что и сегодня он включен в авторитетный справочник «Немцы России» (Т. 2. – М., 2004, Сс. 26-27).

Но бдительных национал-патриотов, поднаторевших в разоблачениях тайных евреев, не проведешь! Антисемит-почвенник Андрей Дикий объявляет, что Канкрин, оказывается, не кто иной, как «сын литовского раввина». К нему присоединяется и Александр Солженицын, который в своей книге «Двести лет вместе» также аттестует этого николаевского министра «сыном раввина».

В действительности же отец нашего героя, Франц Людвиг Канкрин (1738–1816), ни к иудаизму, ни к Литве никакого отношения не имел. А между тем, его почитают «очень видным деятелем своего времени». И славу он себе снискал на научном и писательском поприщах – печатал собственные сочинения по технологии, архитектуре, горному делу, юридическим вопросам и т. д. Он был настолько плодовит, что изданные им сочинения могли бы составить небольшую домашнюю библиотеку. Какое-то время Канкрин-отец заведовал горным, соляным и строительным делом при различных германских дворах (которых тогда насчитывалось около сотни!), причем из-за своего строптивого нрава долго на одном месте не задерживался.

Наконец, в 1783 году он, благодаря своей известности опытного инженера, с почетом был принят на российскую службу, где получил и надлежащий оклад, и генеральский чин, и пост директора солеваренных заводов, а впоследствии стал и членом Горной коллегии. Среди сочинений Франца Людвига отметим посвященный Екатерине II капитальный труд в десяти частях «Первые основания искусства горных и соляных производств» (СПб., 1785–1791), изданный сначала на немецком, а затем на русском и французском языках. За заслуги перед государством ему был пожалован дом в Адмиралтейской части, № 29 и орден Св. Владимира 3-й степени. В отставку он вышел в 1812 году с пенсионом 3465 рублей...

И всё же подозрение, что его сын Егор Канкрин – еврей, не лишено оснований. Только раввином был не отец, а дед Егора Францевича. Осведомленный современник Филипп Вигель, говоря об этом, замечает: «Наука была наследственное имущество в его семействе. Дед, раввин Канкринус, принявший не во святом, а в реформатском крещении имя Людовик, весьма известен был не целому, а всему немецкому ученому миру». Версии о еврейском происхождении Канкриных придерживаются и Александр Рибопьер в своих «Записках», и Бенджамин Дизраэли в своем знаменитом романе «Конигсби». Причем российские придворные остряки зубоскалили на сей счет, вопрошая, «талмудист он или караим?», и утверждали, что «еще дед Канкрина назывался ‘Krebs’, откуда посредством перевода на латинское ‘Cancer’ и сочинили настоящую его фамилию, чтобы не так выдавать наружу жидовство». А современный историк Владимир Новиков уточняет, что основатель рода еврей Канкринус также жил в земле Гессен, и христианство с новым именем он принял в первой трети XVIII века.

По всей видимости, Егору Канкрину (как, впрочем, и его отцу) были неведомы ни иудейская религия, ни идишская культура. И понятно, сам он не осознавал свою принадлежность к еврейству. Но, как отмечал Вигель, «несмотря на то, что Егор Канкрин любил *выдавать себя* за немца..., живость *другого* происхождения проявлялась не в действиях, не в поступи его, а в речах: он был чрезвычайно остер».

Именно эта «чрезвычайная острота» (наследственная черта Канкриных) проявилась у Егора еще в отроческие годы. В этом несомненное влияние на него оказал отец, пристрастив сына к техническим дисциплинам и юриспруденции, обострившими его восприимчивый ум. Егор легко и жадно учился, подхватывая на лету самую суть рассматриваемого вопроса. Получив в гимназии классическое образование (он и в зрелые годы «знал довольно по латыни»), Канкрин поступает сначала в Гессенский университет, а затем перешел в Марбургский , который блестяще закончил в 1794 году с дипломом

доктора права. К студенческим годам относится первая проба его пера – «Дагобер, роман из теперешней войны за освобождение». Уже тогда Канкрин заявил о себе и как истый государственник, подчеркнув в романе, что усилия любого правительства должны быть направлены прежде всего к сбережению народа и достижению величия страны.

После окончания университета Егору не удалось найти работу на родине, и в 1798 году он отправился в Россию, где уже служил его отец. Однако из-за неуступчивости характеров обоих Канкриных с отцом они вскоре рассорились, и в результате наш герой остался без средств к существованию. Обосновавшись в Петербурге, он, хотя и был пожалован немалым чином надворного советника, не получил ни должности, ни места. Не зная русского языка, Егор не гнушался никакой работой: занимался репетиторством, работал бухгалтером у богатого откупщика, а затем был секретарем у предпринимателя Абрама Перетца. По словам самого Канкрина, он «был писцом, комиссионером, казначеем, но дураком никогда не бывал». Почти три года Канкрин-младший прожил на грани бедности, о чем говорил как о «самой строгой школе жизни», и именно в это время в нем выработалась привычка к бережливости, к простому, умеренному образу жизни, что впоследствии так резко выделяло его среди других высших сановников империи. Экономность проявилась вполне и тогда, когда он стал министром. Впрочем, в нем не было душевной черствости, что отличает скупца: напротив, он всегда был готов прийти на помощь бедным и нуждавшимся, ибо сам все это пережил и выстрадал.

В 1800 году Фортуна, наконец, улыбнулась Егору: он составил записку об улучшении овцеводства в России, которая понравилась вице-канцлеру графу Ивану Остерману. Благодаря его покровительству, Егор был назначен сначала помощником к своему отцу на солеваренные заводы, а в 1803 году переведен в Министерство внутренних дел, в Экспедицию государственных имуществ. Знания, распорядительность, деловая хватка сочетались в Канкрине с подкупающей простотой в обращении, что обеспечило ему и уважение коллег, и быстрый служебный рост: уже через шесть лет он получил чин статского советника. Подобный карьерный взлет был тем более примечателен, что Канкрин никогда не проявлял низкопоклонства и угодничества перед начальством. Показателен в этом отношении случай с всесильным графом Алексеем Аракчеевым, который попытался было свысока разговаривать с Канкриным. Однако тот, ни слова не сказав, демонстративно ушел. Аракчеев извлек урок из демарша: он пригласил Канкрина отобедать и обращался с ним уже любезно и предупредительно. Более того, он стал деятельным покровителем нашего героя и всемерно радел о его дальнейшей карьере.

Занимаясь ревизией и устройством лесного хозяйства и соляных промыслов, Егор Францевич по долгу службы объездил многие губернии, в том числе и российскую глубинку. Он внимательно знакомился с естественными богатствами своей новой родины. По его собственному признанию, он искренне полюбил этот народ и его язык, да и сам «сделался русским душою». Современники отмечают, Канкрин часто сыпал меткими русскими пословицами, что в сочетании с немецким акцентом и не вполне правильной грамматикой производило забавное впечатление. Обращаясь к собеседнику, он неизменно называл того «батушка» (так произносил он слово «батюшка»).

В 1809 году Канкрин публикует труд «Отрывки, касающиеся военного искусства с точки зрения военной философии», выдержавший два издания. В этой работе он высказал мысль, что во время войны государство должно использовать как свое преимущество географические факторы: обширность территории, протяженность коммуникаций, суровость климата и т. д. Этот труд вызвал большой интерес в военных кругах, ибо тогда живо дебатировался вопрос: какой должна быть возможная война с Наполеоном – наступательной или оборонительной. Внимание к автору «Отрывков...» проявил и военный министр Михаил Барклай де Толли. Он, по словам историка, «оценил пылкого, талантливого и образованного юношу». Высоко оценили его и военный теоретик генерал Карл Пфуль, и сам император Александр I, который получил о Канкрине такую справку: «знающий и способный человек, но с плохим характером».

Егора Францевича тут же привлекли к разработке планов будущей войны, в которой вопросы снабжения играли большую роль. В 1811 году его назначили помощником генерал-провиантмейстера с чином действительного статского советника, а в самом начале войны – генерал-интендантом всех действующих войск. Отметим также, что под руководством Канкрина провиант для русской армии бесперебойно поставляли предприниматели-евреи Николай и Людвиг Штиглицы, а также Абрам Перетц, впоследствии разорившийся на этих поставках. Это благодаря энергии и организаторскому таланту Канкрина русская армия в ходе военных действий была хорошо материально обеспечена, и в этом отношении война 1812–1815 годов выгодно отличалась от последующих – Крымской, например, когда из-за казнокрадства и злоупотреблений чиновников солдаты часто оставались без хлеба и в худых сапогах. При этом расходы на содержание войск, осуществленные Канкриным, поражали своей скромностью – 157,5 миллионов руб. за три года войны (напомним, что один только первый год Крымской кампании обошелся России в 300 миллионов руб.). Определяющую роль в этом сыграла безупречная

честность самого генерал-интенданта. Ведь будучи бесконтрольным хозяином армейских денег, он мог получить миллионные взятки. Канкрин же, наоборот, проделал скрупулезнейшую работу по проверке счетов поставщиков и уплатил по ним только одну шестую часть, доказав, что все остальные претензии незаконны.

Способности Егора Францевича высоко ценил Михаил Кутузов-Смоленский, который пользовался его советами и предложениями. Особенно восхищала фельдмаршала изумительная способность Канкрина обеспечить снабжение частей в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Так, не участвуя непосредственно в баталиях, он снискал славу подлинного героя войны. В мае 1813 года, когда в дни тяжелейшего сражения в Бауцене (Саксония) на узком участке фронта сосредоточилось около 200 тысяч союзных войск, Александр I, посетовав на архитрудное положение, лично обратился за помощью к Канкрину. И надо отдать должное генерал-интенданту – тот с блеском справился с поставленной задачей: провиант к месту назначения был доставлен вовремя. Кутузов однажды спас Канкрина, когда ему грозила неминуемая отставка. А всё потому, что Егор Францевич заступился за жителей одного немецкого городка, страдавших от бесчинств союзных войск, чем навлек на себя гнев Великого князя Константина Павловича. Фельдмаршал заявил Великому князю: «Если Вы будете устранять людей, мне крайне нужных, таких, которых нельзя приобрести и за миллионы, то я сам не могу оставаться в должности». За заслуги перед Россией за время кампании 1812–1815 годов Егор Канкрин был награжден орденом Св. Анны 2-й и 1-й степеней, орденом Св. Владимира 2-й степени, а также множеством иностранных орденов.

По окончании войны Канкрин какое-то время остался не у дел – он числился лишь членом Военного совета без определенных обязанностей. В 1816 году он женился на Екатерине Захаровне Муравьевой (1796–1848), двоюродной сестре будущего декабриста Сергея Муравьева-Апостола, с которой познакомился на балу при штабе Барклая де Толли. Брак этот был очень счастливым: Екатерина Захаровна, которую он ласково называл Сахаровна, стала и музой, и верной помощницей своему неутомимому супругу. Правда, она была большой мотовкой, что, конечно же, претило прижимистому Канкрину. «И странное, батушка, дело, – жаловался он приятелю, – все государственные операции удаются мне как нельзя лучше, а как только примусь устраивать что-нибудь в собственных своих делишках, то тотчас попадаю впросак, как кур в ощип». Впрочем, жена была мастерица утишать все домашние бури. В браке у них родилось четверо сыновей и две дочери.

Замечательно, что этот иноземец на русской службе был озабо-

чен судьбой крестьянства, положение которого, по его мнению, было «противно божеским и человеческим законам... У меня сердце обливается кровью, что всё еще существуют рабы, крепостные, ирландские крестьяне, английские фабричные рабочие и пролетарии более или менее везде». В 1818 году он подал императору свое «Исследование о происхождении и отмене крепостного права или зависимости земледельцев преимущественно в России», где предложил поэтапный план освобождения русских крестьян с их постепенным выкупом за счет средств специального заемного банка. Предполагалось окончательно объявить землю собственностью крестьян к 1850 году. К сожалению, предложения эти были оставлены правительством без должного внимания. «Если бы его план был принят, – отмечал историк, – наша государственная и экономическая жизнь развивалась бы более нормально, и освобождение крестьян не вызвало бы того сильного потрясения всей экономической жизни России, какое было неизбежным следствием реформы 1861 года».

Канкрину неоднократно поступали лестные предложения европейских монархов перейти к ним на службу, причем на самых выгодных условиях, на что он отвечал категорическим отказом. Известна фраза Канкрина из его выступления в Государственном совете, в члены которого он был определен в 1821 году: «Вы толкуете, что скажет Европа, а никогда не думаете, что скажет бедная Россия».

Ощутимый вклад внес Канкрин и в современную ему науку. Он издал на немецком языке две монографии: «О военной экономике во время войны и мира» (1820–1823) и «Мировое богатство, национальное богатство и государственная экономика» (1821). Во втором труде автор по существу излагал собственную программу управления финансами страны. «Надо чуждаться крайностей, избегая четырех великих апокалипсических зверей: понижения достоинства монеты, бумажных денег, чрезмерных государственных долгов и искусственного накопления торгового капитала, и приводить в строгое соответствие расходы с естественными доходами, стремясь увеличить последние *путем поощрения народного труда, порядком и хорошим управлением и только в крайнем случае прибегая к умеренным займам*, чтобы их погашать при первой же возможности». Эти мысли абсолютно актуальны для современной России, как, впрочем, и для всей глобальной экономики.

Канкрин подверг сокрушительной критике действия тогдашнего министра финансов Дмитрия Гурьева. И когда в 1823 году Канкрин сменил Гурьева на посту министра финансов, он последовательно и энергично стал проводить в жизнь собственные экономические теории. Финансист Иван Блиох пояснил: «Граф Канкрин был почти

единственным государственным человеком, у которого практическая деятельность была суммой теоретических выводов и результатом научных исследований – именно в то время, когда ‘фельдфебели в Вольтеры назначались’». Неудивительно, что никто так долго не оставался на этом посту в России, как Канкрин, – 21 год!

В каком же состоянии досталось новому министру государственное хозяйство Империи? Можно без преувеличения сказать, что положение дел было катастрофическим. К 1801 году общий долг государства составлял 408 млн. руб. При этом расходы все увеличивались, доходы же сокращались; дефицит равнялся иногда седьмой части всех доходов; мануфактурная промышленность не развивалась; дешевизна хлеба вела к разорению сельских тружеников; торговые обороты внутри страны были ничтожны; обороты внешней торговли упали со 130 до 92 млн. руб. Вместе с тем произошел значительный отток металлических денег за границу; ценность же ассигнационного рубля упала до 25 копеек. Потому-то не было никакой прочной денежной единицы: бумажные деньги и медная монета постоянно колебались в цене. И главное – денег в государственной казне вовсе не было.

В первую голову Канкрин направил усилия на борьбу с дефицитом бюджета и на создание золотого запаса, беспощадно расправлялся со взяточниками и казнокрадами. Как результат бюджет военного министерства был сокращен на 20 млн. руб., бюджет министерства финансов – на 24 млн. руб. Только за первые годы его правления расходы снизились на одну седьмую и государственная казна получила дополнительно 160 млн. руб. Неслучайно, что уже через год пребывания на министерском посту Канкрина пожаловали орденом Св. Александра Невского.

Стремясь увеличить золотой запас, Егор Францевич подчас прибегал к таким экономическим мерам, которые сам, в принципе, не одобрял. Так, в 1827 году он ввел откупную систему на винную торговлю, о чем в сердцах говорил: «Тяжело заведовать финансами, пока они основаны на доходах от пьянства». Однако именно в результате этой меры прибыль возросла с 79 до 110 млн. руб, а увеличение ввозных таможенных пошлин принесло казне еще 50 млн. руб. В то время, как, впрочем, и сегодня, протекционизм был полезен для развития слабой отечественной промышленности, хотя в дальнейшем отсутствие иностранной конкуренции могло бы принести экономике империи ощутимый вред.

Исключительное внимание Канкрин уделял горнодобывающей промышленности, доходы которой увеличились с 8 до 19 млн. руб., а добыча золота – до 1 тыс. пудов. А его «Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта Уральского, по правилам

лесной науки и доброго хозяйства» стала лучшим для того времени учебником лесоводства. При нем было создано и Алешковское лесничество, призванное сдерживать расширение Алешковских песков – крупнейшего песчаного массива в Европе.

Егора Францевича можно с полным основанием назвать и ревнителем российского просвещения. «Россия совсем не имеет располагающего средними теоретическими знаниями класса людей, которые ей крайне нужны в самых разнообразных отраслях труда», – писал он знаменитому ученому-натуралисту Александру фон Гумбольдту. И показательно, что Канкриным был основан Петербургский практический технологический институт, обустроен и расширен созданный еще Петром Великим Лесной институт, который современники так и называли – Канкринополь. По его инициативе обрели жизнь Горный институт, Горыгорецкий земледельческий институт. Он покровительствовал рисовальным школам при Академии художеств с одним из первых в Европе гальванопластическим отделением; третьей Московской гимназии; школам торгового мореходства в Петербурге и Херсоне; мореходным классам в Архангельске и в Кеми. При этом Канкрин открывал специальные классы для девушек, что было тогда существенным нововведением.

Министр дерзал перечить даже Николаю I, отказывая ему в деньгах, предназначавшихся, по его мнению, на бесплодные расходы. Но при свойственной ему бережливости никогда не жалел средств на нужды образования. «Да, батушка, я – скряга на всё, что не нужно», – любил повторять он. Дело дошло до того, что, соблюдая государственные интересы, он иногда давал пособие просителям из собственного кармана.

Канкрин организовывал обучение за границей молодых россиян, следил за последними зарубежными промышленными новинками, устраивал выставки для соревнования между фабрикантами – словом, пускал в ход все средства, чтобы дать толчок развитию русской промышленности. Он основал «Горный журнал», «Коммерческую газету»; благодаря его инициативе издавалась и «Земледельческая газета», редактором которой был назначен бывший директор Царскосельского лицея Егор Энгельгардт, хорошо знакомый с вопросами сельского хозяйства. Для того, чтобы эта газета стала общедоступной, Канкрин выделил на нее пособие из казны, так что годовая подписка обходилась в сумму менее рубля. Он также добился того, что среди корреспондентов газеты было немало крестьян, которые сообщали о своем практическом опыте в области сельского хозяйства. В этой же газете была напечатана статья Канкрина о разделении России на пояса по климату, обратившая на себя внимание ученых

Европы. А немецкий исследователь на русской службе Карл Фридрих фон Ледебур посвятил ему капитальный труд «Flora Rossica», напечатанный на средства министра. Примечательно, что Канкрин был принят в члены Парижской академии, причем на специальном заседании, посвященном этому событию, ученые мужи приветствовали его стоя.

Егору Францевичу удалось убедить Николая I пригласить в Россию фон Гумбольдта. На его путешествие в районы Урала, Рудного Алтая и Каспийского моря были ассигнованы значительные суммы, причем на каждой почтовой станции ученого натуралиста ожидала смена лошадей, а там, где того требовали условия безопасности, сопровождал и военный конвой. Результатом экспедиции явилась монография «Центральная Азия», явившаяся крупным вкладом в науку XIX века. «Вам я обязан, что этот год вследствие огромного числа идей, собранных мною на громадном пространстве, сделался важнейшим в моей жизни», – писал Гумбольдт Канкрину в 1829 году, подводя итоги своего путешествия по России. Год этот оказался важнейшим и в жизни Канкрина, ибо именно тогда император пожаловал его графским титулом. И на это событие откликнулся Гумбольдт: «Этот внешний блеск будет напоминать потомству достопамятное время, когда под Вашим руководством русские финансы процветали...», – писал он новоявленному графу. Примечательно, что на графском гербе Канкрина начертан девиз: «Labore» («Трудом»).

Николай I высоко ценил труды Канкрина и награждал его по-царски. Он удостоился ордена Св. Владимира 1-й степени, алмазных знаков к ордену Александра Невского, знаков отличия «За XXV лет беспорочной службы», «За XXXV лет беспорочной службы», орденом Белого орла (Царство Польское). В 1832 году Егор Канкрин стал кавалером высшего российского ордена – Св. Андрея Первозванного. Как значилось в наградном листе, за «управление министерством финансов, отличную благоразумную попечительность и непоколебимое рвение к благоустройству сей важной части государственного управления, за многие полезные предначертания, точное исполнение оных и бдительный надзор...». В 1834 году он получил алмазы к этому ордену. Семья Канкрина получила во владение и аренду староство Чигиринское в Киевской губернии, 50 тыс. десятин земли в Бессарабской губернии, Бальдонское поместье в Курляндии, а также сотни тысяч рублей и т. д. В 1838 году Канкрин читал лекции по финансовой науке наследнику престола Александру Николаевичу (будущему Александру II); лекции эти напечатаны в 1880 году под заглавием «Краткое обозрение российских финансов графа Е. Ф. Канкрина».

Но наиболее заметной вехой в истории России явилась предпринятая Канкриным денежная реформа 1839–1843 годов. В июне 1839

года был обнародован указ, в котором провозглашалось: «Серебряная монета впредь будет считаться главной мерой обращения. Ассигнации будут считаться впредь второстепенными знаками ценностей, и их курс против серебряной звонкой монеты один раз навсегда остается неизменным, считая рубль серебра за 3 р. 50 к. ассигнациями». Канкрин рассудил за благо учредить специальную кассу, которая выдавала желающим депозитные билеты взамен монеты, с обязательством по первому требованию вернуть серебряные деньги. Он добился того, что этот депозитный фонд стал пользоваться доверием у населения и быстро рос; когда же он достиг суммы в 100 млн. руб., то был торжественно перевезен в Петропавловскую крепость в присутствии сановников и представителей дворянства и купечества. Эта торжественная процедура знаменовала собой отказ России от бумажно-денежного обращения и установление в ней серебряного монометаллизма. Наконец, в 1843 году был издан манифест о полном уничтожении ассигнаций и замене их кредитными билетами: 596 млн. руб. ассигнациями были обменены на 170 млн. руб. кредитными билетами. Граф Модест Корф так характеризовал представленные Канкриным образцы: «Белые, синие, красные и желтые. Это настоящее загляденье, и ни одна держава в мире не имеет таких прелестных денег».

Как известно, авторитарный Николай I требовал от своих министров не столько самостоятельных действий, сколько строгого подчинения и выполнения своих приказаний. Канкрин же, являя собой пример личности яркой и самобытной, был исключением: император допускал возражения с его стороны и прислушивался к нему, прекрасно понимая, что другого такого государственного мужа ему не найти. Государь прощал Канкрину его неопрятную шинель, панталоны, заправленные в голенища сапог, шерстяной шарф, обвязанный вокруг шеи, хотя от других требовал неукоснительного соблюдения всех правил ношения военной формы. Однажды он сделал Канкрину замечание, на что тот ответил: «Ваше Величество не желает, конечно, чтобы я простудился и слег в постель; кто же тогда будет работать за меня?» Император не только смирился с его неаккуратностью в одежде, но, сам не терпя курение, разрешал Канкрину на докладах попыхивать своей пеньковой трубкой, набитой дешевым табаком.

Егор Францевич не был человеком светским: избегал официальных приемов, балов, празднеств, но был страстным любителем поэзии, музыки, архитектуры. Истый меломан, Канкрин сам играл на скрипке, писал театральные рецензии, а также повести и рассказы, которые вышли в 1844 году под общим заглавием «Фантазии слепого»; регулярно вел дневник. Его перу принадлежит и оригинальный труд «Элементы прекрасного в зодчестве» (1836).

Несмотря на затворнический образ жизни, он нередко принимал у себя литераторов – Василия Жуковского, Николая Кукольника, Петра Вяземского, Ивана Крылова, Владимира Бенедиктова – сочинившего в его честь стихотворное послание:

Правительственный сан! Огромные заботы!
Согбен под колесом полезной всем работы,
Угодничества чужд – он был во весь свой век
Советный муж везде и всюду – человек!
Иного ободрит улыбкою привета,
Другому, ждущему на свой вопрос ответа,
На иностранный лад слова произнося,
Спокойно говорит: «Нет, батушка, нельзя»...

Деятельное участие принял Канкрин в судьбе Александра Пушкина. По его ходатайству поэту были прощены числившиеся за ним долги на сумму более 135 тыс. руб., а 50 тыс. руб. пожаловано на издание его сочинений; министр определил пенсию вдове – 5 тыс. руб.; а на воспитание каждому из четырех детей – 1,5 тысяч руб. в год до вступления сыновей в Пажеский корпус, а дочерям – до замужества.

Человек завидного остроумия, он в своих высказываниях так и сыпал образами, метафорами, меткими сравнениями и сопоставлениями. По этому поводу сохранилось множество анекдотов. Рассказывают, что однажды Канкрин жаловался императору, что в одном проекте, в обсуждении которого он принимал участие, много огрехов. «Почему же ты не возражал против них во время его обсуждения?» – спросил государь. – «Ваше Величество, читали так скоро, точно охотились за бекасами: параграфы, как бекасы, летели во все стороны. Один-другой подметил и подстрелил на лету, а прочие пролетели мимо», – ответил Канкрин. Министра государственных имуществ Павла Киселёва он называл не иначе, как «министром преимуществ».

Однажды он спросил директора департамента: «По каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?» – «Да стоит, Ваше сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, физиономия суровая, рябой», – отвечал тот. – «Ах, батушка, да вы это мой портрет рисуете! Пожалуй вы и меня захотите отрешить от должности.» О себе же граф говаривал, что немец похож на капусту: чтобы она была хороша, ее нужно пересадить. В другой раз Егора Францевича спросили, почему он никогда не бывает на похоронах. Он ответил: «Человек обязан быть на похоронах только один раз: на своих собственных». Когда ему пред-

ложили написать свою автобиографию, он сказал: «Я слишком правдив, чтобы наслаждаться чувством своей правдивости».

Под конец жизни Егор Францевич часто хворал. До нас дошел диалог двух остроумцев: «Какие сегодня известия о здоровье Канкрина?» – «Самые дурные: ему гораздо лучше». Правда, что, ссылаясь на старость и болезни, он упорно просил об увольнении, прекрасно зная, что Николай I станет уговаривать его остаться. Государь об этом и слышать не хотел. «Поезжай, – сказал он Канкрину, – коли нужно, на полгода, на год, на два года; управлять за тебя будет товарищ, но в отставку ни под каким видом не выпущу.» Казалось, он и умрет на посту министра финансов, «хотя бы ему выцарапали глаза или совсем затоптали в грязь». Но болезнь усугублялась. Вот как в 1843 году описывает Канкрина Модест Корф: «Это ходячая мумия, в которой почти совсем уже угасает жизнь физическая, и остаются только слабые лишь следы и вспышки прежней интеллектуальной. Прежде всё существование его проходило в исполинский деятельности... огромной в своих результатах. Теперь заведенные часы идут кой-как, но все пружины засорились, и везде застой и остановка».

В 1844 году он всё же вынужден был уйти со своего поста. Однако и после отставки старался без дела не сидеть: продолжал работу над завершением главного своего труда «Экономика человеческого общества и финансовая наука одного бывшего министра финансов». Он умер в Павловске 9 (21) сентября 1845 года. Траурная процессия шествовала по Невскому проспекту и Адмиралтейской площади на Смоленское лютеранское кладбище, а впереди ее несли ордена на подушках двенадцать полковников. Незадолго до кончины он оставил в дневнике такую запись: «В течение всей моей жизни, в веселые и горестные дни, я стремился лишь к одной цели: делать людям добро, содействовать успехам, заимствовать полезное, распространять знания и цивилизацию. Те, кто меня знает, могут сказать, достиг ли я чего-нибудь и в какой мере»...

Еще при жизни, в 1836 году, Егору Францевичу был воздвигнут памятник в поселке Лисино-Корпус, прямо перед зданием Лесного института, его «Канкринополем». Разрушенный в советское время, он был восстановлен в 1997 году скульптором Николаем Анциферовым. А в 2003 году бюст Канкрина установлен на кронштейне фигурного профиля у парадного входа в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В честь него назван род растений из семейства астровых – канкриния, а также минерал канкринит, открытый на Урале. Так что вклад этого «сына раввина» в российскую историю и культуру поистине неоценим.

Санта Моника, Калифорния

КНИГА И СУДЬБА

Игорь Михалевич-Каплан

Поэзия перелетных птиц

100 лет русской зарубежной поэзии. Антология. Том III. Третья волна эмиграции / Под общей редакцией Гершома Киприсчи // Составление, редактирование, вступительная статья, био-библиографическая справка Владимира Батшева. – Франкфурт-на-Майне: Издательство «Литературный европеец». 2017. – 572 с.

В Германии, во Франкфурт-на-Майне, вышел в свет четырехтомник «100 лет русской зарубежной поэзии». В этих заметках мы коснемся только одного, третьего, тома – как говорится, нельзя объять необъятное*. Третья волна охватывает почти тридцать лет поэзии Русского Зарубежья в 70-х – 90-х гг. XX столетия, в основном сконцентрированной в Центральной Европе, США и Израиле.

В третий том вошли стихи ста двадцати пяти авторов, принадлежащих к различным поэтическим школам и направлениям в русской зарубежной поэзии во всем ее многообразии. Что любопытно: Москва и Ленинград (теперь Санкт-Петербург) представлены почти поровну – двадцать пять авторов, по России – семьдесят, Украина насчитывает двадцать авторов, остальные – бывшие союзные республики; сегодня шестьдесят из них, то есть половина, живет в США, более тридцати – в Европе (в основном во Франции и Германии) и остальные – в Израиле. Вот такая удивительная география, безусловно, менее экзотичная, чем у представителей первой волны эмиграции, которая докатилась и до Азии, Латинской Америки и Африки.

И сразу же хочется перейти к самому значительному поэту современного Зарубежья – ***Иосифу Бродскому*** (24 мая 1940 года, Ленинград, СССР – 28 января 1996 года, Бруклин, Нью-Йорк, США). Сегодня у Бродского есть целый ряд последователей и подражателей, которых шутя называют «бродскистами» или «Бродскими для бедных». Я вспоминаю один из забавных случаев в моей литературной жизни. В самом начале восьмидесятых я приехал в Нью-Йорк из Филадельфии, и мы с друзьями решили пойти на ланч в бруклинский ресторан «Кавказ» в районе Брайтон-Бич. Через два столика от нас сидела и оживленно беседовала по-русски компания троих мужчин. Поме-

*См. рецензию на 2-й том «Антологии» – «Вторая волна эмиграции» / В. Синкевич // НЖ, № 289, 2017.

щение было полутемное и полупустое. Двоих я узнал: это были знаменитый американский актер кино и театра русского происхождения Юл Бриннер и звезда современного балета, «невозвращенец» Михаил Барышников, фотографии которого постоянно мелькали в прессе. А вот третий человек, сидевший между ними, был мне совершенно не знаком. Когда в очередной раз подошел официант, я его тихонько спросил о третьем посетителе. Он улыбнулся, наклонился, чтобы соседи не услышали, и сказал: «Это русский поэт местного разлива – Иосиф Бродский…» Поэт «местного разлива» через лет пять стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Но в то время у меня книг Бродского не было, и я знал только несколько его прекрасных ранних стихотворений из Самиздата да кое-что от общих знакомых из «Голоса Америки» о скандальном процессе над ним в тогдашнем Ленинграде.

Я хочу привести отрывок из моего давнего интервью с Татьяной Аист, поэтом и философом, профессором-востоковедом Университета Пасифик в Калифорнии, человеком, обучавшим Иосифа Бродского китайскому языку. На мой вопрос: «Как вы относитесь к творчеству Иосифа Бродского?», она ответила следующим образом: «С моей точки зрения, творчество Бродского полностью изменило поток русской советской поэзии в 70-е, 80-е и 90-е годы. По крайней мере, на 30 лет он стал тем образцом свободы, в которой русская поэзия могла оставаться живой и развиваться, а не просто выживать под игом советской империи и говорить эзоповым языком. В самом конкретном смысле, мне кажется, что он принес силу греческой драмы и трагедии в русское стихосложение, тем самым преобразив суть лирических конфликтов, обычно выражающих временные и советские неустройства. Его же поэзия уводила нас в титанические конфликты человека со временем и Богом, памятью, обществом и культурой. С его присутствием в российской литературе советские поэты всё еще питались отблесками Серебряного века, не зная, в чем еще найти подлинную сокровищницу поэтической красоты и вдохновения. Бродский органически принес в нашу поэзию мир Греции, античности, эллинистической философии. Как, например, конфликт между временем и индивидуальным человеческим сознанием, когда мы вдруг понимаем свое одиночество и беспомощность перед лицом космических сил, выражающих себя в бесконечных политических и социальных междоусобицах. Можно подумать, что в одной из прошлых жизней он действительно был Плинием Старшим, а переродившись в советском Петербурге, ему пришлось довольствоваться положением Плиния Младшего. Органичность его образных стилистических и грамматических нововведений соединяло советскую Россию с началом новой русско-славянской культуры, которая в значительной степени была основана на греках. Итак, благодаря ему, трагедия жизни в Советском Союзе перестала быть местечковой; она достигла космического уровня вечной борьбы между Хроносом и Героем. Я хочу присоединиться к голосу тех, кто признает в Бродском поэта-стоика, осознающего, что его разум, логика и

интеллект – это единственное ‘спасение’ для человека, швыряемого судьбой из одной неприемлемой ситуации в другую, из одного конца света в другой».

Хочу привести отрывок легендарного стихотворения Бродского «Рождественский романс», ставшего классикой:

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Я думаю, что вся третья волна, всё, что было создано ею в Зарубежье, было завершением Серебряного века русской поэзии, и что Иосиф Бродский был самым ярким представителем этого конца. Поэт сумел возродить дух Серебряного века на основе традиций древнегреческой и, частично, древнеримской поэзии. Я бы назвал этот период творчества Бродского «новосеребряным» или «неосеребряным». Собственно говоря, на имени Бродского и заканчивается Серебряный век русской литературы. Бродский был не только признанным поэтом, гениальным, но и культовой фигурой – как в эмиграции, так и в России. Поэтому незримо он присутствовал и там, и здесь: там как невидимка, здесь как Нобелевский лауреат. Как говорила Анна Ахматова, в России, чтобы дождаться чего-то хорошего, нужно жить долго. С его уходом со сцены русской зарубежной культуры, освободилось место… Впрочем, это тема для отдельной статьи. Третья волна как явление еще не изучена. Всё еще впереди.

Давайте поразмыслим о сути вопроса. Как понять и принять факт, что существуют две взаимодействующие родственные ветви одного дерева русской литературы – России и Зарубежья, их обоюдная миграция, обмен на уровне языка, философских идей, литературных приемов, появления героя нового типа, взаимовлияния. Эти пересечения сюжетов, мыслей, образов пронизывают обе литературы, служат общему просвещению и внедрению духовных ценностей как части мирового культурного процесса.

Третий том можно разделить на две неравные части. К первой относятся т. н. «изгнанники», ко второй – все остальные. Иосиф Бродский, Александр Галич, Наум Коржавин, Наталья Горбаневская, Андрей Амальрик и некоторые другие, писатели мирового уровня, были изгнанниками; они оказались в эмиграции одновременно с теми, кто по доброй воле покинул родные края, не желая по тем или иным причинам участвовать в построении «социализма с человеческим лицом».

Многие деятели культуры объявляли о вынужденной эмиграции из

СССР. «Мы были изгнанниками, а не иммигрантами», – говорила жена гениального кинорежиссера Андрея Тарковского, Лариса. Да, на Западе их называли гениями, а в СССР им не давали творить – издавать книги, снимать кинофильмы, писать музыку, заниматься живописью, скульптурой; травили в прессе и загоняли в психушки, отправляли «на поселение». Но самое ужасное – их лишали родины; власть их боялась, как инфекционной болезни.

Зарубежная русскоязычная поэтическая элита пыталась и пытается «возвратиться в Россию стихами». За редким исключением, ее там не особенно ждут и почитают, но понемногу печатают время от времени, возможно, ради исторической справедливости. Составитель тома Владимир Батшев во вступительной статье довольно категорично заявляет: «По пальцам одной руки можно перечислить поэтов, которые вернулись к родным погромщикам после крушения советского коммунизма. – Но достаточно большой список тех, кто сегодня, живя на Западе, не брезгует публиковаться на т. н. исторической родине. Цинизм этих людей дошел до того, что им безразлично, где и что печатать». Несмотря на этот суровый приговор, Батшев составил потрясающий документ, издал объективное полное свидетельство того времени.

Первой волне, за редким исключением, и в голову бы не пришло создавать «единое поле» русских зарубежной и советской культур; она была резко поляризована политически и идеологически. Вторая волна может быть и хотела бы попасть в такое «поле», но к «предателям родины», как их определяли в СССР, отношение было однозначным: запретить. Лишенные гражданства эмигранты третьего потока, с ностальгией и страхом перед будущим, уезжали добровольно и без особого риска (конечно, не считая немногочисленных диссидентов; кстати, сам Владимир Батшев – бывший советский диссидент и ссыльный поселенец). Слабые обоюдные попытки построить «мосты» между российскими и зарубежными литературами, к сожалению, не привели за прошлое столетие к развитию двусторонних связей, хотя сообществ и организаций пруд пруди по обе стороны границы.

Особенно интересным примером в «Антологии» могут служить стихи, жизнь и биография удивительного, легендарного поэта, нашего современника, недавно скончавшегося ***Наума Коржавина***. Приведу ироническую строфу из его стихотворения «Что будет – будет»:

Так что ж, поэт! Вставай! Гляди!
На – курам на смех – Пи-Эйч-Ди,
Шифровщиков стихии.
На глубину бессвязных строк,
На мутных гениев поток,
Текущий из России.

…Когда писались эти строки, неожиданно по интернетовской ленте я

прочитал сообщение «Радио Свободы»: «В Соединенных Штатах 22 июня 2018 г. скончался поэт, прозаик, драматург и мемуарист Наум Коржавин. Ему было 92 года <…> Около семи лет провел в ссылках. После реабилитации печатался в московских журналах, выпустил несколько поэтических сборников, выступал в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, ряда правозащитников, что привело его к вынужденной эмиграции в 1973 году. Коржавин поселился в Бостоне...» Трудно поверить, но нашему «патриарху поэзии» шел девяносто третий год! Действительно – патриарх! Мне же казалось, что он человек без возраста, вечно молодой. О нем всегда ходили легенды.

Вспоминаю, как меня попросили представить Коржавина местной публике, когда он приехал читать стихи в Филадельфию. Я помог ему выйти на сцену, так как он уже тогда очень плохо видел (в Америке таких людей называют legally blind). Мне запомнилась одна потрясающая деталь этой встречи. На сцене перед тем, как читать стихи, он сказал: «Я поэт средний. Россия страна бóльших поэтов, поэтому быть средним – это тоже большая честь». Живя уже много лет в литературной среде, среди людей с повышенной самооценкой и самолюбием, Коржавин сделал сверхскромное заявление, которое меня сразу же покорило.

Следующая встреча с Наумом Коржавиным произошла на кафедре славистики Пенсильванского университета. Он читал лекцию на тему из области этики и эстетики. Обычно на такие встречи приходило человек семь, ну от силы десять. В тот раз на Коржавина пришло человек пятьдесят. Я был очень удивлен: поляки, украинцы, чехи, словаки, югославы... Позднее, уже в перестроечные времена, когда Коржавин приезжал в Москву, на его встречи приходила и политическая элита – от правых до левых. Он всем был интересен, его действительно уважали. Зал всегда был переполнен. Американский литературовед Ирина Панченко писала в статье «Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле» в филадельфийском журнале «Побережье» (№ 14, 2005): «Постепенно к нам приходит осознание того, что значит для русской культуры поэт и прозаик Наум Коржавин. Читателям близка его благородная идея личной ответственности каждого за всё происходящее в мире. Они разделяют его стремление к сохранности системы безусловных нравственных ценностей (честности, совестливости, порядочности, достоинства). В эпоху международного терроризма всем понятна его боль и тревога за судьбу западной цивилизации, без которой, по его словам, ‘всё, чем мы в жизни дорожим, стало бы неуместным и невозможным’». Ирина Панченко завершала свою статью строчками из стихов Наума Коржавина, кредо поэта:

Жизнь бьет меня часто. Сплеча. Сгоряча.
Но всё же я жду своего трубача.
Ведь правда не меркнет и совесть не спит.
Но годы уходят, а он – не трубит.

И старость подходит. И хватит ли сил
До смерти мечтать, чтоб трубач затрубил?
А может, самим надрываться во мгле?
Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.

В зарубежной литературе третьей волны хорошо знакомо имя большого, значительного и замечательного поэта ***Бахыта Кенжеева***. Его творчество обращает нас к возрожденному неоклассицизму. Иногда его еще называют «казахский поэт Зарубежья», так как родом он из Казахстана (а с 1980 г. жил в Канаде, затем переехал в США). Кенжеев – русский поэт эмиграции, награжденный многочисленными литературными премиями, в том числе «За заслуги перед отечественной словесностью».

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

В прошлом Кенжеев был одним из организаторов группы поэтов «Московское время», куда входил еще один участник «Антологии» – ***Алексей Цветков***.

Трехцветную память, как варежку, свяжем,
У проруби лет соберемся втроем.
Я вспомнил, что дома, в Елабуге, скажем,
Испытанный мне уготован прием.

Товарищ мой верил в стихи, как в примету,
В подкову, как всадник на полном скаку,
И ясно, что я непременно приеду,
Коль скоро не вычеркнул это строку.

Мне выдан в дорогу пятак полустертый
В конце отпереть кольцевое метро
И шесть падежей, из которых четвертый
на крестном листе распинает перо...

Особое место в Зарубежье занимал поэт, профессор-славист

Дармудского колледжа, США, ***Лев Лосев*** (1937–2009), друг и соратник Иосифа Бродского, собравший вместе с Валентиной Полухиной под одной обложкой критические материалы и публикации о Нобелевском лауреате – «Поэтика и эстетика Бродского». Он всегда был, к сожалению, в тени Бродского – необычайно скромен, человек широкой эрудиции, продлинный поэт, блестящий литературовед, эссеист, педагог. Я запомнил Лосева еще и потому, что он был единственным, в разговорах всегда избегавшим говорить о себе. В литературном творчестве он любил интеллектуальную игру, иронию, пародийность. Я помню его блестящую статью «Памяти Сьюзен Зонтаг», которую он прислал мне в «Побережье», журнал, который я тогда редактировал. Еще я навсегда запомнил строчку из его стихотворения «В гроссбух»: «Не перечесть моих потерь – стихов, приятелей, ключей, в дымину пропитых ночей…» Умер он после тяжелой болезни в Нью-Хемпшире.

...В Бостоне живет «литературная семья» – поэт, прозаик, мемуарист, эссеист, переводчик, автор более двадцати книг ***Давид Шраер-Петров*** и его сын, профессор Бостон-колледжа, ***Максим Шраер***. А жена Давида – ***Эмилия Шраер*** – профессиональная переводчица. Максим Шраер – двуязычный прозаик и поэт, автор десятка книг. Мне всегда было приятно дружить с ними и наблюдать за семейной русской литературной традицией, которую развивают они на американской земле.

В «Антологии» Давид Шраер посвятил сыну стихотворение «Третья волна»: «Мы с тобой из третьей волны / Листобой истлевшей вины / Мы с тобой из третьей волны / Ты прибой извечной весны».

В семейной перекличке у Максима есть такие строчки:

Ставить на сочинителя
Русских стихов в Америке,
Ставить на сочленителя
Судеб в пропащей метрике.

...Однажды на лекции в Университете Вилланова, на которой мне довелось присутствовать, Василий Павлович Аксенов подчеркнул, что эмигрантская литература – это литература одного поколения. В каком-то общем смысле он прав. Но перед третьей волной открылись совершенно новые перспективы и возможности, у нее появились другие задачи, в том числе и идейно-духовные, нравственные. А вот материальных забот у третьей волны было намного меньше по сравнению с первой и второй. Они не голодали, не нищенствовали, в большинстве своем владели хорошими профессиями, имели крышу над головой... Если перефразировать литературоведа Ирину Панченко, «…печатаются профессиональные писатели, поэты, философы, культурологи, литературоведы, литературные критики, переводчики, а также пишущие инженеры, программисты, врачи, педагоги, для которых литера-

турный труд является второй (а может быть, по внутренней шкале ценностей, даже первой и главной) профессией («Поём, чтоб жить, живем, чтоб петь»)».

Третьей волне повезло. Когда она появилась на Западе, здесь уже были налажены издательские дома и журналы Зарубежной России: «Грани», «Посев», «Новый Журнал», газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и «Русская мысль» (Париж) и многое, многое другое, всего не перечислишь. И самое главное: издавались книги в Анн-Арборе, Нью-Йорке, Мюнхене, Филадельфии, Париже... Третья волна, в составе которой было много представителей творческой интеллигенции, на этом, уже подготовленном поле, приступила к созданию собственных периодических изданий и книгопечатного пространства. Эмигранты организовывали новые кружки, группы любителей поэзии, издавали газеты, проводили чтения, приглашали местных и заезжих знаменитостей. Некоторые из этих творческих объединений были на высоком профессиональном уровне; лекции и встречи велись опытными филологами, критиками, переводчиками; работали на разных площадках – в клубах, на университетских кафедрах, в библиотеках и даже в кафе и ресторанах. Одна из таких подвижниц – поэт и прозаик ***Елена Литинская***, выпускница славянского отделения филологического факультета МГУ; она организовала Клуб поэзии при Бруклинской библиотеке. Хочу привести строфы из ее стихотворения «Телефонный звонок в вечность».

Я б хотела тебе позвонить. Только знать бы, куда!
В твой последний приют, где на ложе убогом покоится плоть
И сквозь щели в граните упорно растет лебеда?
Или в рай, где твоя обитает душа? Не идут поезда,
Не летят самолёты в тот край. Ты бы весточку хоть

Мне послал, хоть сигнал из того далека...

Еще один автор Антологии – ***Павел Бабич,*** сын легендарного полярника (позднее репрессированного), – ленинградец, дитя войны, семилетним переживший блокаду. Его стихи трогательные, иногда печальные, ностальгические – это воспоминания о прошлом, о России. Его конфликты глубоко трагичны, в основе их – противоречие между личными стремлениями и реальностью: «На чужом берегу у чужого огня / Ты чужими глазами рассмотришь меня». Слова точны, мысли лаконичны, поэтические образы крайне скупы. К примеру, вот такая простая метафора: «Дома на улицах, как кобели, / В заборы прячутся, как в конуру». Мотивы грусти превалируют во многих его текстах, но это не пессимистическое восприятие жизни, скорее – неприятие, непокорность судьбе. Особенно это заметно в цикле стихотворений о блокадном Ленинграде.

Виктор Фет – ученый и поэт. Мы знакомы с ним много лет, и каждый раз он удивляет своей памятью и прекрасным чтением стихов.

Я спал, и необычные виденья
Пришли ко мне. Ведь как во сне бывает?
Заговоришь нелепым языком,
Но все понятно. Пятистопным ямбом
Бред понесешь о всякой чертовщине,
Шекспировский как будто монолог
Из Гамлета, из Лира, но слова –
Не те, и вроде бы вполне похожи,
Да не о том. А смысла не ищи.

Нельзя пройти равнодушно мимо стихов парижского поэта ***Виталия Амурского***.

Журавли не поют. Журавли улетают без песен,
Только кроны деревьев качают ветра-звонари,
А в сургучные тучи впечатал неведомый перстень
То ли тайную вязь, то ли просто узоры зари.

Да и сам я, возможно, тем перстнем особым отмечен,
Если в шорохе листьев мне слышится давний романс
И, славянскую грусть разбавляя французскою речью,
Обнимает по-братски меня Иль-де-Франс.

Виталий Амурский, приехав в Париж в 1973 году, посвятил этому чудо-городу много теплых и нежных строк. Но часто в подтекстах или присутствует или подразумевается и Россия. Так уж устроена душа поэта.

Ноябрь. В России выпал первый снег.
Ну, что сказать о нем в парижском гаме?
Давай закурим и о том не будем,
Не будем – о парижском сплине,
О непонятной русской ностальгии...

Непонятная «русская ностальгия» в разные исторические времена проявлялась по-разному. Сложились легенды, что первая волна «сидела на чемоданах» и ждала возвращения в Россию, а вторая волна мечтала «вернуться стихами», зная, что пути на родину отрезаны. А вот третья волна, похоже, справляется с чувством ностальгии. В каком-то смысле и потому, что появилась возможность, при желании, проехать маршрутом «туда и обратно», уже не говоря о телевидении, интернете, «Скайпе» и другой коммуникационной технике. Тем не менее, судьба эмигрантского поэта всегда сложна и непредсказуема. И часто за видимым благополучием, с фотографии на задней сто-

роне обложки изданной где-нибудь в Париже книги на нас смотрит уставший, доброжелательный человек, сердце которого пульсирует французской русской поэзией.

Вспомним еще об одном парижанине – знаменитом поэте той жестокой эпохи ***Александре Галиче*** (1918–1977) – русском поэте, сценаристе, драматурге, прозаике, авторе и исполнителе собственных песен, члене политической организации Зарубежья НТС. В России он был запрещен; умер при загадочных обстоятельствах – на этот счет есть разные версии и мнения. Его биография настолько известна, что я просто приведу отрывок из его стихотворения «А было недавно, а было давно…», впервые прозвучавшего в Париже на концерте в зале Плейель в 1974 году. В прижизненные сборники автора оно не включалось.

Ну, ладно, и пусть ни кола, ни двора
И это Париж – не Москва,
Ты в окна гляди, как глядят в зеркала,
И слушай шаги, как слова.

Я кланяюсь низко сумевшим сберечь,
Ронявшим легко, невзначай,
Простые слова расставаний и встреч:
«О, здравствуй, мой друг!», «О, прощай!»

Вы их сохранили, вы сберегли,
Вы их пронесли сквозь года!..
И снова уходят в туман корабли
И плачут во тьме поезда…

И в наших речах не звенит серебро,
И путь наш всё так же суров.
Мы помним слова «Благодать» и «Добро»
И строчки всё тех же стихов.

Поклонимся ж низко парижской родне,
Нью-йоркской, немецкой, английской родне
И скажем: «Спасибо, друзья!
Вы русскую речь закалили в огне,
В таком нестерпимом и жарком огне,
Что жарче придумать нельзя!»

И нам её вместе хранить и беречь,
Лелеять родные слова.
А там, где жива наша русская речь
Там – вечно – Россия жива.

Вспомним и еще одну поэтессу-парижанку – ***Наталью Горбаневскую*** (1936–2013), переводчицу, правозащитника, участницу диссидентского движения в СССР. Это она была на знаменитой демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. Горбаневская – автор полутора десятков книг стихотворений, переводчик с польского, чешского, словацкого, французского.

Поди усни в такую ночь,
в такую темь, в такую звень,
когда срывает ветром прочь
гнездо и птицу, листву и сень…
……
как ломким сучьям и как листве
за горизонт, за косогор,
где всё иное: и тень, и свет,
и крик, и шёпот, и разговор…

Перечислить поименно и остановиться на творчестве всех поэтов третьей волны Русского Зарубежья, вошедших в «Антологию», нет возможности. Юз Алешковский, Ина Близнецова, Дмитрий Бобышев, Александр Вольпин-Есенин, Юрий Кублановский... – россыпь имен, собранных под одной обложкой. Каждый писатель уникален по-своему, это как бы отдельная планета. Для того и была издана эта книга, где упомянуты все значительные авторы.

Есть к составителям несколько замечаний. Прежде всего – хотелось бы расширенных биографий всех участников. Не упомянуты почему-то и имена Марины Гарбер и Гари Лайта (США), хронологически попадающих в эмиграцию третьей волны, – двух прекрасных поэтов, представителей младшего ее поколения.

Есть основная, «материнская» ветвь русской литературы – та, что создана в России и питается классическими гуманистическими традициями. Есть литература на русском языке, созданная в 70-х – 90-х гг. XX столетия в разных странах – Германии, Франции, Австралии, Болгарии, Финляндии, Канаде, Израиле, Америке... И есть совсем «новая» литература, созданная теми, кто родился на Западе или приехал сюда в юном возрасте, – литература, богатая современными идеями, философией, новым пониманием гуманизма и глобализма – без религиозных, национальных и политических регламентаций.

В идеале, о каждом из авторов «Антологии» нужно писать исследования, литературоведческие статьи и рецензии, как минимум – брать интервью. Ибо в литературе всегда нужны и важны новые творческие имена, своими текстами определяющие сам процесс ее развития. На сегодняшний день более тридцати миллионов представителей русскоязычной многонациональной диаспоры проживает практически во всех странах мира. Я совершенно

уверен, что среди этих миллионов уже родились талантливые новые поэты, художники, музыканты, ученые…

Русские писатели всегда остро чувствовали свою гражданскую позицию и ответственность перед Россией. Марк Раев (1923–2008), профессор русской кафедры Колумбийского университета и куратор Бахметьевского архива в Нью-Йорке, писал: «Революция и Гражданская война в буквальном и переносном смысле раскололи Россию надвое. Одна ее часть утратила свое исконное имя – Россия – и стала называться РСФСР, а затем СССР. Другая, не признавшая РСФСР и бежавшая из нее, образовала Россию за рубежом – Русское Зарубежье». «Статус беженца – вечный. / Возраст – тысячи лет. / Путь сквозь мир бесконечный. / Нам – нигде места нет», – написала поэтесса Надежда Банчик («Статус беженца»). Верно сказано о нашей цивилизации и о месте в ней эмиграции и эмигрантов. Давайте же сохранять культуру для будущих поколений – нашу литературу как часть процесса мирового прогресса. И поблагодарим всех, кто трудился над этой «Антологией» за прекрасно проделанную сложнейшую работу. И много раз будем повторять в назидание честолюбию слова поэта второй волны эмиграции – Ивана Елагина:

Как доходит до славы – мы слабы.
Часто слава бывает бедой.
Да, конечно, не худо бы славы,
Да не хочется славы худой.

Нью-Йорк

БИБЛИОГРАФИЯ

Леонид Спивак. Река Теодора. – М.: Из-во «Москва», 2018.

После двух президентских каденций Теодор Рузвельт оставил Белый дом в 1909 году, но недовольный политикой действующего президента США Уильяма Тафта, решил вернуться в Овальный кабинет. 14 октября 1912 года, в рамках президентской избирательной кампании, Рузвельт приезжает в Милуоки (штат Висконсин), готовясь выступить с очередной программной речью. К этой поездке готовился и некий Джон Шрэнк, анархист и бывший бармен, поставивший себе целью не допустить Рузвельта на третий президентский срок. Психически больной Шрэнк подстерегает президента у отеля «Гиппатрик» и стреляет ему в грудь с расстояния трех шагов. На следующий день заголовок на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» четко описывал несостоявшееся убийство экс-президента: *Maniac in Milwaukee shoots Col. Roosevelt: he ignores wound, speak an hour, goes to hospital* («Маньяк из Милуоки выстрелил в полковника Рузвельта: тот проигнорировал ранение, держал речь в течение часа, а затем отправился в госпиталь»).

Все так и было, за исключением хронометража: пуля пробила футляр очков, 50-страничную рукопись с запланированной речью и вошла в грудь кандидата в президенты на 76 миллиметров. Рузвельт достал платок, прокашлялся в него, отметил, как опытный охотник, что легкое не пробито, поскольку кровь не идет горлом, и разразился полуторачасовым спичем. Он начал с фразы, ставшей исторической: «Дамы и господа! Не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли, но Лося так просто не убьешь». Лось был символом Прогрессивной партии, которую Рузвельт организовал и представлял в то время. Девяносто минут кандидат от партии Лося говорил о будущем Америки, при этом кровавое пятно расплывалось по его рубашке, что производило на слушателей впечатление неизмеримо весомей, нежели сама речь.

Понятно, так способен поступать лишь человек с железными нервами и завидным самообладанием. Вышедшая в год 160-летия со дня рождения Теодора Рузвельта книга бостонского писателя Леонида Спивака как раз об этом: насколько несгибаемым, мужественным человеком, непреклонным политиком был 26-й по счету президент США. Эта книга одновременно выявляет основы американского характера – покорителей фронтира, готовых ко всему и на все, и не готовых поступиться ни на йоту своими принципами и свободой. Здесь можно проследить и удивительную, неожиданную, на первый взгляд, связь между двумя уроженцами города Нью-Йорк[1], единственными ньюйоркцами среди всех президентов США: 26-м президентом Теодором Рузвельтом (родился на манхэттенской Ист 20-й улице) и 45-м президентом Дональдом Трампом (родился в нью-йоркском районе Квинс). Но об этом позже, при том, что в «Реке Теодора» про Трампа не найти ни слова.

Теодор Рузвельт родился 27 октября 1858 года в семье филантропа и

оптового торговца импортным стеклом нидерландского происхождения. Он ведет родословную от голландских поселенцев, с 1644 года начавших осваивать форт Нью-Амстердам (в 1664 году переназванный англичанами в город Нью-Йорк). Внуки родоначальника династии Клаэса Мартенсзена ван Розенвелта – Йоханнес и Якобус – стали основателями двух ветвей рода, подаривших Америке двух президентов: 26-го президента Теодора Рузвельта и 32-го президента Франклина Делано Рузвельта, шестиюродного племянника Теодора (а Элеонор, жена 32-го президента, являлась племянницей президента 26-го, и здесь главное – не запутаться в непростых родственных связях этой семьи).

Имя Теодора Рузвельта носят авианосец и национальный парк; согласно февральскому опросу «Нью-Йорк Таймс», Теодор занимает четвертое место, уже который год, в пятерке выдающихся американских президентов: Авраам Линкольн (годы президентства: 1861–1865), Джордж Вашингтон (1789–1797), Франклин Рузвельт (1933–1945), Теодор Рузвельт (1901–1909) и Томас Джефферсон (1801–1809). На знаменитой на весь мир Горе Рашмор в Южной Дакоте Теодора Рузвельта легко узнать по овальным очкам среди высеченных в гранитной породе 18-ти метровых бюстов четырех великих президентов Америки: Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Добавлю, что 26-й президент стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию (1906 год, Премия мира за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира), а в популярной сегодня компьютерной игре *Sid Meier's Civilization VI* именно Теодор Рузвельт представляет цивилизацию «Америка».

Ничего подобного нельзя было предсказать, говоря о близоруком, болезненном и замкнутом мальчике Тедди, который школьные годы провел с домашними учителями, страдая от нескончаемых, жесточайших приступов астмы. Первые главы «Реки Теодора» посвящены становлению волевого, бойцовского характера Рузвельта, формированию личности бескомпромиссной, способной принимать судьбоносные решения сперва в собственной биографии, а затем и в маштабах страны.

По окончании престижного Гарварда в 1880 году, Теодор принимает решение пойти в политику. Занятия боксом, изнуряющие походы в горы и многочасовые прогулки в дикие леса поправили здоровье и, развивая невероятную работоспособность, подготовили к физическим и психическим нагрузкам. Казалось, что еще нужно, коли есть молодость, любимая красавица-жена (дочь одного из крупнейших бостонских банкиров), обеспеченное настоящее и обнадеживающие перспективы.

В 1881 году Рузвельт баллотируется на выборах в Палату представителей штата от Республиканской партии. В его представлении, политическая деятельность – это забота о настоящем и будущем родной страны, борьба за демократические иделы, отстаивание либеральных ценностей. Слова «честь

и совесть» были для него никак не популистскими знаками в проводимой избирательной кампании. Надо сказать, что со всем этим замечательным набором принципов молодой Рузвельт смотрелся на общеполитическом нью-йоркском фоне белой вороной. В те годы коррупция пропитала насквозь политический истеблишмент и города, и штата. Все решалось по воле всемогущей организации Таммани Холл, которая определяла, кто и где будет занимать те или иные политические места.

«Введенная боссом Таммани Уильямом Твидом система ‘откатов’ позволяла наживаться на всем: выдаче лицензий, торговле земельными участками, получении подрядов, завышении сметы работ, монополизации общественного транспорта. Самым громким из скандалов стал долгострой окружного суда в нижнем Манхэттене. В общей сложности многолетнее возведение здания суда обошлось налогоплательщикам почти вдвое больше, чем покупка Аляски у России. Ньюйоркцы прозвали мраморный дворец ‘Твидовым судом’. Молодой Рузвельт явно желал сражаться с ветряными мельницами...»[2] Рузвельт начинает и выигрывает. Он попадает в Олбани, столицу штата Нью-Йорк, где проходят его первые политуниверситеты. «Самый молодой по возрасту представитель Города большого яблока не вполне вписывался в антураж штатной легислатуры. ‘Зелен, как трава’, – самый снисходительный из эпитетов, которыми наградили Тедди старожилы Олбани. Его улыбка с выпиравшими передними зубами, рыжие бакенбарды на британский манер, дорогая трость, модно скроенный узкий сюртук, часы с золотой цепочкой и пенсне на бархатном шнурке вызывали насмешки. К тому же этот денди, ‘Оскар Уайльд’ (последнее здесь звучало почти как оскорбление), не обладал мощным глубоким голосом и во время реплик с места зачастую срывался на фальцет. Партийным функционерам ‘малыш’ представлялся вполне управляемой фигурой.»

Все 126 членов Палаты представителей штата просчитались, предполагая, что молодой политик будет играть по принятым правилам, участвовать в закулисных сделках и не станет никому мешать. Буквально с первых же дней новичок выступает на одной из сессий Палаты с обвинениями в коррупционных связях финансиста Джея Гулда, одного из первых воротил страны. В дальнейшем политическая деятельность Теодора Рузвельта станет чередой противостояний между политиком и политическим «болотом»-истеблишментом, коррупционерами, криминальным миром, продажным судом, проворовавшейся таможней, всемогущими трестами и консервативными изоляционистами.

На заре своей политической карьеры он получает кличку «забияки Теодора», и она преследует его во всех ипостасях: и когда он будет назначен шефом полиции Нью-Йорка, и когда получит должность заместителя военно-морского министра в администрации президента У. Мак-Кинли, и когда в 1898 году во время Испано-американской войны примет участие в военных

действиях на Кубе, командуя 1-м добровольческим кавалерийским полком США «Мужественные всадники» – за проявленную храбрость он будет представлен к награждению Медалью Почета (Рузвельт стал первым и единственным президентом, удостоенным высшей военной награды США).

Героический вояка и эрудит-интеллектуал с потрясающей памятью; набиравшийся дипломатического опыта практик и автор ряда исторических и политических книг, начиная с четырехтомного труда «Завоевание Запада» (*The Winning of the West*), ставшего бестселлером и принесшего автору всемирную известность. Именно такого Рузвельта, еще и начальника нью-йоркской полиции, можно наблюдать в телесериале *Alienist*: на породистой лошади статный офицер, в очках и по-лошадиному же улыбающийся крупными зубами, с пристальным взглядом и взрывным характером.

В 1899 году Рузвельт становится губернатором Нью-Йорка, а на президентских выборах 1900 года Мак-Кинли предлагает ему должность вице-президента, в которой Рузвельт пробудет всего полгода. 14 сентября 1901 года он занимает освободившееся после убийства Мак-Кинли президентское кресло и становится самым молодым, в 42 года и 10 месяцев, президентом за всю историю США. Это ему принадлежат фразы: «политика большой дубинки» и «мировой полицейский». Это Рузвельт, отказавшись от политики изоляционизма, приведет Америку к статусу мировой империалистической державы.

«Политические взгляды Теодора Рузвельта считались радикальными для своего времени. У него было устойчивое ощущение родового единства англосаксонской цивилизации по обе стороны Атлантики. При этом Рузвельт верил, что Соединенным Штатам предназначена роль мирового лидера – то, что сегодня выглядит само собой разумеющимся, в конце XIX столетия было далеко не очевидным.» Но все это ожидает его впереди. 14 февраля 1884 года Теодор в один день теряет мать, скончавшуюся от тифозной лихорадки, и любимую жену Элис, которая отошла в лучший мир на руках мужа, умерев от почечного осложнения после родов. Всего за два дня до этого счастливый молодой отец принимал поздравления в связи с рождением дочери.

Этот день подводит черту подо всей предыдущей жизнью Рузвельта. 26-летний молодой человек бросает политику, родной Нью-Йорк, уезжает в далекую от цивилизации Дакоту, где становится отчаянным ковбоем.

«Сам Рузвельт знал только один способ преодолевать жизненные катаклизмы: тяжелая работа и физические лишения. ‘Черная меланхолия редко настигает всадника, который мчится галопом’, – однажды пояснил он... Местные жители прозвали его ‘четырехглазым’ – из-за золоченого пенсне. Как писал Рузвельт, очки в здешних краях считались признаком ‘порочной натуры’. Однажды загорелые ковбои чуть не попадали с лошадей, услышав обращение Рузвельта: ‘Джентльмены, не будете ли так любезны оказать мне некую услугу?’» Он начинает новую жизнь по известному игровому принципу: делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас! Теодор заработал ува-

жение среди местных жителей и репутацию «отчаянного» в среде местных головорезов. Он доказал, что его слова никогда не расходятся с делом. Через два года, проведенных в Дакоте, пройдя сквозь убивающие жару и стужу, проводя сутками в седле и сводя счеты с местным бандитами, научившись забрасывать лассо и клеймить скот, стрелять из разного вида оружия и переходить вброд речные пороги, познав тяготы и опасности ковбойской жизни, – это уже совершенно другой человек, под его натиском и энергией отступает даже астма. Из хилого мальчика Тедди, родители которого опасались, что ребенок не выживет, к тридцати годам сформировался крепкий, уверенный в своих силах мужчина, знающий себе цену и готовый отстаивать ценности, которые он считал смыслообразующими как для себя, так и для американской нации. Когда в 1901 году Рузвельт въезжает в Белый дом, его завистники и противники, негодуя, воскликнут: «Чертов ковбой стал президентом».

«Река Теодора» скомпонована любопытным образом: в хронологическом порядке следующие друг за другом главы биографии Рузвельта перемежаются захватывающим травелогом о невероятно рискованной экспедиции Рузвельта в сельву Амазонки. Все фрагменты биографии 26-го президента США постоянно сопоставляются в книге с хроникой опаснейшего путешествия 55-летнего Теодора в Бразилию, – и читатель уже не сомневается: благодаря тому, что характер этого человека закалялся от первого дня до последнего, он и добился таких выдающихся, олимпийских результатов в своей судьбе. «Рузвельт говорил, что с американского Запада начиналась ‘романтика его жизни’. Когда три десятилетия спустя бразильское правительство предложило ему возглавить весьма непростую экспедицию в джунгли Амазонки, Теодор даже не раздумывал. Нанести на карту мира новые территории, пройти никем доселе не изведанным путем – вряд ли существовал больший соблазн для бывшего дакотского ковбоя. ‘Это мой последний шанс побыть мальчишкой’, – пояснил он близким.»

Многомесячное путешествие оказалось зверски изматывающим и едва не стоило 55-летнему экс-президенту жизни. Экспедиция спускалась на каноэ по реке, которая не была еще нанесена на карту, по пути попадались многочисленные пороги и водопады, лодки разбивались в щепы, несколько членов экспедиции погибли. Кроме опасностей, обычно подстерегающих путешественников в подобных местах в виде ядовитых змей, хищников, смертельных клещей и разносящих болезни комаров и гнуса, группу преследовали воинственные местные племена, которые сталкивались с белыми людьми впервые.

На одном из порогов Рузвельт поранил себе ногу, чего бразильская сельва не прощает. Появились первые признаки гангрены, из прорези в голени врач выкачивает около литра гноя. Экс-президент в результате выжил, но пять лет спустя тромб во время сна оторвется в ноге, и Теодор Рузвельт скончается, не просыпаясь, в собственной постели. Так бразильская сельва

напомнит о себе в последний раз. А река Рио да Дувида, по которой совершала свой поход эспедиция Рузвельта, в дальнейшем будет переименована в его честь – река Теодора.

Похоже, отправляясь в бразильское путешествие, Рузвельт представлял его не более опасным, чем свою поездку в Африку сразу после окончания второго президентского срока в 1909 году. «За одиннадцать месяцев экспедиция прошла более 1000 миль по территории современных Кении, Уганды, Конго, Судана и доставила в музеи США одиннадцать тысяч различных образцов флоры и фауны (сотрудникам Смитсоновского института в Вашингтоне потребовалось восемь лет, чтобы каталогизировать все экспонаты). Пойманную Рузвельтом и описанную им желтую луговую мышь назвали в честь президента. Опубликованными записками Теодора Рузвельта зачитывался американский юноша Эрнест Хемингуэй, мечтавший повторить его подвиги. Впоследствии Хемингуэй отыщет в Кении проводника экс-президента Ф. Персиваля и сделает его одним из персонажей своей книги ‘Зеленые холмы Африки’.»

В 2017 году экспедиционное прошлое «великого белого мужчины» Теодора Рузвельта откликнулось ему во время агрессивной кампании американских леволибералов по сносу исторических памятников. Все началось с постаментов конфедерату генералу Ли (ясное дело, паразитирующему угнетателю рабов на плантациях и рабовладельцу, хотя мифы о «расисте и рабовладельце» Роберте Эдварде Ли никоим образом не соответствуют исторической правде), после чего вандалы перешли к памятникам «бесчеловечного колонизатора» Колумба. И уже не пожалели сил на осквернение монументов Теодору Рузвельту. Ночью 26 октября 2017 года был залит ярко-красной краской пьедестал 10-футовой статуи легендарного политика, с 1939 года стоящей перед входом в Американский музей естественной истории в Манхэттене. Понятно, что за 11 тысяч невинно убиенных представителей африканской флоры и фауны, охотника и орнитолога («‘Я начинал свою жизнь как зоолог’, – писал в «Автобиографии» Рузвельт. Мальчишкой он мог часами прятаться в траве, наблюдая за повадками птиц...») ждала неизбежная расплата потомков в лице лучших представителей демократической партии США. Будь Рузвельт жив сегодня, врагов у него было бы полстраны.

И в этом, да и во многом другом, они похожи – уроженцы города Нью-Йорк, президенты США Теодор Рузвельт и Дональд Трамп. Если в этом плане рассматривать перспективы Трампа, то приходишь к выводу, что у него есть неплохие шансы войти в историю как победитель и президент, ставивший перед собой нередко не популярные в обществе задачи и их решавший. «Критика сыпалась на него и справа, и слева. Одни считали его зарвавшимся радикальным реформатором, другие – честолюбцем, позером и популистом», – пишет Л. Спивак не о Трампе. И это не о Трампе, хотя до чего же нам, живущим в XXI веке, означенный в книге типаж хорошо знаком: «В

нем сосуществовали полные противоположности: он был одновременно и реалистом, и романтиком в изрядных дозах... он также был как горячим националистом, так и отчаянным моралистом. Ему приписывали гипертрофированное тщеславие и жажду власти, обвиняли в непомерном честолюбии и эгоцентризме. Язвительный Марк Твен, к концу жизни ставший самым желчным критиком американской политической системы, писал: ‘Мистер Рузвельт – это Том Сойер мира политики XX века, постоянно важничающий, всегда ловящий возможность покрасоваться; в его буйной фантазии Великая Республика – это большой цирк Барнума, где он на манеже, а зрители – весь мир’…»

«Теодор Рузвельт действительно во всем стремился быть первым. Острая на язык старшая дочь президента Элис однажды пошутила, что отец не любит ходить на похороны и свадьбы, потому что не может быть ни покойником на похоронах, ни невестой на свадьбе... За семь с половиной лет, проведенных в Белом доме, Теодор издал 1081 президентский указ. Для сравнения: двадцать пять его предшественников на этом посту издали за сто с лишним лет 1259 таких указов... Позднее Теодор Рузвельт издаст указ, запрещающий анархистам и другим радикалам въезд в страну...» И так далее. Сходство вплоть до, представьте себе, почти родственного отношения к евреям, не столь часто встречающегося среди американских президентов. «Летом 1906 года черносотенцы из ‘Союза русского народа’ организовали убийство члена 1-й Думы от партии кадетов профессора М. Герценштейна. Убийц судили, но Николай II их помиловал. В беседе с руководителем одного из отделений ‘Союза русского народа’ графом Коновницыным он говорил <…>: ‘Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбам дорогого мне “Союза русского народа”’. В конце того же 1906 года Теодор Рузвельт, предложив О. Стросу войти в правительство, сказал: ‘Я высоко ценю Ваш характер, Ваши суждения и способности, и именно по этим причинам я хочу, чтобы Вы стали членом моего кабинета. Но есть и еще одна причина: я хочу показать России и некоторым другим государствам, что мы думаем о евреях в нашей стране’».

Вообще, взаимоотношения между США эпохи Рузвельта и царской Россией – особые страницы в «Реке Теодора». Понятно, что всё, касающееся Портсмутского договора и последовавшей Нобелевской премии, биографы Рузвельта освещают с особой тщательностью. Уже в 1916 году историк Чарльз Вошбёрн (Ch. Washburn) в книге *Theodore Roosevelt. The Logic of His Career* оправдывал каждое действие, решение американского президента и восхищался им, а исследователь Сэмюэл Хэйс (S. Hays) в труде *Conservation and the Gospel of Efficiency. The Progressive Conservation Movement, 1890–1920* объявляет Рузвельта выразителем «народных чаяний».

Л. Спивак расставляет четкие акценты в катастрофических для России взаимоотношениях с Японией в начале XX века. Рузвельт, взявший на себя

роль посредника в достижении Портсмутского мира, проявил уникальные качества политика и дипломата, который твердо идет к заявленной цели. Переговоры продолжались больше месяца и несколько раз находились под угрозой срыва. «Царская Россия представлялась ему (Рузвельту. – *Г. К.*) страной мрачного деспотического режима, отмеченного византийским коварством. ‘Россия в течение ряда лет обращалась с США так же дурно, как с Англией, и почти так же дурно, как с Японией. Ее дипломаты лгали нам с бесстыдной и презрительной наглостью и с циничным равнодушием показывали свое намерение организовать Китай против нас’, – писал Рузвельт своему близкому другу на дипломатической службе.» Не правда ли, многое из сегодняшних реалий напоминает? Джордж Моури (G. Mowry), исследуя в книге *Th. Roosevelt and the Progressive Movement* программу Национальной прогрессивной партии, пишет о том, что она предвосхитила «Новый курс» Ф. Рузвельта; при этом Ричард Хофстадтер (R. Hofstadter) предлагает в своей работе *Anti-Intellectualism in American Life* обратиться к философии и опыту Рузвельта для решения проблем, вставших перед американским капитализмом в послевоенные годы XX века, канонизируя Рузвельта как «первого интеллектуала в политике».

Параллелей с нынешним днем в «Реке Теодора» масса, и здесь места не хватит эти фрагменты цитировать и сопровождать комментариями. Остается только отдать должное самой компоновке монографии, поскольку уложиться в двести страниц, говоря о Рузвельте, его жизни и деяниях, – непростая задача. Сам автор это прекрасно понимает: «Жизнь ‘Короля Теодора’ была столь насыщена событиями, что историки зачастую не берутся писать его биографию целиком, а ограничиваются отдельными периодами жизни: ‘Молодость Рузвельта’, ‘Президентство Рузвельта’, ‘После Белого дома’ и т. д.»

В завершение остановлюсь на непосредственно авторском письме, мастерстве прозаической составляющей этой книги. В ней практически нет ретардаций, а те, что встречаются, оставляют впечатление прекрасно написанных пастишей на прозу Фолкнера, Тургенева или Пришвина. «Черные, насыщенные электричеством тучи вновь закрыли клонившееся к закату солнце. Мгновение назад атмосфера над рекой Сомнения была спокойна – даже более чем спокойна: тяжелое состояние тропической парной. Монотонное пение бесчисленных цикад умолкло как по команде. Ветер разметал белесые клубы пара – этой нескончаемой обволакивающей горячей ваты – и опрокинул весь мир водным потопом. Посреди бушующей стихии Теодор Рузвельт читал под тентом ‘Закат и падение Римской империи’ Э.Гиббона и находил много сходства между нравами древнего Рима и современного западного общества.» Точные, энергетически емкие картины, выхваченные пристальным писательским взглядом, добавляют импульс повествованию: «1 января 1880 года семилетняя дочь Лессепса под звуки оркестра вынула первую лопатку грунта. В воздух взлетели пробки от шам-

панского. Затем были парад и фейерверк. Супруга виконта мадам де Лессепс в тот день немного обгорела на солнце». Такие «мелочи» и придают словесности изящность, разнообразя информативную составляющую беллетристики. Судьба главного героя «Реки Теодора» вполне укладывается в формулу «человек выше его обстоятельств» и захватывает едва ли не детективным сюжетом.

Нельзя пройти мимо фабульных разрывов в книге, характерных для приключенческой литературы и «романов ужасов». Так, описывая тяготы экспедиции в Бразилию, Л. Спивак касается взаимоотношений между участниками этого многомесячного, тяжелого путешествия: «В один из дней офицеры экспедиции обнаружили исчезновение ценнейшего из грузов: пятнадцати армейских пайков. Каждый из таких пайков был рассчитан на питание четырех человек в течение трех дней. Подозрение пало на Жулио де Лиму, самого крепкого и выносливого из ‘комарадас’. Тот отличался буйным нравом и часто вступал в конфликт с другими гребцами. К тому же он менее других членов экспедиции терял в весе. Полковник Рондон дал офицерам секретный приказ следить за Лимой...» Был ли Лима вором или подозрение пало на него без каких-либо оснований – об этом автор сообщит страниц через двадцать-тридцать, держа тем самым читателя в напряжении и не давая ему расслабиться.

Л. Спивак приводит голландскую пословицу, которую Рузвельт-младший слышал от родителей: «Если ты увидел церковь и конюшню, это еще не значит, что ты уже приехал». Применительно к «Реке Теодора» следует однозначно заметить, что дойдя до последней страницы книги, нельзя быть уверенным, что на этом ты с ней распрощался. Сказ о Рузвельте выводит за границы написанного, к размышлениям о сегодняшнем дне Америки и нынешнем ее президенте, о современном мировом порядке и умении во всем отстаивать интересы собственной страны лучшим образом. В книге приводятся слова немецкого историка Рагнхильда Фибига фон Хазе, который писал о Теодоре Рузвельте: «Благодаря личной целостности, жизненной силе, энергии, политической близости к реальности, знанию мира и дальновидности, он обладал харизмой, которая перекрывала его слабости и сделала одним из популярнейших президентов США. В историческом сознании он представляет восхождение Америки к статусу мировой державы».

Для своей будущей кампании 2020 года президент США Дональд Трамп придумал слоган *Keep America Great!* – «Сохраним Америку великой!» У Истории нет окончания, вернее, мы о нем не узнаем (забудем Фрэнсиса Фукуяму), и пока История длится, одни персонажи, как эстафетную палочку, передают реализованное и накопленное другим, не обязательно в следующем поколении, и события, ставшие чему-то причиной, впадают в другие события, как река впадает в море или океан. Книга Леонида Спивака дает возможность ощутить этот неослабевающий пульс истории США – страны, в которой таким

героическим, самобытным людям, как Теодор Рузвельт, не только есть место, но и отведена особая миссия – быть действенным примером для потомков.

Геннадий Кацов

---

1. Считаются ньюйоркцами еще трое американских президентов, но в отличие от Т. Рузвельта и Д. Трампа, они родились в штате Нью-Йорк: 8-й президент США Мартин ван Бурен (Киндерхук), 13-й президент США Миллард Филлмор (Саммерхилл) и 32-й президент США Франклин Рузвельт (Гайд Парк, шт. Нью-Йорк).

2. Приведенные здесь и далее цитаты – из книги Л. Спивака «Река Теодора».

Ирина Обухова-Зелиньская. К. И. Чуковский и Ю. П. Анненков: «Несмотря на разлучающее нас расстояние и на истекшие годы»: Из архивных сокровищ. – М.: Издательство «МИК», 2017. – 144 с.

В свое время по академическим кругам гуляла шутка: «Пушкину повезло, что через полвека после него родился Томашевский». Речь шла о Борисе Львовиче Томашевском, верном хранителе наследия великого поэта в Пушкинском Доме. То же самое можно сказать в адрес замечательного художника, оформителя фильмов и спектаклей, блистательного иллюстратора книг и прекрасного прозаика Юрия Павловича Анненкова. Он умер в возрасте 85 лет в 1974 г. в Париже, ровно полвека проведя в эмиграции. И очень многого мы бы о нем не узнали, если б не исследовательница его творчества Ирина Обухова-Зелиньская.

Она организовала Общество друзей Анненкова, с ее предисловиями впервые на русском языке в московском издательстве «МИК» вышли книги этого замечательного художника «Одевая кинозвезд» и «Макс Офюльс», а также «Повесть о пустяках» Анненкова, которую он издал под псевдонимом «Борис Темирязев». И как не упомянуть бесчисленные статьи Обуховой-Зелиньской и выступления на международных конференциях!

И вот – новая работа. «Из архивных сокровищ» – публикация переписки великого литературоведа и сказочника с блистательным художником, прожившим большую часть жизни в эмиграции. Анненков и Чуковский были соседями в финском поселке Куоккала, недалеко от Санкт-Петербурга. Они очень дружили, Юрий Павлович рассыпал свои бесчисленные шаржи в знаменитом домашнем альбоме Корнея Ивановича «Чукоккала». Во время первой русской революции Чуковский привлекал Анненкова к сотрудничеству в сатирических журналах, за публикацию в которых даже оказывался в полицейских участках.

После революции художник писал портреты победивших вождей, продолжал оформлять книги. Венцом идиотизма народившейся советской цензуры был запрет издания «Крокодила» Чуковского с рисунками Анненкова. Правда, другое их совместное произведение – «Мойдодыр» – все же обрело миллионы детских, да и взрослых, читателей.

В 1924 году Анненков уехал в Венецию на Всемирную выставку и не вернулся. Дальше был Париж, и бесчисленные книги, фильмы и спектакли, оформленные этим блистательным мастером. А также несметное количество картин и графики – работал Юрий Павлович беспрерывно.

В начале 60-х, когда это стало возможно и исчез страх письмом из-за кордона отправить адресата за колючую проволоку, Анненков и Чуковский возобновили переписку. Послания эти и представлены в книге. Перед нами – огромное полотно литературных страстей XX века. И споры по поводу оформления детских книг Чуковского, и малоприятная история публикации Алексеем Толстым личного письма Корнея Ивановича, вызвавшая большой скандал в советской писательской среде... Взявший в руки этот небольшой сборник узнает об обстоятельствах появления на свет в 1922 г. альбома Анненкова «Портреты», где художник опубликовал ставшие знаменитыми впоследствии чеканные изображения Ахматовой, Пастернака, Ходасевича.

В 1961, после долгого перерыва, оба возобновили переписку, чему были несказанно счастливы. «…Самую большую радость я испытал, узнав от Вас, что Ваше здоровье находится в прекрасном состоянии и что Ваша творческая работа продолжается…», – писал Юрий Павлович.

Особый интерес представляет одно из писем художника, где он рассказывает о своей жизни, работе, личных обстоятельствах. Упоминает про жену-француженку, тоже художницу, происходившую из рода Блеза Паскаля; мастерскую, расположенную рядом с отелем «Истрия» на Монпарнасе, где всегда останавливался Маяковский. Судя по всему, Чуковский надеялся в годы оттепели переиздать «Чуккокалу», и ему нужны были справочные материалы к биографиям авторов.

Также более чем ясно сегодня читается «подводная» часть писем. Оба хорошо понимали, что их строки, скорее всего, прочтут где положено. Но по едва уловимым намекам можно понять, например, что Анненков принимал участие в подготовке к изданию на Западе повести Лидии Чуковской «Софья Петровна», написанной в годы репрессий и посвященной этому безумному времени. Словом, книга «Несмотря на разлучающее нас расстояние…» – прекрасный подарок всем, кому интересна история русской культуры XX века.

* * *

Творчество Мишеля Винавера: между Францией, Америкой и Россией: Международная научная конференция: Москва, 16-17 октября 2015. – М.: Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, 2017. – 384 с.

Современный французский драматург Мишель Винавер входит в золотую элиту мировой драматургии. Пьесы его идут по всему миру, главным образом, в Европе и США. Первая постановка спектакля по его произведениям «Корейцы» была осуществлена более полувека назад во Франции в

1956 г, последняя – «11 сентября 2001» – на сцене Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына. Премьера этой пьесы в России завершала большую международную конференцию «Творчество Мишеля Винавера: между Францией, Америкой и Россией», состоявшуюся в ДРЗ в 2015 году.

Нет ничего удивительного в том, что именно Дом Русского Зарубежья занялся исследованием творчества Винавера. Во-первых, Мишель Винавер очень много сил и времени отдает распространению русской культуры на Западе: переводит пьесы русских драматургов, благодаря ему на французском были поставлены «Самоубийца» Эрдмана, «Дачники» Горького и «Месяц в деревне» Тургенева. Выступая неоднократно со статьями по проблемам театра, Винавер особое внимание уделяет Чехову и, вообще, русской театральной традиции. Но есть еще одна причина его близости с Россией.

В своем обращении к участникам конференции Мишель Винавер писал: «Эта конференция и выставка имеют, через мое посредничество, символическое значение: так возвращаются на Родину члены моей семьи, эмигрировавшие после захвата власти в России большевиками и умершие в изгнании». Действительно, дед драматурга, Максим Моисеевич Винавер (1863–1926), сыграл в российской истории роль более чем примечательную. Адвокат, он был одним из самых известных защитников прав российских евреев, кроме того, вместе с Павлом Милюковым стал отцом-основателем партии Конституционных демократов (кадетов) и автором так и не состоявшейся Конституции России. Впоследствии именно по его законопроекту были проведены выборы в Учредительное собрание, которое разогнали большевики.

В 1918 г. Максим Моисеевич с риском для жизни перебрался в Крым, где стал министром внешних сношений Крымского правительства. Как известно, продолжалось это недолго, и в апреле 1919-го Винавер навсегда покинул родину.

Мир обязан этому человеку поддержкой таланта Марка Шагала. Именно Максим Моисеевич оплатил первую поездку великого мастера в Париж и был первым же покупателем его картин. В книге воспоминаний «Моя жизнь» художник писал о том, как потрясла его смерть благодетеля: «С большой грустью скажу сегодня, что с ним умер и мой близкий, почти отец… Винавер сделал меня художником».

Огромную роль в деле сохранения русской культуры за границей сыграл и отец Мишеля Винавера, легендарный парижский антиквар Лев Гринберг (1900–1981). Владелец русских магазинов в Париже и Нью-Йорке, один из самых уважаемых в мире специалистов по древнерусскому искусству, он меньше всего походил на жадного торговца. Достаточно сказать, что именно Лев Адольфович выкупил и подарил Музеям Кремля знаменитую камею Ивана Грозного, пропавшую из Патриаршей ризницы во время революции. В своем магазине в Париже он неоднократно устраивал выставки русских икон, к которым издавались каталоги. Причем их составлял не кто-

нибудь, а сам великий знаток древнерусского искусства Павел Муратов. В 1937 году Гринберг стал «правой рукой» Сергея Лифаря при подготовке в Париже эпохальной выставки к столетию со дня гибели А. С. Пушкина.

Всем замечательным представителям семьи Винаверов была посвящена конференция в ДРЗ, а недавно под эгидой этого же Дома увидел свет сборник материалов прошедшего форума. Книгу составили Светлана Дубровина и Татьяна Викторова.

Одна из «жемчужин книги», наряду с материалами по истории жизни Максима Винавера и Льва Гринберга – публикация первого русского перевода пьесы Винавера «11 сентября 2001». Так же как, уверен, не останутся незамеченными размышления самого Мишеля Винавера о природе театра, его полемика с Брехтом и Станиславским, мысли о влиянии на него Чехова. И еще можно познакомиться с перепиской драматурга с другим великим французским мастером слова – Альбером Камю.

Всё это рождает удивительную интонацию книги. Сквозь высказывания ее главного героя о переводах русских пьес на французский, через постулаты о законах театральной гармонии прорывается щемящая *русская интонация*. Недаром сборник увидел свет в рамках проекта «Русское присутствие в творчестве французских писателей русского происхождения: Россия видимая и невидимая». И, конечно, эта книга будет более чем востребована всеми, кого интересует театр и взаимопроникновение великих культур России и Франции.

Виктор Леонидов

Вера Зубарева. Одесский трамвайчик. – Charles Schlacks, Jr. Publisher Idyllwild, CA. – 2018.

На мой взгляд, «Одесский трамвайчик» – не только *этапная* лирико-эпическая книга в обширном поэтическом хозяйстве Веры Зубаревой, но и яркая событийная точка на панораме современной русской поэзии. Я искренне считаю, что эта книга не «одна из», а стереоскопический портрет лирической и отчасти лиро-эпической поэзии Зубаревой.

Название книги – принципиально-точное и, вместе с тем, не лишенное намеренного лукавства. Точное – поскольку «гений места» витает над всем разноликим содержимым собрания стихов, сколь бы далеко оно ни отклонялось от привязки к «родному пепелищу» автора-одессита. А своим уменьшительным суффиксом оно указывает на не иссякнувший, несмотря на современную боль Одессы, юмор ее насельников, генетически унаследованный сочинителем таких вещей, как поэма «Собакиада», или как множество каламбурных импровизаций, вкрапленных в стиховую речь. «Лукавство» же состоит в том, что в укромно-миниатюрные вагоны этого «трамвайчика» вмещена вся Вселенная с небесными и земными стихиями, со светилами дня и ночи и календарным вращением Земли вокруг Солнца, с атмосферически-

ми навеваниями и, в особенности, – «всех вестей первопричиной» – ветром, который доносит жизненные сдвиги до напряженного слуха поэта, почти мистически балансирующего между явью и сном.

Смысловой диапазон поэта простирается от запечатленных лирических мгновений и штриховых зарисовок (вступительный раздел «Дворик», но не только) до постижений космического масштаба, какова композиция «Море», достойно пополняющая мир созерцательно-философской лирики наших классиков двух минувших веков.

Вместе с тем подчеркну актуальность и силу трагического звука, мерно нарастающего к финалу, что позволяет определить «Одесский трамвайчик» еще и как «книгу памяти». Перед нами город, навсегда опаленный ужасом 2 мая и, вместе с тем, «Город неопалимый», символически явленная икона Неопалимой Купины. Прежней Одессы нет, но есть вечная, а значит и будущая Одесса: эпитафия и гимн надежды одновременно. Здесь нельзя не выделить реквием «Свеча»; это «надгробие» погибшим в майском кошмаре земляки автора вывешивали на стенах разброшюрованными листками – редкий ныне пример непосредственного воздействия не однодневной, а глубокой поэзии на гражданскую жизнь.

В прозаическом приложении к стихам (включающем и ценные комментарии к ним) автор сочувственно цитирует одесского краеведа: «Одесса – экспериментальный город». Поэтическую речь Веры Зубаревой тоже можно назвать экспериментальной по дерзости и разнообразию ее «технологии», притом что собственно экспериментальные задачи нигде не ставятся, а в цене пронзительная доходчивость выражения. Автор равно чувствует себя дома и в регулярном, и в акцентном, и в свободном нерифмованном стихе. Ее ассонансная рифмовка, подсказанная уникальным артикуляционным чутьем, настолько изобретательна, что просится в учебники по стиховедению. Ей доступны интонации из всех сфер стихотворчества русского XX века. Тут и Блок («Черное море. Черное небо»), и Маяковский («Город бормочет – на языке отцов / слова, / которыми / выложены / мостовые»), и имажинисты («облако заколыхалось в пасти сумерек куском застрявшего неба»), и балладность Тихонова и Багрицкого (в 8-й главке замечательного «Реквиема по снегу»), и «новый слог, торжественный, не мой», а сближающийся с поздней Беллой Ахмадулиной (в «Море»). И всё это – не застрявшие в памяти образно-интонационные цитаты. Вполне неподражательный поэт все это наново сам открывает для себя, для собственных чувств и целей, в потенциальном богатстве приемов отечественного стихотворства.

Выдающаяся книга стихов Веры Зубаревой «Одесский трамвайчик» заслуживает самого пристального внимания ценителей поэзии.

Ирина Роднянская

ОБ АВТОРАХ

АРУТЮНОВА Каринэ (1963, Киев). Прозаик. Автор книг «Пепел красной коровы», «Скажи: красный», «Счастливые люди», «Дочери Евы», «Цвет граната, вкус лимона», «Падает снег, летит птица». Лауреат премии «Нонконформизм» (2014), премии имени В. Г. Короленко (Украина, 2017); шорт-лист премии Андрея Белого, лонг-лист премий «Нацбест», «Нос», «Русская премия» и «Большая книга». Публиковалась в «Новом мире», «Волге», «Знамени», «Иерусалимском журнале», «Литературной Армении».

БАРАШ Михаил (1958, Москва). Поэт. По образованию биофизик. С 1987 г. живет в Париже. Публиковался в самиздатских журналах 1980-х гг., в «Русской мысли», «Континенте», «La lettre internationale», «The North Atlantic Review» и др.

БЕРДНИКОВ Лев (1956, Москва). Писатель, историк, литературовед. Окончил МПИ; кандидат филолог. наук. Автор книг «Счастливый феникс: очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – нач. XIX вв.», «Щеголи и вертопрахи. Герои русского галантного века», «Евреи в ливреях» и «Шуты и острословы», «Евреи государства Российского (XV– нач. XX вв.)». Автор более 350 публикаций в журналах и антологиях. С 1990 г. живет в США.

ВИРОЗУБ Михаил (1962, Москва). Поэт, переводчик. Окончил Московский электротехнический институт связи (1984). С 1997 года руководит школой иностранных языков «Vita nova – МГУ» . Переводил стихи английских поэтов, сказки Л. Ф. Баума, К. Моргенштерна, Б. Балашши. Член СП Москвы.

ВОЛЬФСОН Янислав (1953, Смоленск). Поэт, прозаик. Окончил Крымский медицинский институт. Работает врачом в г. Вудбери (Миннесота). Автор книги стихов «Ялтинская Фильма» и прозы «Глаз вопиющего в пустыне». Публикации в ж. «Крещатик», «Дружба Народов» и др. В США с 1990 г.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг: «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ГОРДИЕНКО Тамара (1939, Украина). Литературовед. Окончила факультет журналистики МГУ, канд. филолог. наук. Работает в Университете туризма и сервиса (РГУТиС). Публикуется в российских и зарубежных изданиях. Автор более двухсот работ по истории литературы XX века (творчество писа-

телей и поэтов русской эмиграции), по журналистике, методике преподавания русского языка как иностранного. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член СЖ Москвы, ассоциации «Бунинское наследие». Живет в Москве.

ГРИГОРИН Борис (Борис Гершкович. 1951, Ленинград). Поэт. Окончил литфак ЛГПИ. Печатался в самиздатовских журналах. Стихи публиковались в альманахе «Истоки», ж. «Аврора», «Нева», «Крещатик», «Изящная словесность», «Семь искусств». Автор книг стихов «Межсезонье», «Закрытие фонтанов», «Пробная зима», «На незамеченной земле», «Алфавит для безграмотных». Член СП СПб, член Союза российских писателей.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology» (2013); «Юрий Мандельштам. Статьи и сочинения» (В 3-х тт., сост., совм. с М. Стравинской). Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ЗАХАРОВ Сергей (1976, Беларусь). Прозаик. Окончил в 1998 г. Гомельский ГУ. Работал преподавателем английского языка, переводчиком, фермером, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью. Лауреат премии имени Марка Алданова.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Марк (1957, Ленинград). Поэт. Закончил математический факультет Ленинградского пединститута. Работал в библиотеке Академии наук. Публикации в периодике: «Артикль» (Израиль), «Слово/Word», «Стороны света» (США), «Иерусалимский Журнал». В Израиле с 1991 года.

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН Игорь (1943, г. Мары, Туркмения). Поэт, прозаик, переводчик, издатель, культуролог. Окончил Львовский полиграфический институт. С 1979 живет в США. Гл. редактор издательства «Побережье». Автор семи книг прозы и поэзии (в т. ч. на англ. языке «Reflected Days»), и трехтомника Избранного. Печатается в России, Украине, Англии, США, Китае, Дании, Канаде, Германии, Израиле. Составитель антологий, в т. ч. «На Побережье. Рассказы писателей Русского Зарубежья».

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаев-

ский кораблестроительный институт. С 1989 г. живет в США. С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNB. Автор книг «Игры мимики и жеста», «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три ‘Ц’ и Верлибрарий», «Нью-йоркский букварь» и др.

ЛЕГКАЯ Ираида (Пушкарева Ираида. – Тартак, Латвия). Поэт. В 1944 г. с семьей вывезена немцами в Германию. В 1949 г. эмигрировала в США. В 1963–1987 гг. работала журналистом на радио «Голос Америки». Автор поэтических сборников «Попутный ветер», «Подземная река».

ЛЕОНИДОВ Виктор (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК.

ЛИХТЕНФЕЛЬД Борис (1950, Ленинград). Поэт. Окончил ЛЭИС. Публиковался в самиздате, в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», «Волга», «Дети Ра», «Крещатик» и др., в венском альманахе славистов «Гумилевские чтения», в антологиях. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда», «Метазой», «Юолукка», «Одно и то же». Живет в Санкт-Петербурге.

РЕЗНИК Наталья (Ленинград). Поэт. Стихи, переводы и короткая проза публиковались в российской и зарубежной периодике . Автор поэтических сборников «...и на лезвии живут», «Я останусь» и др. С 1994 г. живет в Колорадо, США.

РОДНЯНСКАЯ Ирина (1935). Литературный критик, литературовед, историк русской философии. Автор книг «Художник в поисках истины», «Литературное семилетие», двухтомника «Движение литературы», книг «Мысли о поэзии в нулевые годы». «К портретам русских мыслителей» (совм. с Р. А. Гальцевой), а также журнальных и энциклопедических публикаций. Лауреат Новой Пушкинской премии и Премии им. Александра Солженицына.

САНДУЛОВ Юрий (1953, г. Артемово) Историк. Окончил философский факультет ЛГУ, там же аспирантуру и докторантуру. Работал гл. редактором изд-ва «Лань», преподавал. Печатается в изданиях Русского Зарубежья. Составитель книг по истории русской эмиграции, среди них – «Русские места захоронений в США». Президент общества «Северный Крест».

СЁМИН Владимир (1952, Рязанская обл.). Поэт, прозаик. Окончил Рязанский ГПИ. Занимается историческим и литературным краеведением, фольклорными

исследованиями. Автор четырех поэтических сборников и пяти выпусков «Легенды Рязанского края». Стихи переведены на франц. и болг. языки. Публиковался в ж. «Молодая гвардия», «Дружба» и др.; в сб. «Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов» (2010); «Русские фольклористы: Биобиографический словарь. XVIII–XIX вв.» (2016). Член СП России.

СТАРОСЕЛЬСКИЙ Эдуард (1948, Ленинград). Прозаик, кинорежиссер. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Режиссер документальных и художественных фильмов; постановщик спектаклей на ньюйоркской сцене *The Naked King, Fantasy of Pushkin, Joan of Arc, Gogol in the Subway, The Inspector General*. С 1979 года живет в Нью-Йорке.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Был близок к литературно-художественному андеграунду. Автор книг «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог: Портрет художника в стиле коллажа», «Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны» (2018). Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихов «Янус», «Антология русского верлибра». С 1999 г. публикуется в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др. С 1992 г. живет в Германии.

ЧИГРИН Евгений. Поэт, эссеист. Автор четырех поэтических сборников. Публиковался во многих литературных журналах, в ряде европейских и российских антологий. Стихи переведены на тринадцать языков мира. Лауреат премий ЦФО России «в области литературы и искусства» (2012), имени Арсения и Андрея Тарковских (2013), «Золотой Дельвиг» (2016), Горьковской литературной премии (2014), Всероссийской литературной премии им. Павла Бажова (2014). Член Международного ПЕН-клуба, СРП и СП Москвы.

ЭСКИНА Марина (Ленинград). Окончила физический факультет ЛГУ. Автор трех книг стихов. Лауреат поэтического конкурса «Критерии свободы» им. Иосифа Бродского (СПб., 2014). Стихи и переводы публиковались в журналах «Звезда», «Интерпоэзия», «Крещатик», в «Новом Журнале» и др., а также в альманахах и антологиях. Живет в Бостоне.

ЯРМОЛИНЕЦ Вадим (1958, Одесса). Писатель, журналист. Окончил Одесский университет. Работал в газете «Новое русское слово». В настоящее время работает на русскоязычном радио в Нью-Йорке. Публикации в ж. «Волга», «Октябрь», «Новый Журнал», «Новая юность» и др. В 2009 г. роман «Свинцовый дирижабль. ‘Иерихон 86-89’» стал финалистом «Большой книги». Основатель и спонсор литературной премии «О.Генри» (современный рассказ на русском языке). С 1990 года живет в Нью-Йорке.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation
The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patron: Mr. S. Hollerbach; Russian Nobility Association in America;
Benefactors: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine;
Sponsors: Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin;
Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. M. Averbuch; Mrs. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2018:
Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to
THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com
Израиль: Альберт Фейгельсон: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:
Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнездниковский пер., д.12/27,
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)
Вы можете оформить электронную подписку на журнал.
Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
www.rusdocfilmfest.org

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2019

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 145.00, за границу – $ 190.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 76.00, за границу – $ 110.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 5.00, за границу – $ 25.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 315.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
611 Broadway, # 902, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
newreview@msn.com
newreviewworld@gmail.com